



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
В. Г. РАСПУТИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УВОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

### Проза

- Александр ПРОХАНОВ  
Крым. Роман ..... 8
- Тамара ЛОМБИНА  
Анна Степановна. Повесть ..... 76
- Александр ЛОБАНОВ  
Наваждение. Повесть ..... 97
- Елена ГАБОВА  
Любовь на семи ветрах  
Рассказ ..... 126
- Анатолий ЦЫГАНОВ  
Танька. Рассказ ..... 141
- Борис ТАРБАЕВ  
Коралловые бусы. Рассказ ..... 146
- Нина ОБРЕЗКОВА  
Степан. Рассказ ..... 161
- Пётр СТОЛПОВСКИЙ  
Понятие женского рода  
Рассказы ..... 170
- Андрей КАНЕВ  
Нахлынуло. Рассказ ..... 178
- Иван БЕЛЫХ  
Там, далеко-далёко. Рассказы ....185

### Поэзия

- Надежда МИРОШНИЧЕНКО  
Последний поцелуй ..... 3
- Андрей ПОПОВ  
И сохранять  
молитвенное слово... ..... 73
- Андрей РАСТОРГУЕВ  
Если уехал —  
не возвращайся... ..... 94
- Владимир ПОДЛУЗСКИЙ  
Бухова гора ..... 121
- Татьяна КАНОВА  
В июльской траве ..... 138
- Инга КАРАБИНСКАЯ  
Так похоже на осень... ..... 157
- Александр СУВОРОВ  
Берегите истоки! ..... 167
- Ангелика ЕЛФИМОВА  
По небесному насту... ..... 183
- Борис ЛАПУЗИН  
Нейтральной полосы  
не существует ..... 193
- Виктор ПАСТУХОВ  
Тернистый путь к вере ..... 196

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
зав. отделом прозы —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
зав. отделом критики,  
отдел поэзии —  
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
зав. редакцией —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
зав. техническим центром —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
гл. бухгалтер —  
(495) 625-89-95

## Память

Станислав КУНЯЕВ  
“И бездны мрачной  
на краю...” ..... 202  
Станислав ЗОТОВ  
Грозный век ..... 234

## Очерк и публицистика

Александр СЕВАСТЬЯНОВ  
Судьба русского народа  
решается в Донбассе ..... 244  
Ксения МЯЛО  
После Крыма ..... 252  
Валерий ГАНИЧЕВ  
“Нравственно управлять  
обществом” ..... 261

## Критика

Владимир БОНДАРЕНКО  
Мудрость и мужество ..... 266  
Геннадий КРАСНИКОВ  
“Внимая ужасам войны...” ..... 271

## В конце номера

Вадим НЕГАТУРОВ  
Натура славянская.  
Предисловие С. Шаргунова ..... 283

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: И. А. Горбатова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 28.07.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №3112. Тираж 7500 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarph.ru](http://www.redstarph.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО



## ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ

\* \* \*

Начинается осень, которую осень подряд.  
А потом снегопад заметёт наши души и скверы.  
И наступит зима, где о лете грустить невпопад.  
Ни к чему. И зачем эти голуби и гондольеры?!  
А когда-то давно разве мог нам привидеться Рим?  
Да на пару с Венецией... Экая блажь посещает.  
И зачем мы об этом с тобою сейчас говорим,  
Если русское поле всё та же звезда освещает?!

А давай напрямки, обязательно глядя в глаза,  
Мы с тобой повторим арифметику русской печали.  
И пускай упрекают, что мы оглянулись назад.  
Потому и назад, что опять журавли замолчали.  
Потому и назад, что давно, там осталось “вперёд”.  
А забыть это “там” — так и сердце, считай, разорвётся.  
Только осень опять свою дань с наших душ соберёт,  
Да их римской волчицы дыханье до нас доберётся.

---

*МИРОШНИЧЕНКО Надежда Александровна родилась в Москве. Окончила педагогический институт. Автор книг стихотворений “Назовите меня по имени”, “Хочется счастья”, “Отрывок”, “Зачем не сберегли?” и других. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.*



Спросите у Фета:  
Не с ним ли встречалась воочью?  
И это ли кредо —  
Лихие её многоточья?!

Какие спирали —  
Высотные всплески эмоций!  
Вы это видали —  
Откуда в поэзии Моцарт?

Вы это травили?  
Да завистью травка зовётся.  
Вы б это купили?  
Но это же не продаётся

\* \* \*

*Виктору Кирюшину*

Ах, если б я жила в Москве,  
Я б так же грезила ночами  
В такой же искренней печали  
О придорожном колоске.

Ах, если б я жила в Москве,  
В которой не было б мне душно,  
Я б так же страстно и послушно  
Искала звёзды в вышине.

Ах, если б жил ты там, где я,  
Ты б о Москве мечтал ночами  
С её покатыми плечами,  
С столичной бездной бытия.

Ах, если б жил ты там, где я,  
Тебе б и жизни не хватило  
Припомнить всё, что было-сплыло  
В стране, где Родина твоя.

\* \* \*

Никогда не искала, чтоб думать о Родине, повода.  
И теперь не ишу, потому что ты всюду со мной.  
Ты моя Атлантида, опять уходящая под воду.  
Неужели уйдёшь вместе с Вологдой и Костромой?!

Неужели оставишь просторы свои дерзновенные?  
И могилы свои? И святые свои небеса?  
А куда подеваешь снега ты свои белопенные?  
И того, кто спасёт тебя? Он ещё не родился.

Там Отечества нет, где народ оставляют без отчества,  
Зеленя заменяя зелёной тоской городской.  
Ты, моя Атлантида, уходишь, оставив пророчества.  
Неужели уйдёшь вместе с Питером ты и с Москвой?!

Ах ты, матушка Русь, с высоты тебе видно, где ниже-то.  
Ты, моя Атлантида, уже затонула на треть.  
Всё, что пьётся, то выпито. Что выжимается — выжато.  
Но осталось ещё Капитану в глаза посмотреть.

\* \* \*

*Президенту “Фонда возрождения  
Тобольска”, певцу Сибири  
Аркадию Елфимову*

Опять сорняки поднимаются тучей на грядке.  
На клумбах опять сорняки забивают цветы.  
А знаешь, Елфимов, в Отечестве всё не в порядке.  
Но я не волнуюсь, пока есть такие, как ты.

А знаешь, Елфимов, страна прирастает Сибирью.  
Хотя и не в курсе пока до Урала страна.  
Но в стольном Тобольске и с удалью русской и с ширью  
Уже называют из будущего имена.

А знаешь, Елфимов, когда б нам не выпала встреча,  
И я бы не знала, какая такая Сибирь.  
Да Бог надоумил, мол, жив и сегодня Предтеча,  
Пока есть в России хотя бы один богатырь.

А мы до Урала все трусимся: грядки не сладки.  
Да новые нас с головой накрывают мечты.  
А знаешь, Елфимов, в Отечестве всё не в порядке.  
Но я не волнуюсь, пока есть такие, как ты.

\* \* \*

*Памяти Тамаза Чхенкели*

И вот нет тебя на земле.  
Мтацминда тебя не дожждётся.  
Серебряный дождик прольётся  
И тут же растает во мгле.

И станет седая Кура  
Метаться в тоске и печали.  
И женщина, как её звали,  
Оденется в траур с утра.

И сядут друзья за столом,  
Как вместе сидеть вы умели,  
И скажут: “Не стало Чхенкели  
Тамаза”. И съёжится дом.

И Лиля заплачет навзрыд,  
Срываясь с дисканта на выдох.  
Но был же какой-нибудь выход, —  
Бессильно она повторит.

И Грузия горько вздохнёт.  
И небо опустится ниже.  
И снова тебя я увижу  
Средь ангелов. Там, где восход.

6—7.06.11

## ТИМОНИХА

*Памяти русского классика  
Василия Ивановича Белова*

А Тимонихе на небе хорошо.  
И дома здесь не стареют и поля.  
И Василий, вон, в Тимонику пришёл.  
Сколько лет его ждала родная земля,  
Чтоб утешить: я жива на небеси.  
И церква твоя обкраденная тут  
В полный цвет цветёт, как прежде на Руси.  
На Руси пока так церкви не цветут.

Ты, Василь Иваныч, даром, что мудрец,  
А не знаешь, сколько сроков — сороков.  
Отсчитает нам небесный наш Отец,  
Чтоб на землю мы вернулись с облаков.  
Чтоб вернулся ты к возлюбленной жене,  
Чтоб в уста тебя поцеловала Русь.  
А пока они поплачут на земле,  
По тебе они поплачут. Ну и пусть.

Это слёзы, словно Божия роса.  
Это сердце покаяние томит.  
Это нам теперь глядеть на образа,  
Да откроются незрячие глаза  
В покаянии и шёпote молитв.  
Где Тимоники почти не разглядеть.  
Где по русским, словно паводок прошёл.  
По плечу теперь тебе и жизнь и смерть.  
А Тимонихе на небе хорошо.

## РЕКВИЕМ

*Памяти моего мужа  
Анатолия Федулова*

Пыльный привкус южных городов,  
Острый холод северных окраин.  
Чем я заплатила за любовь,  
Родина, к тебе, родной, не знаю.

То ли жизнью, то ли суетой,  
Что от зыбки до креста рябила.  
Но досталось жизни бы второй,  
Разве я бы что-то изменила?

Вот уже и рядом нет того,  
Кем дышала и не замечала.  
Жизнь проходит. Крепнет ремесло.  
Что за что? Давай считать сначала.

Только свет исходит от того,  
С кем и я прилягу позже с краю.  
Дорого, что стоит — ничего.  
Вот и расплатиться чем — не знаю.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



КРЫМ

РОМАН\*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Евгений Константинович Лемехов курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс. Статный, с упитанным сильным телом, упрямой большой головой, с блестящими, чуть навывкате глазами, он неумоимо поглощал впечатления, жадно усваивал опыт, который откладывался в нем, как древесные кольца. В свои сорок пять он был преисполнен энергии, которая, как плотный бестелесный порыв, раздвигала перед ним жизненное пространство. Он входил в это пространство, как входят в гостеприимно распахнутые двери. После четвертого класса школьная учительница подарила ему томик Пушкина с надписью: “Женя, будь всегда и во всем первым”. С тех пор Пушкин стал для него поводырём, тайным покровителем, и множество пушкинских стихов, отрывков, случайных строк хранила его память. Он следовал напутствию учительницы, одолевая возрастные рубежи радостно и легко, оставляя позади своих менее удачливых сверстников. Ему казалось, что перед ним ступает невидимый проводник, переводя его через провалы и рытвины. Он шёл, веря своему тайному предводителю, который поворачи-

---

*ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”. Живет в Москве.*

\* Журнальный вариант.



вал к нему свою кудрявую голову и вёл по таинственным дорогам. Но собственная воля и страсть определяли его успех, его несокрушимое восхождение. Эта страсть была подобна раскалённому языку пламени, прожигающему танковую броню, воздушному ступку, летящему впереди истребителя, бестелесному лучу, указывающему путь ракете. Баловень судьбы и счастливцев, Лемехов был выбран чьей-то неведомой волей, влекущей его к загадочному предназначению.

Лемехов был любимцем президента Лабазова. Президент поручил Лемехову крошечную работу по обновлению оборонной промышленности, которая умирала, подобно выброшенному на отмель киту. Когда отхлынули воды советской эры, обнажилось дно, на котором беспомощно, как обитатели подводного царства, корчились заводы, конструкторские бюро и научные центры. Как пар, улетучивались под раскалёнными лучами великие открытия и замыслы, неосуществленные проекты, непроверенные гипотезы. И над этой гибнущей высокоорганизованной жизнью вились тучи мелких стервятников, крылатых насекомых и трупоедов.

Президент Лабазов был утомлён долгими годами правления. Он восстанавливал доставшуюся ему в управление руину. Строил государство. Создавал банки, корпорации, нефтепроводы, олимпийские стадионы. Вдруг обнаружил, что на страну надвигаются тучи военных угроз. Эти угрозы множатся, слышатся, превращаясь в опасность большой войны.

Лабазов обнаружил программу обновления вооружений: создание новейших танков и самолётов, ракет и космических лазеров; модернизация старых заводов и строительство новых. Он поручил этот грандиозный проект Лемехову, и тот стал вспарывать омертвелую, усыпанную камнями пустошь.

Совещания, на которых кричали до хрипоты, ссорились представители армии и оборонных заводов. Космодромы, откуда поднимались окружённые плазмой тяжёлые ракеты. Полигоны, где установки залпового огня превращали барханы в слитки раскалённого кварца. Танкодromы, где крутился, взлетал, плыл и нырял под воду танк. Встречи с академиками, предлагавшими оружие, использующее новые физические принципы. Доклады президенту, когда нервный и мнительный Лабазов торопил его с пуском заводов по производству антиракет.

Лемехов появлялся везде, с медвежьей грацией пронося своё большое тело сквозь цеха и лаборатории, садился в салон самолёта, где шло совещание, а внизу среди ночной Сибири краснели факелы нефтяных месторождений. И среди этой крошечной работы, иногда на грани яви и сна, в душе его открывалось таинственное пространство, где веяли неясные, пугающие своей странностью переживания. Они говорили о существовании иной жизни, иного предназначения. Того, о котором он, скорее всего, никогда не узнает. Так смотришь в звёздное небо, в бездонные колодцы с туманностями, к которым стремится душа, и начинаешь сходить с ума, и отводишь глаза, чтобы сохранить разум.

Сегодня Лемехов находился на заводе ракетных двигателей, на московской окраине, когда-то заводской и рабочей. Теперь вокруг завода толпились супермаркеты и развлекательные центры, похожие на фантастические грибы и разноцветные пузыри. Люди наполняли эти храмы торговли, неутолимо и алчно вкушая, приобретая и поглощая. Они уже не стремились в Космос, не изумлялись космическому чуду Гагарина. К чуду можно было прикоснуться руками, купить за деньги, положить в нарядный пакет, в душистом салоне иномарки увезти в особняк.

Лемехов на заводе созерцал не мнимую целлюлоидную красоту, а подлинную мощь и величие. В окружении свиты министерских чиновников, конструкторов, инженеров посреди огромного цеха с лучистыми стальными пролетами он осматривал двигатель для новой сверхмощной ракеты. Ракета создавалась для "Лунного проекта", который после долгого перерыва возобновляла Россия. На подмосковных заводах уже был изготовлен "лунный город", состоящий из жилых, боевых и исследовательских модулей. Уже прошли испытания дальнобойные лазеры, способные поражать атакующие ракеты противника, испепелять морские и наземные цели. Уже был построен те-

лескоп, фиксирующий метеориты, и пусковая установка, отправляющая к опасному болиду ядерный заряд. “Лунный проект” создавался сотнями заводов, конструкторских бюро и научных центров. Всё громадное множество предприятий, полигонов и академических институтов билось в конвульсиях, задыхалось, вырывалось из графиков, распалось. Лемехов, намотав на запрястья ременные вожжи, управлял этой бешеной квадригой, сплетая с ремнями свои рвущиеся сухожилия.

— Какая красота, Денис Митрофанович, — обращался Лемехов к директору завода, любуясь двигателем. — Это просто шедевр!

Директор польщенно улыбался. Двигатель возвышался на подиуме, словно это была скульптура. Составленный из множества деталей, в изгибах, цилиндрах, трубках, он, как и всё совершенное, достигал удивительной простоты. Так поэтическая мысль сочетает нерасторжимо множество переживаний и чувств.

Тело двигателя, созданное из тугоплавких металлов, напоминало сияющее светило. Трубы, большие и малые, свивались в жгуты. Они были похожи на аорты, окружавшие сердце. Хрупкие, сложно изогнутые сосуды, оплетавшие цилиндры и сферы, были подобны лианам, вьющимся по стальному дереву. Поворотные сопла были как чаши и кубки для бесцветной кипящей плазмы. В голубоватых отливках, безмолвный и неподвижный, двигатель таил в себе чудовищную силу. Ревущий огонь. Свист газа. Дрожанье земли и неба, когда ракета на слепящих лучах, словно громадная колокольня, покидает старт и уходит в пустоту, развесив над лесами невесомые звоны.

Двигатель, стоящий в цеху, был подготовлен к испытаниям. Другой, подобный ему, уже погрузили в бетонный бункер. Команда инженеров на испытательном стенде ждала Лемехова, чтобы начать испытание.

— Через полгода мы должны иметь шесть таких двигателей, Денис Митрофанович. Будем иметь? — обратился Лемехов к директору, который ревниво и трепетно демонстрировал своё детище.

— Будем, Евгений Константинович, — директор был невысокий, плотный, с упрямым бобриком, в рубаше с расстёгнутым воротом и неловко повязанным галстуком. Он чем-то напоминал дрессировщика, измотанного непокорным зверем. Этот зверь стоял перед ним послушный, смиренный, но в любую минуту мог взъяриться, ринуться с рыком на своего повелителя. — Будет трудно, Евгений Константинович, но двигатели построим.

Они стояли в стерильном цеху в белых халатах и бахилах. Свита Лемехова состояла из чиновников министерства и космического ведомства, из офицеров космических войск. Ему сопутствовал неизменный заместитель Леонид Яковлевич Двудлистиков. Он держал записную книжицу, делал пометки, преданно заглядывая в глаза начальнику. Завод представляли директор, начальник цеха, конструкторы КБ. Чуть поодаль стояли рабочие, с любопытством поглядывая на высоких руководителей.

Среди заводских представителей Лемехов обратил внимание на худого стройного человека с увядающим красивым лицом. На лице его лежала тень утомления, какая бывает у тех, кто одержим тайной, снedaющей их страстью. Прямой тонкий нос, мягкие, чуть капризные губы, яркие голубые глаза неправдоподобного василькового цвета, будто на радужку наложили синие линзы. Лемехов обратил на него мимолётное внимание, как на нечто чужеродное и тревожащее. Но тут же забыл, повернувшись к директору:

— Американцы успешно испытали дальнoбойный лазер, который можно разместить на орбите. Этот лазер станет держать под прицелом наши лунные установки, но мы их разместим под лунной поверхностью, и они будут неуязвимы.

— Чтобы успеть с шестью двигателями, нам нужна помощь, Евгений Константинович. Самарский завод задерживает узлы, а Воронеж поставил бракованные комплектующие. Нам нужна ещё одна станочная линия. Мы нашли в Японии подходящие станки, но нам отказали в дополнительном финансировании.

— Это кто отказал? Опять Саватеев? Он что, саботирует? — возмущился Лемехов. — Он что, американский агент? Напомните мне, Леонид Яковлевич, — обратился он к Двудлистикову. — Пора ему башку оторвать.

— Оторвите, Евгений Константинович, — заместитель ударял в книжницу золочёной ручкой, делая пометку, преданно глядя на Лемехова.

— За вашей работой, Денис Митрофанович, лично следит президент. Сейчас, когда мы испытываем двигатель, я доложу ему о результатах. Он просит сделать всё, чтобы серия из шести двигателей вышла с завода в срок. Это имеет не только оборонное, но и политическое значение. Когда президент поедет в Лондон на совещание “восьмёрки”, продвижение “лунного проекта” будет козырем в переговорах с американцами.

— Передайте президенту, что мы чувствуем его заботу. Заказ государства не будет сорван.

— Спасибо.

Лемехов с благодарностью взглянул на директора. Этот коренастый, небрежно одетый человек был из плеяды новых директоров, сменивших утомлённых старцев, по которым пришёлся чудовищный удар перемен. Разрушенные заводы, разворованные станки, разбегающиеся, проклинаящие начальство рабочие — всё это постигло директорский корпус, руководивший индустрией Советов. “Красные директора” ошалело взирали на убийство страны, но быстро опомнились после её насильственной смерти: набросились на бесхозное богатство, прибирали к рукам, продавали за бесценок, расхищали запасы драгоценных металлов. Кто строил особняки в реликтовых подмосковных лесах, кто навсегда укатил за границу. Когда мало-помалу стала подниматься промышленность, им на смену, бог весть откуда, появились дееспособные люди. Стали оживлять мертвеца. Так сбегаясь к захлебнувшемуся в воде умельцы, делают “искусственное дыхание”, вдувают в слипшиеся лёгкие воздух, бьют в грудь, сгибают, что есть мочи, конечно, пока утопленник ни сделает булькающий вдох, и его ни начнёт рвать мутной жижей.

Таким был этот директор, создающий уникальный двигатель. Лемехов и сам был из тех, кто за волосы тянул из омыта утонувшую индустрию, ставил на ноги рухнувшую страну.

— Наш президент дал нам задание. Не только нам, оборонщикам, но и всему народу: в кратчайший срок преодолеть двадцатилетнее отставание. Перепрыгнуть яму, которую вырыли нам либералы. Успеть до начала крупного военного конфликта восстановить оборону, оснастить армию сверхсовременным оружием. Если нет, то нас сомят, как сказал Сталин. Он-то знал, что до начала войны остаются считанные годы. Тогда Советский Союз дни и ночи строил танки, отливал орудия, запускал самолёты. Это был гигантский рывок, ведущий к Победе. Сейчас мы должны повторить этот тигринный бросок. Не догонять Запад, а, как тигр, срезать угол, выйти наперез и оказаться впереди.

Лемехов сделал резкий взмах рукой, и ему показалось, что двигатель, как стальной тигр, готов к броску.

— Президент делает всё для восстановления оборонного комплекса. Лучшие станки — пожалуйста. Финансирование научных разработок — пожалуйста! Зарплаты рабочим — пожалуйста! Мы должны оправдать доверие президента. Опасность велика. Враг силен. Его военная техника превосходна, она грозит нам уничтожением. Сейчас, здесь, в этом цеху, решается исход будущей войны. Этот двигатель — двигатель Победы!

Двигатель, сияющий и безмолвный, отражал яркие лампы, и казалось, он весь покрыт множеством глаз, которые, не мигая, смотрят на Лемехова. Так идол в своём величии воспринимает жреческие восхваления.

— Кончилось время, когда музыку в стране заказывали банковские менялы и адвокатишки, едкие журналистишки и телевизионные куртизанки. Теперь марши играем мы, технократы. У нас миллиарды рублей, интеллект, понимание мировых проблем, судьбы Отечества. Нам президент доверил самое драгоценное: государство, народную судьбу, суть русской цивилизации. Мы — его гвардия, его боевой авангард. Для нас это высокая честь. Мы служим ему не за страх, а за совесть. Мы посвящаем стране свои таланты, свою творческую волю. Вверяем президенту нашу судьбу, как он вверил нам судьбу России. Мы видели, как его предали те, кто называет себя “креативным

классом". Все эти конторские служащие и мальчики из пиар-агентств, длинноногие секретарши и горбатые правозащитники, телевизионные стилисты из гейклубов. Они собрались на своём бесовском болоте и проклинали президента, угрожая ему смертью. Мы — гвардия президента Лабазова, его "креативный класс". Мы изобретаем и строим невиданные машины. Мы создаём новые технологии. Мы сооружаем грандиозную машину нового российского государства. Так будем же достойны своей исторической миссии. Здесь, на вашем великолепном заводе, запуская этот чудесный двигатель, мы утверждаем нашу историческую волю, нашу гвардейскую непобедимость.

Его слушали с одобрением. Лицо директора стало суровым. Рабочие кивали.

— Но главный наш враг — это апатия, поселившееся в народе уныние. Это глубокая печаль, которую переживает русский народ. Удар, который ему нанесли, оглушил его, и по сей день народ, словно в обмороке. Его руки отвыкли работать. Его слух не воспринимает проповеди. Его душа омертвела. Он равнодушен к оскорблениям, которыми его осыпают. Как разбудить народ? Как вернуть ему веру? Как вдохновить его на великие труды и свершения?

Лемехов оглядывался, словно ожидая услышать ответное слово, которым можно разбудить опоенный зельями народ.

Они покинули цех и переместились в испытательный центр, где в бункере находился двигатель.

Испытательный центр — саркофаг из бетона и стали, способный удерживать в своей оболочке огненный взрыв. В озарённом зале перед мониторами сидят испытатели в белых халатах. Они следят за разноцветными всплесками электронных синусоид. Двигатель, помещённый в бункер, закупорен в бетонный кокон. Его изображение туманится на экране. Голубовато-белый, перевитый сосудами, с волнистой пуговицей, он напоминает эмбрион, притихший в утробе, окружённый сиянием в чуть заметном трепете, в легчайших дрожаниях.

Лемехова усадили перед экраном, и он смотрел, как тихо дышит нерождённый младенец. Испытания должны были подтвердить, что двигатель может выводить в Космос тяжёлые ракеты. Способность титановых и стальных сочленений выдержать чудовищное давление и адское пламя, готовность развивать тягу, достаточную для стратегического превосходства над противником, — всё это нужно было выяснять в ходе испытаний. "Лунный проект", дальнобойные лазеры, громадные телескопы, углублённые в лунный грунт лаборатории — существование всего этого зависело от испытаний двигателя. Новый пояс космической обороны, неуязвимый для ракет и лазерных пушек врага, разрушал агрессивные планы противника, сберегая для России ещё одно десятилетие мира.

Маткой, в которой созрел сияющий эмбрион, был не бетонный бункер, не завод, не город, а громадный клокочущий мир, перепаханный войнами и "цветными революциями". Его рождения ожидали американские авианосцы в Тирренском море, арабские толпы, заливающие кровью площадь Тахрир, китайские дивизии, проводящие маневры у берегов Амура. Его ожидали вражеские разведки, следящие с орбит за русскими космодромами, внедряющие агентов в российские КБ и на заводы. Его ждали генералы генштаба, строители лунных городов и расчёты лазерных орудий. Его ждал президент Лабазов, включённый в мучительное, с неясным исходом состязание, поражение в котором означало его личную смерть и смерть государства. Его рождения ждал Лемехов. Своей жаркой животворной энергией он возвращал этот стальной эмбрион.

— Евгений Константинович, прикажете начинать? — наклонился к нему директор. Бледный от волнения, он был акушером, ожидавшим трудных родов.

Лемехов кивнул. В динамике металлический голос начал обратный отсчёт: — Десять, девять, восемь...

Лемехов жадно следил за процессом. Рождался не просто двигатель. Рождалась новая космическая эра России. Остановленная злой волей, опрокинутая в хаос, Россия вновь подтверждала своё космическое бытие. Рвалась

в беспредельность, в которой народ угадывал своё ослепительное будущее, свою несказанную мечту.

Автоматика выводила двигатель на предельный режим. Бункер казался мартоном, в котором кипела сталь. В белой плазме возникали радужные кольца, словно расцветал волшебный цветок. Лепестки его опадали, вновь кипел огонь, и двигатель казался метеоритом, заключённым в пылающую сферу.

— Есть! Параметры в норме! Тяга в норме! — воскликнул директор. И все повскакивали с мест, обнимались, целовали друг друга. Пламя в бункере меркло. Краснел раскалённый бетон. Двигатель остывал — серебряный, нежный, словно младенец в купели.

Лемехов пожимал испытателям руки. Поздравлял директора, инженеров, конструкторов. Глаза у директора были влажные.

## Глава вторая

Здесь, на краю парка с последней жёлтой листвой, стояла церковь, ажурная и высокая, какие строились в старинных дворянских усадьбах. От усадьбы сохранился парк с художочной аллеей и храм с кирпичной оградой. У ворот под дождём, накрывшись клеёнками, сидели нищие. В церкви находилась икона Божьей матери “Державная”, сложенная из драгоценной мозаики. Лемехов однажды заглянул в этот храм, восхитился иконой, пережил подле неё благодатное чувство. Теперь ему вновь захотелось увидеть икону.

Церковь была пустынной и сумрачной. Несколько прихожан стояли в сумраке, безмолвно молились. Тускло золотился иконостас. Огоньки свечей редко отражались в подсвечниках. Лемехов перекрестился, ступил в храм. Из тёмной стены, из мрака брызнули на него бриллиантовые лучи, драгоценно сверкнула икона. Богородица в алом облачении, среди золота и лазури, царственно восседала на троне. Младенец словно парил перед ней. Икона переливалась и трепетала. В ней блуждали разноцветные волны света. Казалось, она была обрызгана волшебной росой.

Лемехов потянулся к иконе. Беспшумно подошёл охранник, протянул свечу. Лемехов выбрал на подсвечнике догоравший огарок, зажгёт от него свечу и вставил черенок в тесное гнездо. Нежное пламя отразилось в иконе, и казалось, Богородица приняла в свою руку зажжённую свечку.

Лемехов приблизился к иконе, поцеловал, прижался лбом. Почувствовал, как икона благоухает. Такое душистое тепло исходит из палисадника, где цветёт сирень. Казалось, за иконой существует таинственное пространство, полное цветов. Если совершить молитвенное усилие, можно войти и оказаться в райском саду.

“Державная” была хранильницей государства, попечительницей русских государственныхников, к которым причислял себя Лемехов. Целуя бриллиантовые лучи, он помолился о судьбе страны, как это делают во время богослужений. Помолился об инженерах и конструкторах и об оборонной мощи, которую они создавали. Об успешных испытаниях двигателей, о которых надлежало доложить президенту. О “Лунном проекте”, непомерном в своей сложности и величии. О стратегической подводной лодке, которая скоро сойдёт на воду в Северодвинске. О “подводном старте”, откуда прынет ввысь новая баллистическая ракета, способная прорвать американскую оборону.

Постепенно молитвы его отвлеклись от этих грозных и тревожных забот. Бриллиантовые лучи напомнили ему бриллиантик в мамином золотом кольце: он в детстве брал в свои маленькие руки её большую тёплую руку и рассматривал кольцо. Теперь её рука, её милое дорогое лицо, её каштановые волосы были покрыты землёй, из которой вырастал тихий могильный цветок. Чувствуя нежную печаль, Лемехов думал о маме, молился о ней. Хотел, чтобы она его услышала в тех небесных аллеях, по которым сейчас гуляла.

Он подумал об отце, о его пижаке с орденом, о шёлковом галстуке, о вкусном запахе одеколона. Специалист по Африке, отец пропал без вести то ли в Ангольских саваннах, то ли в Мозамбике, на берегах Лимпопо. Те-

перь его безвестная могила среди африканских холмов томила Лемехова своей недоступностью, мучительной сыновей нежностью.

Свеча отражалась в иконе, словно Богородица держала её в перстах. Отражение свечи напоминало золотую дорожку на озёрной ночной воде. В свой медовый месяц в Карелии они вместе с женой смотрели в оконце. Прекрасная луна — “царица ночи”, как говорила жена, — пылала над туманными лесами. Рыбачий челнок чёрной стрелкой пересёк лунную дорожку. Теперь, после нервного потрясения, жена несколько лет находилась в психиатрической клинике. Навещая её, он видел седую голову, пустые глаза, голые ноги в синих венозных узорах. Лемехов молился о жене, каялся перед ней, мысленно посылая ей в больницу отражённую в иконе свечу.

Его блуждающие мысли, исполненные любви и печали, вдруг собрались в страстный молитвенный порыв. В этом порыве не было просьбы, жалобы или мольбы о собственном благе. Была благодарность и любовь к Богу, ведающему о нём, знающему каждую его мысль, сотворившему его для какой-то Ему Одному ведомой цели. Эта молитва была, как стремительный взлёт. Душа взмыла в беспредельную высь, коснулась пылающей белизны, слилась с ней, а потом вернулась на землю, принесла ликующее счастье.

Лемехов отступал от иконы, но она не отпускала его из своих бриллиантовых объятий.

### Глава третья

Лемехов был приглашён в Кремль на приём к президенту. Машина вырвалась из туманных, в тусклых блёстках городских улиц, свернула с Каменного моста к Троицкой башне. Мимо постового, отдавшего честь, скользнула в ворота и оказалась среди синих елей, золотых куполов и белых соборов. Шёл дождь. Брусчатка Ивановской площади блестела, словно площадь намазали черной икрой. Дворцы с отложными воротниками наличников мутно желтели. Купола Успенского собора были похожи на мокрые золотые облака.

С самого детства Кремль вызывал у Лемехова робость и благоговение, словно здесь скопились загадочные сказочные силы, волновавшие и возвышавшие душу. И теперь, выходя из машины, он чувствовал эту незримую силу, которая сладко влекла и одновременно пугала. Кремлёвские соборы и башни присутствовали в его глубинной памяти, словно достались ему от рождения, были переданы по наследству.

Аудиенция предполагалась в библиотеке. При входе Лемехова встретил генерал ФСО Дробинник, из числа особо приближённых, кому президент Лабазов доверял самые деликатные поручения. Генерал был сух, с бледным узким лицом, которое пересекало шрам, словно полоснули клинком. Глаза у генерала были светлые и прозрачные, с тёмными точками жестокости, какие бывают у снайперов. Дробинник вошёл в доверие к президенту, когда в период второй Чеченской войны предотвратил покушение на Лабазова. Он сам участвовал в ликвидации заговорщиков и был ранен.

Он относился к Лемехову с внешней симпатией, за которой скрывалось холодное недоверие. Он и с другими соблюдал дистанцию, позволявшую молниеносно применять холодное и огнестрельное оружие.

Они пожали друг другу руки, и Дробинник проводил Лемехова в библиотеку.

— Какое настроение у президента, Пётр Тихонович? — Лемехов оглядывал овальную комнату, уставленную шкафами, где за стёклами блестели золотом кожаные переплёты подарочных изданий. На шкафах стояли фарфоровые и стеклянные вазы. Ещё одна дверь с тёмным, непрозрачным стеклом вела в соседнюю комнату. — В каком расположении духа пребывает Юрий Ильич?

Вопрос не был простой данью вежливости. Ходили слухи, что президент нездоров. Он долго не появлялся на людях, отчего множились разговорки о его серьёзном недуге. О преемнике, которого пора показать общественности.

— Президент бодр. Мы сегодня долго тренировались в спортивном зале. И даже схватились в борьбе. Его броску позавидовал бы олимпийский чемпион.

— Его броски и подсечки хорошо известны мировым политикам. Особенно в Госдепе.

Лемехов и Дробинник послали друг другу два зашифрованных сообщения: запрос Лемехова о здоровье президента Лабазова и ответ Дробинника, в котором тот просил не беспокоиться по этому поводу.

— А вы, Евгений Константинович, ездили на охоту? — спросил Дробинник, зная об охотничьей страсти Лемехова. Он и сам был ружейный охотник.

— Да нет, не пришлось. Всё дела, дела. Вот сейчас лечу на север. Там обещали медведя. А вы поохотились?

— Вы же знаете, Юрий Ильич не любит охоту. Не то, что первый президент. Юрий Ильич любит рыбалку. А какой я рыбак? Так, из вежливости спиннинг бросаю.

— Благодарите Бога, что Юрий Ильич не коллекционирует бабочек. А то бы вам пришлось завести сачок.

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Прозрачные глаза генерала дрожали от смеха, но чёрные точки оставались неподвижными.

Генерал чутко замер, как обладающий повышенным слухом зверь, словно уловил скрытый шорох. Поспешно вышел. И через минуту в библиотеке появился президент Юрий Ильич Лабазов.

Он двигался своей строевой офицерской походкой, выразившей целеустремлённость и непоколебимую волю. Эту походку он демонстрировал в публичных местах, будь то кремлёвский дворец или дипломатический раут. Это был своеобразный балет, за которым следили обожающие дамы, мнительные чиновники и проницательные журналисты.

Однако теперь эта бодрость и лёгкость шага давались президенту с трудом. Лемехов видел, как при каждом шаге Лабазов чуть прищуривает глаза, словно преодолевает боль. Его лицо было бледным, виски ввалились, и на них проступили болезненные синие жилки. Он протянул Лемехову узкую ладонь и тут же отдернул её, словно боялся, что Лемехов, касаясь руки, как хиромант, догадается о его нездоровье.

— Как прошли испытания двигателя? — раздражённо, словно ожидая дурной вести, спросил Лабазов.

— Отлично, Юрий Ильич. По всем параметрам превзошел американцев. Теперь у России есть лучшая в мире тяжёлая ракета. Считайте, что мы на Луне.

— Рад, — глаза Лабазова торжествующе блеснули. — Передайте коллективу мои поздравления. Скажите, будут ордена, будут премии.

На скулах Лабазова выступили маленькие розовые пятна, как райские яблочки.

— “Лунный проект” переводит Россию на новый цивилизационный уровень. “Лунный проект” — это обещание, которое я дал народу, и я сдержу его.

— Сейчас, Юрий Ильич, мы спустим на воду ещё одну лодку и проведём испытания “подводного старта”. Тогда в Вашингтоне сменят тон.

— Поезжайте на спуск лодки и на ракетные стрельбы. Мне нужны хорошие новости. Вы, Евгений Константинович, всегда приносите хорошие новости.

Бесшумно, как кошка, возник Дробинник:

— Пришёл Семён Владимирович Братков. Вы ему назначали. Пусть пождёт или может войти?

— Пусть войдёт, — Лабазов махнул рукой в сторону стеклянной двери, делая останавливающий жест.

Братков был владельцем нескольких крупнейших холдингов, которые добывали нефть, варили сталь, строили олимпийские стадионы, скупали землю в чернозёмной зоне. Он слыл закадычным другом президента с тех пор, когда тот, ещё никому не известный военный, возводил неказистый домик в садовом товариществе. Братков помогал ему строиться, ловил с ним рыбу в озере, давал в долг. Он сопутствовал Лабазову в его стремительном возвышении, получая от друга привилегии, которые сделали его одним из самых богатых людей России.

Братков влетел в библиотеку, как упругий, туго надутый мяч. Маленький, плотный, с коротким седым “бобриком”, весёлыми глазами на коричневом от океанского загара лице. Казалось, его кто-то крепко пнул. Пробив дверь, он внёс в комнату звон удара и сейчас станет отскакивать от стен и потолка, пока ни иссякнет энергия толчка.

— Здравствуй, Юра, — кинулся он обниматься с Лабазовым. — Ну, как самочувствие? Ничего, ничего, молодцом. Сколько можно тебя уговаривать? Плюнь ты на всё, поедем со мной на Карибы. Остров назвал твоим именем — Юрьев остров. Дворец, порт, яхта. Поймаем тунца на полцентнера. Мулатки. Отдохнёшь недельку от своих чумных забот, — он обнимал Лабазова за плечи, заглядывал в глаза, словно хотел убедиться, здоров ли тот, в силах ли их дружба.

— Ты чего хотел? — сухо спросил Лабазов, освобождаясь от объятий друга.

— К тебе не пробьёшься. Твой Дробинник — как овчарка. Ты ему скажи, чтобы своих пропускал и не лаял.

— Много работы. Времени нет совсем. Ты чего хотел-то?

— Смотри-ка, что я тебе подарю, — Братков полез в карман и вытащил большое золотое яйцо, усыпанное алмазами. Протянул Лабазову. Тот принял, рассматривая его без особого интереса. Казалось, подарок был ему неприятен.

— А ты раскрой, раскрой яичко! Вот здесь кнопочка.

Он помог Лабазову найти кнопочку, нажал. Яйцо растворилось, превращаясь в цветок лилии. В сердцевине цветка открылась изящная танцовщица, золотая балерина, которая стала кружиться, плескать ногами.

— Узнаёшь? — радостно хохотал Братков. — Специально для тебя изготовили.

Лабазов поморщился. Это был намёк на его затянувшуюся связь с красавицей балериной, о чем судачил весь интернет, упрекая президента в распутстве.

Лабазов закрыл яйцо и небрежно положил на стол:

— О чем ты пришёл просить?

— Пустяк, не стал бы тебя беспокоить. Хочу купить нефтеперегонный завод в Беларуси. С “батькой” договорился, уломал. Он упёртый, цену заламывал, но вроде бы сговорились. И вдруг отбой. Что такое? Оказывается, наш-то друг закадычный, Вещий Олег, Олежка наш лупоглазый, у которого zenки алюминиевые, договорился за моей спиной с “батькой”. За ту же цену. Но на тебя ссылался, дескать, ты заинтересован в покупке. И “батька”, который от тебя очередной кредит ожидает, переиграл сделку в пользу Олежки. Так я о чём прошу: ты цыкни на лупоглазого, чтобы не щеголял твоим именем. Он, где надо, дружбой твоей щеголяет, а в других местах кроет тебя почём зря... — Братков возмущался вероломством бывшего друга, стараясь заразить Лабазова своим возмущением. — Он ведь, знаешь, о чём, подлец, говорит? Что ты его избрал своим преемником. Что, дескать, ты устал, хочешь уйти из Кремля. Уехать со своей балериной куда-нибудь в Альпы и там кататься на лыжах, любоваться ледниками, озёрами. Балерина будет танцевать для тебя босиком на альпийских цветах.

Братков воздел руку, изображая танцовщицу, но не подпрыгнул, не ударил ножкой о ножку, а тронул Лабазова за рукав:

— Юра, поговори с лупоглазым. Он ведь предатель. Мне этот заводик позарез нужен, а ему соликамского калия хватит. Он — Иуда, а я твой верный друг.

Лабазов сбросил с рукава пятерню Браткова, отряхнул пиджак, словно на нём осталось пятно.

— Он предатель, а ты, Семён, мой верный друг? — глаза Лабазова превратились в узкие щели, в которых исчезли зрачки. Губы растянулись в волчьей улыбке, предвещающая вспышку гнева. И Братков, зная эти приступы бешенства, повернулся к Лабазову боком, подставляя плечо под жестокий укус.

— Ты говоришь, что безмерно мне предан? Но разве не ты тайно финансируешь телеканал “Золотой дождь”, где меня называют фашистом и людоедом?



— Побойся Бога, Юра! Это клевета! Это Лупоглазый марает меня, вбивает клин в нашу дружбу.

— Молчать! — тихо, с сильным свистом в горле произнёс Лабазов, — А разве не ты тайно посылаешь деньги всей этой “болотной” сволочи, чтобы они устраивали свои собачьи марши и вешали моё чучело, будто я — нюрнбергский преступник?

— Да что ты! Да Господи! Да это враги! Если не Лупоглазый, то Железнодорожник! Он со своими “Сапсанами” совсем очумел. Он говорит, что ты его выбрал преемником.

— Молчать! — губы Лабазова побелели, и его длинная улыбка стала ещё страшнее, — А разве не ты подкармливаешь сайты, на которых распространяются обо мне всякие гадости? Будто бы я зазываю к себе в резиденцию балерны, и они танцуют передо мною голые; что я держу в клетках маленьких птичек, ощипываю их заживо и наслаждаюсь их писком, их мучениями; что у меня рак в последней стадии, я едва хожу и скоро уйду из Кремля... Не твоих рук дело?

Гнев Лабазова вдруг иссяк и свернулся, как сворачивается молоко. Сменился больной усталостью, жалобной укоризной:

— Как вы меня обманули! Вы были мелкими офицериками, жалкими цеховиками, жуликоватыми клерками. Я дал вам всё: русскую нефть и газ, русский никель и алюминий, русскую сталь и чернозём. Я передал вам русские железные дороги и порты, русское золото и алмазы. Я хотел, чтобы вы стали опорой государства, руководили промышленностью, определяли политический процесс. Вместо этого вы вывезли все ценности за границу, вывели свои миллиарды в оффшоры, купили острова на Карибах, дворцы в Эмиратах, футбольные клубы в Испании и Англии. И теперь интригуете против меня, примериваете на себя Кремль, рвётесь в наследники. Вы, дикие алчные ничтожества, разорвёте Россию на части. Если я исчезну, вы устроите гигантскую бойню, потопите Россию в крови. Вы привозите в Россию то Благодатный огонь из Иерусалима, то Пояс Богородицы с Афона, но вы несёте в Россию гибель. И некому вам сказать: “Покайтесь, ехидны!” Некому отрубить ваши ядовитые щупальца! — Лабазов осунулся, пожелтел. Лицо его будто усохло и постарело. Виски ввалились, и на них мучительно запульсировали синие жилки. Он выглядел больным и беспомощным. И это приободрило Браткова, вернуло ему смелость и упрямую наглость:

— Ты ведь тоже хорош, не белым пушком покрыт. Каждая третья капелька нефти, которая из России течёт, кому в карман капает? С каждого самолёта, с каждой ракеты и пушки кому “оборонный процент” поступает? Мы по твоему приказу самых козырных тузов из нашей колоды выкинули. Один в Лондоне под камнем лежит, другой в зоне баланды всласть нахлебался. А их-то бизнес к кому перешёл?

Братков блеснул белыми вставными зубами. Наслаждался видом немощного Лабазова, из которого, казалось, истекает жизнь.

— Вон! — прошептал Лабазов, хватая себя за кадык. Набрал в грудь воздух и шумным, свистящим шёпотом повторил: — Вон! — Жадно хлебнул воздуха, проталкивая сквозь горло мешающий кляп, и дико, выпучивая глаза, краснея от хлынувшего гнева, закричал: — Вон отсюда!

Братков сжался, превратился в упругий мяч и вынесся из комнаты. Вслед ему полетело и ударилось о дверь яйцо с бриллиантами. Из расколотого яйца вышла золотая балерина. Она шевелилась на полу, дергала ногами, тянула руки, похожая на раздавленную жужелицу.

Лемехов тайлся в укрытии, не понимая, зачем Лабазов сделал его свидетелем этих безобразных пререканий, открыл подноготную отношений со своим приближённым кругом.

Он уже вновь собирался вернуться в библиотеку, но возник генерал Дробинник и доложил:

— Юрий Ильич, в приёмной ждёт Орех Владлен Леонидович. Прикажете подождать?

— Зови, — Лабазов ногой заталкивал под диван шевелящуюся балерину.

Орех появился в туго застёгнутом чёрном пиджаке, в тёмном галстуке, с аккуратной папочкой в руках. Он был лыс, с тонкими белесыми волосами, зачёсанными от уха до уха, не скрывавшими, впрочем, розовую кожу черепа. В его движениях была осторожность и зыбкость, позволявшая мгновенно откликаться на волю руководителя. Так чуткая морская водоросль реагирует на проплывающую рыбу.

Орех был заместителем главы Администрации, отвечал за внутреннюю политику, за общественные проекты и избирательные кампании. Сейчас ему поручили создать новое общественное движение в поддержку президента. Популярность Лабазова заметно таяла, а правящая партия всё больше теряла доверие народа.

— Ну, как, Владлен Леонидович, идёт созидание нового храма? Какая архитектура? Какой строительный материал? — Лабазов не без труда сбросил остатки гнева и казался приветливым и весёлым. — Ведь вы знаменитый каменщик, не так ли?

— Уж вы скажете, Юрий Ильич! Разве я масон какой-нибудь! — живо откликнулся на шутку Орех.

— Я имел в виду, что вы каменщик, который не разбрасывает камни, а собирает. И что вы там насобирали? — Лабазов усадил Ореха за овальный стол из карельской березы, сам присел рядом. — Что вы там надумали?

Орех раскрыл заветную папочку, извлёк несколько листков.

— Вот, Юрий Ильич, план мероприятия. — Орех робел, предъявляя на суд начальника своё творение, — Во-первых, мы решили назвать наше общественное движение “Народным ополчением”. Это будет ополчение в защиту президента, как в своё время действовали Минин и Пожарский. Идём освобождать Москву, да и всю Россию от либеральных захватчиков. Как вы, Юрий Ильич, утверждаете “Народное ополчение”?

— А что, хорошее название, — одобрительно кивнул Лабазов.

— Тогда пункт второй, — Орех осмелел, расправил плечи, голос его звучал твёрже. — Народ собирается на Красной площади, у памятника Минину и Пожарскому, и пятью колоннами идёт к Манежу. У каждой колонны свой лидер. Ну, там, известный артист или врач, или олимпийский чемпион, или телеведущий. Все идут к Манежу, несут гербы городов. Как воинство со щитами и знаменами с изображениями львов, орлов, горностаев, оленей...

— Орех там не изображён? — мило пошутил Лабазов.

— Ну нет, на гербах нет ореха. — Орех совсем осмелел от шутки Президента. — Рассказываю дальше. С песнями, скандируя: “Лабазов! Лабазов!” все приближаются к Манежу.

Лицо Лабазова, минуту назад, выражавшее снисходительное одобрение, вдруг сморщилось. Его перекосила гримаса брезгливости и отвращения.

— Какая пошлость! Какая тупая безвкусица! Прокисший борщ! Протухшая рыба! За что мне такое?

Он отпихнул папку, и листки посыпались на пол. Орех растерянно дрожащими руками стал подбирать листки.

— О чём я вам говорил при нашей последней встрече? Мне не нужны бутафорские представления, какие устраивают в провинции на “День города”. Мне не нужна организация всё из тех же наёмников, перебегающих из партии в партию. Мне нужна “партия нового типа”! Мне нужен “орден меченосцев”! Мне нужны опричники и гвардейцы, — Лабазов метался по комнате, давая разбросанные по полу листки, едва ни наступая на пальцы Ореху. — Ступайте и больше не приходите ко мне со своими дурацкими проектами! Ненавижу козы орехи! — Лабазов произнёс это вслед убежавшему “ополченцу”, затаптывая оставшийся на полу листок. — Евгений Константинович, выходите из своего зазеркалья.

Лемехов вернулся в библиотеку, ошеломлённый тем, что видел и слышал. Лабазов умышленно сделал его свидетелем трех аудиенций.

— Теперь вы видели, кто меня окружает. Лысцы, предатели и идиоты. Нет людей! Пустыня! Вы один. Вы делаете дело, от которого зависит судьба государства. Я верю вам. Не обманите меня!

- Я вас не обману, не предам, Юрий Ильич.
- Вы моложе меня, сильнее. Я отношусь к вам, как к сыну.
- Надейтесь на меня, — взволнованно произнёс Лемехов, испытывая к Лабазову внезапное обожание.

— Я вас вызову позже!

Лемехов шёл через Ивановскую площадь среди белизны и туманного золота.

## Глава четвёртая

В Северодвинске на заводе “Севмаш” готовились к торжеству: спускали на воду стратегическую подводную лодку новейшего класса “Борей”, которая резко усиливала мощь военно-морского флота, ослабленного в годы разрухи. Эта лодка несла в своих шахтах шестнадцать баллистических ракет, была способна пускать их из-под воды, проталкивать в огненную полынью сквозь полярные льды, послать шестнадцать чудовищных взрывов американским городам, преодолевая заслон враждебных антиракет.

Эта лодка была аргументом на переговорах с Америкой, касались ли эти переговоры проблемы Сирии или соблюдения прав человека в России. Эта лодка убеждала соперников в том, что права человека в России соблюдаются и что Сирия и впредь может чувствовать локоть России. Спуск лодки отслеживали все разведки мира, освещали военные аналитики всех крупных держав. Лемехов летел принимать это грозное оружие, плод непомерных усилий промышленности, науки и флота.

Он вылетал из “Внукова”, с правительственного терминала, где его поджидала свита чиновников, пул журналистов. Самолёт был готов к взлёту. Заместитель Двустиков делал краткий доклад, пока Лемехов в зале ожидания пил кофе.

— Академики, командующий флотом, представители Генерального штаба уже на верфи. Они вылетели из Петербурга своим бортом. У нас почти все в сборе. Не хватает одного человека.

Двустиков стоял у столика, слегка склонившись, и Лемехов не предлагал ему сесть. У Двустикова было вытянутое лицо с утиным носом, близко посаженные, пугливые глаза, хрящевидные, плотно прижатые уши. Иногда в моменты возбуждения от него начинал исходить острый уксусный запах. Зная за собой эту неприятность, он душился одеколоном. Двустиков был сокурсником Лемехова, когда оба учились в Дипломатической академии на факультете геополитики. Двустиков, провинциальный абитуриент из Самары, ещё на вступительных экзаменах преисполнился обожания к Лемехову, который помог ему написать сочинение. С тех пор он следовал за Лемеховым, как тень.

Он обожал в нём ум, великолепную внешность, лёгкость таланта, неизменность успеха, с которым тот преодолевал одну препону за другой. Лемехов позволял себя обожать, пользовался преданностью Двустикова, увлекал за собой в стремительный карьерный полёт. Так стальная игла прокалывает плотную ткань, продёргивая за собой мягкую нить. Их отношения не были дружбой, как нельзя назвать дружбой отношения берёзы и подберёзовика. Двустиков, как правило, называл Лемехова по имени-отчеству и лишь в редкие минуты воодушевления, во время фуршетов, чокаясь с ним, говорил ему: “Женя”.

— Все готовы, Евгений Константинович. Нет лишь одного человека.

— Кого?

— Верхоустина Игоря Петровича.

— Кстати, я просил вас, Леонид Яковлевич, навести о нём справки.

— Я навёл. Могу зачитать резюме.

Двустиков извлёк свой неизменный блокнотик с золотой ручкой, вставленной в кожаную петельку.

— Верхоустин Игорь Петрович, 1963 года рождения, русский. Имеет в роду священников. Кончил филологический факультет университета. Участвовал в фольклорных экспедициях на Север, где записывал русские песни. Работал на археологических раскопках в Новгороде, где искал берестяные

грамоты. Уехал в Америку и стажировался в Йельском университете на факультете социальной психологии. Вернувшись в Москву, работал в аппарате ЦК КПСС в идеологическом отделе. Участвовал в написании “Слова к народу”, которое называли манифестом ГКЧП. После ареста путчистов уехал в Мексику, где участвовал в конгрессе колдунов. Вернувшись в Россию, работал в пиар-агентстве, выполняя задания банков и корпораций. Прочитал несколько лекций в Академии ФСБ и в МИДе. Сейчас вольный художник, помогает устроителям выставок современного искусства.

Двулистиков закончил читать, сохраняя позу полупоклона.

— Странный пушкинист, — произнёс Лемехов, поднося ко рту чашечку кофе. И в этот момент в зал ожидания вошел Верхоустин, в плаще со следами дождя, с кожаным баулом на колесиках. На бледном лице странно, неправдоподобно светились его васильковые глаза.

— Слава Богу, не опоздал. Шофёр такси не сразу нашёл дорогу. Нечасто летаю правительственными рейсами. — Он пожимал Лемехову руку, и пожатие его было мягким, осторожным, словно он боялся боли.

Пригласили на посадку. Щеголеватый командир корабля перед трапом рапортовал Лемехову. Журналисты с аппаратурой и чиновники с портфелями разместились в основном салоне. А Лемехов и Верхоустин заняли место в переднем отсеке, отделанном кожей и дорогим деревом. Милая стюардесса постелила на столик крахмальную скатерть. Самолёт разбежался, звонко взлетел. Аэродром отпрянул вниз, и открылись тёмно-золотые осенние леса с затуманенными синими елями, тусклый блеск воды. Всё померкло, погрузилось в клубящиеся тучи, плеснувшие в иллюминатор длинные брызги. А потом сверкнуло солнце, и вся угрюмая холодная осень и гнетущий сумрак остались внизу, за непроглядной пеленой. Самолёт летел в прозрачном звоне, окруженный лазурью. На белом крыле переливался лучистый свет.

Стюардесса расставляла тарелки и хрусталь. Раскладывала приборы. Ставила блюда с черной и красной икрой, с ломтями рыбы и балыка. Наливала французский коньяк в хрустальные рюмки.

Они молчали, наслаждаясь легчайшим опьянением, будто кто-то провёл перед глазами нежной рукой, и всё стало ярче, отчетливей.

— Мы сейчас взлетали, и я подумал, какая мучительная красота в этих осенних русских лесах, в сырых полях, — произнёс Верхоустин. —словно твоя душа навеки покидает любимую землю. У нашего знаменитого художника Распевцева есть портрет Раушенбаха в период его болезни. Великий физик в больничном халате, с огромными измученными глазами летит над осенними рощами, седыми озерами, выющимися дорогами. Расстаётся навек с этой прекрасной землёй. Распевцев словно знал, что Раушенбах скоро умрёт, и сделал его прощальный портрет.

Васильковые глаза Верхоустина были мечтательны и печальны. А Лемехов вдруг вспомнил свой недавний визит к президенту. Как в библиотеку слугители внесли портрет в золотой раме, где Лабазов красовался на фоне Медного всадника. И его лицо было исполнено надменного величия...

— Я только что видел картину Распевцева, на которой изображен президент. Слава Богу, его глаза не были измученными и больными.

— Я тоже не верю слухам о его здоровье. Хотя в одной компании, в узком кругу, я слышал, что будто бы по воле президента создаётся тайный проект под названием “Бессмертие”. Президент якобы серьёзно болен и ищет эликсир долголетия или бальзам бессмертия. К проекту привлечены лучшие биохимики, врачи, генетики, молекулярные биологи, специалисты по пересадке органов. Там работают создатели искусственного интеллекта, психологи, специалисты по образам. В проект приглашены богословы, шаманы, последователи Николая Фёдорова, знатоки волшебных технологий. Финансируют проект наши виднейшие олигархи. Кстати, об этом проекте рассказывал Семён Владимирович Братков, который, похоже, и сам участвует в его финансировании.

У Лемехова дрогнуло сердце. Верхоустин со своими младенчески синими глазами словно невзначай опять назвал человека, побывавшего в кремлёвской библиотеке. Это могло быть совпадением, но это совпадение пугало.

— Бессмертие нужно человеку, который осуществляет какой-нибудь громадный, длящийся бесконечно замысел, — Лемехов не обнаружил испуга. — Одной жизни такому человеку не хватит. И второй тоже не хватит. Такой, рассчитанный на вечность замысел осуществляет, должно быть, только Господь Бог. А наши олигархи, такие как Братков, хотят бесконечно вкушать экзотические яства, наслаждаться без устали женщинами, обзаводиться всё большим количеством яхт, машин, самолётов. Но для этого не стоит жить вечно. У президента Лабазова есть большой проект, и для его реализации не хватит одной жизни. Поэтому он ищет себе преемника. Но уж конечно не Браткова.

Верхоустин смотрел в иллюминатор, вёл глазами, и казалось, солнце перемещается за его взглядом. Вот оно проникло в салон и засверкало в хрустальной рюмке. Лемехову было больно смотреть на это сверкание.

— Мало кто из людей способен на большие проекты. Казалось бы, судьба даёт им такую возможность, но они уклоняются, бегут, занимаются пустяками. Один видный чиновник из Администрации президента, кому поручено заниматься внутренней политикой, признался мне, что его не интересует политика, а он всю жизнь, с самого детства коллекционирует фантики от конфет. И у него, должно быть, самая большая в мире коллекция фантиков.

— Как зовут чиновника? — замирая, спросил Лемехов.

— Владлен Леонидович Орех.

Они молчали. Солнце ушло из рюмки, и Верхоустин не пытался вернуть его обратно в хрусталь. Лемехов был подавлен. Странная связь обнаружилась между ним и сидящим напротив человеком. Эта связь была неявной, проявилась она в трёх странных совпадениях, словно Верхоустин каким-то чудесным образом присутствовал там, в кремлёвской библиотеке. Или имел дар ясновидения, о чём, возможно, говорили его странные голубые глаза, которыми он проникал в глубину чужого сознания.

— Россия тоскует по Большому проекту, — сказал Верхоустин. — Она заждалась Большого проекта. Русская история ищет для себя просторное русло, а её загалкивают в мутную заводь. Русская история попала в мутную заводь и ходит в ней по кругу. В этой заводь, где нет протоки, вода застоилась и заболотилась. В ней появилась тина и сине-зелёные водоросли. Уже три десятилетия Россия опутана сине-зелёными водорослями. В неё вцепились раки, жуки-плавунцы, ядовитые личинки. Россия ждёт, когда хлынет вольный поток. Русская история стремится найти широкое русло. — Верхоустин говорил спокойно, и его бледное сухое лицо казалось застенчивым, словно ему было неловко выступать в роли проповедника.

— Повторяю, у президента Лабазова есть Большой проект, — Лемехов изумлялся тому, что сидящий перед ним человек угадывает его скрытые мысли, что его пронизательные голубые глаза разглядели неясные тревоги и разочарования, которые Лемехов гасил в кромешных трудах. — Через час мы увидим, как на воду спускают изделие, переводящее Россию на новую цивилизацию.

— Россия сама — грандиозный корабль, севший на мель. Нужен огромный прилив, непомерная волна, чудовищный удар океана, чтобы Россия сошла с мели. Президент Лабазов чувствует необходимость Большого проекта, но у него не хватает воли. Слишком много душевных и физических сил он потратил на сиюминутные нужды. Слишком часто он упивался властью, играл в неё, используя для исполнения личных капризов. Властью невозможно играть. Она не терпит игры. Она ускользает из рук тех, кто в неё играет. И тогда незадачливый игрок слышит, как в кремлёвские ворота ломаются заговорщики. Он слышит ропот бунта. На него со всех сторон смотрят глаза предателей. И эти глаза ищут, где у него на шее бьётся синяя жилка, чтобы перерезать её.

— Вы говорите так, словно всю жизнь изучали природу власти, — Лемехов чувствовал исходящую от Верхоустина опасность. Эта опасность таилась в синих глазах, одиноко сиявших на бесцветном лице. Эти глаза только что водили солнце, заманили светило в салон самолёта, заключили в хрустальную ловушку. Теперь эти глаза вели его, Лемехова, и он слабо сопротивлялся.

— У меня был в жизни период, когда краткое время я работал референтом идеологического отдела ЦК. С этого скромного места мне открывалась вся картина последней советской схватки. Я видел людей, которые участвовали в схватке. Я помогал тем, кто старался сохранить государство. Я написал им бумагу, которую потом называли историческим манифестом, предвестником путча. Это был переломный момент. Кончился один Большой проект, и Россия нуждалась в другом, не менее великом, чем прежний. Русская история упёрлась в плотину и искала для себя свободное русло. Искала человека, который вместил бы в себя всю мощь исторического потока. Мне казалось, что среди членов ГКЧП есть такой человек, обладающий исторической волей, что его избрала история. Но я ошибся. Среди последних советских вождей не нашлось такого, в ком история обрела бы свой путь к океану. И она хлынула в мелкие, протоки, которые вели в болото. Горбачёв и Ельцин — это мнимые русла русской истории, которые привели её в гнилую заводь.

— А президент Лабазов?

— Казалось, что в нём русский поток обрёл, наконец, свой выход в океан. Но и он оказался мнимым. История отхлынула от него, и мы видим, как на высохшем дне поблёскивают мелкие ракушки его суетливых дел.

Опасность нарастала. Лемехов чувствовал гипнотизм васильковых глаз. Чувствовал, как в его сознание бросают таинственные семена, и они начинают прорастать, грозят превратиться в ядовитый цветок, от которого ядрасточится по всей его жизни, отравит его бытие.

— Кто же может стать руслом русской истории? — невнятно спросил Лемехов.

— Быть может, вы.

С аэродрома колонной машин отправились на завод. Цех — огромное потное чрево, в котором, как громадные зародыши, зреют подводные лодки. Закопченное стальное нутро в ядовитых отсветах, с конвульсиями бегущих огней. Запах горелой стали, газа, сладких лаков, едкой сукровицы, выступающей на бетонных стенах. На стапелях — лодки. Присосались к дышащей матке, наращивают плоть, пульсируют, как ненасытные эмбрионы. Одна — ржаво-красная, покрытая суриком, в сварных пухлых швах, с темными пустыми провалами. У другой — белый титановый корпус с пуповинами кабелей, труб. Она жадно пьёт электричество, газ, сжатый воздух. Третья — чёрная, смоляная — покрыта вязкой резиной, с горбатой рубкой, в которой шипит синее пламя сварки. Винт в корме похож на латунный цветок.

Готовая к спуску лодка — непомерно огромная, как чёрная гора с горбами и выступами. Живая, угрюмая, в устрашающей неподвижности она похожа на гигантский мускул, способный сдвинуть с места планету. На чёрной бортовине — бело-красная славянская вязь: “Державная”, — и драгоценная, как бриллиант на тёмном сафьяне, икона. Люди, собравшиеся у борта, кажутся песчинками, прилившими к глянцевитой коже кита.

Лемехов в пластмассовой каске стоял в окружении адмиралов, конструкторов, представителей министерств и ведомств. Главнокомандующий флотом — седеющий, с бронзовым лицом — взволнованно смотрел на атомную громаду, поступающую в распоряжение флота. Старый академик, автор проекта, бессильный и немощный, опирался на трость. Преодолев недуг, он прилетел сюда полюбоваться на любимое детище. Губернатор — бородатый, лобастый, похожий на медведя, — горделиво оглядывался, давая понять, что такое изделие могло быть создано только в его вотчине. Директор завода, утомлённый бессонными ночами, выглядел счастливым и торжествующим в этот победный час. Владыка был в золотом облачении, которое казалось солнечным слитком на фоне черной, как вар, лодки. Оркестр приготовился дуть в медные трубы, грохотать тарелками, стучать в барабаны. Тут же телеоператоры готовили свои камеры, репортеры мерцали вспышками. Подаль, в белых касках и робах, стояли рабочие, изготовившие эту лодку, которая, забыв о своих творцах, была готова порвать пуповину.

Лемехов уже побывал на лодке, на всех её уровнях, во всех отсеках. Был пропитан запахами краски, лаков, холодной стали. Он прошагал по палубе, где кружились шестнадцать люков, закрывавших пусковые шахты.

Люки напоминали клапаны чудовищной флейты, под звуки которой мир закрывает свои опалённые глаза. Лемехов касался ладонью стальной плиты, за которой таились пусковые шахты, ожидавшие шестнадцать ракет, громадных, как колокольни. Реактор, ещё без топлива, окружённый поясами защиты, будто бы уже испускал таинственное излучение, и Лемехов, заглядывая сквозь тугоплавкое смотровое стекло, чувствовал сверхплотный сгусток энергии, который толкнёт эту громаду во тьму подводных течений.

Он первым подошел к микрофону, и его слова, металлически-четкие и звенящие, улетали в даль цеха, сливаясь с туманным эхом.

Ему аплодировали. Вспыхивали блицы, мерцали окуляры. Лодка слушала его. Казалось, она хотела запомнить эту речь своей угрюмой памятью, чтобы унести с собой в чёрные глубины.

Вторым говорил академик. Он опирался на палку. Руки его тряслись, в голосе дребезжало множество трещинок:

— Такой лодки нет у американцев. В этом я вас уверяю. Построив эту лодку, мы обеспечили мир нашим детям и внукам. А я уже дед восьми внуков. Может быть, она всплывет ненадолго у Калифорнии и передаст американцам наш пламенный привет. Эту лодку мы продолжали строить в самые чёрные годы — чернее не бывало! Строили бесплатно, натошак. Многие не дожили. Они бы сейчас порадовались. Порадовались бы и наши великие флотоводцы, такие как адмирал Горшков. Жизнь кончается, а замыслы продолжают рождаться. Хорошо, что в науку идут молодые. Очень хорошо, — академик закашлялся, из старческих глаз его потекли слёзы, и он отошел в сторону, опираясь на трость.

Лодка слушала его, и казалось, на её чёрных бортах, как барельефы, проступают лица учёных, инженеров, адмиралов, и среди них — тяжёлое, с насупленными бровями лицо адмирала Горшкова.

Говорил Главком флота. Его бронзовое лицо было властным и торжественным. Лодка поступала в его распоряжение, резко наращивая мощь военно-морских сил. Она пополняла стадо, которое паслось в мировом океане. Он знал, в какие районы мира уйдёт стратегический крейсер, невидимый для спутников и самолётов противника, не оставляющий среди течений ни звука, ни тепловой борозды, ни следов радиации. Лодка была воплощением войны и гарантом мира, и эта двойственность странно присутствовала сейчас в лице Главкома.

Выступал губернатор. Его короткая борода упрямо торчала. Ноги, когда он подходил к микрофону, слегка косолапили, и это ещё больше усиливало его сходство с медведем.

Владыка, сияя облачением, приступил к освящению лодки. Его иконописное лицо было строгим и благоговейным. Голос рокотал, взлетая к стальным перекрытиям цеха. Чёрная махина молча внимала ему.

— Господи Боже наш, седяй на серафимах и ездяй на херувимах, мудроستی украсивый человека, ниспосли благословение Твое на судно сие и Ангела Твоего к нему пристави, да шествующие в нем им хранимы и наставляеми, в мире и благополучии путь свой совершивши.

Владыка принимал из рук священника крошило, окунал в чашу с водой, крошил лодку. Брызги летели в собравшихся. Лемехов, чувствуя на лице холодные капли, думал, что молитва уплывёт вместе с лодкой в пучину, сбережёт экипаж среди смертоносных стихий.

Директор завода замахал руками, подавая знаки рабочим в касках. Сразу три бутылки шампанского разбились о корму, нос и борт лодки, брызнули стеклом и белой пеной под крики “ура!”. Сверкали вспышки, операторы сновали вдоль борта.

Заместитель Двулистиков подал Лемехову кусок мела. Лемехов подошёл к чёрному, нависшему борту и старательно, крупными буквами, как школьный учитель на доске, вывел надпись: “Не валяй дурака, Америка!” Все вокруг ликовали, хлопали. Операторы и фотографы снимали эту хлесткую имперскую надпись.

Оркестр грянул государственный гимн, и над лодкой стал подниматься трехцветный флаг, чтобы потом, когда лодка, пройдя все испытания, посту-

пит на вооружение флота, над ней вознёсся, заструился своим синим крестом Андреевский стяг.

Медленно растворялись ворота цеха. В тёмный металлический цех ворвались ветер и свет. Осеннее солнце играло на далёких водах, и в тусклом серебре металась чайки. Лодка дрогнула, словно почуяла стихию, которая ждала её, чтобы принять в свои сокровенные глубины. Заскрипели невидимые катки, задрожали железные фермы, и под медный гул, звяканье тарелок и бой барабана лодка пошла из цеха.

Лемехов заворуженно смотрел на движение выпуклого бархатно-чёрного борта, на драгоценную надпись: “Державная”. Непомерная тяжесть, слепая мощь перемещались под воздействием неведомой воли, чтобы наполнить мир своим чудовищным механизмом, передвинуть ось, вокруг которой вращается шар земной.

## Глава пятая

После торжественной церемонии состоялся фуршет. В здании заводоуправления были накрыты столы, расставлены мясные и рыбные закуски, фрукты, бутылки. Толпились инженеры, конструкторы, начальники цехов, мастера. Среди пиджаков и галстуков мелькали морские мундиры. Батюшка, служивший в заводском храме, блестел золотым крестом. Разливали напитки, чокались, преодолевая смущение, шумели, гомонили. Раздавался смех, здравицы.

Главнокомандующий флотом выпил не одну рюмку водки, и его широкоскулое лицо было фиолетово-красным, словно его обожгли ветры всех широт.

— А я вам говорил, Евгений Константинович, и опять говорю. Для полноценных военно-морских операций каждый наш флот должен иметь палубный авианосец. Подсчитано, что в акваториях Чёрного, Средиземного, Балтийского, Баренцева моря, в районах Тихого океана Россию ждёт с десяток локальных конфликтов. Без авианосцев эти конфликты не разрешить. Я очень прошу убедить президента включить в программу перевооружения строительство авианосцев.

— Я говорил об этом с президентом. Он понимает проблему. Он распорядился искать верфи для размещения подобных заказов.

Их рюмки звякнули, и главком выпил, высоко, по-офицерски подняв локоть.

Подошёл, косолапая и сутулясь, губернатор, похожий на матёрого медведя.

— Конечно, Евгений Константинович, нашему президенту виднее, но я бы на его месте сделал вас председателем правительства, и оно бы заработало без пробуксовок. России нужен разбег, а то мы застоялись. Когда Россия стоит, в ней всякая муть заводится, всякие Болотные площади, народ начинает дурить. Вот вы бы России дали разбег, пнули её хорошенько, и она от этого пинка снова станет великой державой.

— А вы не боитесь, что от этого пинка многие губернаторы полетят кувырком?

— А и правильно, пусть летят. Пусть и я полечу, если не справляюсь. Как раньше пели: “Была бы только Родина / богатой да счастливою”. Нужен, нужен пинок, а иначе начнём дурить. Об этом и президент говорит. За здоровье нашего президента! — он выпил водку и отошёл, покачиваясь, обходя невидимые препятствия, как, должно быть, медведь обрывает лесные кочки.

К Лемехову подошёл его заместитель Двулистиков, держа в руках рюмку с водкой. Было видно, что это не первая рюмка. Его маленькие глазки, окруженные красными веками, возбужденно блестели; утиный нос порозовел, и на нём выступили микроскопические капли пота. Плотно прижатые хрящевидные уши были белыми, словно от замороженные, а мочки налились пунцовым жаром. Он был возбуждён и, как всегда в такие минуты, от него пахло едким уксусом, запах которого был бесценен перебить дорогой одеколон.

— Женья! — Двулистиков обратился к Лемехову по имени, ибо это был тот редкий случай, когда Двулистиков пренебрегал субординацией. Ему хоте-



лось вспомнить их студенческие отношения. — Женья, ты великий человек! Как ты мог догадаться и написать на лодке: “Не валяй дурака, Америка!”? Теперь эта наша “Державная” всплывет где-нибудь у Флориды, и американцы сбегутся на набережную Майями, чтобы прочитать этот привет из России! Подумают, что это предупреждение самого президента Лабазова! Я всю жизнь иду за тобой, зная, что ты не ошибёшься, что, следуя за тобой, я следую правильным курсом, что моя судьба повторяет твою судьбу. Я иду за тобой след в след: читаю книги, которые ты читал, покупаю костюмы в тех же бутиках, что и ты. Люблю, как и ты, золотистых блондинок. Занился охотой, потому что ты охотник... Тебя любит Боженька, он тебя по жизни ведёт. А за тобой и меня. Тебя Боженька высоко посадит, с собою рядом. Ты, Женья, станешь президентом. У тебя нет соперников, потому что тебя Боженька любит. А значит, и меня. Мне за тобой вверх взлетать, а крылья есть у меня? Взлечу ли? Ты меня с собой заведи, я тебе и там пригожусь. Заберёшь, Женья?

Двулистиков страшно разволновался, на глазах его заблестели слёзы, водка выплескивалась из рюмки. Лемехову были неприятны и капельки пота на его утином носу, и шевелящиеся уши, и запах возбуждённого зверька. Но эти физиологические недостатки искупались искренней преданностью, которая находила себе подтверждение в бесчисленных перипетиях каждодневной борьбы.

— Много рисков, Лёня, — усмехнулся Лемехов, — много опасностей. Чем выше взлетаем, тем больше падать. Давай не думать, куда нас Боженька вознесёт. Давай его молить, чтобы он нас отсюда не сбросил.

— Я тебе говорю, ты идёшь в президенты. А насчёт опасностей и рисков — положишься на меня. Я тебя не предаю. Пулю, которая в тебя полетит, на себя возьму. Вместо тебя хоть в тюрьму, хоть под пулю. Ты великий человек. Тебе служить — значит, Боженьке служить. Люблю тебя! — Двулистиков потянулся, было, желая поцеловать Лемехова. Вытягивал губы для поцелуя, но Лемехов отстранился, вынес вперёд бокал. Двулистиков поцеловал бокал, а потом залпом выпил свою водку. Отошёл, покачиваясь и блаженно улыбаясь.

На Лемехова смотрели васильковые глаза Верхоустина, и Лемехов вдруг подумал, что всё это время ему хотелось заглянуть в глубину этих колдовских васильковых глаз.

— Я заметил, как вы провожали взглядом скользящую лодку. Казалось, что ваш взгляд сообщает ей движение. Это походило на телекинез. Вы способны перемещать зрачками тысячи тонн, — Лемехов благодушно улыбался, шутил, но сам старался понять, какая сила исходит из этих глаз, синева которых напоминала небо в мартовских берёзах. — Может быть, вас пригласить для участия в каком-нибудь оборонном проекте? Скоро будем сдавать вторую подобную лодку, в честь иконы Казанской Божьей Матери.

— Поверьте, лодку построят и спустят на воду без меня. Обойдутся. А вот без вас не обойдутся, — лицо Верхоустина оставалось таким же бледным, и только губы стали розовой от вышитою красного вина. — Вы руководили строительством лодки, а, по существу, руководили государством: тысячами заводов, лабораториями и научными центрами, где вы встречались с интеллектуалами; армиями рабочих и инженеров, которых нужно было готовить и направлять в дело; городами, регионами, железными дорогами, портами — всей инфраструктурой страны, замкнутой на эту громадную верфь. Идеология оружия, без которой невозможен осмысленный труд; финансовая политика, без которой невозможно перевооружение; внешняя политика, которая, в конечном итоге определяется количеством лодок и стратегических ракет; внутренняя политика, которая требовала непрерывных схваток с пацифистами, либералами-западниками, коррупционерами, врагами модернизации... Всё было в ваших руках. Управляя строительством лодки, вы управляли Россией. В сущности, вы исполняли президентскую роль.

— Вы заблуждаетесь. Я исполнял поручение президента. Я тот, кто выполняет задания президента.

— В обычных условиях это было бы так. Но сейчас, когда задвигались тектонические платформы, когда вновь приблизилась катастрофа, вы выполняете поручение Государства Российского. Поручение русской истории. Лод-

ка, которую вы спустили на воду, освящена именем Державной Божьей Матери. Я помню, как вы молились перед этой иконой в храме. Как молились на неё здесь, на верфи.

— Это слишком пафосно. Я чиновник правительства и не мыслю подобными категориями.

— Вам и не нужно ими мыслить. За вас мыслит сама история. Лодки, которые вы строите, — “Державная”, “Казанская”, “Владимирская”, “Тихвинская” — это иконы русской цивилизации. В океанской пучине, во тьме морской они сберегают Россию. Делают русское оружие святым. Лодки, носящие имена православных икон, и их экипажи — это подводные монастыри, где совершается молитва, сберегающая Россию. Вам проведение поручило мессианскую работу по спасению Государства Российского.

Через два дня они стояли на палубе эсминца, который вышел в море, в район полигонных стрельб. На мостике сигнальщика скопились конструкторы и творцы ракеты. Директора головных предприятий, создававших её основные узлы. Учёные-баллистики и специалисты по твёрдому топливу. Адмиралы и офицеры флота, в нетерпении ожидавшие нового оружия. Испытатели, установившие на корабле системы слежения и контроля.

Лемехов в штурмовке, отороченной волчьим мехом, вдыхал сочный морской воздух, смешанный с запахом соларки. На серой стальной стенке в помощь сигнальщику чёрной краской были начертаны силуэты американских самолетов, контуры эсминцев, фрегатов и крейсеров. Море было серым, в тревожных волнах, на которых внезапно загоралось злое полярное солнце. На горизонте туманились корабли охранения, оцепившие район испытаний. Стрекотал вертолёт, облетавший эсминец. В туманах, в лучах, в переливах металла чайки. И где-то в глубине притаилась лодка. В шахте была готова к пуску ракета. Уникальная, сверхскоростная, способная стремительно преодолевать начальный отрезок траектории, уязвимый для противоракетных систем противника. Начинённая кассетой термоядерных зарядов, которые, приближаясь к континенту врага, рассыпались веером. Маневрировали, окружая себя облаком помех. Ускользали от ракет-перехватчиков, накрывая своим гибельным ударом огромные пространства чужой территории.

Ракета шла трудно. Её строительству сопутствовали неудачи. Пуски кончались авариями. Ракета взрывалась тут же, над морем или сходила с траектории и не достигала цели. Или вовсе не выходила из шахты. Гигантские коллективы лихорадило. Панически искали виновных. Премьер-министр грозил отстранить от работы генерального конструктора или закрыть проект. Президент при встречах с Лемеховым глухим голосом спрашивал, соответствует ли генеральный конструктор занимаемой должности.

Теперь, на палубе эсминца Лемехов слушал генерального конструктора, одетого в грубую брезентовую робу, из которой торчала худая голая шея, какая бывает у общинной курицы. Его губы были покрыты фиолетовыми пятнами, будто он их искусал. На измождённом лице торчал большой крючковатый нос, напоминавший экзотический клюв. В тёмных кругах, глубоко утонувшие в глазницах, тревожно блестели глаза. В них была мука бессонных ночей, тоска ожидания очередной неудачи и непоколебимое упорство творца, верящего в истинность своих изысканий.

— Я знаю, Евгений Константинович, какие разговоры ведутся в правительстве относительно ракеты. Дескать, выбрано ложное решение, тупиковый проект, надо сворачивать работы и передавать тематику другому институту. Но я говорил и говорю: конструкция ракеты безупречна. Такой не будет ни у них, ни у нас. Это прорывное направление, на которое указывали отцы-основатели. Виновата не конструкция, а технологическое исполнение на заводах.

— Но вы же, Климент Иванович, посещаете заводы-изготовители. Вы не можете указать им на узкие места?

— Узкие места известны. Это исчезновение целых технологий, которых мы лишились за время катастрофического простоя. Это допотопная элементная база, некачественное стекловолокно, отставание в производстве порохов. Тридцать лет нас уничтожали, как вредителей, а теперь в три года мы хотим построить шедевр. Так не бывает, Евгений Константинович.

— Но ведь отцы-основатели могли! Хотя у них не было под рукой совершенных технологий и безупречного станочного парка, но они создавали шедевры!

— Тогда, Евгений Константинович, был Сталин, был Берия, была партия, и был канун мировой войны. Не сделаем ракету — от страны угольки останутся...

— Теперь то же самое, Климент Иванович.

Генеральный конструктор был из тех, кто молодым инженером прошёл великую школу, где учителями были грандиозный Королёв и непревзойдённый Глушко, гениальный Уткин и прозорливец Челомей. Те, кто ставил первые ракеты в лесах и на горах, опускал их в шахты и размещал на железнодорожных платформах. Успевал вооружить государство, прежде чем на страну упадут термоядерные бомбы Америки. Эта школа, достигнув расцвета, стала гаснуть с уходом великой плеяды, стала ветшать вместе с дряхлеющим государством. А когда государство пало, школа подверглась разгрому. Победители, покорив страну, рыскали по ней, уничтожая оружие. Закрывали заводы и институты, лишали финансирования конструкторские бюро и научные центры, вывозили за границу секреты, резали недостроенные космические корабли. Переманивали талантливых инженеров, которые трудились теперь в лабораториях Америки, создавая гибельное для России оружие.

— Климент Иванович, вы должны продолжать работу, не слушая сплетен. Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Таких специалистов, как вы, у России раз-два — и обчёлся. Мы должны беречь вас, как драгоценность. Вокруг вас собирается талантливая молодёжь. Вы передаете ей великие традиции Королёва. Я верю в вашу ракету. Она полетит. Сейчас полетит, потому что мир устроен так, что она должна полететь! — Лемехов пожал конструктору холодную стариковскую руку, и круглые глаза подвижника благодарно замерцали.

Приближалось время пуска. Командир корабля в рубке отдавал приказания, и его слова тонули в тихом рокоте двигателя. Вертолёт облетел эсминец и опустился на корму в оранжевый посадочный круг. Люди всматривались в туманную даль, наводили бинокли туда, где должна была, распарывая море, появиться ракета.

Лемехов увидел Верхоустина. Тот в стороне, не смешиваясь с другими, смотрел в море. Его глаза — немигающие, яркие — казались огненно-синими. Его зрачки испускали лучи, которые, казалось, проникали сквозь воду, находили в пучине притаившуюся лодку, извлекали её на поверхность. На мгновение Лемехову почудилось, что он видит лодку, висящую в стеклянной воде. Верхоустин устремлял в морскую глубину свою волю, выпрыскивал в море потоки энергии. И эти колдовские потоки омывали лодку, проникали сквозь обшивку, окружали экипаж, реактор, ракету незримым свечением.

По громкой корабельной связи начался обратный отсчет:

— Десять, девять, восемь, — будто звонкий молоток бил в корабельное железо.

Лемехов видел, как замерли люди, как лицо генерального конструктора обрело молитвенное выражение, словно он видел парящую над морем икону.

— Семь, шесть, пять...

Лемехов чувствовал, как все его жизненные силы и помыслы сосредоточились на далёких морских туманах с проблесками чаек: там должна была появиться ракета. Он верил в счастливый пуск. Переносил в ракету свои страстные упования, честолюбивые устремления, суевренные ожидания. Отождествлял с ракетой, с её громадной мощностью и совершенной конструкцией свою судьбу. Сопрягал с её траекторией свой жизненный путь, стремление к туманной, неясной, но пленительной цели.

— Четыре, три, два...

Верхоустин был страшно бледен. Вцепился в поручень палубы. Лемехову казалось, у глаз его полыхает синий факел. Генеральный конструктор был похож на птицу, готовую взмыться в небеса или рухнуть, попав под выстрел.

— Один...

“Державная”, помощи! — успел подумать Лемехов, прижимая к глазам бинокль.

На море, на серых водах, забелело пятно. Расширилось, заблестело, как всплывающая медуза. Взбухло, словно шапка гриба. В кипятке, в раскалённых пузырях, протыкая море, стала подниматься стеклянная колокольня. Сбрасывала пышные клубы, лизала море огненным языком. Держалась мгновенье, рассылая во все стороны лучи и грозные рокоты. Прянула ввысь, пробивая в тучах полыню. Ушла, унося с собой огненный хвост, который превращался в огромный перламутровый цветок, в кольца трепещущих радуг. Гул умолкал, утекал тихим звоном вслед за ракетой. Полыня в облаках смыкалась, и только на море оставалось ослепительное пятно.

Все молчали, нервно смотрели на часы, пока, по истечении времени, металлический голос не произнёс:

— Ракета вышла на расчётную траекторию.

Все восхищённо ахнули. Кинулись поздравлять генерального, обнимались, били по рукам, словно кушцы, заключившие сделку. И вдруг все обернулись к Лемехову. Бросились к нему, подхватили. Стали подбрасывать. Он хохотал, взлетая, видя поручни палубы, плещущее море. Падал на подставленные упругие руки.

— С победой, Климент Иванович, — Лемехов подошёл к главному конструктору. Тот молча кивал, улыбался. Глаза его были в слезах.

Все спускались с мостика, торопились в кают-компанию, где уже разливали шампанское. Лемехов задержался на палубе. Вдалеке на море трепетало серебряное пятно, словно мерцающий божественный образ. Лемехов навёл бинокль, ожидая увидеть отражённый на водах лик Богородицы. И там, в серебре, чёрной горой всплывала лодка. В бинокль были видны её зализанные борта и горбатая угрюмая рубка.

## Глава шестая

Теперь, когда оборонная программа завершилась, спуск на воду стратегической лодки и ракетные стрельбы состоялись, Лемехов собирался отдалиться своей давней страстной утехе — охоте. Он позвал с собой Верхоустина. Тот сразу согласился.

Вертолёт пролетал над красными и золотыми лесами, над тёмной еловой тайгой, среди которой пламенели драгоценные оклады, ожерелья, таинственные, золотом писанные узоры. Озёра были в солнечной ряби, из которой вдруг поднимались испуганные белые лебеди. Реки, студёно-голубые, возникали в лесах, и было видно, как несутся по ним тёмными стрелками утки, вздымая на воде буруны.

Вертолёт снизился над чёрной, с большими избами деревней, миновал её и опустился на сырой опушке, где стоял одинокий охотничий дом. Лемехов, Верхоустин и два неотступных охранника нырнули под винты, прихватив баулы и чехол с карабином. Оглянулись на удалявшийся вертолёт и пошли к дому, где их встречал егерь. Он был в засаленной фуражке, неряшливом камуфляже, ловкий, вёрткий, с коричневым, древесного цвета лицом. Пожимал гостям руки своей твёрдой пятернёй, истёртой о топорница и охотничьи ножи, ружейные приклады и звериные шкуры.

Егеря звали Макарычем. Вокруг него вились две лайки с круглыми, как крендели, хвостами. Он ввёл гостей в дом. Здесь было чисто, из бревенчатых стен торчал мох, вокруг суков на потолке блестела смола. Печь была белой, с чёрным закопченным зевом, и от неё пахло сладко, как в церкви.

Деревянный стол без скатерти был уставлен едой. Большое блюдо с ломтями тёмного мяса (“Лося третьего дни завалили”, — сказал егерь). Печёная тетёрка, чья костлявая шея не помещалась на блюде, а в раскрытом клюве её торчала красная брусничная веточка. “Их нонче столько, что сами к крыльцу бегут, в печь просятся”, — комментировал угощение егерь. Миски с клюквой, черникой, моршшкой. Грибы отварные, солёные: “Косой коси — на утро опять встают!” Блестели бутылки с настойками, и в одной на дне розовели выпцетвшие ягоды, в другой утонул белесый корень.

— Что Бог послал, Константиныч, — егерь двигал к столу лавки. Низкое солнце положило на бревна два янтарных мазка.

Ели с удовольствием дичь, пили пьяную настойку. Макарыч накидал в печь поленьев, и жаркое пламя лизало свод, дрова трещали, сыпали угли, дышали жаром. Под потолком висела деревянная птица с распушёнными веером крыльями из тонких расщепленных пластин. Тёплый воздух долетал до птицы, и она кружилась на бечёвке, поводила пышными крыльями.

— Этот медведь, Константиныч, больно хитёр, — егерь запынял и пустился в объяснения. — От выстрела уходит, Константиныч. Он в едем деле дохтур. Он на овёс придёт, на жопу сядет и лапами овёс к себе загребат, сосёт. А сам глазами туды-сюды, туды-сюды. Чуть не по его — драпать! Он семилетка, переросток, молодых медведей обижает, к медведицам не пущат. Пора его бить, Константиныч, молодёжи путь открывать. А то непорядок.

Лемехов сладко опьянел от вкусной настойки. В тетеревином мясе ему попалась дробинка, и он выложил её на стол. После грозного железа, ревущего огня, свистящих скоростей славно было оказаться в деревянной избе, среди тёплых ароматов, потрескивающих дров, под таинственной птицей, распушившей хрупкие крылья.

— Ты, Константиныч, бей наверняка. Лучше промахнуться, чем зацепить. Раненого отпустишь, он тебе мстить будет. Медведь зло помнит и обидчика не отпускает. У нас в деревне Василий Егорович жил, так себе охотник. Кабана, лося достанет, а чтобы медведя — то нет. Раз на него медведь вышел, и Василий Егорович его картечью цапнул. Не убил, а ранил, и медведь от него в тайгу убёг. Отлежался, всяки травы, ягоды ел. Встал на ноги и начал Василию Егоровичу мстить. Пришёл в деревню и забор его повалил. Потом корову его на лугу задрал. Потом бабу его украл. Баба его в тайгу по грибы пошла и пропала, ни платка, ни корзины. Василий Егорович чувствует, что медведь к нему самому подбирается, собрал вещички, да в Архангельск утёк. Так медведь его и там достал. Раз пришли к Василию Егоровичу на квартиру, а он задранный лежит, и следы от когтей. Во как!

Они ещё посидели, пока не стемнело. Егерь запалил керосиновую лампу и стал собираться.

— Пошёл в деревню к бабе. А вы ночуйте. Мы, Константиныч, после обеда с тобой пойдём. Сперва на вездеходе тебя доставлю, а там как хошь: с тобой пойду до Белой пади или ты сам до овсов добирайся. Там вышку найдёшь, — и ушёл, стукнув дверь. Охранники тоже ушли спать на другую половину дома, а Лемехов с Верхоустиным остались в тёмной горнице среди танцующих отсветов и теней.

— Эта деревянная птица — голубь, образ Духа Святаго, — Верхоустин кивнул на потолок, под которым качалась, плавно крутилась на нитке загадочная птица. — В северных деревнях, населённых старообрядцами, таких голубок вешали над люльками новорожденных, и на них сходил Святой Дух. Над вами, Евгений Константинович, дышит Дух Святой.

— Откуда вы знаете про северные деревни? — Лемехов заворуженно следил за волшебным парением птицы, распушившей на потолке пернатые тени.

— В молодости я путешествовал по русскому северу, собирал старинные песни. Было время, когда я знал сто песен, которых не сыщешь ни в одном фольклорном сборнике. Я привозил эти песни в Москву. Мы их разучивали с друзьями и пели хором.

— Вы пели в хоре?

— Кто никогда не пел хором, тот лишил себя неповторимых переживаний. Северные песни долгие, монотонные.

— Русские песни, как и Пушкин, открывают в человеке забытые коды. Соединяют дух с источниками неисчерпаемой энергии. Делают народ-карлик народом-великаном. Подводные лодки, баллистические ракеты и русские песни делают народ непобедимым.

— А вы бы не могли мне спеть какую-нибудь северную песню, — попросил Лемехов, зачарованный летящими по избе волнами тепла и света, колдовским пернатой тени, колдовским взглядом Верхоустина. Казалось, это он зрачками своими тихо раскачивает деревянную птицу.

Верхоустин отвёл взгляд от птицы, устремил его сквозь бревенчатые стены в сырую ночь, где, невидимые, стояли золотые леса. Лицо его побледне-

ло, словно отпрянула кровь. Тонкий нос болезненно заострился, как у смертельно больного. Глаза остановились и замерли, наполнились мерцающим светом и стали похожи на два голубых прозрачных кристалла. Он приоткрыл рот и стал вдыхать воздух, будто собирался сделать последний вздох. Брови его болезненно приподнялись, и он издал звук, похожий на стон, на скрип сухого лесного дерева, на трескучее карканье одинокого ворона.

Лемехов испугался этого нечеловеческого, тоскливого звука. Оцепенел, словно его лишили воли...

*И где кони?  
И где кони?  
Они в лес ушли.  
Они в лес ушли.*

Звук исходил не из груди человека, а из глухого дупла, в котором гнездились два неведомых существа. Одно уныло вопрошало, а другое печально и отрешённо отвечало. Одно мучило другого вопросами, а другое отвечало покорно и обречённо:

*И где тот лес?  
И где тот лес?  
Черви выточили.  
Черви выточили.*

Голос внезапно окреп, словно в сухое русло хлынули воды. Казалось, число поющих умножилось. Лемехов вдруг увидел свою детскую книжку с лубочной картинкой Билибина: витязь в кольчуге и шлеме, ворон на камне, далёкая заря над лесом. Побежали видения, одно за другим, словно их извлекали из запечатанной памяти и разбрасывали, как драгоценные карты. Вот бабушка с седой головой раскладывает пасьянс, выкладывая на скатерть нарядных дам и валетов. Вот мама, молодая и гибкая, вешает над столом разноцветный светильник, а за окном на водосточной трубе расцвела гроздь голубых сосулек, как ледяное соцветье. Цветные пылинки в луче горячего солнца, он ведет своей детской рукой по узорам ковра и изумляется видом своих розовых пальцев и маленьких нежных ногтей.

*И где черви?  
И где черви?  
Они в гору ушли.  
Они в гору ушли.*

Вот деревенская девушка в ситцевом платье провожает его до околицы, дарит на прощанье цветок розовой мальвы, чтобы больше никогда с ним не встретиться. Вот молодое лицо отца склонилось над детской кроватью, и он ликует в своём утреннем пробуждении, он так благодарен отцу, так любит его родное лицо...

*И где гора?  
И где гора?  
Быки выкопали.  
Быки выкопали.*

*И где быки?  
И где быки?  
Они в воду ушли.  
Они в воду ушли.*

Лемехов почувствовал, как стало тяжело в груди, набежала муть, стало тоскливо. Спираль, на которой была записана его судьба, оборвалась и померкла. Райское блаженство, волшебное чудо казались недостижимыми.

Клубящийся ком тьмы окутал его. Из этой тьмы стали падать, подобно камням, воспоминанья, о которых он старался забыть, но звуки угрюмой песни вырывали их из мглы, и они падали, как раскалённые метеориты.

Собака, которую он купил, мечтая иметь рядом преданное добродушное существо... Он застрелил её в приступе слепой ярости, когда она загрызла деревенского индюка. И теперь видел её, милую, весёлую, со смеющимися глазами, за секунду перед тем, как он спустил курок. Жена, беременная, стояла у крыльца рядом с цветущими флоксами. Он уговаривал её отказаться от ребёнка, который будет мешать их молодой, неустроенной жизни. Жена согласилась, бессильно побрела от крыльца и плакала одна в беседке.

*И где вода?  
И где вода?  
Гуси выпили.  
Гуси выпили.*

Как тучи, толпились кошмары. Мерещились грядущие войны, горящие здания, окровавленный асфальт площадей. Пулемёты гнали толпу, били из окон снайперы. Государство качалось и корчилося. Сражались ватаги и банды, самозванцы стремились в Кремль. Пронзённые торпедами, тонули подводные лодки, выплёскивая из реакторов огненный яд. Лучи дальнобойных лазеров сбивали ракеты, жалили в небесах самолёты, жгли и плавил танки. Взрывались плотины и дамбы, и ревущий поток сметал города и селенья.

Песня гудела, как звук поднебесной трубы. Синеглазый пророк возвещал окончание мира, и в синих кристаллах его глаз переливалась прозрачная смерть.

*И где гуси?  
И где гуси?  
Во тростник ушли.  
Во тростник ушли.*

Лемехов стремился туда, где было спасенье от грядущих напастей и бед, но упорная сила возвращала его обратно, захватывала в колдовскую спираль, водила кругами, и он плутал в лабиринте среди синих кристаллических вспышек.

*И где тростник?  
И где тростник?  
Девки выломали.  
Девки выломали.*

Он пребывал в дурной бесконечности. Был деревянной чуркой, которой перебрасывались два лесных колдуна. Один колдун задавал дурные вопросы, а второй находил ответ, из которого возникал новый дурной вопрос. Эти вопросы и ответы сводили с ума, заставляя рассудок двигаться по порочному кругу, рождали безумие.

*И где девки?  
И где девки?  
Они замуж пошли.  
Они замуж пошли.*

*И где мужья?  
И где мужья?  
Они померли.  
Они померли.*

Он вдруг нашёл в лабиринте малое ответвление, едва заметный ход, который уводил из заколдованной спирали, сулил избавление. Он дождался,

когда в песне прозвучал и оборвался очередной вопрос, и ещё не прозвучал ответ. Нырнул в этот ускользающе-малый проём между звуками и услышал, как у него за спиной проревел вихрь и, не найдя его, умчался по жуткой трубе.

Он втискивался в спасительный ход, ввинчивался в него плечами и бёдрами. Застривал, закупоривал его своим телом. Ужасался тому, что так и останется в нём навсегда.

*И где гробы?  
И где гробы?  
Они погнили.  
Они погнили.*

И этот последний ответ был чудесным и долгожданным: он прерывал мучительное кружение, разрывал порочный круг бытия.

Они сидели молча, словно хотели привыкнуть к новой, возникшей между ними близости.

— Вы станете президентом России, — тихо произнёс Верхоустин.

Пернатая тень скользила по потолку. На столе в стеклянной бутылке блеснула зелёная искра. Тетёрка на блюде уронила мёртвую голову, и в раскрытом клюве её краснела ветка брусники.

— С какой стати? — раздражённо сказал Лемехов, — У России есть президент — Юрий Ильич Лабазов.

— Это лишь видимость. Он ещё значится президентом, но это лишь тень. Из этой тени на свет выступает другой человек. Это вы, Евгений Константинович Лемехов.

— Вы живёте в области мифов и хотите, чтобы другие верили вашим мифам. Перестаньте говорить ерунду.

— Математический институт Академии наук по моей просьбе произвёл моделирование политического процесса в России с целью выявить будущего президента. Исследовались общественное мнение, интересы элит, конфликтные потенциалы, динамика карьерного роста, уровень поддержки тех или иных фигур в среде военных, спецслужб, Церкви, научной интеллигенции, гуманитарных кругов. Все линии сошлись на вас.

Лемехову казалось, на лбу его дрожит красная точка. Он чувствовал прикосновение луча, за которым последует выстрел. Погасит малиновый зев печи, тень деревянной голубицы, лицо Верхоустина. Что-то грозное и смертельно опасное приблизилось и стояло за тёмными стёклами, откуда протянулся ко лбу невидимый луч.

— А что будет с действующим президентом? — спросил Лемехов, и сам испугался вопроса, как если бы уже мысленно согласился с Верхоустиным.

— Лабазов завершился. Время его истекло. Господь от него отвернулся.

— С чего вы взяли? Наоборот, его время настало. Он долго медлил и, наконец, приступил к долгожданным преобразованиям. Я один из его соратников, кто совершает эти преобразования.

— Он не успеет совершить преобразования. Он болен. Дни его сочтены.

Лемехов боялся Верхоустина. Тот своими синими лучами проникал в потаённые глубины его сознания, где таились запретные мысли, искусовые мечты, честолюбивые ожидания.

— Я не хочу вас слушать. Ваши фантазии опасны и рассчитаны на слабоумных. Вы, случайно, не глава тоталитарной секты, который улавливает в свою общину психически обездоленных людей?

— Вы должны принять решение. Это не терпит промедления. По России будет нанесён удар сокрушающей силы. Не ракетами, не самолётами, не подводными лодками. Это новое оружие, которое разжижает хребет государства. Подтачивает все идеалы. Оскверняет все ценности. Умалчивает все достижения. Ссорит элиты. Возмущает народ. Выбивает лидера, как выкальывают из свода замковый камень, и свод осыпается, погребает под собой страну и народ. По Лабазову нанесут уничтожающий удар. Опубликуют роковой рентгеновский снимок. Подвергнут его психическим атакам, используя всю мощь информационных технологий, экстрасенсорных ударов, клеветы



ту, слухи. Родятся книги о президенте-маньяке, комиксы о президенте-сади-сте, рок-оперы о президенте-придурке. Лабазов не выдержит удара: он или умрет, или сбежит из Кремля. И тогда начнётся самое ужасное: борьба за власть разных кланов, резня на Кавказе, восстания народов. Это создаст неуправляемый хаос, который приведёт к падению Государства Российского, теперь уже навсегда, потому что обломки страны растащат Китай, Турция, Европа, Америка. И там, где была тысячелетняя Россия, останется кратер, как от падения метеорита-гиганта.

— Так не будет, — слабо прошептал Лемехов, — такое невозможно.

— Вы должны подхватить замковый камень и не дать своду рухнуть. Вы тот новый замковый камень, который будет вставлен взамен прежнего. Ваша миссия — спасти Государство Российское. Для этого вас сотворил Господь, дал вам жизнь и дыхание. Вы должны стать президентом России.

Лемехов вдруг почувствовал пьянящую сладость, восхитительное озарение. Его тайные предчувствия сбывались, сокровенные мечты вырывались к свету. Он избранник. На нём перст Божий. Он замковый камень русской истории. И это говорит ему не синеокий пророк, а внутренний голос, подобный голосистой трубе, которая трубит его час.

— Но как я стану президентом России?

— Вас безоговорочно поддержат оружейники и промышленники, — продолжал Верхоустин, — вас поддержат армия и спецслужбы, вас поддержит Церковь, вам поверит интеллигенция. Мы создадим новую партию. Весь мой опыт социального конструктора, системного аналитика, специалиста по гуманитарным технологиям я отдам вам. Мы построим партию нового типа, партию Большого проекта, партию Русской Победы.

— Всё бред. Пора спать. Вам постелили за стенкой.

Они разошлись по разным половинам избы. Лемехов накрылся тяжёлым стеганым одеялом и быстро уснул, но сон его был тревожным и тягостным. Ему снилась ночная дорога, и он идёт по ней, накинув одеяло на плечи. Рядом идут другие люди, тоже накинув одеяла. Их лица неразличимы. Они подходят к горе и идут вверх на гору, за которой синее заре. На вершине горы из камней выложена спираль. Люди входят в эту спираль и идут, совершая кружение, приближаясь к центру, где исчезают. И в этой спирали, в этих кругах из таинственной бездны доносится: “И где кони? И где кони?..” Заря над горой синяя, как слива.

## Глава седьмая

Наутро они почти не общались. Верхоустин оставил избу, и Лемехов видел, как тот бродит по сырому лугу, нагибается, что-то рассматривает. Быть может, последние предзимние цветы. Под хмурым небом леса казались тёмно-золотыми слитками, и это золото вливалось в глаза, делая их тяжёлыми и неподвижными.

Пообедали, обмениваясь пустяками, будто и не было ночного разговора. На замызанном внедорожнике прикатил егерь Макарыч. Проворный, деловитый, положил на лавку защитного цвета куртку и брюки, поставил резиновые сапоги.

— Надевай, Константиныч, форму. Я её рябиновыми веточками перекладывал. Медведь нюхастый: человека учуял и убёг. Давай-ка мне карабин.

Лемехов достал из чехла свой немецкий пятизарядный карабин: медового цвета ложе, голубоватый, с вороньим отливом ствол. Протянул Макарычу. Тот расстегнул ворот, извлёк нательный крестик, приложил к стволу, к патроннику, к ложу:

— Господи Иисусе, посули зверю сладкий овёс, пьяный мёд, ягоду-чернику. Чтобы рабу божьему Евгению не потеть, не храпеть, не дрожать, не бежать. Пуля первая, она же последняя. Ружьё заговорено, отмолено. А мы тебе, Боже, свечку поставим.

Макарыч поцеловал карабин, как целуют икону, вернул Лемехову.

— Теперь слушай, Константиныч. Я тебя до леса подброшу и по лесу, пока дорога терпит. Как промоины пойдут, ты выходи и ступай пешком километра три. Колея путь укажет. Дойдешь до луговины, где овсы, и увидишь вышку. Садись и жди. Сегодня медведь придет, чую. Ты его бей, а если утечет, за ним не бежи. Он, раненый, тебя сторожить станет и сгребет. Я утром с собакой приду, и, если что, мы его по следу возьмем. Ну, давай собирайся.

Лемехов облачился в пятнистую форму, натянул сапоги. Распихал по карманам фонарь, тепловизор, прибор ночного видения, нож, индивидуальный пакет, непромокаемые спички, коробку с патронами. Пристроил за спиной свернутый теплый коврик. Взял на плечо карабин. Верхоустин наблюдал за его приготовлениями, проводил вещам взглядом васильковых глаз.

Внедорожник пересек луговину, въехал в лес, выдавливая жижу из промоин, углубился в сырую чащу, в тусклое золото. Некоторое время колыхался, объезжая упавшие деревья, буксуя в ямах. Остановился у рытвины, полной черной воды, на которой застыли желтые и красные листья.

— Стоп машина, — сказал Макарыч. — Танку делать неча. Только пехота. Ступай, Константиныч, а я тебя завтра найду, — и уехал, оставив Лемехова у черной, осыпанной золотом лужи. Слушая, как стихает вдали мотор, Лемехов вдохнул полной грудью холодный воздух с запахами хвои, горькой листвы, мокрых грибниц. С неба брызнула ему в лицо горсть дождя, и он зашагал.

Шёл сквозь лес сильной лёгкой походкой. Куртка была удобна, сапоги по ноге, ремень карабина плотно давил плечо. Лес обступил его своей чуткой тишиной, смотрел, пускал в свою глубину, молча, таинственно следил за ним, передавал весть о нём от дерева к дереву, от одной мшистой кочки к другой. Лемехов был окружён бесчисленными глазами. Маленький придорожный цветок, успевший перед холодами раскрыть свои розовые лепестки; ягода черники, пьяная на вкус, оставившая на пальцах каплю винного сока; старая паутина на еловой ветке с застрявшим в ней птичьим пером; красный, с волнистыми краями лист осины с зеркальцем воды, отразившей небо, — все они приглядывали за ним, наблюдали, куда и зачем он идёт. Он чувствовал лес, как дышащий мир, среди которого, наполняя его тайной, жил медведь.

Лемехов забывал грохочущий железный мир, из которого явился в заповедный лес, сам становился обитателем леса. И когда из-под ног его взлетел рябчик, унесся, посвистывая и хрустя крыльями, Лемехов испугался и обрадовался своему испугу, поблагодарил рябчика за этот восхитительный испуг.

Лес кончился, и он оказался на пустоши, где, должно быть, прежде стояла деревня, одна из тех многочисленных деревень, что исчезли на оскудевшем Севере. Избы пропали, пустошь зарастала кустами и была засеяна овсом. Это было ухищрение егерей, которые на овёс выманивали кабанов и медведей. Овёс отяжелел от дождей и полёг, в нём были протоптаны кабаньи тропы, чернела изрытая кабанями земля. Поле в сумерках казалось сизым, голубым, и над ним висел туман. Посреди поля стояла вышка, построенная из жердей. К ней, раздвигая метёлки овса, направился Лемехов, осыпая сочные брызги.

По шаткой лестнице он забрался на вышку, постелил на сырые доски коврик. Выставил карабин, разглядывая сквозь инфракрасный прицел опушку, увеличенные, струящиеся в водянистом свете кусты, древесные стволы, ели, усыпанные у вершин шишками. Представлял, как в зелёном свете прицела возникнет медведь, поднимая заострённую морду, ловя летящий над полем ветерок.

Сердце сильно забило, и он всё двигал перекрестье прицела вдоль опушки, ожидая выхода зверя. Но опушка была пустынной, мир сквозь прицел казался зеленоватым аквариумом, в котором, чуть размытые, струились гривы овса.

Он успокоился. Устроился поудобнее и приготовился ждать. Смахнул с приклада прилипший березовый листок. Опустил карабин, положив ствол на деревянную поперечину.

Неподальёку, за полем, кричали журавли. Начинал курлыкать один, ему вторил другой, множились стонающие вопли, и сонмище тревожных криков

сливалось в булькающую, звенящую и рыдающую музыку. От неё сладко захватывало дух. Лемехов подумал, что журавлиная станица встала на вечернюю птичью молитву, и этот стонающий вопль слышит притаившийся в чаще медведь.

Стемнело. Лес стоял неразличимой островерхой стеной. Овсяное поле стало бурым, с млечной полоской тумана.

Он услышал бурлящий звук крыльев, который сильным хлопком оборвался недалеко от вышки. Навёл прицел на звук. В студенистом зеленом круге возникла тетёрка, её маленькая изящная голова, тонкая шея и круглое туловище с прижатыми крыльями. Она поворачивала голову в разные стороны, как женщина перед зеркалом. А потом принялась клевать овёс, долбя метёлки крепким клювом. Потом вдруг встрепенулась и улетела с замирающим булькающим звуком.

Лемехов ждал, когда стусится ночь, и в этой холодной гуще, пропитанной душистой сыростью, запахом пряных трав и горькой коры, возникнет медведь. Так же, как и Лемехов, он ждёт, когда погаснет на западе последняя голубая полоска.

Лемехов извлёк из кармана тепловизор, подарок офицера спецназа. Повёл им по полю. В окуляре была однородная серость, в которой вспыхивали розовые частицы. Горячая жизнь птицы или лесного животного не нарушала холодное однообразие поля, не отражалась в окуляре розовым нежным пятном.

И вдруг возникло это розовое свечение: два розовых силуэта появились на буром фоне. Они плыли, не касаясь земли, нежно-розовые, окружённые алой кромкой, — это лосиха и лосёнок пересекали поле, и казалось, они парят в невесомости, как два небесных светила. Лемехов с блаженным умилением следил, как посланцы неба пересекают поле. Забыл, что рядом лежит стальной карабин, заряженный смертоносными пулями, и он явился сюда, чтобы убить. Он был свидетелем чуда, и кто-то незримый, повелевающий лесом, полем и небом, удостоил его созерцания чуда, наградил волшебным зрелищем.

Розовые лоси плавно переплывали поле, оставляя гаснущий след. Исчезли, породив в душе Лемехова нежность и обожание.

Он вдруг подумал, что лоси предвосхищали появление медведя. Медведь послал их вперед себя, и теперь с минуты на минуту явится сам.

Лемехов схватил карабин. Он испытывал острое нетерпение, страстное ожидание, готовность выстрелить. Взгляд его сквозь прицел скользил по опушке. В канале ствола лежала пуля, приклад плотно упирался в плечо, палец касался спускового крючка, лаская гладкую сталь. Он сдерживал дыхание, успокаивая сердце. Глаз его сочетался с пулей, мускул руки сочетался с холодной сталью. Он был уверен в точности выстрела и ждал, когда из тёмного леса на водянисто-зелёное поле выйдет громадный зверь, чутко поведёт головой, запоздало обнаружит опасность и повернёт к лесу. Но в него уже вопьётся огненный выстрел, пуля пробурлит могучие кости, рассечёт сердечную мышцу.

Лемехов вёл прицелом, просматривая опушку, но медведя не было. Глаз уставал, палец нервно касался крючка, плечо затекло.

Он стал упрашивать зверя выйти из леса, выманивал его, умолял. “Выйди, ну, что тебе стоит! На одну минутку, на секундочку! Овёс вкусный, сладкий, для тебя приготовлено угощенье. Ну, выйди, умоляю тебя!”

Эта детская наивная молитва сменилась другой, обращённой не к медведю, а к тому безмолвному властелину окрестных чащоб и полей, который выслал к нему лосей, а теперь, вняв его молитве, вышлет и медведя. “Умоляю тебя, ты властелин, ты всемогущий. Твои лоси. Твоя тетерка. Твой красноголовик, который выглядывал из зеленого мха, когда я шёл по дороге. Пришли мне медведя!”

Эта языческая молитва, обращённая к лесному духу, не помогла. И он стал молиться Господу, совершая крестное знамение. “Я грешник, Господи, виноват перед Тобой, прости меня. Я каюсь, испущю грехи. Но пошли мне медведя, покажи, что Ты любишь меня, слышишь меня. Пошли медведя, Господи!”

Эта молитвенная страсть, жаркое упование жгли сердце, захватывали в раскалённую сердцевину всё бытие, ради которого он жил и дышал.

И вдруг его опалила мысль, которая пряталась во всех его молитвах: если он убьёт сегодня медведя, то станет президентом России. Медведь, как в сказке, таил в себе его будущее, его судьбу, его главное предназначение. Оно исполнится, если пуля пробьёт нынче медвежье сердце. И предначертанье не сбудется, если медведь не придёт.

Эта мысль страшно взволновала его, а потом опустошила и отлетела, оставив по себе лишь горькое недоумение. Лемехов сник, отвёл взгляд от прицела, снял палец с крючка и отложил карабин.

Он испытывал разочарование. Он молил Бога об утолении своей охотничьей страсти, своей искусительной потаённой мечты, которую внушил ему странный колдун с васильковыми глазами. Бог не внял его молитве. Он был неугоден Богу, был им отвергнут.

Он лежал на коврике в холодной ночи, и ветер летел над вышкой, посыпая его мелким дождём. Не связанные между собой мысли его бежали и рассыпались.

Мимо проплыл борт лодки, чёрный, как вар, с белым росчерком мела. Возникло женское, розовое тело, одетое блеском воды. Его возлюбленная стояла под душем в перламутровой ванной, вода омывала её грудь, бежала по животу, и он касался губами её колен. Мозаичная икона “Державная” брызнула бриллиантовыми лучами, и возникло болезненное, раздражённое лицо президента, его презрительно сжатые губы, когда он смотрел на картину придворного живописца.

Все это кружилось, сталкивалось, рождало тревожное недоумение.

Он повёл тепловизором по ночному небу, направляя прибор в мутную пустоту. Перевёл его на лесную опушку, где кромка леса едва отличалась от поля, усеянного красными точками. Скользнул по овсам и увидел медведя.

Медведь был красным пятном, пульсирующим, как огромное сердце. Пятно, яркое внутри, бледнело по краям, растворяясь в серой мгле, где вспыхивали красноватые точки. словно сердце разбрызгивало капельки крови.

Лемехов боялся шевельнуться, моргнуть, чтобы дрожанье век не передалось через окуляры прибора и не спугнуло медведя. Лемехов умолял медведя, чтобы тот не исчез. Отложил тепловизор, подтянул карабин. Подкладывая ладонь под цевьё, упирая в плечо приклад, прижался глазом к трубке прицела. Зеленоватое пространство заструилось в прицеле, и в перекрестье возник медведь. Бурое тулово, заострённая голова, шевелящиеся лапы. Медведь сидел, загребая лапами метёлки овса, совал их в пасть, жевал и крутил головой. Подпрыгивал на ягодицах, перемещаясь вперёд, захватывал лапами новую охотку стеблей и заглатывал сладкое лакомство.

Лемехов моментальным усилием воли остановил неровное дыхание, успокоил сердцебиение, слил воедино мышцу плеча, хрусталик глаза, чуткий палец, лежащий на спуске. Навёл перекрестье туда, где, невидимое, билось медвежье сердце, и нажал на спуск.

Тугая отдача, грохот. Он успел увидеть в прицел, как дёрнулся, отшатнулся медведь. Знал, что пуля его настигла. Отложил карабин и в тепловизор оглядывал поле, ожидая увидеть алое пятно зверя. Медведя не было. Кругом была серая мгла, непроглядная муть.

Он жарко дышал, сердце колотилось. Он не мог промахнуться. Раненый зверь мчался сейчас сквозь лес, гонимый страшной болью, разбрызгивая кровь из раны. Или мёртвый, с пробитым сердцем, пробежав до опушки, рухнул дрожащей горой.

Лемехов не понимал, что ему теперь делать: оставаться на вышке до рассвета, дожидаясь егеря Макарыча с собаками, и по следу, по окровавленным травмам догонять медведя, чтобы добить лежащего, угрюмо глядящего на поднятые стволы. Или же, не дожидаясь рассвета, освещая путь фонарем, найти у опушки раненого зверя и, не давая ему опомниться, дострелить подранка.

В нём боролись благоразумие и страсть. Здравая осмотрительность, свойственная его рассудительной натуре, позволявшая избегать губительных решений, и жаркое нетерпение, которое внезапно охватывало его и побуждало

действовать вслепую, уповая на удачу, на счастливую звезду. И неизменно приводило к успеху.

Он свернул коврик и укрепил за спиной ремешком. Придерживая заряженный карабин, спустился с вышки. Зажёл фонарь и стал пробираться через овсы, светя ярким млечным пятном. Овсяные метёлки полегли от дождя, на сапоги летели блестящие брызги.

Лемехов увидел затоптанный овёс, вырванные с корнем стебли. Здесь медведь лакомился, загребая лапами метёлки, чавкал, сосал, подпрыгивал на ягодицах. Здесь в него попала пуля, толкнула навзничь, обратила в бегство. Лемехов светил фонарём, стараясь обнаружить кровь. Влажно переливались стебли, хрустально вспыхивала вода.

Лемехов осторожно пошёл к опушке, держа на весу карабин, готовый стрелять, если в свете фонаря вдруг возникнет косматая башка, белые клыки и красный язык. И всё это ринется с рёвом ему навстречу.

Опушка была в мелких кустах с жёлтыми листьями. Стояли невысокие ёлки, усыпанные каплями. В траве, в пятне фонаря мелькнул цветок лесной гераньки. Пахло сырой землёй, горечью увядающих трав, лесным туманом, в котором сладко истлевала листва. Крови не было.

Неужели он промахнулся? Спугнул зверя? И теперь тот укрылся в непролазной чаще. И весь огромный лес прячет его, стережёт, бьет по лицу Лемехова мокрой еловой веткой, громоздит на пути коряги, громко хрустит сучками, оповещает о его продвижении. И все обитатели леса — лоси, кабаны, тетёрки и рябчики — проснулись и наблюдают за ним. Сообщают медведю о его приближении.

Он увидел на травяном листе чёрную кляксу. Она блестела, как деготь. Он тронул её пальцем, палец поднёс к фонарю, и палец был красным.

Лемехов ликовал. Зверь подстрелен. Промчался, неся в себе пулю, брызнув на траву густой, как варенье, кровью.

Кровь пятнала траву, темнела на листьях длинными брызгами. Брызги указывали направление звериного бега. Лемехов, чуткий, осторожный, пружиная стопами, шагал, предчувствуя близость зверя. Втягивал воздух, стараясь среди холодных лесных ароматов поймать терпкий горячий запах крови.

Внезапно фонарь стал меркнуть, почти погас, только малиновым завитком виднелась нить накаливания. Видно, сел аккумулятор. Лемехов подумал, что это лесные духи, охранявшие медведя, погасили фонарь.

Царила тьма. Только в вершинах ёлок чуть синело ночное небо. Идти было невозможно. Стрелять, в случае появления раненого зверя, было невозможно. Нужно было поскорее возвращаться на овсяное поле, забраться на вышку и там в безопасности дожидаться рассвета.

Лемехов стоял, приподняв карабин, вслушиваясь в мрачную, опасную тишину леса. И вдруг почувствовал в этой тишине зияющую пустоту. Лес был пуст. Он обмелел, поредел, осел, словно из него вытек воздух, перестали пахнуть травы, хрустеть сучки, брызгать на лицо влага. Лес был мёртв, из него изошёл лесной дух. И Лемехов понял, что медведь убит. Пустота леса была пустотой дома, в котором лежал покойник. И эта тишина остановила Лемехова, опустошила. Вместо радости победителя он испытал недоумение, печаль, ноющую тоску. Словно пуля его убила не медведя, а весь лес. Казалось, он слышит слабый свистящий звук, словно из его груди сквозь прокол выходит воздух, — в груди оставалось всё меньше жизни, он вот-вот упадёт.

Он раскатал на земле коврик и лёг, прижавшись головой к словому корню. Уложил рядом ненужный карабин. Стал смотреть вверх, где едва синело небо.

Стояла тишина. Где-то неподалеку лежал медведь, и в его громадном, остывающем теле таилась убившая его пуля.

Лемехов лежал, вспоминая горячее алое пятно в тепловизоре, — излучение могучей жизни, которая теперь погасла. Почему-то вдруг вспомнил взлетающий истребитель, на испытаниях которого недавно присутствовал, и свой спор с министром обороны, касавшийся лётных характеристик машины. Рассеянно подумал о своём заместителе Двулистикове, на лице которого постоянно держалось чуткое выражение преданности. Вспомнил свой за-

городный дом с зимним садом, где должен был распуститься цветок Виктории Регии — белая, плавающая в воде звезда с золотой сердцевинкой. Остро подумал об отце, пропавшем бесследно в Мозамбике, и о том, что где-то в африканской саванне среди трав есть место, на котором лежал отец, и в нём, как и в этом медведе, таилась убившая его пуля.

Послышался лай собак. Показался егерь Максимыч и второй мужик, долговязый, небритый, с лиловой отвисшей губой.

— Ну, Константиныч, завалил Мишу. Пуля моя заговорённая, ввинтилась ему под ребро.

— Где медведь? — спросил Лемехов.

— Тут, метров двести.

Медведь лежал среди мелкого ельника, бугрясь косматой спиной. Вытянул передние лапы, положил на них голову и закрыл глаза. Казалось, он спал, и в свои последние минуты больше не испытывал страдания, мучительного страха смерти. Примирился со своим уделом, кротко и безропотно принял смерть среди родных деревьев, любимых трав, крохотных предзимних цветков. На его бурой, отливавшей стеклянным блеском шерсти лежал жёлтый листок березы.

Лемехов смотрел на медведя и не испытывал торжества, а лишь мучительное непонимание мира, в котором он должен был выследить и убить этого огромного зверя. Опустошить лес, опустошить свою душу. И за это убийство увидеть кроткую звериную позу, какая бывает у спящих беззащитных детей. Это смирение в смерти. Этот малый золотой листок, глядя на который ему хотелось рыдать.

Собаки вились вокруг медведя, скулили, тонко взвизгивали, боясь приблизиться.

— Мы, Константиныч, шкуру сожем, скорняку отдадим. Тебе память. А за мясом мужиков из деревни пришлю. Тебе спасибо скажут.

Лемехов отошёл, присел на поваленный ствол. Смотрел, как Макарыч и мужик с лиловой губой сдирают с медведя шкуру.

Они перевернули зверя на спину, орудовали ножами, проводя хрустящие линии от горла к паху, делали кольцевые надрезы на лапах. С треском стаскивали шкуру, ударяя в мездру кулаками, рассекая лезвиями тугие плёнки. Казалось, они стаскивают с упавшего человека шубу, а тот не даёт, протестует, что его грубо раздевают.

Шкуру содрали и расстелили на траве мездрой вверх. Мездра была бело-розовой, в красных прожилках, отороченная жёстким мехом. Сам же медведь, липкий, красный, с литыми мускулами, был похож на окровавленного человека. На его голове с обрезанными губами, блестели клыки, чернели выпуклые, полные слёз глаза. Казалось, он хохочет и одновременно плачет.

Макарыч рассёк медведю брюхо, вывалил кишки, извлёк сердце и печень. Положил на траву, и они казались двумя мокрыми тёмно-коричневыми валунами. Лемехов видел, как Макарыч окровавленными руками устало оттирает со лба пот. От медведя исходил парной дух. Собаки крутились у тужи, опьянев от крови. Мужик с лиловой губой отгонял их ногами.

— Пошли обмывать добычу! — Макарыч завернул сердце и печень в клеёнку, погрузил в мешок. Они двинулись через лес к дороге.

Вечером в избе было дымно. Макарыч поставил на стол огромную сковородку с жареной медвежьей печенью. Наливал в стаканы водку.

— Ты, Константиныч, настоящий стрелок, — пьяно гудел Макарыч. — Много тут всяких бывает: генералы, депутаты. Так себе охотники, скажу я тебе. А ты, Константиныч, стрелок от Бога.

Лемехов пил водку, подхватывал вилкой куски обжигающей печени. Верхоустин смотрел на него счастливыми васильковыми глазами. Пьянея, Лемехов подумал, что это Верхоустин своим колдовством подвёл медведя под выстрел и его направлял в ночи по кровавой тропе, уложил у елового корня, навел веший сон. И заронил в Лемехова мучительную мечту, и обрызгал её жертвенной кровью.

Наутро прилетел вертолёт и доставил Лемехова и Верхоустина в аэропорт. В дороге они почти не разговаривали. В Москве, холодно прощаясь с Верхоустиным, Лемехов решил больше с ним не встречаться.

## Глава восьмая

Лемехов любил возвращаться в свой загородный особняк в Барвихе. После утомительных совещаний в министерствах, после поездок на заводы и полигоны в уютной машине, в сопровождении тяжеловесного джипа охраны он мчался по Рублёвке, расплёскивая лиловые вспышки. Прорывался сквозь чад и рокот к Москве-реке, к реликтовым соснякам, к великолепным дворцам и усадьбам. Его дом был построен в стиле ампир. Архитектор использовал мотивы подмосковной усадьбы Суханово, где Лемехов в детстве жил вместе с мамой в доме отдыха архитекторов. Чудесны были белые колонны и медового цвета фасад, ажурная беседка и зимний сад, просторная ротонда и изумрудный газон.

У чугунных узорных ворот его приветствовал охранник.

— Здравия желаю, Евгений Константинович. За время вашего отсутствия происшествий нет.

Газон был сочный, зелёный, очищенный от палой листвы. Вдалеке белела беседка с колоннами. Кусты вокруг неё казались оранжевыми, красными и золотыми шарами. Садовник в фартуке, с секатором, снял перед ним тирольскую шляпу:

— С приездом, Евгений Константинович. Докладываю, что ваши любимые голландские георгины выкопаны и чудесно перезимуют. Розы укрыты, а уссурийский орех утеплён, и ему не страшны морозы. Загляните в оранжерею, там вас ожидает сюрприз.

— Спасибо, Валентин Лукьянович, рад вас видеть.

Лемехов прошёл к дому. К стеклянному входу вели чёрные, чугунного литья ступени. Фронтон украшен литыми павлинами. У входа стояли два мраморных льва. Лемехов тронул тёплой рукой холодную львиную голову.

В доме было светло и чисто. Веяло свежестью просторных прибранных комнат. Его встретил миловидный пожилой служитель Филипп Филиппович, которого Лемехов называл “мажордомом”.

— Заждались вас, Евгений Константинович. С прибытием, — на лице мажордома гуляла простодушная искренняя улыбка. Лемехов, отдавая мажордому пальто, шутливо спрашивал:

— Нет ли каких известий от государыни императрицы? Здоров ли светлейших князь Остерман? И верно ли, что у баронессы фон Зигель оценилась болонка?

— Всё хорошо, Евгений Константинович. Все, слава Богу, здоровы. Обед сейчас велите подать?

— Чуть погода, Филипп Филиппович.

Ему не терпелось заглянуть в зимний сад и узнать, какой сюрприз его ожидает.

Оранжерея напоминала прозрачный кристалл. Здесь теснились кадки с растениями. От глянцевиных листьев, тропических цветов, укутанных в мох стволов исходили испарения, туманившие стёкла зимнего сада.

Лемехов, задевая плечами ветки, прошёл к бассейну. В нём плавали круглые, как зелёные тазы, листья Виктории Регии. Из тёмной глубины всплыл цветок.

Белоснежные, как из сливочного масла вырезанные, лепестки. Золотые тычинки, окружавшие крохотный слиток золота. Дивная звезда взошла над тёмной гладью бассейна, в котором промелькнул и скрылся рыбий плавник. Лемехов с восхищением смотрел на цветок. Своей целомудренной красотой и доверчивой негой он говорил о благополучии дома, о достатке и изобилии, среди которых только и мог расцвести этот волшебный цветок Амазонки.

Среди растений, собранных стараниями садовника Филиппа Филипповича, были три дерева, которым Лемехов поклонялся. Это поклонение исходило из глубин древних верований, которые в нём тайно цвели среди рокота танковых моторов, взлетов ракет, отточенной логики научных концепций. Эти тайные верования, в которых он бы никому никогда не признался, уживались с церковными службами, с бриллиантовым ликом Богородицы, оставившим на губах нежное тепло. Они были из тех времен, когда его забытые

предки поклонялись священным рощам, оплетали берёзы лентами, населяли леса и воды духами жизни и смерти.

Араукария с мягкой дымчатой хвоей, с пушистыми, распростёртыми ветками напоминала женщину, раскрывшую объятия. Этой женщиной была его мать, это она раскрыла ему свои материнские объятия. Её душа, её чудесные переживания, её молчаливая любовь не исчезли после её смерти, а переселились в это вечнозелёное дерево. Лемехов взял в ладони мягкую опушённую ветку и поцеловал, как делал это при жизни мамы, целуя её милую руку. Араукария слабо качнула в ответ своими зелёными перстами.

Олеандр касался араукарии глянцевитой листвой. Это был отец, который не исчез на берегах Лимпопо, а перенёсся сюда, в оранжерею и вселился в дерево. Облачился в листву, иногда расцветая розовыми цветами, словно обращался к сыну с неизъяснимым отцовским влечением. Лемехов подолгу смотрел на цветущее дерево, стараясь угадать безмолвное послание, быть может, рассказ о том, каким был последний день и час отца у берегов жёлтой африканской реки, где настгла его смерть. Лемехов погрузил лицо в листву олеандра, чувствуя слабый смоляной аромат. Радовался тому, что листья олеандра и араукарии касаются друг друга, словно мать и отец встретились после долгой разлуки и теперь неразлучны.

И третье дерево, молодая пернатая пальма, вызывала в нём большую нежность и горькое обожание. Это был его нерождённый сын, от которого избавилась жена в помрачении, с их обоюдного согласия. Это сыноубийство превратилось с годами в разрушительную невыносимую боль, от которой жена потеряла рассудок и томилась уже несколько лет в клинике для душевнобольных. А он, в своих блистательных победах и неуклонных восхождениях, чувствовал в душе пулевое отверстие, в которое постоянно втекала струйка шемящей боли. Лемехов поцеловал молодой лист пальмы, напоминавший нераскрытый веер. Подумал, что сын продолжает жить, возрастает в этом стеклянном дворце.

Дом, в котором жил Лемехов, был двухэтажный, окружённый газоном и парком, сквозь который просвечивали соседские великосветские виллы. На первом этаже размещались кухня, столовая, службы, просторная гостиная и спальня, а также сауна и бассейн в полукруглой ротонде с прозрачным куполом. На втором этаже была спальня, рабочий кабинет, библиотека и комната, в которой жила, болела и провела последние дни мама.

В этом просторном и ухоженном доме иногда посещало его чувство одиночества. И он радовался, когда приезжала его возлюбленная Ольга, молодая, прелестная, композитор и музыкант. Она сочиняла сладостные и печальные блюзы, которые сама исполняла на флейте. Вот и сегодня он поджидал её в гости. Не стал обедать, попросив мажордома сервировать стол для ужина. Отпустил прислугу и гулял по дому, глядя, как в просторных окнах золотятся деревья, и на изумрудном газоне драгоценно белеет беседка.

В комнату мамы он заходил очень редко. На мгновение приоткрывал дверь, видя кровать, где прошли её последние часы, и стены, сплошь завешенные иконами. К концу жизни мама воцерковилась, не пропускала службы, ездила в паломнические поездки, привозя из них множество больших и малых образов, пасхальных свечек, пузырьков с ладаном. Иногда он садился на кровать и смотрел на иконы, перед которыми мама молилась. О его, сыновнем здравии, об отце, возвращение которого вымалывала до последнего часа, и о чём-то таком, что вызывало у нее тихие слёзы. Лемехов смотрел на иконы, которые были зеркалами, хранившими материнское отражение, и пугался, что однажды откроет дверь в комнату, и навстречу ему, среди горящих свечей и лампад, шагнёт мама со своим чудным любящим ненаглядным лицом.

На столе в рабочем кабинете стояли телефоны правительственной связи, лежали документы, которые он не успел просмотреть перед поездкой. Стол укрывали сувенирные модели танков, штурмовиков, зенитно-ракетных комплексов, и среди них лежала огромная морская раковина, розовая, спиралевидная, с перламутровой глубиной. Эту раковину подарила ему Ольга, уверяя, что в ней звучит голос её флейты.



Лемехов поднёс раковину к уху, и ему почудилась печальная сладковзвучная мелодия.

В библиотеке он рассеянно рассматривал дорогие корешки подарочных изданий, вынул и поставил на место книгу Тосфлера на английском, труд Бжезинского “Большая шахматная доска”. Среди нарядных паспарту и расцвеченных суперобложек стояли книги отца: этнография Мозамбика, экономика португальских колоний, история Африканского национального конгресса. И втиснутая между этих томов тетрадь для календарных записей. В ней хранились отцовские заметки и его стихи. Эту тетрадь принёс отцовский со-служивец уже после того, как отец пропал без вести.

Лемехов достал тетрадь, присел на диван и стал читать написанные с ними чернилами четверостишия, читанные много раз. И всякий раз они вызвали головокружение, как если бы он чувствовал вращенье земли.

*Царило африканское засушье.  
В голодных деревьях стояли плачи.  
Пила из лужи лань, прижавши уши,  
Поджарый волк и я, “солдат удачи”.*

*Горела Африка, и дикое зверьё  
Бежало сквозь огонь сухих акаций.  
Бежал и я, не отпускал цевьё  
Обугленной трофеейной “Эм шестнадцать”.*

*Нас уцелело двое из немногих.  
Мы добирались до прибрежных глыб.  
Нам океан выплёскивал под ноги  
Серебряных и золочёных рыб.*

*Кипела на ветвях обугленных смола.  
Мы у костра вповалку все уснули.  
И в брошенных, обшарпанных стволах,  
Устав летать, дремали наши пули.*

Лемехов перечитывал это и другие отцовские стихи. Душа отца тосковала по прекрасному и возвышенному, погружённая в жестокую войну, которая, в конце концов, унесла его в свою бездну. Среди страниц вдруг обнаружилась притаившаяся песчинка. Быть может, её принёс ветер, оторвав от барханов в устье Лимпопо, где пресная речная вода мешается с океанским рассолом.

## Глава девятая

Лемехов увидел, как подкатил автомобиль. Плавню застыл у крыльца, и из него вышла Ольга. Ему показалось, что неслышная мелодия, та, что она играла ему во время последнего свидания, вдруг сладостно полилась. Ярче засветился зелёный газон, драгоценней засверкала беседка, таинственно отозвались в сердце стихи отца, нежнее задышал белоснежный цветок на тёмной воде бассейна. Ольга шла, опустив глаза и чуть улыбаясь, словно знала, что ею любуются. В руке у неё был узкий футляр, в котором хранилась флейта. Её кожаный жакет был оторочен пепельным мехом. Светлые волосы гладко зачёсаны и собраны на затылке. Лицо с нежным овалом выражало счастливую уверенность в том, что её ждут, любят, и она готова ответить на эту любовь.

Лемехов обнимал её, просовывал торопливые пальцы в рукава жакета, чувствовал её запястья, целовал её голую шею, хрупкую тёплую ключицу. Принимал футляр с флейтой, помогал снять жакет.

— Как прошли гастроли? Как Лондон? Тебя принимали в Виндзорском замке? В Букингемском дворце?

— Ну, конечно, вся династия плясала под мою дудку. А принц Чарльз предложил мне играть в придворном оркестре и подарил флейту из индийского самшита, инкрустированную перламутром и золотом.

— Таковую же он подарил принцессе Диане. Мелодия вышла печальная.

— Ну, это всё шутки, конечно. Был концерт в “Альберт-холле”, было несколько концертов в Шотландии. И один концерт для нашей русской респектабельной публики во дворце, в предместье Лондона. Кстати, дворец принадлежит Вениамину Гольдбергу. Он назвался твоим хорошим знакомым и даже партнёром. Я так его очаровала, что он готов организовать моё турне по Америке.

— Веня ловкач, славится тем, что организует турне хорошеньким женщинам. В лихие девяностые годы ему удалось приватизировать мощное оборонное КБ, производящее антиракеты. Он получил от государства деньги, провалил заказ, и, должно быть, на эти деньги купил дворец в предместье Лондона. Теперь мы не знаем, как вернуть государству стратегическое КБ.

— Но он очень галантен, и в восторге от моих сочинений, — Ольга поддразнивала Лемехова. Но, заметив огорчение на его лице, обняла его, поцеловала в губы:

— Всё это пустяки, мой милый. Я у тебя. Ты мой единственный и неповторимый. И я очень хочу есть.

Они обедали вдвоём, без прислуги. Горящие спиртовки не давали остыть бульону из индейки и медальонам из телятины. Он наливал прохладное “Шабли” в высокие бокалы. Смотрел, как губы её касаются золотистого вина, пьют и улыбаются. На округлом подбородке дрожит милая ямочка. В больших серых глазах отражается окно с жёлтым клёном.

— Ну, а как ты путешествовал? Какие были у тебя приключения?

— Да как тебе сказать. Было нечто странное.

— Что странное?

Он не стал ей рассказывать о чёрной громаде лодки, проносящей мимо глаз свой чудовищный борг. О ракете, взлетавшей из моря в слепящей плазме. О медведе, уронившем на передние лапы мёртвую голову, и желтом листке берёзы, который прицепился к его загривку. Вместо всего этого он рассказал ей о разговорах с Верхоустиным. Ольга выслушала и уверенно ответила:

— Я не удивляюсь. Это пронизательный человек, а никакой не колдун. Я слабо разбираюсь в политике, не слежу за всеми избирательными гонками, этими лидерами. Но все они тебя не стоят. Одни — мнимые герои, пустышки, другие — самодовольные гордцы, третьи — хитренькие трусливые карлики, четвёртые — мстительные лилипуты. Ты абсолютно на них не похож. Ты свежий, сильный, открытый. Тебе всё без труда удаётся. Тебе поручили такое дело, перед которым другие пасуют, а ты строишь города и заводы, создаёшь чудесные машины. Я влюбилась в тебя, когда ты на вечеринке среди всех пустословов стал рассказывать о самолёте, который то летит, как вихрь, то останавливается в небе, как серебряный крест; то сверкает, как солнце, то становится невидимкой. Ты говорил о самолёте, как поэт, и мне захотелось написать музыку об этом самолёте. Лабазов выглядит усталым и разочарованным. То ли он болен, то ли ему всё надоело. Я вижу тебя на его месте. И не только я. Там, в Лондоне, когда Гольдберг пытался меня соблазнить, а я смеялась над ним, он сказал: “Ну, где мне угнаться за Лемеховым. Он же будущий президент”.

— Я думал, ты попросишь, чтобы я опомнился, — сказал Лемехов, — сможешь мне избавиться от наваждения.

— И не подумаю тебя отговаривать. Ты будешь президентом. Ты уже президент, но ещё об этом не знаешь. А я первая леди. Мы будем с тобой прекрасной парой. Вот белоснежный лайнер с надписью “Россия” приземляется в Париже, в Орли. На трапе мы появляемся вдвоём, и тысячи репортёров наводят на нас свои камеры. А потом в светской хронике появляется мой портрет с флейтой, и надпись: “Первая флейта России”.

— Надеюсь, что подобный снимок никогда не появится.

Они купались в бассейне. В полутьме вода казалась тёмным стеклом. Лемехов видел, как раздевается Ольга, как белеет её голая спина. Она приблизилась осторожно к краю бассейна. Её лопатки зябко двигались. Он включил свет, и бассейн вспыхнул лазурью. Сквозь прозрачную воду засверкали на дне мозаичные раковины, морские звёзды и водоросли. Ольга радостно

обернулась — благодарила его за это восхитительное зрелище. Спустилась по ступенькам в бассейн. По воде побежали волны. Донные водоросли, звёзды и раковины слились в разноцветное плесканье, среди которого она плыла, поднимая и опускающая плечи. Она переплыла бассейн и встала, улыбаясь ему. Гнала от себя волны, и он видел, как блестят её мокрые пальцы, и тело просвечивает сквозь голубую воду.

Лемехов сбросил одежду, смешав её с легким ворохом, который Ольга оставила на плетеном кресле. Подошёл к краю бассейна и, толкнувшись, звонко врезался в воду. Летел вдоль дна, среди мелькающих мозаичных цветов, видел, как приближается жемчужное пятно. Обнял под водой её ноги. Целовал ступни, колени, живот. Ловил под водой её пальцы, пока хватало воздуха. А потом поднялся рядом с ней, сбрасывая с плеч шумную воду.

— А я думала, это дельфин целует меня.

Она выскользнула из его объятий и поплыла на спине. Он видел, как поднимаются и опускаются её руки, отекая слюдяным блеском, как кипит маленький бурн у её ног, как всплывает и тонет её грудь. Она оставляла на воде расходящийся след, и эти мягкие волны и её обнажённое тело волновали его.

Он укутал её в меховое полотенце, а потом обнял и отнёс в спальню. Уложил на тёмное покрывало. Она лежала, влажная, белая, как тот цветок, что распустился в соседней оранжерее над тёмной водой.

Её глаза закрыты дрожащими веками, золотистые изломы бровей. Снежная лыжня в сверканье солнца, он вонзает в лыжню заостренные лыжи. Её белое худое плечо, он жадно его целует, оставляя гаснущие отпечатки. Шелестящие тростники Лимпопо, отец выходит на берег в линялой панаме с худым загорелым лицом. Её сжатые побледневшие губы, он кусает их тёплую плоть с солёной капелькой крови. Тёмная, залитая водой колея с цветами лесной герани, на чёрной земле — сердцевидный лосиный след. Его ладонь на её поясице, гибкое скольжение спины, трепет её позвонков. Кудрявый шлейф взлетевшей ракеты, и там, где она поймала мишень, белый бесшумный взрыв. Её раскрытые, с блеском белков, глаза, слепые от наслаждения. Лицо жены, измученное и печальное, проплыло, как больное виденье. То слабый, похожий на птичий, вскрик, то хохот с блеском зубов, то длинный, исполненный боли стон. Негасимая заря над карельским озером, гагара уронила в воду незримую каплю, от которой расходится медленный серебряный круг. Её ногти больно режут голую спину, ноги захлестывают жаркой петлей. Тот маленький камушек, привезённый мамой с Мёртвого моря, и размытый в лунном свете силуэт сидящего у моря Христа.

Лемехов чувствовал, как приближается к горящей, оплавленной сердцевине. Он упал лицом на её лицо, пролетел сквозь её долгий исчезающий крик. И навстречу полыхнуло слепящим светом, оглушило бесшумным взрывом, и он пропал, забывался, не успев разглядеть промелькнувшее стокрылое существо.

Он лежал рядом с Ольгой, не смея её касаться.

— Ты называл меня Верой, — сказала она.

— Правда?

— Любил меня, а видел жену.

— Любил тебя.

— Мучаюсь, когда к тебе прихожу. В этом доме присутствует другая женщина. Сажу за столом, за которым она сидела. Ем из тарелок, из которых ела она. Плаваю в бассейне, в котором плавала она. Лежу с тобой на кровати, на которой ты лежал с ней.

— Не думай об этом.

— Приближаюсь к твоему дому, и мне кажется, твоя жена не пускает меня, отгоняет. Я с трудом перешагиваю твой порог.

Лемехов почувствовал к ней отчуждение. Она причинила ему страдание. Сказала вслух то, что глухо и беззвучно присутствовало в нём. Вина перед женой, которая в забытьи, измученная лекарствами, томится в клинике для душевнобольных. Иногда пробуждается из своего полусна в припадках тоски, в слёзных истериках. Жена казнила себя и его, выкликала нерождённого сына, рвала себе грудь, пока на неё не накидывали смирительный балахон, усыпляли уколom. Минуту назад, обнимая прелестную женщину, он

увидел лицо жены и малиновую зарю над карельским озером, где они были с женой так счастливы.

— Ты не хочешь об этом слышать. Тебя устраивают наши отношения. Но пойми, они меня не устраивают. Они тяготят меня своей недосказанностью, двойственностью. Мы встречаемся целый год. Бываем в обществе, ты представил меня друзьям. Опекаешь меня, даришь мне драгоценности. Ты идеальный возлюбленный. Но мне этого мало. Я люблю тебя, я хочу быть твоей женой. И ты этого хочешь, но не находишь в себе мужества развестись с этой несчастной женщиной. Ты сам сказал, что она неизлечимо больна. Тебя разведут с ней. Ты будешь так же её навещать, помогать ей. Но она не может быть препятствием для нашего счастья.

— Прошу, не надо об этом.

— Я всё время молчала, но уж коли начала, то скажу. Я очень тебя люблю. Ты прекрасный, благородный, добрый. Среди мелких суетливых мужчин, этих героев на час, то алчных, то скаредных, то трусливых, то жестоких, ты возвышаешься, как прекрасный великан. Ты мой избранник. Я посвящаю тебе мою музыку. Я хочу быть украшением для тебя. Хочу, чтобы те, кто восхищается мной, восхищались тобой. Хочу иметь семью, родить от тебя ребёнка. У нас будет прекрасная семья, прекрасный дом, куда ты сможешь приглашать самых изысканных гостей. Хоть мировых знаменитостей. Хоть принцев крови. Я буду служить тебе всю жизнь и никогда не дам тебе повода во мне усомниться. Ни один мужчина не посмеет бросить на меня неосторожный взгляд, потому что все будут знать: ты мой единственный и ненаглядный. Прошу тебя, разведись с женой.

— Не теперь, умоляю. Не надо об этом.

Они лежали молча, не касаясь друг друга. И ему казалось, что по дому невидимая, босая бесшумно бродит жена. Сейчас заглянет в их комнату.

Ольга тихо поднялась, пробежала в прихожую и вернулась с футляром. Открыла крышку. В тёмной сафьяновой глубине лежала тёмно-красная флейта с драгоценными серебристыми клапанами. Ольга извлекла флейту, поднесла к губам, положила пальцы на блестящие кнопки. Пробежала по ним беззвучно.

Лемехов смотрел, как она сидит, обнажённая, приподняв острые плечи, чуть вытянув губы, словно для поцелуя. Красное лакированное дерево флейты переливалось, розоватый отсвет волшебного инструмента лежал на её голый груди. Её глаза изумлённо расширились, а потом сжались, словно устремились в лучистую даль. Тягучий, как язык мёда, звук сладостно излился из флейты. Лемехов испытал головокружение, будто его повлекло в медленных струях, водоворотах, понесло в разливы прохладных вод.

Её пальцы перебирали клавиши, словно ласкали флейту. Инструмент казался морским существом, приплывшим к ней в руки из таинственных глубин. Звуки, которые издавала флейта, были звуками моря, перламутровых раковин, шелестящих приливов. Он испытывал нежность, умиление, какие случались с ним в детстве, во время болезни, когда мама клала его на свою большую кровать, и он, беспомощный, в туманном жару смотрел на её любимые руки, ожидая их чудного прикосновения.

Ольга закрыла глаза, отрешаясь от внешнего мира, погружаясь в глубины перламутровых звуков. Лемехов тоже закрыл глаза и перенёсся в прозрачный весенний лес, где просторные ели, остатки серого снега. И в вершинах поёт одинокая птица, незримо и безответно. И в душе такая печаль, такая сладостная боль, предчувствие огромной, ему уготованной жизни с её предстоящими утратами.

Ольга открыла глаза, они ликующе вспыхнули. Пальцы заплясали на дудке. Золотистые волосы рассыпались по голым плечам. Волны радости, ликования хлынули из волшебной флейты. И казалось, из тучи брызнули голубые лучи, накрыли землю шатром, и стали видны каждый колосок в поле, каждая росинка в лугах, каждая тропка в дубраве. Лемехов испытал восхищение, необъятную силу, с которой ему по плечу любая схватка, достижима любая победа.

Ольга запрокинула голову, обнажив хрупкое горло. Оно дрожало, как у поющей птицы. Устремила флейту ввысь, словно обратилась с мольбой в небеса. Славила лазурь. Просила Творца отворить врата небесного сада. И врата открывались. Лемехов видел красоту небесных цветов.

Ольга отняла флейту от губ. Опустила её на колени.

— Для тебя! О тебе! Люблю!

Он целовал её колени, целовал лежащую на коленях флейту.

## Глава десятая

Лемехов сосредоточил внимание на программе лазерной орбитальной системы, которая выводилась в космос сверхмощным носителем. Система фиксировала старты баллистических ракет противника, передавала информацию на дальнобойные орбитальные лазеры, и те сбивали ракеты врага. В дальнобойных лазерах использовались линзы и зеркала из особых стёкол с идеальной поверхностью. Лемехов торопил строительство новых объектов, способных создавать подобные стёкла. Теперь он ехал на подмосковный оптический завод, где предполагалось строительство новых цехов.

Лемехов находился в одной машине со своим заместителем Леонидом Яковлевичем Двulistиковым. Смотрел на его сосредоточенный утиный нос и чуткие хрящевидные уши, и строго выговаривал:

— Вы возьмёте под личный контроль строительство этих цехов. Сегодня же проведёте совещание с представителями Минобороны, Военно-промышленной комиссии и Министерства промышленности. Соберете строителей, учёных и финансистов. И выработайте, наконец, чёрт возьми, внятный график работ.

— Мне будет трудно провести совещание без вас, Евгений Константинович. Моего авторитета не хватит.

— Причём здесь авторитет! Говорите жёстко от моего имени. А мне дайте вздохнуть. Я сегодня иду в театр, слушаю оперу “Борис Годунов”. Вы можете меня отпустить? Ведь я вам не нянька.

— Есть вопросы, Евгений Константинович, которые без вас не решаются, — упрямо возразил Двulistиков.

— А если я умру? Или меня прогонят с работы? Или переведут на другое место? Вы, мой заместитель, займёте мою должность. Вам придётся самостоятельно решать все вопросы.

Хрящевидные уши Двulistикова побелели, а мочки налились, словно ягоды брусники. И он, как в редких случаях душевного волнения, пренебрёг субординацией и обратился к Лемехову, как давний товарищ:

— Женья, что ты говоришь! Лучше я умру, чем умрёшь ты! Если тебя отстранят от работы, я в ту же секунду уйду! Я не предатель. Если кому-то ты не угоден, я этим никогда не воспользуюсь. Если ты перейдёшь на другую работу, я уйду вместе с тобой. Пойдёшь прорабом на стройку, и я пойду. Пойдёшь учителем в сельскую школу, и я пойду. Пойдёшь улицы подметать, и я пойду. Я тебе сказал, что останусь с тобой до конца, и ты мне верь!

Лемехову были приятны эти уверения в преданности. Усмехаясь, он поддразнивал Двulistикова:

— Если меня, как скифского царя, закопают в курган, то придётся и тебя заколоть и закопать рядом. Ты согласен?

— Женья, я согласен! Я уже в одном кургане с тобой!

Лемехов пожалел о своей шутке. Благодарно посмотрел на товарища, лицо которого трепетало от волнения.

Они приехали в подмосковный город. Здесь размещался оборонный завод оптического стекла, уцелевший в камнедробилке недавних лет. Инженеры сберегли драгоценные технологии, не отдали на растерзание “реформаторов”, которые рубили под корень могучее древо советской промышленности. Стекло продолжало вариться, оснащая танки, корабли, самолёты прицельной оптикой.

Директор завода показывал Лемехову площадки под будущие цеха. Лемехов выслушивал жалобы директора на затруднения. На городское начальство, не отдававшее под строительство землю. На проектировщиков, медлящих с чертежами. На финансистов, не дающих денег на приобретение немецкого оборудования.

— Наши люди, Евгений Константинович, хотят работать. Истосковались по большому делу. Мы люди космические, нам на земле тесно.

Они шли по цехам, и Лемехов с юношеским интересом наблюдал за работой стекловаров, этих “людей света”, колдующих над стеклом. Не тем, оконным, что вставляют в окна или вешают на фасады банков и супермаркетов. А тем драгоценным и таинственным, в котором свет обнаруживает свои волшебные свойства.

От керамических печей, от титановых тиглей веяло жаром. Гудели формунки. Метались рыжие отсветы. Мерцали индикаторы.

— Когда мы на ладан дышали, Евгений Константинович, к нам приезжали американцы. Просили продать рецепт стекла, устойчивого к радиации. Не только для самолётов, попавших под атомный взрыв, но и для марсианского корабля, которому предстоит парить в потоках космического излучения. Мы деньги не взяли, секрет сохранили. Когда на Марс полетим, вы к нам обращайтесь, Евгений Константинович. Сейчас мы вам покажем марсианское стекло.

Директор махнул рукой. Рабочие подцепили к подвесному устройству и повлекли окруженный пламенем тигель через весь цех к металлической форме — пустому стальному ящику. Тигель медленно наклоняли, и из него истекал вялый оранжевый мёд, медленный тягучий язык, от которого лицу становилось жарко, а по цеху разливалась заря, будто вставало солнце. Форма принимала стекло, и оно янтарно дышало, окружённое нимбом.

— Теперь, Евгений Константинович, это стеклышко будет остывать. Его остыванием управляет компьютер. Программа остывания — это наша тайна. Секрет нашей кухни. Американцы хотели узнать секрет, а я им сказал; “Возьмите, говорю, ложечку и хлебните. Может, угадаете”.

Директор, освещённый стеклянным слитком, таинственно улыбался, как хранитель волшебных тайн. Пояснял Лемехову, что слиток остывает несколько дней, а иногда и недель. А огромное зеркало для лунного телескопа остывало два года.

— А эти алмазные пилы мы заказали в Японии. Они занесены в список запрещённых к продаже товаров. Но японцы не любят американцев и продали нам пилы втайне от них: “Пилите, да нас не выдавайте”!

Многотонный стеклянный брусок, похожий на льдину, подводят под алмазную пилу. С жужжаньем и звоном пила рассекает льдину на тонкие ломти. Членит прозрачную глыбу на матовые пластины. Из них, отшлифованных до блеска, будут созданы линзы для биноклей и подзорных труб, танковые триплексы и прицелы, дальномеры и телевизионные трубки. Соединённые с электроникой, они наполнят самолёты и танки, рубки кораблей и космические аппараты. Хрустальные зрачки помогут обнаружить врага и уничтожить его на земле, на воде и в небе.

— Спасибо вам, Евгений Константинович, мы с вашей помощью получили заказ на стёкла для лунной атомной станции. Уже смоделировали их работу на компьютере и получили отличный результат. Вы же видите, мы вполне современное производство. Давайте строить новые цеха. И мы весь мир застеклим.

Лемехов трогал зеленоватые стёкла, похожие на прозрачные леденцы. Их вставят в смотровые гнёзда атомных станций. Оператор механическими стальными руками будет извлекать из реактора прогоревшие твэлы, заменять их новым горючим.

— А это уникальные зеркала для установок термоядерного синтеза. В этих зеркалах, если хотите, отражается будущая энергетика. “Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...”. Александр Сергеевич Пушкин знал секрет этих стёклышек.

Лемехов рассматривал зеркала, слушая пояснения директора. Эти зеркальные стёкла собираются в установку, в которой лучи множества лазеров направляются к мишени, обстреливают её сверхточными попаданиями. Удар света поджигает мишень, превращает её в крохотный плазменный взрыв. Из этого взрыва вычерпывается электрический импульс. Пульсирующие безопасные взрывы станут источником дешёвой электроэнергии, утолят энергетический голод планеты.

Лемехов был увлечён волшебными стёклами, игрой светового луча. Он преклонялся перед людьми, сохранившими завод среди погромов и разорений. Восхищался директором, в котором, казалось, сияет тихая радуга. Стеклоvarами, подобно алхимикам, кидающими в печи крупицы золота и свинца. Молодым инженером, играющим зеркалами, в которых мечется солнечный зайчик. Лемехов расспрашивал о трудностях, мешавших работе. Обещал помочь. Хотел быть полезным этому героическому заводу, без которого невозможно оборонное дело, невозможно становление государства. “Русская история, — думал он, — световод, по которому из древности в наши дни льются потоки света. Пробиваются сквозь тьму, пронзают ослепительными вспышками чёрные тромбы истории. Выполняют божественный завет о неизбежной победе света над тьмой, вечной жизни над смертью. Смерть одолима не только здесь, на земле, но и в бесконечной Вселенной, где гибнут звёзды и умирают планеты. Смерть одолима, ибо мир сотворён как источник света, и тьма не объёмлет его”.

— А есть ли такие стёкла, что пропускают луч из нашего мира в мир загробный? Лазеры, своими лучами уничтожающие смерть?

— Построим новые цеха и создадим такие стёкла, Евгений Константинович, — серьёзно ответил директор.

Лемехов увидел огромную стеклянную чашу, похожую на чёрное озеро. Над поверхностью озера мерцала слабая вспышка, хрупко отражалась в стеклянной толще. Директор подвёл Лемехова к чаше. Чаша была громадным зеркалом телескопа, которое привезли на завод из обсерватории в горах Кавказа. С великой предосторожностью его спускали с горы в долину, грузили на платформу и доставляли в низовья Дона. По Дону, по Волге влекли по воде до Москвы-реки. Осторожно, как драгоценный сосуд, привезли на завод. Установили в цеху, где его шлифуют и полируют, удаляя с поверхности образовавшиеся шероховатости и неровности. Сообщают зеркалу способность видеть зорче, различать во Вселенной незаметные прежде светила.

— Для шлифовки, Евгений Константинович, уже не достаточны прежние мастики и пасты. Шлифуем с помощью ионных пучков, — он указал на мерцающую вспышку. — Эти пучки вылизывают поверхность зеркала, снимая неровности величиной с молекулу. А это уже воплощение нанотехнологий: откусываем от стекла по молекуле.

Вечером Лемехов отправился в Большой театр слушать оперу “Борис Годунов” с чудесным басом Моториным. Постановка была классическая, сталинская, не испорченная нововведениями, которые умаляли мощь державной музыки.

Перед спектаклем он захал за Ольгой и нашёл её у зеркала. Она примеряла вечернее платье с обнажёнными плечами и голой спиной. Они бело-снежно сверкали среди чёрных шелковых складок.

— Ну, как тебе? Как я буду выглядеть в золочёной ложе?

Лемехов опустил руку в нагрудный карман. Извлёк длинный футляр. Раскрыл, и бриллиантовое кольцо брызнуло лучисто, заиграло у него на ладони.

— Боже, это мне?

Он надел кольцо на её высокую шею. Прильнул губами, чувствуя, как благоухает её тёплая кожа. Они оба отражались в зеркале, и кольцо сверкало, как солнечная струйка.

— Люблю тебя, — сказала она.

Большой театр поражал своим пышным имперским величием: могучими колоннами, чёрным, летящим в небесах Аполлоном. Зал из царской ложи казался сафьяновым, был полон бархатного мягкого света. Высились золотые ярусы, переливалась великолепная люстра. Занавес с неподвижными склад-

ками был украшен серебристой геральдикой. Оркестровая яма зияла таинственным провалом. Из неё раздавались обрывки мелодий, какофония скрипок, валторн. Звуки напоминали бесформенный вихрь, который вдруг, по мановению волшебной палочки дирижёра, превратится в могучий вихрь. Театралы занимали места, погружались в малиновые кресла. Малинового цвета становилось все меньше. Лемехов, восседая вместе с Ольгой в золочёной ложе, видел, что на них оглядываются.

— Все думают, что ты президент, а я первая леди, — сказала Ольга. — Неужели в этой ложе сидел Сталин?

— Этот зал с золотыми ярусами напоминает старинный многопалубный фрегат, готовый вот-вот отправиться в плаванье.

— По волнам русской истории. И ты — капитан!

Она смотрела на него счастливыми глазами. Чёрное платье открывало её белое, сверкающее в сумерках тело. Бриллиантовое кольцо переливалось, отражая свет люстры. Ему хотелось поцеловать её близкое плечо...

— Люблю тебя, — сказала она.

Люстра стала медленно гаснуть, словно из неё утекала драгоценная влага. Исчезли все звуки и шорохи. Певучая, грозная подземная музыка медленно наполнила тьму, словно предвещая восход неведомого светила. Занавес потянулся вверх, и возникли тускло-золотые заиндевевшие купола, морозная синева небес с розовой зарёй.

Лемехов вдруг со страхом и сладостью ощутил подлинность этого московского утра, такого русского, зимнего, в котором тяжело и морозно звенели колокола, дышала паром толпа, двигались стрелы, выходил на крыльцо усыпанный золотом и камнями царь. Музыка чудодейственно воскрешала исчезнувшее время, пропавшие в вечности мгновенья. Теперь колдовством света и звука они возвращались в мир. Лемехов был вовлечён в это воскрешённое время, погружался в его угрюмую русскую красоту.

Во время антракта в ложе появился могучего сложения господин в туго натянутом пиджаке, с жирной грудью, чернобородый, губастый, с весёлыми глазами навывкате. В господине Лемехов узнал миллиардера Вениамина Гольдберга, с которым изредка встречался на многолюдных именинах какого-нибудь главы корпорации или банкира, связанного с производством оружия. Гольдберг радостно сверкал зубами из чёрной бороды. Поцеловал в щёку Ольгу, ухватил ладонь Лемехова большой тёплой рукой, украшенной тёмным перстнем.

— Будь добр, принеси-ка три бокала шампанского, — приказал он служителю, отсылая его из ложи. — Вся публика смотрела не на сцену, а на вас, — засмеялся Гольдберг. — Вы чудесно смотрите. Ольга, дорогая, не могу забыть наши встречи в Лондоне. Вы знаете, Евгений Константинович, когда Ольга давала сольный концерт, все мужчины сбегались на звук её флейты. Если бы она захотела, она могла бы повести их к морю и утопить, как мышей. И я, и я, как мышь, пошёл бы за её флейтой на край света! — Гольдберг хохотал, воображая, как вся русская знать, обитавшая в пригородных лондонских замках, тянется вслед за грациозной флейтисткой и тонет в море.

— Вениамин сделал всё, чтобы мне в Лондоне не было одиноко. Он был очень внимателен, — произнесла Ольга. Лемехову послышались в её голосе едва уловимые пленительные интонации, которые уязвили его. Она почувствовала это, провела рукой по его шее, по щеке. — Я рассказала Вениамину о тебе, и выяснилось, что вы хорошо знакомы.

— Друзья, приглашаю вас на мою яхту. Поплывём из Монако с заходом в Неаполь, Барселону, через Гибралтар на Канары. Будет чудесное общество. Французский дизайнер, владелец “Коррьере делла сера” и какой-то принц крови, кажется немец, отпрыск аристократического европейского рода. Вам они все понравятся. Здесь, в России, будут самые мерзкие месяцы, тьма, холод. А там лазурь, тепло, восхитительные города.

— К сожалению, вместо яхт я вынужден заниматься подводными лодками, — сухо произнёс Лемехов.

— Статьи, о подводных лодках, Евгений Константинович. Я готов разместить на моих заводах заказ на антиракету. Вы же знаете мои возможности и мою пунктуальность.



— Не я распределяю заказы. Это не в моей компетенции.

— Да что вы, Евгений Константинович, вы же почти президент. Ну, ладно. Как вам Моторин? Отличный старик. Хочу пригласить его в Лондон. Пусть попоёт среди наших в своих побрякушках.

Служитель принёс на серебряном подносе шампанское. Они чокнулись, выпили, и Гольдберг покинул ложу.

И опять музыка редела, как зимняя русская буря. Плескалась и вспыхивала, словно огромная, в водоворотах, река. Лемехов то слепо погружался в неё, то ошеломлённо всплывал. Всё было родное, дикое, восхитительное. Всё было знакомое, происходило будто с ним самим — в монастырской келье, в пьяной корчме, в блистательном зале с бравурной мазуркой. Музыка ковшами вычерпывала таинственную, наполненную огнями тьму, которая была его тьмой, его памятью, его пугающим предчувствием. Опера была не о царе, не о русском бунте, не о самозванце, она была о той тёмной бездне, которая разверзалась в самой сердцевине русского бытия, русского царства, русской власти. Он стремился в эту бездну, она затягивала его, влекла в свою восхитительную тьму.

Царь умирал на троне, сражённый болезнью. Бояре при живом ещё царе делили власть.

## Глава одиннадцатая

Они сидели в ресторане “Боттичелли” на Тверском бульваре, роскошном, пустынном, с гулким полумраком. Светились колонны из родосского мрамора, переливалась вода в фонтане, бесшумно появлялись и исчезали официанты в костюмах флорентийских дождей. Метрдотель в золочёной парче, узнав Лемехова, был обволакивающе любезен, раскрывал карту вин и средиземноморских яств.

— Мне сегодня по вкусу сибас, приготовленный на пару, — сказал Лемехов.

— А я бы предпочел осьминога, — сказал Верхоустин, — И всё остальное, на ваш вкус. Всё, что попадает в невод итальянского рыбака.

Им принесли округлые, похожие на прозрачные шары бокалы. Вино лилось из тёмного горла бутылки, наполняя бокал золотым искрами. Появился серебряный поднос, на котором, посыпанная кристаллами льда, лежала рыба с голубоватыми плавниками. Лемехов уловил исходящий от рыбы запах далёкого моря. На деревянной дощечке угодливый официант принёс зеленюватые, в присосках, щупальца осьминога, демонстрируя их клиенту перед тем, как положить их на раскалённые угли. На скатерть выставляли блюда с раковинами, тёмными, розовыми, перламутровыми, в которых таилась нежная плоть моллюсков. Их ужин начинался с тихого звона бокалов, с лёгкого звяканья падающих на тарелку ракушек, из которых извлекалась влажная мякоть.

— Я долго думал над вашими словами, Игорь Петрович. Над теми, что вы произнесли в охотничьей избе, — сказал Лемехов, опуская бокал. — Я сделал выбор. Я буду президентом России.

— Это не вы сделали выбор, Евгений Константинович. Это вас выбрало Провидение. Оно управляет вашими делами и помыслами, — Верхоустин спокойно посмотрел на Лемехова, словно ждал от него этих слов. В ясной синеве его глаз было одобрение. Казалось, именно воспоминание об этих глазах подвигло Лемехова совершить судьбоносный выбор.

— Вы как будто что-то знаете обо мне. Долгое время следили за мной, ни так ли?..

— Я действительно не первый год наблюдаю за вами. Я исследовал ваш жизненный путь. Перечитал все ваши статьи, все интервью, что вы давали прессе, всё, написанное о вас, дурное и хорошее. Я даже ходил к астрологам и составлял на вас гороскоп. Я улавливаю и измеряю то поле, что вас окружает. Чувствую энергии, которые вы излучаете. Вижу вектор, который ведёт вас к цели. Мне кажется, в вашей жизни случилось нечто, что предо-

пределило ваш путь. Вы получили свыше знак, который направил вас к великому свершению. Я не знаю, что это было, должно быть, какая-то вспышка. Вы соединились с божественным промыслом, который повёл вас, был вашим поводырём, спасал от несчастий, наделял неиссякаемой энергией. Я не знаю, когда произошла эта вспышка. Но она случается в жизни всех пророков, всех полководцев, всех великих вождей. Она была в жизни Пушкина. В жизни Сергея Радонежского. В жизни Сталина. А как она случилась у вас?

И опять Лемехов оказался во власти колдовских глаз, которые помещали его в прозрачный светящийся кокон. На него начинали воздействовать таинственные силы, побуждая к откровению и исповеди. Они побуждали его плыть туда, куда дул бесшумный ветер. Так плывёт по тихой воде лист, повинуясь неслышим дуновениям.

— Студентом я увлекался лыжами, ходил в спортивную школу, участвовал в соревнованиях, которые проводились в Тимирязевском парке. Помню солнечный морозный день, синее небо, зашпигельные сосны, красные стволы. Мы ринулись со старта гурьбой, мешали друг другу, цеплялись палками, гремели лыжами. Но скоро большинство отстало, и только несколько лыжников, и я среди них, мчались по аллее. Мне было легко бежать, радостно вдыхать ледяной воздух, радостно смотреть, как лыжи врезаются в скользкую лыжню. Я обогнал одного, другого, третьего. Начинать бить лыжами по хвостам мешающих мне бежать лыж. Кричал: “Лыжню! Лыжню!” И они неохотно уступали мне дорогу. Впереди оставался только чемпион института, высокий парень в чёрных рейтузах и красной куртке. Как лось, переставлял он свои мускулистые ноги, мощно толкался палками, совершая могучие броски. “Обгоню!” — думал я. Задышался, жгло горло, грохотало сердце, напрягались в непосильных бросках все мои жилы. Я подумал, что если не обгону его, то вся моя жизнь кончится тут же, на этой аллее. Что я недостоин жить. Что эти красные стволы, и седая хвоя, и перелетевшая аллею сойка с голубым крылом — все они требуют от меня: “Обгони!” Я стал его настигать. Мои золотистые лыжи приблизились к его фиолетовым. Я вонзал свои лыжи в лыжню, как золотые копыта. Они начинали бить его лыжи, и я слышал звон деревянных ударов. Я чувствовал ярость, неистовую страсть, прилив небывалых сил, которые, казалось, вливались в меня с неба. Он зло оглядывался, не уступая дороги. А я, задышался, неистово рычал: “Лыжню, лыжню!” Но он не уступал, его чёрные рейтузы и красная куртка загоразживали мне путь. Тогда я собрал все силы, всю свою негодующую волю, всё своё страстное стремление победить, вырвался из лыжни и побежал по рыхлому снегу с ним вровень. Я видел его побелевший от мороза лоб, зашпигельные брови, обветренные красные щёки и букеты пара, которые вырывались из его раскрытых губ. Я сделал бросок вперёд, толкнул его и выбил из лыжни. Я видел, как он падает и ломает лыжи. Тогда я встал в сверкающую, отливающую стеклом лыжню и помчался. Не бежал, а летел, в шуме и свисте. Я не чувствовал тела, словно меня несло по воздуху, а потом опять опускало на снег. Внезапно на пересечении аллеи, где росла огромная, с туманной хвоей сосна, передо мной возникла слепящая вспышка — высокий радужный столп в переливах лучей, в огненной белизне. Это был великан с горящим лицом и сияющими глазами в серебряном облачении. Он поднял меня в небо, откуда я видел вершины сосен, аллею, по которой бежали разноцветные лыжники, город, озарённый зимним солнцем. Он приблизил меня к своему лицу и что-то сказал, громогласное, неразличимое и прекрасное. Опустил на землю, и я стоял, ошеломлённый, не зная, что это было, какие слова я услышал. Передо мной была огромная сосна с золотыми суками. Мимо пробежал мой недавний соперник, с изумлением оглядываясь на меня. Я и по сей день не знаю, кто был этот великан.

Лемехов умолк. Щёки его горели, как от мороза, и всё ещё звучали громоподобные неведомые слова.

— Я же говорил, что у вас была вспышка, — произнёс Верхоустин, победно сияя глазами. — Это было знамение, определившее весь ваш путь. И тот, кто вас поднял в небо, сопутствует вам всю вашу жизнь.

— Это так, — сказал Лемехов, — Тот неведомый ещё несколько раз мне являлся. Уже не великан, не огненный столп, а невидимая, оберегающая меня сила. Если бы ни она, вряд ли я пил бы с вами сейчас тосканское вино.

— Что это значит? — спросил Верхоустин.

— На полигоне испытывался новый снаряд для установок залпового огня. Колоссальная мощь, сумасшедшая скорость. Мы ещё не успели спуститься в укрытие, как произошёл аварийный взрыв. Я увидел слепящий всплеск огня, и мимо меня с рёвом пронеслась стальная буря. Тысячи осколков, которые смели сооружения, пробили борт бронемшины, растерзали шестерых солдат и двух испытателей, а на мне ни царапины. Смертоносная сталь с воём и ветром прошла в сантиметре от моей головы. В этой вспышке опять прогремел чей-то голос, что-то проревел, но что, я не мог понять.

— Это был голос вашей судьбы.

— И ещё: на Дальнем Востоке я летел на вертолёт, осматривая сверху стартовые площадки для космодрома. У вертолёта заглох двигатель, мы стали падать. Падали в жуткой тишине. Я видел побледневшее лицо генерала, который прощался с жизнью. Я смотрел, как приближается земля, как оловянной струйкой светится речка. Я знал, что не умру, что мой неведомый покровитель не даст мне умереть. И вдруг из-за тучи вышло солнце, как слепящая вспышка. Салон вертолота стал прозрачным, как стекло, и раздался рокошующий гром. Всё тот же обращённый ко мне таинственный голос произнёс неразличимые громоподобные слова. Тут же взревел и взыграл вертолётный двигатель, который пилотам удалось запустить. Мы сели на берегу таёжной реки. Я много раз пытался понять, с какими словами обратился ко мне великан. Пытался в этих грохочущих звуках уловить членораздельную речь. Диктофон моей памяти записал этот звук. Я много раз медленно прокручивал запись, выделял из ревушей какофонии скрытые в ней слова. И вот что мне удалось услышать. Там, на зимней лыжне, и на степном полигоне, и в уссурийской тайге звучало одно и то же слово: “Крым!” Что значит “Крым”? Великан сулил мне какое-то будущее, сберегал меня ради этого будущего. И это будущее на великаньем языке называлось “Крым”!

Они сидели молча. Слышно было, как где-то за античными колоннами тихо играет музыка и журчит в фонтане вода. Верхоустин, благодарный за исповедь, страстно смотрел на Лемехова. А Лемехову казалось, что синеглазый исповедник выманил у него заповедную тайну, завладел его сокровенной сущностью, обрёл власть над его душой.

Им принесли обещанные блюда. Лемехов вкушал приготовленную на пару рыбу, снимая с неё ломти нежного розового мяса, открывая хрупкий, жемчужного цвета позвоночник. Средиземноморская рыба смотрела на него неподвижным фиолетовым глазом. Верхоустин отрезал от оранжевого щупальца осьминога сочные дольки, и щупальце лежало на блюде, как извилистый иероглиф. Пили тосканское вино, не чокаясь, лишь поднимая друг на друга глаза.

— Его болезнь становится публичным фактом, — произнёс Верхоустин. — В американском медицинском журнале появился рентгеновский снимок его позвоночника. Отчётливо видна опухоль спинного мозга и распространение болезни по лимфатическим узлам. Медицинский эксперт утверждает, что жить президенту осталось максимум полгода. Недавнее исчезновение Лабазова из информационного поля объясняется тем, что он лёг в клинику, где у него брали пункцию спинного мозга. Мне стало известно, что по всем монастырям разослали наказ молиться об исцелении раба Божьего Георгия. Так что мы накануне грозных событий.

— У меня была назначена встреча с президентом по вопросам противоракетной обороны. Экстренный вопрос. Встречу отменили. Теперь я знаю, почему, — произнёс Лемехов.

— Президент Лабазов — “замковый камень” российской государственности. Если этот камень выбить, рухнет весь свод, страна погрузится в хаос, кровь, менингуемый распад. Удерживающий камень упадёт, и начнётся бойня — война всех против всех. Олигархи вцепятся друг другу в глотку, проталкивая в Кремль каждого своего ставленника. Главы могущественных корпораций станут драться за право стать преемником. Губернаторы потянут на

себя лоскутное одеяло страны и растерзают её. Националисты — русские, татарские, якутские и прочие — начнут безумные национально-освободительные войны. Взорвётся Кавказ, и взрывная волна пойдёт по всему Поволжью. Сирия сгорит в одночасье, и вся вооруженная мусульманская армада хлынет в Россию. Китай нацелит свои армии на Сибирь. Турция двинется на Кавказ. Америка поднимет свою агентуру в бесчисленных неправительственных организациях и начнёт лить бензин в разгорающийся русский пожар. И вот в таких условиях вам предстоит перехватить власть в России. Заполнить собой пустоту, которая образуется после падения “замкового камня”. Самому стать “замковым камнем”. Принять на себя страшное давление свода — непомерное давление русской истории. Готовы ли вы? Вам придётся выдержать всё чудовищное давление русской истории, и если вы окажетесь неудачником, вам придётся сложить голову на очередной плахе, которыми уставлен весь русский путь, украшена геральдика русской государственности. Готовы ли вы принять такую судьбу?

— Россия — это судьба! — страстно, как безумный, выдохнул Лемехов.

Звон их бокалов висел в воздухе, пока они пили нежное, с легчайшей горечью осеннее тосканское вино.

— Вам предстоит в кратчайшее время создать партию. Название должно звучать страстно и лучезарно. Например, “Партия Победы”. Или партия “Звезда Победы”. Вы начнёте создавать гвардию, своих “семёновцев” и “преображенцев”. В партию должны вступить директора оборонных предприятий, конструкторы, армейские офицеры, ветераны спецслужб. Вы обратитесь к народу с пламенным словом, предложите русским Большой проект. Огромную идею, от которой страна отвыкла, но каждая русская душа тайно хранит мечту о великой задаче, о возвышенной цели, о грандиозной работе. На ваш призыв откликнется патриотическая интеллигенция, духовенство, молодёжные организации. Съезд партии должен открыть Патриарх. Его присутствие, его напутствие будет своеобразным благословением, своего рода помазанием. Все поймут, что создаётся не партия-однодневка, а президентская партия, призванная решить судьбу государства. На этом съезде вы объявите о дерзновенном космическом проекте, продолжающем штурм космоса, который был прерван после уничтожения “Бурана” и “Энергии”. Все увидят, что ваша политика носит космический смысл, ваша идеология имеет вселенский характер.

— А вы, а вы? Вам почему это надо? Почему вы хотите мне помогать? Как родились в вас эти идеи?

Верхоустин вдруг страшно побледнел. Его нос утончился, губы стали узкими и бескровными. На белом лбу вздулась большая жила. Глаза, как огненные васильки, сияли на помертвевшем лице.

— Наш род Верхоустиных был многолюден. Были купцы, священники и учёные. Были заводчики, путешественники и педагоги. Один построил первую в России турбину. Другой работал на раскопках в Помпее. Третий учредил земские школы и учил крестьянских детей. Когда пали Романовы и рухнула великая империя, в чёрную дыру истории провалился и наш род. Горели родовые усадьбы и библиотеки. Священников прибывали гвоздями к Царским вратам. Офицеры, Георгиевские кавалеры шли в Добровольческую армию и погибали в атаках. Часть рода ушла с Белой армией в эмиграцию, другая притаилась, но её отлавливали чекисты и морили в лагерях. Многие из Верхоустиных перешли на другой берег этого кровавого моря. Но они встроились в новую жизнь, стали служить новому государству. Проектировали заводы первых пятилеток, отправлялись на Дальний Восток строить молодые города, преподавали в школах рабочей молодёжи. А когда началась война, сражались под Москвой и под Сталинградом, горели в танках под Кенигсбергом, участвовали в Параде Победы. После войны Верхоустины восстанавливали Минск, испытывали реактивные самолёты, писали диссертации о древнем Новгороде. Среди Верхоустиных были кавалеры советских орденов, лауреаты Государственных премий, заслуженные артисты. Когда случилось страшное несчастье и рухнул Советский Союз, в эту пропасть снова упал мой род. Мы сходили с ума от тоски, умирали от разрыва сердца.

Один из нас застрелился, когда его дивизию под свист и улюлюканье немцев выбрасывали из Магдебурга. Другой спился, когда на ракетный завод пришли офицеры ЦРУ и унесли все секретные документы, закрыли производство тяжёлых ракет, и завод стал производить канцелярские скрепки. Это была вторая чёрная яма, куда упал мой род, теряя лучших своих представителей. Я один из немногих Верхоустиных пережил катастрофу. Уцелел физически и морально. Затаив дыхание, наблюдал, как на костях красной сталинской империи возрождается новое государство. Как мог, содействовал ему, работал с политологами и историками, взаимодействовал с партиями, участвовал в крупных государственных проектах. Верил, что президент Лабазов спасёт государство, совершит долгожданный рывок. Но рывок не состоялся, “замковый камень” начал крошиться, и в русской истории вот-вот разверзнется новая бездна, в которой может бесследно исчезнуть Россия. Поэтому мы и сидим с вами здесь.

Лемехов пугался этого бледного бескровного лица, из которого неведомый кровосос выпил жизнь. Пугался нечеловеческой синевы васильковых глаз, одержимых смертоносной страстью.

— Но какая же нам выпала доля жить и страдать в России? За что нам такой удел?

— История России — это непрерывные вершины и впадины. В русской истории сменяют друг друга дух света и дух преисподней. Несутся навстречу друг другу гений неба и гений подземного царства. Ясный сокол Русской Победы, и чёрный ворон Русской Беды. Дух света влетает в русское время, ищет того, кто станет Победителем, создателем великого царства. Ясный сокол летит в русском небе, вдохновляя народ на божественные деяния, на великие победы, несравненные стихи. Империя достигает расцвета. Но потом, по таинственным законам истории, соколу становится тесно в угарном русском небе, среди мутных клубящихся туч, и он улетает. И на смену ему является чёрный ворон — дух тьмы. Он ищет того, кто разрушит империю, свергнет Россию в бездну. В народных сказках и песнях сражаются сокол и ворон, две птицы русской судьбы. Из Лабазова излетел Дух Света и поселился в нём Дух Тьмы. Вас выбрал Дух Света и ведёт к победе. Быть может, эмблемой партии станет сокол в сверкании крыл, который терзает чёрного ворона, изгоняет его из русского неба.

На лице Верхоустина заиграл слабый румянец. Исчезла воспалённая жила на лбу, губы порозовели. В синих глазах пропала пугающая темнота и вернулась восторженная нежность. Казалось, он побывал в иных мирах и снова вернулся на землю.

Внезапно колонны озарились аметистовым светом, ударила счастливая музыка. Зал с фонтаном наполнился лучами. И в переливах свирелей, в струнном звоне лир возникли полубогаженные наяды, пленительные вакханки, проворные и страстные фавны. Танцевали, сливались в объятьях, плескались в воде фонтана. Появились гибкие девы с корзинами цветов, разбрасывая розы, гвоздики и хризантемы. И по этим цветам, как по ковру, шла босоногая женщина с распущенными волосами, в прозрачном платье, усыпанная цветами, — “Весна” Боттичелли, торжествующая и прекрасная, с волшебной улыбкой всевластной любви на устах. И за ней прекрасный стрелок с золотым колчаном и луком провёл живого оленя, чьи рога украшали венки. Шествие исчезало среди лучей, водяных плесканий, поющих свирелей. Лемехов восхитенно смотрел на босоногую богиню. На столе перед ним лежала алая роза.

## Глава двенадцатая

Лемехов совершал поездки по оборонным заводам, собирая под свои знамёна “гвардию технократов” — оплот своей будущей партии. Он превращал заводы в опорные пункты своей президентской власти. Он переживал вдохновение: Победа была достижима. Директора и конструкторы видели в нём лидера, долгожданного “вождя перемен”.

Он приехал на Иркутский авиационный завод — любимое создание Сталина. Казалось, здесь, на берегу Ангары, среди старинных улиц и печальных колоколен раскручивается ослепительный вихрь, происходит преломление лучей, сияют кристаллы света в драгоценном стекле корпусов. И на глазах исчезают ветхие закопченные стены, опадают утомлённые оболочки, возникает новая плоть завода: сила, красота, энергия.

Лемехов шёл по цехам в сопровождении директора, широколобого сибиряка, чей изысканный, алюминиевого цвета костюм был созвучен металлической красоте самолётов.

Лемехов осторожно вёл разговор, не сразу открывая директору свой партийный проект.

— Теперь я вижу, Степан Степанович, мы не напрасно пробивали глухие стены. Завод прекрасен. Не уступает “Локхиду” или “Бомбардье”, честное слово. Эти чиновники в министерстве финансов жалеют деньги на модернизацию, а потом эти деньги превращаются в особняки на Лазурном берегу. Ещё раз поздравляю, Степан Степанович, отличный завод.

— Нам Лазурный берег не нужен, Евгений Константинович. У нас здесь берег Байкала. А заводу вы помогли. Мы видели, как вы бились в правительстве.

Лемехов замечал множество примет бурного повсеместного роста: ещё не распакованные станки с японскими иероглифами, стальные конструкции стен, на которые ложатся стеклянные панели, голубой водопад сварки, который изливается из-под огромного, похожего на планетарий купола. Такие мгновенные перемены именуются преобразованием. Так бурно сквозь угрюмые зимние тучи врывается в мир весна. Так из сонной куколки рождается восхитительная бабочка. Завод-ветеран строил “самолёты Победы” — крылатые машины великой советской авиации, пережил мучительное безвременье девяностых, получил мощные вливания, принял заказы на сверхновые самолёты. И сам, подобно самолёту, рванулся ввысь.

— Но мы должны понимать, Степан Степанович, что это временный, локальный успех. Каприз правительства, давление пацифистов, американское лобби в парламенте — и нам могут урезать финансирование. Вместо заводов будут строить развлекательные центры. “Боинг”, “Эйрбас” рвутся на рынок России. Дадут крупные взятки, и наш гражданский самолёт не найдёт покупателя.

— Мы делаем самолёты не хуже “Боинга”, Евгений Константинович. Нам нужны стабильные заказы и политическая воля в Москве. А её-то как раз иногда и не хватает.

Лемехов любовался мощным ровным движением металла, великолепными денно и ночью работающими станками, неторопливыми операторами, нажимающими кнопки программного управления. Инженеры в безлюдных цехах управляли бессчётным количеством механизмов. Директор в алюминиевом костюме источал силу и убеждённость. Он был человеком, занятым огромным делом, которое поручило ему государство.

— Нам, Степан Степанович, нужна политическая сила, которая отстаивала бы интересы промышленности, интересы инженеров. Инженеры должны участвовать в принятии стратегических решений, а не расхлёбывать ошибки дураков. Мы живём в мире машин, а нами управляют юристы. Государство — это тоже машина, и государство нужно правильно конструировать. Солнечная система — это всего лишь подшипник с шарами планет.

— Согласен, Евгений Константинович. Машины повсюду. Сталин писателей называл “инженерами человеческих душ”.

Лемехов наблюдал рождение самолёта. Оно совершалось по законам, действующим в природе. По тем законам, по которым возникали планеты, зарождалась и усложнялась жизнь. Самолёт рождался из крупиц, из крохотных деталей, из сияющих листов алюминия. На этих листах фрезы наносили тончайшие узоры и орнаменты. Сращивались узлы, укрупнялись конструкции. Появлялись элементы крыла и плоскости оперения, шпангоуты и полукружья фюзеляжа. Срастались, свинчивались, обретали стремительный контур. насыщались приборами, компьютерами, дальномерами и прицелами.

Лемехов переходил из цеха в цех, из одного объёма в другой. И вот перед ним возникло огромное пространство, похожее на дворцовый зал. В нём среди лучей длинными рядами, как экспонаты Эрмитажа, стояли самолёты. Мощные и изящные, застывшие и готовые мчаться в бесконечность, послушающие человеческой воле и смертельно опасные. Устремленные в бой, к победам.

— Мне кажется, Степан Степанович, время создавать партию инженеров. Эта партия предложит стране стратегический план развития, переход России с одного цивилизационного уровня на другой. Мы должны иметь мощное представительство в парламенте, должны формулировать повестку дня. А в случае если деструктивные силы попытаются захватить власть, мы должны ударить их по рукам.

— Я думаю о том же, Евгений Константинович. Многие из нас так думают.

Они двигались вдоль машин, и каждая излучала сияние, словно была окружена нимбом. Многоцелевой самолёт, способный выполнять множество боевых назначений. Это и дальний перехватчик, сбивающий врага хоть над Северным полюсом, хоть в центре Европы, и виртуозный истребитель, ведущий воздушный бой, то несущийся на сверхзвуковых скоростях, то застывающий в небе, как неподвижный крест, и самолёт-штурмовик, на поле боя поджигает танковую колонну врага, атакующий скопление пехоты и техники.

— Буду с вами откровенен, Степан Степанович. Я решил создать партию, которая провозгласит национальной идеей немедленное развитие. Мы топчемся на месте, а мир стремительно от нас удаляется. Сегодня главный ресурс — не углеводороды, не алмазы и даже не пространство. Главный ресурс — время: подлётное время ракет, время обработки информации в суперкомпьютерах. Историческое время. Мы, чёрт возьми, теряем историческое время. Партия, которую я создаю, должна устранить брешь, сквозь которую утекает историческое русское время.

— Я так считаю, Евгений Константинович: у России есть мощные двигатели, но они не задействованы. Сегодняшняя власть, похоже, о них просто не догадывается. Не знает, где они расположены. Инженеры укажут на эти двигатели, запустят их. И тогда Россия начнёт своё развитие.

Они двигались по цеху, где стояли компактные, похожие на остроносые рыб учебно-боевые самолёты — изящные “спарки”, предназначенные для обучения лётного состава. Такой самолёт в час войны из учебного превращался в грозную боевую машину, несущую ракетно-бомбовый груз.

Тут же, на заводе создавались элементы французского пассажирского “Эйрбаса”, летающего по всему миру. А в новых стремительно возводимых цехах готовились линии для производства отечественного магистрального самолёта. С его появлением слухи о кончине отечественного гражданского авиастроения прекратились сами собой.

Все эти машины демонстрировали взлёт русской авиации, возрождение оборонно-промышленного комплекса, указывали на то, что долгожданное развитие не за горами. Сдвигается с места застывшая машина страны, и гигантский самолёт “Россия” медленно начинает вырывать на взлётно-посадочную полосу и уже готов взмыть в небо.

Он покидал завод, создав на нём ячейку будущей партии.

Так неумолимо он посещал предприятия, решая в этих поездках множество производственных задач. Но среди совещаний, жёстких разговоров и споров он находил время для частных встреч с директорами, вовлекая их в строительство партии.

Под Новосибирском он побывал на заводе боеприпасов — реактивных снарядов для установок залпового огня. Стрельба из таких установок — ревущая плазма, которая летит в туманную даль, срезает горы, оплавляет скалы, превращает укрепления врага в жаркий пепел. Завод размещался под землей, был окружён земляным валом, как древнее поселение, чтобы взрыв на заводе, если случится беда, не снёс соседний город.

В Туле Лемехов посетил завод, выпускающий “Панцири” — зенитные ракетно-пушечные комплексы. Эти мощные установки сбивали армады крылатых ракет, несущихся на малых высотах, ломали стратегию “бесконтактной войны”, когда бомбардировщики, не влетая в зону противозенитной

обороны, на дальних подступах к городам выпускают по ним сотни ракет. Так были уничтожены Багдад и Триполи, не имевшие в своём распоряжении “Панцирей”. Теперь эти несравненные системы обороняли Дамаск, удерживая НАТО от бомбардировок. Лемехов устранил препятствия, мешавшие наращивать производство систем, в которых так нуждалась воюющая сирийская армия.

В Сарове Лемехов посетил “Российский ядерный центр”. Ему показали лаборатории, где разрабатывались ядерные боеприпасы для новейших торпед, баллистических ракет наземного и морского базирования, для перехватчиков ПРО, для космических аппаратов, именуемых “убийцами спутников”. Он осмотрел лазерные установки, на которых осуществлялся термоядерный синтез, и десятки лазеров бомбардировали мишень, превращая её в пульсирующую плазму. Ему показали монастырь, где когда-то подвизался Преподобный Серафим, а потом размещались атомные лаборатории. Теперь монастырь был восстановлен, и в нём обитало несколько монахов.

Лемехов в узком кругу рассказывал руководителям Центра о стратегии ядерных вооружений, о серьёзном продвижении американцев в создании “геофизического оружия”, способного направленными подземными взрывами сдвигать тектонические плиты.

Завершая разговор, он поведал о создании партии. Пригласил работников центра принять участие в съезде. Физики согласились.

Так Лемехов посещал оборонные заводы, созывая под свои знамена “гвардию победы”.

В Москве он встречался с Верхоустиным. Делился результатами поездок, и это напоминало отчёты о проделанной работе, которую поручил ему Верхоустин. Синеглазый куратор управлял строительством партии, ненавязчиво и осторожно формулировал идеологию, которую надлежало усвоить лидеру президентской партии. Идеологию будущего государства. Уже появилась партийная штаб-квартира — просторное многокомнатное помещение на Олимпийском проспекте, в огромном циркульном здании спортивного комплекса. Уже красовалась на дверях эмблема партии — алый щит с золотой надписью “Победа”. Уже сидели за компьютерами секретарши и референты, звонили телефоны, появлялись представители пиар-агентств.

Верхоустин представил Лемехову “орговика”, которому надлежало в кратчайшее время создать партийную структуру и обеспечить проведение съезда. Это был смуглый молодой мужчина с блестящими чёрными глазами, чуть вывернутыми наружу губами. Любезный, приветливый, он хватал налету мысли Лемехова, ещё не отточенные, шероховатые, и тут же возвращал их обратно в отшлифованном блистательном виде, словно деталь, прошедшую обработку на сверхточном станке. Мужчину звали Черкизов Кирилл Анатольевич. Лемехов, пожмая его лёгкую горячую руку, почувствовал в нём страсть и весёлость удачливого игрока и актёра.

— Евгений Константинович, мы утверждаем название партии: “Партия Победы”? — спросил Черкизов.

— Да, — слабо ответил Лемехов.

— Я поработаю с дизайнерами, и представлю вам логотип с партийной символикой.

— Хорошо, — отозвался Лемехов, всё ещё ослеплённый недавним видением.

— Мы поможем вам написать вступительное слово.

— Спасибо.

— Когда, вы полагаете, мы проведём учредительный съезд?

— Не знаю, — ответил Лемехов.

— В начале марта, — произнёс Верхоустин. — Тогда, по определению Пришвина, начинается “весна света”. Пусть съезд пройдёт среди сверкающих русских снегов.

— Я согласен, — кивнул Лемехов.

— Тогда я начинаю работать с пиар-агентствами. Буду встречаться с ведущими журналистами и руководителями телеканалов. Источники финансирования обсудим отдельно.



— Но вам, Евгений Константинович, следует встретиться с Патриархом и пригласить его на съезд, — сказал Верхоустин. — Президентскую партию должен освятить Патриарх. Это будет своеобразным помазанием.

— Я приглашу, — послушно ответил Лемехов и спросил: — Что за стеклышко у вас в руках?

— Ах, это? — Верхоустин поднёс к глазам кристаллик и посмотрел сквозь него на Лемехова. — Этот горный хрусталь родом из Аркаима. В могилах, где погребены древние арии, находят скелеты в позе эмбриона. Перед пустыми глазницами черепа лежат такие кристаллы горного хрусталя. По-видимому, это оптические приборы, соединяющие загробный мир с миром внешним. Луч света, проходя сквозь кристалл, преломляется и соединяет два царства.

Лемехов увидел, как прозрачный кристалл, заслоняя глаз Верхоустина, окрасился в васильковый цвет.

### Глава тринадцатая

Лемехов нанёс визит Патриарху в его загородной резиденции. Канцелярия Святейшего не сразу назначила день визита, выбирая его среди многочисленных богослужений, миссионерских поездок и встреч. Наконец, Лемехов был приглашён в резиденцию, в подмосковное Переделкино.

Патриарх сидел в высоком кресле, напоминающем резной деревянный трон. Он был в чёрном простом подряснике. На груди сияла эмалевая панагия с Богородицей, усыпанная бриллиантами. На голове темнела скуфья, из-под которой выбивались седые волосы, собранные на затылке в косичку. Жёсткая борода была побита стальной сединой. Из-под густых металлических бровей смотрели зоркие, с острым блеском глаза.

Было видно, что Патриарху интересен Лемехов. Он изучает его, судит о нём по высказываниям, которыми тот откликается на его замечания.

— Я считаю, Ваше Святейшество, что, создавая новое оружие и возводя алтари, мы делаем одно и то же дело. Оружие отражает врага видимого, а храмы и монастыри заслоняют от врага невидимого. Наши зенитные ракеты и антиракеты прикрывают от ударов наши города, а монастыри и храмы развешивают над Россией незримый Покров Пресвятой Богородицы, неприкосновенный для атаки сил зла.

Патриарх зорко, остро взглянул на Лемехова, словно желал убедиться, что сказанное было не случайно, а вырвалось из глубины сердца.

— Воистину так, Евгений Константинович. Сейчас не слышно артиллерийских орудий и бомбовых взрывов, но Россия ведёт войну духовную, страшную, непомерную. На Россию направлены все силы ада, всё чёрное воинство. Русского человека растлевают, искушают, ввергают в уныние. Ему вместо хлеба духовного предлагают позолоченный камень, вместо живой воды духовного очищения вливают разноцветные отравы и яды. Запад подтачивает Россию духовно и ждёт, когда она упадёт. И тогда он возьмёт её без боя. Каждый алтарь сегодня — это рубеж обороны. Православное духовенство в каждой своей молитве даёт отпор врагу. Мы, православное духовенство, — действующая армия, мы день и ночь сражаемся за Россию.

Лемехов попросил исповедовать его. Патриарх мгновенно смотрел на него зорко и твёрдо, не удивляясь этому порыву. Мановением руки он приказал ему встать и приблизиться.

— Ближе. — Патриарх оставался сидеть, а Лемехов встал перед ним на колени, склонив голову к драгоценной панагии, где сияли бриллианты и светило лицо Богородицы.

— Грешен? — спросил Патриарх, накладывая ему на темя тёплую руку.

Лемехов чувствовал теплоту большой тяжёлой руки. Ему хотелось жарко и страстно признаться в своем корыстном умысле, повиниться, освободиться от искушений, открыться в других тяготивших его грехах: в той безрассудной и жестокой настойчивости, с какой побуждал он жену освободиться от нерождённого сына, в том мнимом сострадании, с которым он всё режет и режет по-

сещал жену в элитной психиатрической клинике, ссылаясь на занятость, а на деле тяготясь видом её изможденного постаревшего лица, седых волос. Он вспоминал о ней с горьким раздражением, когда обнимал душестное тело своей молодой возлюбленной. Лемехов хотел исповедоваться, облегчить душу, передать тяжесть греха могучему и всесильному монаху, черпающему силы в чудесных животворных стихиях. Он уже начал что-то бурно шептать. Но почувствовал, как четыре раза, совершая крестное знамение, стукнули его по темени твердые пальцы, и голос Патриарха произнёс:

— Не грешь больше.

У губ Лемехова появилась панагия с бриллиантами, и он растерянно целовал их драгоценные искры.

Он занял место в креслице, всё ещё чувствуя теменем твёрдые удары пальцев, испытывая разочарование от несостоявшейся исповеди.

В кабинет вошёл келейник отец Серафим, чернея сросшимися бровями, из-под которых пламенно и жарко смотрели фиолетовые глаза. В руках келейника был маленький золотой телефон, который тот держал на вытянутой руке, словно боялся обжечься.

— Святейший, вас просит президент, — монах передал Патриарху телефон и отступил к дверям.

Патриарх принял маленький золотой слиток, отвел от уха седую прядь волос и приложил телефон:

— Спаси Господи, Юрий Ильич. Слушаю вас.

Лемехов улавливал едва различимый шелест трубки. Так шелестел голос президента Лабазова, который находился сейчас в своём малахитовом кремлёвском кабинете или в загородной резиденции Ново-Огарево. Патриарх слушал, и на его лице было выражение терпеливого смирения и сердечной печали.

— Слава Богу, Юрий Ильич, по годам моим и здоровье, — Патриарх благодарно кивнул, словно президент мог видеть его поклон.

Лемехов смотрел, как горит в белой руке Патриарха золотой телефон, как дышит его грудь и переливаются бриллианты панагии. За окном в зимнем небе сказочно сияли главы храма, похожие на расписные пасхальные яйца. И его недавнее благоговение сменилось зорким любопытством, желанием запомнить этот патриарший чертог, откуда тянулись тончайшие золотые нити в Кремль, в отдалённые монастыри и приходы, к каждому верующему и молящемуся. А также на небо, где Вседержитель приложил своё ухо к золотому телефону, а за окном божественного чертога цветут деревья Райского сада.

Лемехов устыдился своей фантазии, постарался вернуть себе благочестивое настроение. Отец Серафим, словно угадывая его неосторожные мысли, смотрел от дверей огненным взором.

— Благодарю, Юрий Ильич, за доверие. Во время моих выступлений в Киеве я выполнял ваши наставления. Меня хорошо встречали в храмах. Православные люди тяготеют к России, и мы не должны оставлять их наедине с раскольниками и еретиками.

Лемехов догадался, что речь шла о недавнем визите Святейшего на Украину, где он выступал с жаркими проповедями, собирая многотысячные толпы. Проповедовал единство Русского мира, неразрывность духовных уз России и Украины.

— Я слышал, Юрий Ильич, о вашем нездоровье. Молось, чтобы хворь вас побыстрей оставила, и вы смогли бы с полными силами вернуться к государственному делу. Россия в вас очень нуждается. Вы — оплот Государства Российского.

Патриарх говорил как власть имущий, наставлял, вразумлял. И одновременно утешал, успокаивал. Было в его лице тихое сострадание и нежность, словно он разговаривал с больным ребёнком.

— Я уже разослал по всем монастырям и приходам указание, чтобы молились о вашем здравии. Все русские монастыри трижды в день молятся о здравии раба Божьего Георгия. Вы под покровом благодати, и ваши недруги, насылающие на вас телесную и духовную хворь, не одолеют этой благодатной защиты.

Лемехов жадно слушал. Он получал подтверждение тому, что президент Лабазов серьёзно болен, ибо только серьёзное недомогание могло побудить президента искать помощи у Святейшего. И в этом тоже чудилось что-то древнее, старомосковское, оперное, что недавно пережил он в золоченой ложе театра. Там царь, Патриарх, вероломные бояре, самозванные временщики подтверждали своими судьбами всю ту же извечную притчу о государстве, о тайне власти, о сладкой и ужасной бездне, куда увлекала власть.

— У президента очень мало друзей и очень много врагов, — заговорил Патриарх, окончив беседу с Лабазовым. — Враги президента — это враги нашего Отечества. Как бы они хотели вновь замутить русскую жизнь, вновь разжечь гражданскую рознь, вновь увидеть, как одни русские убивают других. Есть, я знаю, в ближайшем кругу президента такие, что мешают ему, губят его начинания, ожесточают против него народ. Есть такие, кто подтачивает его власть и метит на его место. Есть такие злодеи, которые умышляют на него покушение, желают его смерти. Но есть такие, кто прибегает к оккультным силам, к услугам магов и чародеев, и те охотятся за его душой.

Патриарх перекрестился, сложив щепотью крепкие пальцы, и снова быстро, из-под густых бровей бросил на Лемехова острый, с металлической искрой взгляд.

— В один из дней его рождения, когда душа человека особенно открыта и незащищена, и у него оживает пуповина, через которую он связан с матерью, — в этот день чёрные маги осуществили убийство известной журналистки. Она всегда критиковала президента, необоснованно и в очень резкой форме. Пустили слух, что убийство организовал президент, это его месть, устранение опасного врага. Лютые потоки ненависти ударили в президента, почти сокрушили его. Но мы в монастырях стали денно и нощно молиться, окружили его коконом непроницаемой защиты, отбили атаку колдунов. Отстояли президента.

— Я считаю, Ваше Святейшество, что у президента есть два союзника и защитника: оборонная промышленность и Православная Церковь, — Лемехов чутко следил за интонациями Патриарха, в которых мерцало потаённое чувство, ещё не раскрытое и не явленное. — Вы, Ваше Святейшество, есть второй столп, на котором зиждется купол России. Если, не дай Бог, первый столп покачнётся, то второй возьмёт на себя бремя государственного стояния. Опираясь на этот столп, Россия устоит.

Патриарх страстно и открыто взглянул на Лемехова. Его голос зазвучал зычно, грозно, как клёкот:

— Если, не приведи Господь, Государство Российское станет качаться, если смута приблизится, и брат пойдёт на брата, и самозванцы всех мастей устремятся в Кремль, я встану на пути русской смуты. Я остановлю самозванцев у стен Кремля. Народ пойдёт за мной, объединится вокруг Церкви ради спасения Отечества. Так было во времена Гермогена. Так было во времена патриарха Никона, который правил Россией на равных с царём. Бывали времена, когда волею Господа патриарший посох превращался в державный скипетр.

— Ваше Святейшество, вы произнесли то, что я не решался сказать. Я очень встревожен нездоровьем президента и тем клубком врагов, которые ждут его ослабления. Вы правы, нам грозит хаос и потеря государства. Я не вижу другой силы, которая могла бы спасти Россию, кроме Церкви, кроме вашего духовного авторитета. Я хочу быть рядом с вами в той борьбе, которая нам предстоит. Я хочу создать партию военных технократов, которые встанут на защиту страны. Это партия государственников, для которых алтари и оборонные заводы священны. Русское оружие свято, и Православная Церковь оберегает святость русского оружия и святость самой России. Помогите мне создать эту партию. Это будет ваша партия: светская по форме, она станет партией Патриарха.

Всё это Лемехов произнёс с пылкой искренностью, преданно глядя Патриарху в глаза. А тот, хмурия брови, молчал, словно хотел различить сокрытое в этой искренности лукавство.

— Чем я могу вам помочь, Евгений Константинович?

— Предстоит учредительный съезд партии. Откройте его своим напутствием. Освятите его своим именем. Пусть люди поймут, что во главе партии негласно стоит Святейший Патриарх, и соизмеряют свои поступки и цели с патриаршей волей.

Они некоторое время молчали. Патриарх закрыл глаза, словно духовным оком всматривался в потаённые мысли Лемехова, желая обнаружить в них лукавство.

Поднял веки:

— Хорошо. Я приду на съезд, — сказал он и стал тяжело подниматься.

## Глава четырнадцатая

Съезд партии “Победа” проходил в Подмоскowie, в фешенебельном пансионате с конференц-залом, помещениями для банкетов, пресс-конференций, телевизионных трансляций. Снежное поле с солнечными позёмками начиналось у стен пансионата, и сквозь стеклянные окна была видна зимняя русская даль с перелесками, синими холмами, ледяными, в солнечном блеске дорогами.

Появление Патриарха на сцене вызвало волнение в зале, шелест голосов, множество вспышек фотокамер. Патриарх стоял под алой эмблемой партии, торжественно опираясь на посох, панагия переливалась бриллиантами. Лемехов стоял рядом, склонив голову в знак смирения.

— Благодарю вас за то, что пригласили меня на своё высокое собрание, — голос Патриарха звучал резко, с металлическими, мегафонными звуками. — Вы создатели русского святого оружия, которое в руках славных русских воинов защищало Государство Российское и православную веру. — Патриарх, опираясь на посох, воздел правую руку, и от его движений с панагии полетели в зал драгоценные искры. — Россия — богоизбранная страна, она обладает бесценным сокровищем — верой православной. И это сокровище хотят затоптать злые силы, для которых православная Россия — вечный укор. Этот укор им невыносим, и они насылают на наше Отечество свои полчища. Так было в годину Мамая и ливонских рыцарей, нашествия Стефана Батория и Наполеона, так было и во времена нашествия Гитлера. И всегда русский меч и русская пуля отгоняли врагов от наших священных рубежей. Вы объединились во имя правды и веры, и ваше собрание будет способствовать укреплению нашей Родины. Я рад, что во главе вашего объединения стоит достойный труженик, ревнитель православной веры, Евгений Константинович Лемехов.

Патриарх, опираясь на посох, сделал шаг в сторону Лемехова. Воздел руки и медленно, трижды перекрестил его:

— Благословляю на служение Государству Российскому во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

И весь зал, повинувшись властной металлической силе его голоса, зачарованно встал. Лемехов почувствовал, как из твёрдых перстов Патриарха в его лоб полилась горячая сила, слабо колыхнула его, и он на секунду забылся в пугающем предчувствии. И весь зал ощутил бестелесные волны патриаршего благословения, которое сулило Лемехову великую судьбу и делало их молодую партию судьбоносной.

Патриарх покинул съезд. Кorteж машин унёсся в метельное поле.

Лемехов вышел на сцену, глядя в туманный зал, где множество людей, покинув цеха с самолётами, установками залпового огня, баллистическими ракетами и танками, ждали его слова. И он говорил. Много, жадно, вдохновенно, величественно. Заражал собравшихся своей энергией:

— Мы должны исцелить наш народ, который был ранен, пал, оказался в руках злых колдунов, и они дни и ночи вливают в него яды уныния, отраву отчаяния и неверия. Мы должны разбудить народ, который лежит в хрустальном гробе, как спящая царевна. Мы должны подойти к этой хрустальной гробнице и поцеловать царевну, чтобы она очнулась от сна. Так учит нас Пушкин, величайший русский волшебник, который не покидает нас в години несчастий и каждый раз спасает от гибели. Злые колдуны пре-

вратили нас в жалких карликов, но Пушкин снова сделает нас великанами. Мы — партия Пушкина, партия великанов, партия Русской Победы.

Лемехов чувствовал, что в душе его просторно, как в храме, и ждал, когда влетит в окно серебряный луч, ослепительный голубь — Животворящий Дух. Он искал слова, которыми встретит полёт ослепительной птицы. Искал в туманных рядах синие глаза Верхоустина.

Но глаза вдруг пропали. Синева погасла, и наступил мрак. Верхоустин опустил веки, и лучи померкли. Вместе с ними померкли слова. Они не рождались больше на устах, а вместо слов уста издавали лишь стоны и глухое мычание. Будто его оставил дар речи. Лемехова охватил ужас. Всё рушилось. Падали стены храма, осыпался купол, подкашивались столпы. И он сам вместе с храмом проваливался в бездонную тьму. Он умирал, словно горло его сжали удавкой, и чей-то железный кулак смял его сердце. Он упал на сцене. Но вдруг зажглись голубые прожекторы, лучи подхватили его, удержали, не дали упасть. Волшебная сила вернула ему дыхание и речь. На устах загудели, зазвенели слова:

— У России в самые страшные её времена появлялись лидеры, осененные духом Победы — этой ослепительной птицей русской истории. Такими лидерами были царь Иоанн Васильевич Грозный, император Пётр Первый, генералиссимус Сталин. Я сказал вам о проекте “Россия”. Но Россия не проект, это судьба. Моя судьба!

Он пошёл со сцены, слепо хватая руками воздух, слыша за спиной грохот и возгласы зала.

Следом выступал директор северной верфи, с которой недавно сошла стратегическая подводная лодка. Он говорил, что партия “Победа” станет защищать интересы оружейников от нападков либеральных экономистов, требующих сократить военные расходы.

Выступал академик, работающий над ядерными зарядами малой мощности. Он приветствовал создание партии, которая внесёт в политическую жизнь страны стратегическое мышление, среди несведущих политиков станет отстаивать национальные интересы государства.

Именитый писатель, воспевший в свое время атомную триаду СССР, призвал к союзу технократов и художников. Он заметил, что для заявленного прорыва, для создания Русского Вихря нужен великий лидер, под стать Иосифу Сталину. Лемехов, несомненно, является лидером подобного масштаба, и именно в нём нуждается сегодня Россия.

Писателю долго хлопали, а несколько юношей из молодёжного крыла партии стали скандировать: “Лемехов, Лемехов! ...Президент, президент!” Но их быстро успокоили.

Когда отгремели речи и аплодисменты, была учреждена партия и обнародован состав Политсовета. Единогласно председателем партии был выбран Лемехов.

На сцену вышел второй человек в партии Черкизов и, сверкая глазами, объявил:

— Дорогие соратники, прежде чем мы отправимся на банкет и поднимем бокалы в честь нашего председателя, приглашаю всех собраться у входа в наше замечательное здание, где вас ожидает сюрприз.

Все потянулись в вестибюль, выходя на морозный воздух, кто просто в костюме, кто, накинув пальто и шапку.

Уже стемнело. Перед стеклянным крыльцом в лучах прожекторов стоял танк. Огромный, литой, с тяжелой башней и громадной пушкой. На его броне алой краской было выведено слово “Победа”. Тут же находились молодые активисты партии с ведёрками краски и кисточками, они предлагали делегатам съезда поставить на броне танка свои подписи. Первым подписался Лемехов, за ним Черкизов. Все макали в ведёрки кисти, карабкались на брону, тянулись к башне, покрывая её письменами. Скоро весь танк — башня, пушка, корма — покрылись беглыми росписями, и казалось, темно-зелёный танк был оплетен алыми побегими.

Механик-водитель окунулся в люк. Мотор взревел. Танк дёрнулся и в лучах прожекторов метнулся в открытое поле, удалялся, окружённый

сверкающими снежными бурунами. Он нёс в ночные снега огненную весть о грядущей Русской Победе. И там, в глухой темноте, куда он исчез, взметнулся разноцветный салют. В небе зажигались хрустальные люстры, распускались букеты цветов, полыхали светила и звёзды. Лемехов, без шапки, жадно смотрел, вдыхая морозный воздух, в котором ещё держался запах выхлопных газов танкового топлива.

## Глава пятнадцатая

Лемехов продолжал свои нескончаемые труды: ездил по заводам и полигонам, собирал совещания военных, промышленников и учёных, спорил с финансистами, выслушивал доклады разведчиков о новейших американских разработках, читал закрытые сводки о ходе боёв под Дамаском. Но при этом ежесекундно чувствовал своё высокое предназначение, своё мессианство. Был преисполнен могущества и всеведения.

Он посетил испытательный полигон в подмосковных лесах. Окружённые соснами, среди тающих мартовских снегов стояли стенды, лаборатории, исследовательские установки, где подвергались наземным испытаниям космические аппараты лунного проекта. Здесь, на Земле, создавались условия, в которых надлежало работать ракетносителям, лунным модулям, орбитальным станциям, солнечным батареям и дальнобойным лазерам.

В огромной стальной башне покоилась ракета. С одной стороны на её корпус дышал солнечный жар, а с другой — воздействовал космический холод. Мощные насосы откачали из башни воздух, обеспечивая абсолютный вакуум. Сотни ламп накаливания, имитируя солнце, направляли на ракету потоки жара. Криогенные установки создавали холод мёртвого космоса.

— Восхищаюсь вашей работой, товарищи, — Лемехов обращался к учёным и инженерам, которые стояли на талых снегах перед стальной башней. — Мы понимаем, что “Лунный проект” не только переводит оборону России на новый качественный уровень, не только совершает прорыв в космических и военных технологиях. Он переводит на новый уровень всю Россию. Возвращает ей космическое содержание. Очень важно, чтобы у нас получилось. Народ устал смотреть себе под ноги, боясь споткнуться. Пусть снова смотрит на звёзды.

Лемехов говорил не языком технократа и начальствующего управленца. Он говорил языком избранника, которого благословил Патриарх. Языком национального предводителя, который управляет русским развитием, строит победное государство.

Они приблизились к бетонному сооружению, похожему на бочку, опоясанную железными обручами.

— Здесь, кажется, должен находиться разгонный блок? — спросил Лемехов, — Как идут испытания?

— Разгонный блок ещё не доставлен на полигон, Евгений Константинович, — запинаясь, ответил главный конструктор.

— Как не доставлен? По какой причине?

— Не полная готовность блока, Евгений Константинович. Завершается заводская сборка, — потупясь, ответил директор ракетного предприятия.

— Но вы же докладывали о завершении сборки, — раздражаясь, глухо произнёс Лемехов.

— Сборка почти закончена, Евгений Константинович. Но в главке нам отказали в композитных материалах. Это привело к задержке.

— Кто в главке отвечает за композиты? — Лемехов грозно обвёл глазами собравшихся. В меховых шапках и тёплых куртках, в шубах и долгопольных пальто, чиновники, директора и конструкторы отводили глаза.

— Кто отвечает? — Лемехов сдерживал раздражение.

— Отвечает Саватеев, — откликнулся Двulistиков, указывая на того, кто повинен в срыве работ.

Это был тощий, с морщинистым лицом чиновник оборонного ведомства, одетый в поношенную куртку с неряшливо повязанным шарфом. На голове его

сидел меховой картуз с опущенными ушами, хотя было тепло. Большой крючковатый нос его был в мелких склеротических метинах, а глаза из-под редких бровей смотрели затравленно. Его вид вызвал у Лемехова едкую неприязнь, которая побуждала сделать больно немолодому испуганному человеку.

— Почему вы сорвали поставку композитов и, тем самым, задержали изготовление разгонного блока?

— Я... Евгений Константинович... На головном предприятии... Список зарубежных закупок... — лепетал Саватеев, ёжась под жёстким взглядом Лемехова. А у того лишь усиливалось ядовитое раздражение.

— На военно-промышленной комиссии вы гарантировали исполнение поставок. Значит, вы вводили в заблуждение руководство?

— Я не вводил, Евгений Константинович... Форс-мажор... Отсутствует строка финансирования...

Стариковская растерянность, дрожанье выцветших губ, растрёпанный шарф, нелепые уши картуза доставляли Лемехову мучительное страдание, будили в нём желание уязвить, сделать старику больно.

— Но вы понимаете, что своей бездарной позицией вы срываете грандиозный проект государства? Вы саботируете программу величайшей государственной важности. Вы кто? Саботажник? Враг? Или некомпетентный работник, что хуже любого врага?

Саватеев молчал, топтался. В его глазах была тоска и беспомощность. В них заблестели стариковские слёзы. И вид этих слёз вызвал у Лемехова мгновенное раскаяние, чувство вины, которое он заглушил вспышкой гнева:

— Вы бездельник и разгильдяй!

— Я не бездельник... Правительственные награды... — пробовал защититься Саватеев. Но этот слабый отпор лишь усилил гнев Лемехова. Словно прорвалась плотина в груди, и жаркая, слепая, обжигающая лава хлынула через горло, превращая речь в булькающий клёкот:

— Пишите заявление об уходе!.. Здесь, немедленно!

— Не имеете права... Заслуженный пенсионер...

— Уходите с площадки!.. Немедленно!.. Вон!

Красная пелена затмила глаза. Лемехов ужасался своему слепому безумию и неумению справиться с ним. Словно в груди корчилося и скакало уродливое существо, выдувая сквозь горло хрипящий крик.

— Вон!.. Немедленно!..

Все, кто стоял рядом, отводили глаза. А Лемехов, несчастный, не понимая, что с ним случилось, какое существо поселилось в нём и управляло его волей и разумом, повернулся и пошёл прочь. Его горло болело, словно было набито толчёным стеклом.

## Глава шестнадцатая

Канцлер Черкизов действовал блистательно, создавая образ национального лидера. Он учредил несколько сайтов, на которых размещал интервью Лемехова, его крылатые фразы, его шутки и глубокомысленные суждения. Постоянно вывешивал фотографии, на которых Лемехов выглядел доступным для общения, благодушным, сердечным. Вот на Масленицу он играет в снежки на фоне снежной крепости, и снежок, пущенный меткой рукой, разбивается о его плечо. Вот он молится в храме, окружённый набожными женщинами, и старушка возжигает свечку от свечи Лемехова. А вот с мастерком в руке закладывает камень в основание кардиологического центра.

Особенным успехом пользовалась фотография, где Лемехов стоит под крылом стратегического бомбардировщика “Белый лебедь”, и над его головой пламенеет красная звезда. И другая фотография, где он танцует вальс со своей возлюбленной Ольгой, восхитительной красавицей, и та смотрит на него с обожанием.

Черкизов, непревзойдённый мастер пиара, был неистощим на выдумки. Он подготовил поездку Лемехова в Волгоград, чтобы там, среди тысячной толпы Лемехов призвал вернуть городу героическое имя Сталина. Предлагал

даже поехать в воюющую Сирию, бесстрашно побывать под огнём и на фоне пылающих развалин заявить о национальных интересах России.

Лемехов охотно отдавал себя в руки этого искусного скульптора, который лепил из него новый образ. Чувствовал, как меняется выражение лица, жесты, взгляд. Казалось, он превращается в памятник саму себе — носит на своем природном теле пласты сияющего металла.

— Вам не кажется, Кирилл Анатольевич, что вы создаёте “культ личности Лемехова”? — со смехом спросил он Черкизова.

— Партия, которую мы создаём, роль, которую вам предстоит играть в судьбах России, связаны с религиозным культом, с мессианством. А это влечёт за собой ритуалы, над которыми нам ещё предстоит поработать, — серьёзно ответил Черкизов, и его жгучие глаза отливали золотом, как ягоды чёрной смородины.

Теперь Лемехов отправился на встречу с интеллигенцией, которую организовал Верхоустин.

— Вы должны собрать вокруг себя художников, писателей и артистов, — наставлял Верхоустин Лемехова. — Они должны почувствовать ваш магнетизм, вашу волю, которая строит новую Россию. Вы приглашаете их к сотрудничеству. Они своими талантами создадут образ новой эпохи — “эпохи Лемехова”. Каждому из них вы пообещаете славу и процветание.

Встреча проходила на теплоходе “Марк Шагал” на Москва-реке. У пристани на Воробьевых горах стоял нарядный корабль, а мимо по туманной чёрной воде плыли ленивые льдины.

— Скажу по правде, Евгений Константинович, мне трудно было заманить эту капризную публику. Но я дал понять, что они встречаются с будущим президентом России. Сделайте им заманчивые предложения. Обещайте каждому, что он станет придворным художником. Все они втайне хотели бы стать камер-юнкерами!

В ресторанном зале был накрыт стол, во главе которого восседал Лемехов. Подле него поместился Верхоустин, а далее, среди блеска стекла и фарфора расселись именитые гости — представители творческой элиты. Официанты в чёрных сюртуках разливали напитки, раскладывали по тарелкам закуски. У каждого официанта на сюртуке красовался партийный значок: колокольня Ивана Великого, космическая ракета и алое слово “Победа”.

— Господа, — Лемехов поднял бокал золотистого “Шабли”. — Для меня большая честь, что вы подарили мне своё время и собрались на этом ковчеге. Корабль готов отчалить от берега и бесстрашно плыть среди льдов русской истории...

Он вновь говорил ярко, образно, увлекательно. Потом выступали разные стилисты и новомодные писатели, в основном пустословы и кривляки. У архитектора Винограда было коричневое лицо и горбатый нос индейца, седые, падающие на плечи волосы, острый кадык, тонувший в шелковом банте, жёлтые ястребиные глаза, которые, как у птицы, вдруг закрывались кожаной плёнкой век.

— Я откликнулся на ваше приглашение, — обратился он к Лемехову, — потому что нынешний президент ни разу не удостоил меня приглашением. Видимо, для него архитектура является чем-то второстепенным. Он позволит спроектировать ещё одну виллу в Альпах, ещё одну резиденцию в окрестностях Сочи, но он не понимает, что архитектура оформляет эпоху, создаёт внешнюю форму, в которой бьётся дух живой истории. Архитектура — раковина, в которой живёт моллюск общества. Все великие эпохи рождали свой стиль, будь то средневековая готика с Кёльнским собором или Ренессанс с собором Петра, петербургское барокко Екатерины с Зимним дворцом или русский ампи́р царя Александра с Адмиралтейством, конструктивизм Мельникова времён революции или “сталинский стиль” Жолтовского. Но что теперь? Мы живём в эпоху супермаркетов и развлекательных центров, этих стеклянных пузырей! В эпоху элитного жилья, состоящего из затейливых башенок, декоративных колонок, нарядных арок. Эта архитектура мелких удовольствий, тайных похотей и жалких тщеславий!.. — Виноград закрыл кожаной плёнкой рыжие глаза, нахохлился и стал ещё больше похож на хищную пти-



цу. Поднял веки, и глаза его полыхнули золотом. — Я готов создать новый стиль, воплощающий новую эпоху — эпоху алтарей и заводов. Стиль “Лемехов”, если угодно. Когда вы станете президентом, сделайте мне заказ. Я построю завод, производящий космические роботы. Спроектирую университет, где станут преподавать космогонию и теологию, консерваторию, где зазвучит космическая музыка, и церковь, где вспыхнет огненное Православие. Эти четыре объекта положат начало новому стилю — “стилю Лемехова”. — Он умолк, задвигал острым кадыком, словно птица, проглатывающая добычу.

— Обещаю, вы получите этот заказ, — произнёс Лемехов. — И ещё вы построите Музей русской истории на Луне. — Он протянул бокал, чокаясь с архитектором. Тот пил вино, закрыв ястребиные глаза, двигая кадыком на жилистой шее.

Выступали художники и музыканты, и все они давали понять, что видят в Лемехове своего будущего президента. Как гром среди ясного неба прогремела речь литературного критика и культуролога Арсения Либкина.

Либкин был тучный, с короткой шеей, оттопыренными губами, с колечками сальных волос, прилипших к бледному лбу. Услышав своё имя, он громко задышал сквозь ноздри, зашлёпал губами, замахал у лица рукой, словно отгонял невидимую муху:

— Ложь! Никакого сокола! Никакого русского неба! Только чёрные воронки! Никакого будущего! ГУЛаг, кирпичная стенка! Это новый диктатор, без трубки, но с чётками из черепов! Он будет греметь черепами и подсчитывать, сколько миллионов расстреляно, сколько утоплено, сколько гниёт в тюрьме! Всех вас — как Мандельштама! Как Мейерхольда! Самцов, будешь модельером ГУЛага! Виноград, будешь проектировать крематории! Распевцев, будешь писать портреты диктатора за пайку хлеба! Очнитесь! Этот человек несёт нам войну, фашизм! Пушки вместо масла! Нас посадили на “философский пароход” и везут в никуда!

Он задышался, брызгал слюной. В уголках губ появилась белая пена. Верхоустин смотрел на него, вонзая свои синие лучи, которые потемнели, наполнились чёрным сверканием. Либкин стихал, сжимался, словно лучи проникали в него и сжигали его сердце. Он дрожал плечами, закрывал лицо худыми руками, и сквозь толстые пальцы текли слёзы.

— Ничего, ничего, Арсений, вы переутомились. Ваша статья о гастролях английского театра великолепна. Ваша книга “Фрески сталинизма” — образец новой культурологии. Мы уже решили с Евгением Константиновичем дать вам толстый журнал. Проблемы современной эстетики. Философия искусства. Не сомневаюсь, вы сделаете журнал европейского уровня.

Жёсткие лучи в глазах Верхоустина гасли, словно он извлекал отточенные копыя из рыхлого тела. Либкин стихал, доставал несвежий носовой платок, отирал слёзы. Все подавленно молчали.

В ресторанный зал вбежал Черкизов, белозубый, радушный, громко воскликнул:

— Господа, наш теплоход отправляется в плавание! Мы проплывём по Москва-реке до Ново-Спасского монастыря и снова причалим. И там нам подадут самые изысканные кушанья! Прошу, господа, на палубу!

Все хватали шапки, надевали пальто и шубы, выходили на морозную палубу.

Корабль отчалил от туманных гор. Раздвигая звонкие льдины, поплыл среди чёрных вод. Как зарево, отражались в воде “Лужники” с блуждающими аметистовыми лучами. Казалось, из тёмных глубин, из мерцающих льдин всплывает перламутровая раковина. Сейчас на ней, как на картине Боттичелли, возникнет божественной красоты Афродита с золотыми волосами, которые она прижимает к белоснежной груди.

К Лемехову приблизилась актриса Тереньтева, кинозвезда, прима театра. Она держала в руках два бокала с шампанским:

— Хочу выпить за вас, мой президент. Вы настоящий имперский вождь, русский царь!

Они чокнулись, выпили шампанское, и два стеклянных бокала полетели в тёмную реку.

Корабль проплывал под хрустальным мостом, напоминавшим оранжевую рею. Казалось, в этом висячем саду цветут волшебные цветы, летают райские птицы. Отражение моста, разрезанное кораблем, разлетелось по воде бесчисленными золотыми осколками.

К Лемехову подошла оперная певица Баскакова, молодая, прелестная, кутаясь в пышный мех. Её серьги с крохотными бриллиантами переливались у самых его губ. Хотелось наклониться и поцеловать эти пленительные бриллианты, вдохнуть запах её духов, услышать её взволнованный вздох.

— Я знаю, вы любитель музыки. Вас видят в опере. Я хочу пригласить вас на спектакль, где я пою Травиату.

— Вы оборожительны. Ваш голос — национальное достояние России.

— Благодарю. Я готова поделиться этим достоянием с вами, — она загадочно улыбнулась, запахнулась в меха и пошла по палубе туда, где гигантским золотым слитком высилось здание штаба.

От реки поднимался прозрачный туман. Льдины плыли, ударялись о корабль с лёгким звоном. Крымский мост переливался, как огромный чешуйчатый хамелеон: то голубой, то зелёный, то алый.

Писатель Виолов, известный романист, лауреат литературных премий, указывая на мост, произнёс:

— Не устаю восхищаться Москвой. Она, как сказочная змея, постоянно меняет кожу. Если мне суждено увидеть обещанные вами перемены, напишу “Москву космическую”, куда из русского Космоса приземлились пришельцы с их отважным Предводителем.

— Я читал ваш роман о гибели советского подводного крейсера. Очень сильная, горькая книга. Я хочу пригласить вас на заводы, где строятся космические корабли, звездолёты, инопланетные города. Где создаётся невидимая миру новая русская цивилизация. Вы напишете блестящий авангардный роман.

— Ловлю вас на обещании. Вы дали честное президентское слово.

Из черноты, из туманной мглы вставало золотое ночное солнце храма Христа Спасителя. Золото плавилось, стекало в реку, золотая река несла корабль. Дом на набережной утратил свою угрюмую, мрачную тяжесть и парил в небесах, переливался, как прозрачный кристалл.

Поэт Благодрагов завороченно смотрел на золотой проплывавший мимо шар.

— Ни кажется ли вам, — обратился он к Лемехову, — что помимо канонических русских святых, которым посвящаются алтари, лики которых украшают росписи храмов, существуют неканонические святые? Это русские поэты, которые находятся в прямом общении с Богом. Они есть посланцы Бога, они несут в народ благовест, когда Церковь дремлет, алтари остывают, лампы меркнут. Разве не святые Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Гумилёв, Есенин? Разве их стихи — не псалмы, обращённые к Богу? Многие из них умерли мученической смертью.

— Это глубокая мысль, — ответил Лемехов, глядя на золотое отражение. На отражении качалась тёмная льдина. — Может быть, попросим нашего художника Распевцева расписать храм “огненного Православия” ликами русских поэтов?

— Великолепно! — поэт, блаженно улыбаясь, удалялся, пропадая в золотом тумане.

Из-за моста, как розовая заря, появлялся Кремль. Усыпанный рубинами, бриллиантами, золотыми украшениями, он казался короной на царственной главе Москвы. Лемехов тянулся к нему губами, словно хотел поцеловать золотой крест, рубиновую звезду, мерцающую загадочную надпись на колокольне Ивана Великого. Кремль звал его к себе, посылал ему таинственное благословение, венчал его голову драгоценной порфирой.

Храм Василия Блаженного, озарённый прожекторами, стоцветный, как волшебный букет, принесённый с неба и поставленный в чёрную вазу, освещал собою Красную площадь.

— Этот храм послан русским людям как образ рая, — рядом с Лемеховым стоял Верхоустин. На его лице было восхищение, обожание и необъяс-

нимая мука, словно он чувствовал всю недоступность, непостижимость божественной тайны, о которой силился поведать людям дивный храм. Но тайна эта во все века оставалась неразгаданной, томила своей небесной природой, обещала чудо, которое всё не наступало, заслоняемое горем и тьмой.

— Удивительный вы человек, Игорь Петрович. Мне кажется, вам однажды в детстве приснилась жар-птица. И вы всю жизнь ждёте повторения сна.

— Да ведь и вы такой же, Евгений Константинович.

— Значит, мы ищем одно и то же?

— А разве это не жар-птица? — Верхоустин провожал глазами фантастический храм, который теперь был похож на пернатое, слетевшее с неба диво.

Река плавно изгибалась. Словно розовая гора, туманилось высотное здание. Стекланные реторты у Павелецкого вокзала кипели разноцветным пламенем. Бледный, как луна, возник вдалеке Ново-Спасский монастырь.

На палубе появился Черкизов:

— Господа, смотрите на небо! И вы узрите избранника небес!

Все подняли лица к небу, к облакам, по которым, словно северное сияние, блуждали ответы города.

На корме корабля что-то замерцало. Ввысь понеслись лазерные лучи, зачертили на облаках розовые, голубые, зелёные узоры. Разноцветные нити ткали зыбкое полотно. И на этой небесной ткани появилось лицо Лемехова. Оно смотрело из небес, и казалось, его губы шевелятся, брови двигаются. Он зорко и строго взирает на паству, возносившую к небу свои хвалы.

Все, кто собрался на палубе, рукоплескали, кричали “Ура”. Культуролог Арсений Либкин, без шапки, с развеянными волосами, безумно рукоплескал, восхищённо смотрел на явленную ему с небес икону.

Корабль причаливал к пристани у стен монастыря. Все возвращались в ресторанный зал, усаживались за столы, где красовались царские блюда: огромный остроносый осётр; жареный поросёнок, в ноздрях которого запекалась кровь; глухарь с мускулистым обципаным телом и красной бровью над остекленевшим глазом. Официанты разделявали осетра, поросёнка и лесную птицу. И уже лилось вино, и звенели бокалы.

## Глава семнадцатая

Самолёт, полный журналистов, телеоператоров, функционеров партии “Победа” летел в Волгоград, где Лемехову предстояло совершить мистерию: сочетаться с энергиями мистической Победы, воздать хвалу поколению святых героев. У подножий монументов заявить, что настало время вернуть победоносному городу огненное имя Сталина.

Эту поездку тщательно готовил “канцлер” Черкизов. Выбирал места, где Лемехов станет произносить свои речи. Созывал слушателей этих вещей речей. Приглашал газеты, сайты, телеканалы, которые представят Лемехова как твёрдого государственника, верного заветам непобедимого вождя.

Эта поездка служила негласным началом президентской компании, указывала на Лемехова как на будущего президента России.

Верхоустин не участвовал в подготовке визита, он лишь наставлял Лемехова, какими идеями и образами насыщать выступления.

Был конец апреля. Деревья парков стояли в зелёной дымке. Волга текла огромно и солнечно, переполненная вешними водами. Главным мероприятием было открытие старинного восстановленного фонтана, уничтоженного во время войны. Вокруг фонтана были расставлены стулья, на них усадили ветеранов — глубоких стариков, чьи мятые пиджаки и старомодные кители были увешаны орденами и медалями. Тут же сидели представители обществ: начальник гарнизона, знаменитый профессор истории. Юноши и девушки в куртках с надписью “Победа” построились, ожидая торжественного приёма в партию. Черкизов давал им последние наставления.

Множество телекамер снимало торжество. Мерцали вспышки. Юркие журналисты сновали в толпе, протягивая диктофоны.

Лемехов, которому надлежало включить фонтан, сидел рядом с губернатором, любуясь возрождённым творением.

Фонтан был сделан из ослепительно-белого алебастра, который казался прозрачным, был окружен сиянием.

Над площадью зазвучала песня “Священная война”. На большом экране возник разгромленный Сталинград, каким он выглядел после смертельного налёта немецкой авиации: чёрные развалины, дымное зарево, остатки фонтана с безголовыми и безрукими танцорами, чёрными от пепла и копоти. Атака советских солдат, перепрыгивающих через исковерканное железо. Пленные немцы, бредущие по зимним дорогам России.

Экран погас, и запели трубы в руках у военных музыкантов. Певучая музыка была под стать золоту праздничных труб.

Выступал губернатор. Моложавый, с весенним загаром, он поблагодарил директоров оборонных заводов и лично Лемехова за чудесный подарок городу. Воздал хвалу ветеранам, пообещав увеличить льготы и пенсии. Призвал молодёжь быть достойной своих дедов и прадедов.

Потом выступил начальник гарнизона — молодой генерал с благородным лицом. Он заверил народ, что вооружённые силы стоят на страже безопасности страны и готовы в час беды повторить подвиг своих предшественников. Пошутил, что отдал приказ десанникам: в день их праздника ни под каким предлогом не прыгать в этот замечательный фонтан.

И эти слова генерала были слишком легковесными и обыденными. Они не касались тайны фонтана, не касались тайны оружия, которое одержало победу в священной войне, а потому было священным оружием. И фонтан был священным, и в нём скрывалась священная тайна. Люди чувствовали её, но не могли высказать.

Лемехов, готовясь выступить, боялся не найти нужных слов.

Поднялся со стула ветеран, не сам, а с помощью двух молодых людей. Они, поддерживая его под руки, осторожно повели к микрофону. Он шёл, едва переставляя ноги, почти висел на руках своих помощников. Лицо его, всё в морщинах и складках, выражало страдание. Веки провалились, словно глазницы были пустыми. От плеч и до пояса его офицерский китель был покрыт многоцветной чешуей орденов и медалей. Они чуть слышно звенели при ходьбе. Его подвели к микрофону, он слепо нащупал его стебелёк и стариковским голосом, похожим на плач, произнес:

— Я у этого фонтана ходил в атаку 14 ноября 1942 года, старшим сержантом, за командира взвода. До фонтана нас добралось четыре бойца, а остальные остались лежать по дороге. Меня у этого фонтана не убило, а ранило в голову. Я после этого дошёл до Кенигсберга и воевал с японцем. Потом ослеп и уже ничего не вижу. Спасибо, что восстановили фонтан. Я его хоть руками пощупаю и помяну моих павших товарищей. А глазами уже не увижу.

Молодые люди подвели ветерана к фонтану, и тот осторожно ощупывал край алебастровой чаши.

Лемехов чувствовал, что разгадка тайны фонтана близка. Она есть у старика, который знает её, но не может высказать. Она в ослепительной белизне танцоров, которые похожи на ликующих ангелов.

К Лемехову подошёл Верхоустин и передал две алые розы:

— Не забудьте сказать, что из фонтана льётся “живая вода”.

Лемехов чувствовал святость этого места. Вода, которой он наполнит фонтан, — это святая вода. Глубинная вода русской жизни, которая в час беды выходит на поверхность. Лидер своей волей и личной жертвой открывает путь воде. Россия — хранительница святой воды, которой она кропляет мир, когда тот умирает. Святая вода России не даёт миру погибнуть, каждый раз воскрешая его.

Лемехову казалось, над фонтаном поднимается столб прозрачного света. Так светилась святая вода, готовая хлынуть в фонтан. Так светились души погибших солдат. Так светились чувства и мысли Лемехова, который разгадывал тайну фонтана.

Наступил черёд Лемехова. Он держал в руках две алые розы. На него смотрели синие глаза Верхоустина. Белели подвенечные платья двух невест. Слепой ветеран поднимал лицо к небу, словно надеялся, что солнечный луч

пробьёт крошечную тьму в глазах. Лемехов подошёл к микрофону, и множество телекамер следило за ним, мерцали вспышки, репортеры норовили подобраться поближе.

— “Фонтан любви, фонтан живой, / я в дар тебе пришёл две розы...” Эти стихи написал великий Пушкин, будто предвидел нашу сегодняшнюю радость.

Лемехов подошёл к фонтану и положил цветы на край белой алебастровой чаши. Камеры снимали алые розы, белых танцоров и лицо Лемехова, побледневшее от волнения. Он вернулся к микрофону и продолжал:

— Сталинград — это священное слово, которое мы произносим, как молитву. Здесь родина нашей победы. Мы должны вновь вернуть священному городу имя Сталинград.

Лемехов видел, как его слушают. Ветераны вытягивали морщинистые шеи, чтобы не пропустить ни слова. Взрослые сажали на плечи детей, чтобы те могли видеть Лемехова. Губернатор чутко вслушивался, стараясь уловить в словах высокого гостя веяния кремлёвских кругов. Невеста обняла жениха, да так и осталась стоять, забыв разомкнуть объятия. Верхоустин торжественно взирал синими очами. А Лемехов продолжал:

— В этом священном месте, в городе русской Победы был построен фонтан. Этот Сталинградский фонтан — священный. Это часовня, построенная на источнике русской Победы. Вода в фонтане — святая. Она исцелит больных, утешит оскорблённых, вернёт веру унывающим, наполнит силой ослабевших. Этой Сталинградской водой мы напоим Россию, она стяхнёт наваждение, вернёт былое величие и славу.

Лемехов умолк, ибо от волнения у него не хватало слов. Но слова вернулись, будто кто-то вкладывал их ему в уста:

— Мы несём эту святую Сталинградскую воду из города в город, из дома в дом, от одних жаждущих губ к другим. Мы воскресим всех павших солдат, всех командиров, всех командующих фронтами, воскресим великого генералиссимуса Сталина. Воскресим имя города — Сталинград!

Он умолк, потому что голос его задрожал от слёз. Солнце в глазах превратилось в радужный крест.

К нему приблизился Черкизов и протянул маленький пульт с кнопкой, которую следовало нажать, чтобы включить фонтан.

— Вы прекрасно сказали, Евгений Константинович. Это настоящая проповедь.

Лемехов принял пульт и нажал кнопку. Шумные сверкающие струи прыгнули, сшиблись, схлестнулись, накрывая фонтан сплошным стеклянным куполом. Среди брызг несся ликующий хоровод, и каждый танцор переливался на солнце. Купол распался, и бурлящий водяной столп вознёсся к солнцу, и оно кипело, слепило, танцевало, словно огненный шар.

Черкизов поднёс к шумящей струе хрустальную кружку. Вода пузырилась, выплескивалась, но Черкизов выхватил кружку из бурлящего водоворота. Мокрый, счастливый, в потемневшей рубашке, он протянул кружку Лемехову:

— Испейте, Евгений Константинович, святой водицы.

Лемехов принял кружку и пил холодную, почти ледяную душистую воду, чувствуя её сладость и силу. Эта сила вливалась в него, дивно пьянила.

Солнце играло в хрустале. Шумел и искрился фонтан.

— И вы отпейте, господин губернатор, — Черкизов выхватил из фонтана кипящую кружку, и губернатор отпил. Глаза его стали светлее.

Черкизов черпал и черпал воду. Две розы, лежавшие на краю чаши, упали в фонтан и кружились в водовороте.

Пили ветераны, проливая воду на ордена, и тусклая латунь медалей начинала сиять. Пили юноши и девушки, вступившие в партию “Победа”. Черкизов брызгал на них водой, крошил, как священник, и те хохотали сквозь брызги. Пили жених и невеста, передавая друг другу кружку, а после целовались мокрыми смеющимися губами.

Слепому ветерана вели к фонтану под руки. Он слушал шум и шелест, ловил худосочным лицом приближавшуюся прохладу. Черкизов поднёс ему кружку, вложил её в слабые стариковские пальцы. Ветеран пил, захлебывался, снова пил. И вдруг выпустил кружку из рук, и ахающим, испуганным голосом воскликнул: “Вижу!”

Его запёкшиеся веки поднялись, и под ними открылись живые глаза. В них отражался фонтан, переливались радуги. Он тянул руки к солнцу, к блеску воды, боясь, чтобы они не исчезли.

## Глава восемнадцатая

Через несколько дней в Москве Лемехову позвонил Верхоустин:

— Хочу поговорить с вами, Евгений Константинович.

— Конечно. Давайте поужинаем. Хотите, опять в “Боттичелли”.

— Нет, это место не подойдёт.

— Тогда приходите в “Ваниль” или в “Пушкин”.

— И это не годится. Мы бы могли уехать за город и где-нибудь погулять на природе. Тем паче, погода чудесная.

— Хорошо, погуляем в лесу.

Машина увезла их за город по Осташковскому шоссе, туда, где кончались торговые центры, ревущие трассы и эстакады, и среди нетронутых лесов начиналась водоохранная зона. Они оставили машину перед слагбаумом и пошли по пустынной асфальтированной дороге среди весеннего леса. Два охранника на большом расстоянии следовали за ними. Редкие велосипедисты, сверкая спицами, с лёгким шорохом пронеслись мимо.

Верхоустин шагнул на обочину, нагнулся, поднял суковатую ветку. Вернулся на асфальт, упираясь веткой в землю. Стал похож на странника с посохом.

— Мы успешно создаём партию, Евгений Константинович. Уже в тридцати регионах есть наши подразделения. Есть газеты и сайты, есть выход на радио и телевидение. Строительство верхней, открытой для глаз общества башни идёт успешно. Теперь пора подумать о глубинном её основании. О невидимой партии, которая будет скрыта в недрах явной и видимой.

Сырая палка в руках Верхоустина при каждом ударе оставляла на асфальте влажный след. Лемехов считал эти тёмные метины, которые соответствовали ритму и содержанию предстоящего разговора.

— Я не очень понимаю, Игорь Петрович, назначение этой тайной партии. Зачем это подполье, если мы намерены заниматься легальной политической деятельностью?

— Мы создаём партию не на один политический сезон, не под частную политическую задачу, даже если эта задача связана с избранием президента. Мы создаём партию, в недрах которой рождается Проект нового государства. Проект, исполнение которого потребует десятилетий труда. В этом проекте, помимо технологий, будет содержаться метафизическая сущность, без которой невозможно любое государство, особенно Государство Российское. Это сокровенные знания о природе русской цивилизации, о её религиозных мистических основах, о волшебных учениях, соединяющих Россию с небом, о райских смыслах, обретению которых посвящена вся русская история, всё русское время. Это сокровенное знание важнее любых засекреченных планов генштаба, любой запечатанной в сейфах статистики. Носителями этих знаний могут стать только избранные, прошедшие “крещение водой и огнём”. Если над землёй пронесётся буря и сметёт видимую миру башню, останется подполье, где уцелеют все волшебные смыслы, и русская цивилизация не погибнет. Пусть срежут дерево, но корневище останется. От него пойдёт новый побег. Так было не раз в истории Государства Российского.

Две бабочки-крапивницы кружились над дорогой, то сливались в тёмно-красный вихрь, то разлетались в разные стороны, садились на палые листья, сливаясь с коричневой землёй. И снова взлетали, находили друг друга, мчались в весеннем солнце, ликующие и счастливые.

— Что за вихри должны пронестись над землёй, ради которых мы строим сокровенную партию? И как она выглядит? Где будут проходить её заседания? На этой безлюдной дороге? — Лемехов усмехнулся, глядя, как удаляется дорога в солнечной дымке, и по ней несутся велосипедисты, похожие на миражи.

— Русская история — это горы и пропасти. Цветущие вершины, когда русская цивилизация достигает могущества и красоты. Обвалы во тьму, ког-

да цивилизация испепеляется почти дотла. Но она сохраняется и снова выныривает из бездны для нового взлёта и цветения. Богословы называют это “Русским чудом”, совершаемым по Божьему промыслу. Но это заслуга “тайных партий”, которые невидимо существовали рядом с очевидными. Царства, династии, уклады сгорают в пожарах, гибнут в революциях и смутах, но “тайные партии” сохраняются. “Большие проекты” сберегаются и ложатся в основу возрождённого Государства Российского. Именно это имел в виду Иван Калита, когда молился, чтобы “свеча не погасла”. Свеча Государства Российского. Когда рушилось первое русское государство, Киевско-Новгородское, когда оно начинало дробиться, мельчать, погружалось в междоусобицы и распри, перед тем, как пасть под копыта монгольской конницы, Андрей Боголюбский ушёл из Киева во Владимир и унёс с собой икону Богородицы. Он был членом “тайной партии”. Днепровская дубрава была вырублена и сожжена, но он унёс во Владимир жёлудь русской цивилизации, посадил в новую почву, и из него выросла новая дубрава — Московское царство.

Лемехов уже был в плену колдовских слов Верхоустина. Синеглазый странник, ударявший посохом в землю, знал о жизни то, что неведомо было Лемехову. История, о которой он говорил, подчинялась другим законам, протекала в другом времени, была населена другими героями. Верхоустин помещал в эту историю Лемехова, и тот, не находя вокруг знакомых и понятных персонажей, уповал на одного Верхоустина, вверяя ему свою судьбу, был от него зависим, не мог без него обойтись.

— Смута сгубила Московское царство, пресеклась династия Рюриковичей. Но князь Пожарский пересадила жёлудь Московского царства в почву Романовской империи, и русская цивилизация была спасена. Князь Пожарский был членом “тайной партии” Ивана Грозного, тайным его опричником.

Лемехова убеждали, что существует потаённая история, тайное человечество, которое, словно невидимая солнцу река, пребывает в глубинах истории, тайно управляет её ходом, сберегает божественные смыслы и заповеди. Не даёт им кануть в замутненных воронках времени. Лемехов верил этой сокровенной науке, которой не найти ни в одном учебнике и которая была отпечатана на дороге ударами чудесного посоха.

— Когда пали Романовы, и Государство Российское уподобилось фабрике пушечного фарша для мировой революции, граф Игнатъев, член “тайной партии”, внёс свечу в чёрные казематы, где томился русский народ, и передал эту свечу Иосифу Сталину. И “свеча не погасла”, превратилась в бриллиантовую звезду Победы. Жёлудь русской истории превратился в могучую дубраву сталинской эры.

Всё, что Лемехов узнавал от Верхоустина, было пленительно, напоминало лунатический сон, когда идёшь по карнизу с закрытыми глазами. Тебе снятся прекрасные сады и озёра, восхитительные дворы, праздники. Ты блаженно улыбаешься, чувствуя ароматы сирени и запахи дивных духов. И вдруг просыпаешься и видишь у ног чёрную пропасть, ржавый карниз и в небе — синюю кладбищенскую луну, летящую сквозь осенние тучи.

— А кто передаст свечу теперь, когда рухнул Советский Союз? Кто явится в нашу горемычную жизнь, как член “тайной партии”, держа в руках жёлудь? — Лемехов чувствовал, как кружится голова, словно он опьянел от запахов цветочной пыльцы, солнечных вод, пения одинокой невидимой птицы. — Кто он, несущий жёлудь?

— Это я, — сказал Верхоустин.

Они молча шагали. Обочина была в ярко-жёлтых цветах мать-и-мачехи, которые, словно цыплята, сбегались и разбегались весёлыми стайками.

— Я не мог сказать вам об этом раньше. Это отпугнуло бы вас, выглядело бы неправдоподобно. “Тайная партия”, которая направила меня к вам, — это группа лиц, в основном, офицеров военной разведки. Она сложилась после войны вокруг Судоплатова по настоянию Сталина, который в своём ясновидении предчувствовал грядущую стране катастрофу. Эта тайная группа получила название “Жёлудь” и по сей день сохраняет своё название. После развенчания Сталина группа ушла в глубокое подполье, сохранив влияние в партии, в армии, в органах безопасности, в культуре и в экономике. Старики умирали, их место занимали другие. Когда началась перестрой-

ка, и стало ясно, что страна погибает, “Жёлудь” перебрался в Австралию и увёз с собой громадные деньги, разместив их на счетах европейских, американских и азиатских банков. С этих пор люди “Жёлудя” внимательно следили за событиями в России, наблюдали обвал “красной цивилизации”, контуры “чёрной дыры”, в которую кануло Государство Российское. Дожидались момента, когда случится удар о дно и начнётся медленное всплытие. Оценивали всех видных российских политиков, стараясь угадать, кого из них выберет провидение и сделает лидером Русского Возрождения. Пришли к выводу, что этим лидером являетесь вы. И решили послать к вам меня. У “Жёлудя” есть колоссальные ресурсы. Есть Проект новой русской цивилизации. Есть разветвлённые связи с закрытыми структурами мира, от старой европейской аристократии до парapolитических кружков в транснациональных корпорациях. “Жёлудь” готов предоставить вам свои ресурсы для “русского рывка”, для воплощения “русского чуда”. Вас просят поторопиться. Многие из членов “Жёлудя” умерли, другие — глубокие старики, некоторые не покидают инвалидных колясок. Они хотят, чтобы вы создали партию, и в этой партии свил гнездо, в которое они положат яйцо будущей русской цивилизации, передадут Проект великого возрождения. Вот об этом я и хотел вам поведать.

Лемехов слушал, как в прозрачном лесу звонко, словно ксилофон, стучит дятел. Музыкальная дробь летела среди гулких стволов.

— Но как же я начну возрождение? Я ещё не стал президентом! Есть действующий президент — Лабазов.

— Его дни сочтены. Он неизлечимо болен. От него отвернулись элиты. От него отвернулся весь мир. “Замковый камень” Государства Российского начал крошиться, и свод вот-вот упадёт. Вы должны заместить пустоту, стать “замковым камнем”. Мы построим партию “Победа”, и в её недрах поместим катакомбный штаб, куда австралийские соратники передадут свой Проект, свои финансовые и организационные ресурсы.

— Но кто эти люди? Откуда вы их взяли? — вырвалось у Лемехова.

— Многих из них вы знаете. Здороваетесь с ними на совещаниях, приёмах, великосветских встречах. Некоторых считаете своими противниками. Эти люди не обнаруживают своё родство, принадлежность к тайному ордену.

— Когда я смогу их увидеть?

— Как только вернётесь из Сирии. В Сталинграде вы прошли крещение водой. Теперь вы поедете в Сирию и пройдёте крещение огнём.

Верхоустин поклонился и пошёл по дороге, опираясь на палку. Лемехов смотрел, как он удаляется в солнечной дымке, и вслед ему пролетела жёлтая бабочка.

Лемехов медленно шёл по дороге. Вдалеке за спиной маячили охранники. Проносились редкие шелестящие велосипедисты. Он вдруг подумал, что стал заговорщиком, плетёт заговор против президента Лабазова, который благоволит ему, доверяет, поручает, как никому другому, сверхсложное государственное дело. А он уверовал в своё мессианство и предаёт президента. Надо как можно скорее встретиться с ним, объясниться. Пусть президент не видит в нём врага, а, напротив, — защитника, друга, который не отдаст Лабазова на растерзание кровожадных элит. Возьмёт под защиту его репутацию, благосостояние, саму жизнь. Лемехов попросит президента о встрече во время кремлёвского приема в День Победы. После парада в Кремлёвском дворце сойдутся именитые чины государства, президент Лабазов поднимет бокал, станет обходить сподвижников. И тогда, чокаясь с президентом, Лемехов попросит его о встрече.

У обочины длинная канава была наполнена солнечной зеленоватой водой, в которой плавали лягушки. Самцы были нежно бирюзового цвета, раздували прозрачные пузыри, издавали трескучее кваканье. Вся водяная канава плескалась от лягушачьего месива.

*(Окончание следует)*



АНДРЕЙ ПОПОВ



## И СОХРАНЯТЬ МОЛИТВЕННОЕ СЛОВО...

ЗВЕЗДА РУБЦОВА

Терзаться — так высоким русским словом,  
А не игрой усталого ума:  
Ей ничего ни дорого, ни ново,  
Горит, да в сердце остается тьма.

Когда чадит усталое безверие,  
То нам нельзя принять его дела,  
Нельзя забыть, что мы сыны Империи,  
А не колониального угла.

И потому взойдём на холм — и снова  
С него увидим и зелёный шум,  
И крест церковный, и звезду Рубцова —  
Звезду полей, звезду российских дум.

Когда чадит ленивое безверие,  
То кто-то должен бить в колокола  
И сохранять высокий дух Империи,  
А не колониального угла.

---

*ПОПОВ Андрей Гелиевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах. Автор нескольких сборников стихотворений. Стихи переводились на венгерский язык. Лауреат премии Правительства Республики Коми имени И. А. Куратова. Живёт в Сыктывкаре.*

И сохранять молитвенное слово,  
Державный свет, трудолюбивый ум  
И храм, и волю, и звезду Рубцова —  
Звезду полей, звезду российских дум.

\* \* \*

Сердце верит, не устанет.  
Гонит прочь  
Время тёмных испытаний —  
Эту ночь,

Одиночество и ветер,  
Трепет сна...  
И приходит на рассвете  
Тишина.

Тишина — и сразу дорог  
Каждый слог.  
Что ж я плачу, как ребёнок?!  
Это — Бог.

#### ВАСИЛИЧ

Василь Василич назывался дедом,  
Но был не дед мне — знал я про обман.  
Он помогал чинить велосипеды,  
До станции нёс маме чемодан.

Не воевал — в тюрьме сидел, наверно,  
Украл чего-то — это я решил.  
В России мир... Он пил дешёвый вермут,  
Чуть что ругаясь: “Мать твою в кувшин!”

А мама говорила деду строго:  
— Не матерись, здесь не пивной буфет.  
И дети слышат. Ты побойся Бога!  
Василич отвечал, что Бога нет.

К нему приехал за отцовской лаской  
Сын из Тамбова, тридцати двух лет.  
На мотоцикле новеньком с коляской  
Катал родню — и вылетел в кювет.

Все живы — их на “скорой” увозили,  
Среди сочувствий, вздохов и машин.  
Дед отряхнулся от дорожной пыли —  
Ни ссадины. Вот мать твою в кувшин!

В России мир... А мы идем в больницу,  
Родным несём мы яблоки и мёд.  
Василич верит, хоть и матерится, —  
Всё будет хорошо, и Бог спасёт.

## В ПАРКЕ

Дитя порыва и невроза,  
Хоть нету истины в вине,  
В мечтах, как Гегель и Спиноза,  
Пью на скамейке “Шардоне”.

О вечном мыслю, о нетленном —  
Жаль, понимает лишь скамья.  
И любомудрием смиренным  
Прохожих задеваю я.

И никому неинтересно,  
Что вижу я в погожем дне.  
Зато твердят, что здесь не место  
Для горьких дум и “Шардоне”.

Им отвечаю я устало,  
За них тревоги не тая:  
— Чего ворчите, маргиналы?!  
Всё это родина моя...

ТАМАРА ЛОМБИНА



## АННА СТЕПАНОВНА

ПОВЕСТЬ

**Кириха**

Нам, детям, было непонятно, почему взрослые по каким-то необъяснимым причинам скрывают свою радость по поводу приезда к нам далёкой, а вообще-то, не такой уж и далёкой родственницы — Анны Степановны Кириной. Она была женой дедова брата. Братьями они были по матери, от разных отцов, но это не мешало им быть самыми настоящими братьями.

Кириха, как звали её женщины, год от года становилась всё более и более смешной. Правда, это в огромной степени зависело от совсем несмешной причины: она с каждым годом всё хуже и хуже видела, но отчаянно сопротивлялась признавать это. Очков она не носила и уверенно ходила по привычным путям-дорогам, на которых, что ни год, возникали какие-то пусть и малосущественные изменения, но всё-таки возникали, и Анна Степановна появлялась после очередной очень выгодной сделки (а все её сделки были очень выгодными!) с синяком.

В том, что Анна Степановна была смешной, мы, дети, тоже в некоторой степени были виноваты. Сейчас я думаю, отчего мы были так жестоки? А возможно, это была вовсе и не жестокость, а страстное сопротивление тому, что она отрицала очевидное, и, будучи взрослой, смела то, на что отваживались лишь дети, — на откровенную ложь. Но ведь мы лгали всегда по очень важным причинам: чаще всего, чтобы защитить наши детские права

---

*ЛОМБИНА Тамара Николаевна родилась в г. Актюбинске (Казахстан). Закончила Актюбинский педагогический и Ленинградский библиотечный институты. С 1981 года живёт и работает в г. Сыктывкаре. Автор трёх книг прозы. Написала уникальную книгу для дошкольников "Читайка". Член Союза писателей России.*

и свободы, а она вторгалась туда, как нам казалось, без всяких на то оснований, поскольку она была взрослой. За это мы и подсовывали ей вместо чёрного карандаша для бровей карандаши всех цветов радуги. Особенно ей шли зелёные брови. После того как наша спекулянтка, как в те времена называли Кириху, выходила с товарами по своим коммерческим делам, мы небольшой ватагой сопровождали её, получая истинное удовольствие от реакции встречных людей. Их потрясал неожиданный, как нынче принято говорить, макияж нашей оренбургской госты. Ах, злодеи, злодеи!..

Как мы смеялись, когда знакомые выбивались из сил, чтобы не корчиться от смеха, вступив в разговор с нашей Кирихой. Сейчас я понимаю, что Анна Степановна оставалась всегда, до глубокой старости, настоящей женщиной. Она была чрезвычайно кокетлива, любила принарядиться и даже подкраситься. Правда, поскольку мы иной раз были её безжалостными визажистами, её макияж очень напоминал боевую раскраску индейцев.

Первые настоящие оренбургские платки на женщинах в нашем посёлке появились благодаря ей. Это Кириха привозила и продавала их совсем недорого, просто в убыток себе, как она постоянно повторяла.

Сам акт купли-продажи всегда был ещё и спектаклем, в котором принимать участие любили все. Анна Степановна готовилась к нему тщательно, с удовольствием придумывая репризы. Добродушие её было просто обезоруживающим. Одна только Кириха могла принять приступы всеобщего истерического хохота за всенародное ликование по поводу общения с ней и восторга от её сценического поведения и неотразимой внешности.

Я всегда выступала в роли рабочего сцены и помрежа. Все её домашние заготовки я знала, но всё-таки получала при этом двойное удовольствие — как зритель и как ребёнок, теперь я это понимаю, глубоко любивший эту смешную, нелепую старуху.

Бабы, уставшие от однообразных будней, собирались у нас в ожидании покупки, а больше для того, чтобы встретиться с неугомонной Степановной. Я выходила из-за портьеры и голосом, каким обычно объявляли следующий номер в праздничном концерте, сообщала:

— Платок пуховый, чистый персук, платки рекомендуем молодым женщинам, независимо от возраста. — Отступив в сторону, я освобождала место Кирихе, выплывающей из-за портьеры в пуховой шали. Прикрыв лицо так, что оставались видны только глаза, она лёгкой походкой двигалась между собравшимися, изображая, как она говорила, трепетную лань, которой так зябко и которой так уютно прятаться от безжалостного мира в этом мягком, тёплом платке. То, что мы, дети, смеялись над словами нашей Кирихи, мне понятно, но почему смеялись вместе с нами и бабы? Ведь мир действительно ко многим из них был таким же безжалостным, как и к Степановне.

Сейчас мне хочется думать, что только мои малолетние тогда дядьки подсовывали Анне Степановне цветные карандаши вместо чёрного, а я этого не делала. Но поручиться за это я всё-таки не могу.

Кириха уважала и побаивалась моего деда, и бабушка разрешала распродажу только тогда, когда была уверена, что муж уехал в управление либо был в какой-нибудь дальней командировке.

Степановна делала мне знак, и я ставила пластинку:

*Валенки, да валенки, ой, да неподшиты, стареньки,  
Чем подарочки носить, лучше валенки подшить, —*

выводила своим волнующим голосом Русланова, а моя Кириха появлялась из-за шторы в невиданной для наших южных мест обуви — в пимах, какими-то тайными путями попавших в руки этой актрисы.

Что она выделявала ногами в этих пимах! Зрителям верилось, что они воистину обладают магическим действием: “Больные ноги лечат, сами несут тебя по свету, а уж только зазевался, начнут выделявать такие кренделя, прямо так и пляшут, так и жгут”. И бабы забывали о том, что у них должно быть единственно возможное выражение лица — лица умного человека, вынужденного наблюдать за ненормальным. Они начинали, сами не замечая

того, подпевать Степановне. Особо заводные набрасывали на плечи соблазнительно разложенные нами серые и коричневые платки; о белых паутинках я уж и не говорю: их мы раскладывали на красные атласные накидки. Даже недоверчивая Окрущица долго щупала платок, мяла его, взвешивала на грубых от ухода за домашней животиной руках, но и её сердце бывало завоевано трюком, приготовленным для такого случая. Кириха снимала с руки латунное обручальное кольцо, которое ей выточил вместо настоящего мой дядька-токарь. К моменту распродажи кольцо бывало подготовлено нами: оно сияло так, что было более золотым, чем самое золотое из золотых, и Кириха с хитро-таинственным выражением лица протягивала платок через это колечко. Окрущица доставала узелок с деньгами, до последнего торгуясь со Степановной за каждый рубль, и так-таки покупала шаль. При этом она, будучи прижимистой, попадала под гипноз Кирихи, впадая в счастливое заблуждение, что выгадала на этой покупке, очень выгадала.

А платки и вправду грели ещё молодые, но уже вывернутые непосильной работой плечи, лица начинали румяниться от домашней вишнёвой наливочки. Косынки сдвигались, а потом и вовсе снимались. Разрумянившиеся бабы начинали походить на своих дочерей, им уже верилось, что права эта смешная спекулянтка, которая утверждала, что молодость не зависит от возраста, что всё ещё впереди. А уж то, что самое лучшее впереди, в этом никто не сомневался в те годы — после войны, когда уже немного залечили раны города наши, сердца человеческие и память людская.

Своим детским чутьём я угадывала какую-то загадку в своей оренбургской бабке. Но, кроме этой тайны, что всегда была рядом с именем Анны Степановны, я чувствовала: она сама тайна, загадка, она отличается от всех женщин, с которыми я когда-либо общалась. Был в ней какой-то шик, то, что теперь я бы назвала неистребимой женственностью. Была та грациозность, которая никогда, до глубокой... опять не могу произнести слова “старость”, лучше так: до конца её жизни она не теряла какой-то изысканности... Не потому ли, разгоревшись девичьим румянцем, так старались бабы ей, этой чужачке, показать, что и они ещё совсем ничего. “А они и были ещё ого-го, — как любила говаривать моя бабушка. — А ежели за волосы потрепать да щёки набить, то ещё за девуку слепец может принять”.

Приближался пик нашего представления, и я, завернутая в бархатную красную штору, выносила на худеньких своих ручонках, держа над головой, гитару, украшенную огромным оранжевым бантом.

— Романс из оперы “Пиковая дама”, — завывая, как профессиональная ведущая праздничных концертов, объявляла я. После паузы, которую я уже тогда, видимо, умела держать, значительно добавляла: — Исполняет на ф-ф-французском языке Кирина Анна.

И Анна начинала петь. Мурашки пробежали по телу от её удивительного голоса. Я уже не помнила о своей особой роли в этом представлении и ловила себя на том, что забывала закрыть рот, словно не только ушами хотелось мне вобрать этот низкий грудной голос. Но мне нечего было стесняться своей неловкости: взрослые женщины замирали и так же по-детски забывали закрыть рот и от удивления, и от восхищения, а моя Анна — я в эти минуты почему-то её про себя так называла — становилась такой красивой, такой чужой, чем-то отгороженной от нас всех, что казалось немислимым подойти к ней, дотронуться до неё, а уж обнять, уткнуться лицом в её колени, как это делала обычно я... Нет, к этой богине нельзя было вот так, запросто...

Когда она кончала петь, бабы какое-то время молчали, потом, чтобы скрыть неловкость от своего потрясения, начинали двигаться, кашлять, поправлять платки, а Окрущица, самая недоверчивая и довольно вредная, заявляла:

— Мы тоже так моём: “Кума вола пасе, кум водку пье”, — выводила она, совершенно потрясающе повторяя интонацию и прононс незнакомого языка.

— Да, да, да, — подхватывали бабоньки. — Это мы умеем.

— “Макар лен трэ”, — удивляла меня моя бабушка, грассируя так, как это могла бы лишь истинная француженка.

Тихо перебирая струны гитары, Анна опять начинала напевать. Теперь она старалась спеть что-нибудь такое, что могли бы подхватить и наши благодарные зрительницы и слушательницы. И песня получалась. Преодолев внутреннее сопротивление, поддавались бабы магии мелодии. И уже все вместе наши голоса и души пели и плакали по замерзавшему в степи ямщику, по любви его.

Я всегда плакала, когда слушала эти песни, а ещё я плакала, когда Анна Степановна и бабушка потихоньку от родителей и деда водили меня в церковь. Я боялась строгих глаз Бога, меня потрясала торжественная красота храма, а когда хор, в котором преобладали ломкие, надтреснутые старушечьи голоса, начинал петь, я не могла остановить слёз, и бабушка, уводя меня из церкви, нарочно строго говорила Анне Степановне:

— Сами ненормальные (имея в виду моих молодых родителей), и ребёнок нервный, надо отвести к бабке, переляк вылить. — Но рука её нежно держала мою, и не было в ней той строгости, что слышалась в голосе, а только тревога за меня, только любовь, та любовь, которая так всю жизнь и поддерживала меня; охраняет она меня и теперь, после смерти моей берегини.

А Анна Степановна словала мои пальцы-паутинки и произносила непонятные мне тогдашние слова:

— Какой же испуг, это — душа, ты просто чувствуешь душу свою, а это часто бывает больно.

А вечером того же дня бабушка опять хитростью оставила меня с молитвой “Живый в помощи Вышняго...” Она всегда сказывалась плохо видящей, чтобы я переписала для неё очень крупно ту или иную молитву. Сколько раз она помогала мне, эта молитва “Живый в помощи...”!

Обрывки разговоров, которые мне иногда приходилось слышать о Кирихе, ещё больше привлекали меня к нашей странной рождественнице.

### Подслушанный разговор деда и бабушки

— Николай, надо бы про Шурку обговорить, — осторожно начала после ужина бабушка. Я бы и не обратила внимания на взрослый разговор, если бы не смиренная вкрадчивость в голосе моей властной и решительной бабушки Марии. — Пропадёт ведь малец, говорят, стал поворовывать...

Дед сумрачно молчал, отхлебывая чай из гранёного стакана.

— Был бы отец... — настойчиво продолжала бабушка.

— Письмо, что ли, получила, — проговорил, наконец, дед. — Пусть бы не моталась по свету, а за детьми смотрела.

— А на какие такие средства ей за ними смотреть? Они и жрать иной раз просят, — не отступалась бабушка Мария. — Взял бы ты мальчика. Где наших пятеро да Татьяна, там и он бы лишним не был.

— Ты мне кудри-то не завивай, — отрезал дед, — я тебе сказал, что и ей здесь нечего делать, да и ты непутёвых её мальцов особо не привечай.

### Непутёвый

Непутёвый появился в доме вскоре ночью. Кто-то робко стукнул в окно. Бабушка метнулась к двери и, не спрашивая, сбросила крик.

— Ой, дитятко, — запричитала она, — что это с тобой? Ты что, подрался с кем-нито?

Непутёвый бросился на грудь моей сердобольнице и заплакал, по-детски громко всхлипывая и приговаривая:

— Тётъ Марусь, они меня убьют, всё равно убьют...

Дед долго кашлял, прежде чем выйти из комнаты. Я понимала, почему: знала, что он не может выйти, что ему мучительно трудна эта первая минута встречи с племянником.

— Ну, что? — грозно спросил он, выйдя в одном исподнем и босиком. — Докаталась твоя матерь... так её... проглядела дитю.

Шурка метнулся к дяде:

— Дядь-Коль, они у меня ворованое прятали, а я не знал; они подкармливали нас... а теперь...

Шурка был хорош. Мне это было приятно. Он, как и мои дядья, вполне годился мне в братья, так как между мной и последним моим дядькой было восемь лет разницы. Родилась я тогда, когда бабушке моей было сорок, и я даже за компанию звала её мамой.

Из огромных глаз Шурки лились, как мне казалось, такие же синющие, как и его глаза, ручьи слёз. Ох, уж этот Шурка! Уже не раз бабушка пыталась подобрать к дедову сердцу, чтобы уговорить его взять сироту-племянника к себе.

— Деда, — бывало, теребила я дедушку, — а где Шуркин отец?

— Помер, — коротко и холодно отвечал дед, который в иные времена был ко мне добр, терпелив и нежен, как ни к кому из своих детей.

— А его на войне убили? — продолжала настаивать я.

— На войне, — отрезал дед и отгораживался от меня своими очками. Это уже было серьёзно: он начинал работать. Для всех это было свято, никто не смел подойти к нему в эти минуты.

Бабушка привычно засуетилась вокруг плиты, вот уж и запахло съестным. Как всякий подросток, Шурка был вечно голоден — сразу и румянец появился на его грязных щеках, он уже и заулыбался:

— Эй, чернявая, — начал он привычно подшучивать надо мной, — чё глазищи-то до сих пор не вымыла? — Но мы это уже проходили.

Как-то в один из его приездов он спросил меня, чего это я не отмою свои глаза. Вот, мол, и у него были такие, а вот теперь, глянь-кось, какие синенькие. Глаза у него были, и правда, хороши, как у куклы, которую мне подарил наш сосед, воевавший в Германии. Бабы говаривали, что понавёз он оттуда столько, что на всю жизнь хватит, вот и мне досталось.

— Да-да, — подначивал Шурка, — мылом-мылом — отмоются, будут, как у меня.

Помню я эту мойку. Мне казалось, что глаза у меня вылезут из орбит и вот-вот лопнут.

Мои родные дядьки накошмыряли двоюродному братцу за свою любимицу, но к вечеру Шурке удалось с ними примириться, угостив их всех папиросами “Казбек” за сараями. Я, несмотря на самый большой урон во всей этой истории, с красными глазами и распухшим носом, стояла на шухере, как говорил Шурка. Таков был уговор: они ведь, когда с Шуркиной помощью расшатали замок в сундуке, где бабушка держала конфеты, честно дали мне две, а себе взяли по одной. Было у нас взаимопонимание, что там говорить...

Вот и сегодня, Шурка что-то жарко рассказывал, а мои дядьки смотрели на него такими же синими фамильными, как у деда и вообще у всех Кириных, глазами. Непутёвый курил, как-то по-особому перегнув папиросу, и то и дело сплёвывал. Мои дядьки, как ни скрывали это, но смотрели на него с восхищением. Где был тот испуганный воробей, которого я вчера ночью видела заплаканным? Это был герой! Он, пока добрался до дома дядь-Коли, как он скороговоркой говорил, перекидал кучу гадов, которых та-а-ак отделал, — что... Шурка иной раз вворачивал словечки, за которые однажды дед обещал своим сыновьям разорвать рот до ушей. Дядьки мои иногда вспоминали обо мне и шипели на непутёвого:

— Татьянак здесь, ты чё?

Шурка сплёвывал особенно картинно и отдавал команду:

— А, чернявая, а ну, марш на десять шагов, — и доставал невесть откуда припасённую для меня карамель в фантике. Я брала карамель и честно отходила на десять шагов, но потом постепенно приближалась незаметно, чтобы услышать очередной Шуркин рассказ о его подвигах. Мне нравилось на него смотреть. Он был и похож, и не похож на моих дядьёв. Общими у них, пожалуй, были рост и глаза. Но Шурка, как я теперь понимаю, был как-то картинно породист, утончён. Он больше всех своих сестёр и братьев походил на Анну Степановну.



Думаю, и глаза-то я отмывала, чтобы стать хотя бы чуточку похожей на непутёвого. Каждое его движение было от природы (а возможно, и от породы) необычайно пластичным. Мать любила Шурку больше всех своих детей, наверно, и потому, что он был самым младшим, а может быть, чувствуя сходство и родство натур, которое даже мне было понятным и заметным. Шурка был жизнелюб, как и мать. Он так же радовался каждому мгновению своей жизни, был музыкален и патологически необидчив. Щедрость его тоже была фантастической. Даже когда Витка, мой средний дядька, восхитился его портсигаром с виньетками и с какими-то надписями, Шурка небрежно бросил его брату: “Нравится — держи”. Таким он был во всем: легко раздаривал всё.

Сегодня, накормленный, умытый и солнечно-счастливый, так как с дядькой Колей он ничего и никого не боялся, он уже давно спал, и — я была уверена — улыбался. Он всегда улыбался во сне, улыбался, когда просыпался.

А дед с бабой не спали, шептались. Дед был расстроен и возбуждён, порою начинал кашлять и говорить слишком громко, бабушка его останавливала, но сама забывалась и начинала говорить почти вслух.

### Подслушанный разговор деда и бабушки

— Возьми Шурку к себе в путевые рабочие, — уговаривала бабушка. — Пропадёт ведь пацан. Вот и из школы ушёл, учился-то хорошо, да кто-то там что-то пронохал...

— У них там пронохали, и у нас пронохают, — угрюмо и предупреждающе шептал дед.

— Брат за брата не в ответе, — неуверенно говорила бабушка.

— Это, если брат не враг народа, — кашлял после этих непонятных слов дед.

— А он-то, знаешь что, учудил, — с нескрываемым любованием безрассудной Шуркиной храбростью продолжала бабушка. — Ему, как директорская дочка на дверь указала, а Степановна-то говорила, что он с первого класса в неё был влюблён... — бабушка сочувственно вздыхала. Мне хотелось спать, но ещё больше хотелось узнать про своего двоюродного дядьку. — Так он и на двери дома, и на школьной форме краской написал: “Враг народа № 2”.

Дед закашлялся и так долго и мучительно кашлял, как никогда.

— Я вот его выпорю, этого врага, да отправлю к его ненормальной дворянской матери... так её мать.

— Пропадёт он, — обреченно как-то проговорила бабушка, и по шуму я поняла, что она взяла подушку и ушла от деда на диван. Это было крайней степенью их разногласий. Мы, дети, не любили этих “разводов”: быстрая на расправу баба Мария отыгрывалась на наших спинах, а вернее, на том, что было расположено чуть ниже.

### Верка

Шурка, на мой взгляд, в этот приезд стал совсем взрослым. Мои предположения вскоре оправдались: он дорос до момента, когда с человеком может случиться первая любовь. И она случилась. В небольшом саманном домике, вросшем в землю, по соседству от нас жила Верка, которую бабы называли коротким хлёстким словом, о всеобъемлющей характеризующей силе которого догадывалась даже я. Не понимая, почему, я чувствовала, что слово это вслух произносить не стоит, что за него так же, как и за некоторые другие, дед с моими дядьками мог бы обойтись столь же сурово, как обещал. Мои дядьки хихикали, встретив Верку, как-то иначе себя вели, и я их не любила в эти мгновенья. “Мать солдатская”, — так называли они её. Я удивлялась тому, что у Верки так много сыновей, и тому, что они все солдаты полка, который стоял неподалёку в военном городке. В те времена мои пред-

ставления о возрасте были весьма относительными. Всякий человек, которому было старше десяти лет, был для меня старым, а уж Верка была такого возраста, до которого просто, как мне думалось, не живут, — ей было лет двадцать.

Но при этом я понимала, что она была красивая, даже очень красивая. А самое главное, она была весёлая, певучая, и после работы не убывало в ней неистребимой жизненной силы. Она была путейской рабочей. Зимой и летом, в мороз и зной она весь день наравне с мужиками вкалывала, не переставая хохотать и петь, и задирать мужиков.

Песня для Верки была так же естественна, как для птицы. А вечером, умытая, в единственном чистеньком платьице, в туфлях-лодочках она бежала на танцы. У этих туфель была особая история. Верка нашла вначале одну лодочку, правда, она была парусиновая. Но у Верки никогда не было настоящих туфель, и эта показалась ей удивительной. Особенно её потрясло то, что туфля была на каблучке. Но она была одна, и Верка с сожалением оставила её там, где нашла. А через два часа, отойдя на порядочное расстояние, девушка увидела другую туфлю. Видимо, та, с поезда, что обронила одну туфлю, в сердцах, а, возможно, из щедрости сбросила и вторую. Так Верка стала обладательницей туфель, которые она перед танцами ваксила, натирала до блеска и растапывала ими мужские сердца.

Вот в неё-то, в Верку и влюбился непутёвый. Мои дядья издевались над ним, подтрунивали, а Шурка в своей неуязвимости смеялся очень даже счастливо и уверял их, что женится на Верке, так как он никогда ещё не встречал такой удивительной, нежной и красивой девушки. Гроза грянула, когда слухи дошли до деда, который и без того мучительно решал, как ему быть с племяншом. Поздно вечером Шурка попытался на цыпочках пробраться в комнату к мальчишкам, но дед ухватил жениха за руку, выпорол и поставил перед фактом, что билет ему будет куплен сегодня же.

Наутро, утирая слёзы, бабушка начала печь пироги в дорогу любимцу. Она понимала, что здесь уж пошёл характер на характер и что Шурка действительно женится на Верке, как обещает, а дед оторвёт племяннику голову, как и грозитя.

Я с восторгом смотрела на непутёвого. Он был как-то шало неуправляем и готов на всё: метался, как зверь в клетке, до вечера, пока не пришла с работы Верка. Я со своей синеглазой куклой-немкой была, конечно же, возле открытых окон Веркиной комнаты. Шурка плакал. Моё сердце надрывалось от жалости и нежной любви к нему.

— Я буду любить тебя всегда... — слышала я срывающийся Шуркин голос. — Мне наплевать, кто и что говорит о тебе. Я люблю тебя, я люблю тебя так, что умру без тебя...

— Вот горе-то какое, — слышался в ответ голос Верки. — Не хотела я тебя так перевернуть, красавчик ты мой. Ой, до чего же ты хорош, беда моя, дай я поцелую тебя в глазоньки мои синенькие.

Я посмотрела на мою куклу-немку и тоже поцеловала её в “синенькие глазоньки”.

— Уезжай, мальчик мой, растревожил ты меня, нельзя мне, грех перед тобой, да и перед Богом за тебя... — Голос Верки дрожал. Моё сердце просто готово было разорваться от сочувствия к этим несчастным влюблённым. Как я могла им помочь?

Я не понимала, почему дед был против свадьбы этих красивых людей, которые, я это чувствовала, любили друг друга, ну, а то, что у Верки было так много сыновей-солдат, так это же здорово: Шурка сразу же становился отцом сынов, которые служат, ходят в форме.

— Если ты не пойдёшь за меня, я убью себя, брошусь под поезд, — отчаянно прокричал Шурка, но, к счастью или несчастью, это многообещающее заявление услышал и дед, шедший с работы. Он как раз направлялся за племянником, которого в этот же день отправлял с вечерним поездом в Оренбург. Дед, не стучась, ногой открыл дверь Веркиной комнаты, молча схватил Шурку за руку и притащил домой. Порода была одна, и он понял, что перегибать палку не стоит.

— Шурк, — неожиданно миролюбиво заговорил дед с любимым племянником, — ну, ты пойми, что она... — дед опять сказал это хлёсткое слово. — На таких не женятся.

— Она хорошая, дядь-Коль, она самая хорошая! — просто уже кричал Шурка. — Она лучше всех... Ты не понимаешь.

— Я всё понимаю, Шурик, — совсем уж нежно проговорил дед. — Ты это первый раз... того?

— Не ваше дело, не твоё дело, дядь-Коль, — впервые нагрубил любимому дядьке Шурка. — Она чудесная-чудесная-чудесная...

— Ну, всё! Будь мужиком, — уже жёстко проговорил дед. — Пойдём в магазин, кой-чём купим тебе из вещей.

— Ничего мне от вас не надо, — продолжал кричать Шурка. Но тут, судя по вскрику и всхлипываниям, дед приласкал племянника своей тяжёлой рукой.

Так, под конвоем, Шурка был отведён в магазин, где ему справили новый костюм и осеннее пальто. Вечером дед взял его железной рукой, отвёл на вокзал и посадил в поезд.

Как ни был убит разлукой с любимой Шурка, но успел-таки перед отъездом приласкать всех. Мне он подарил невесть откуда взявшуюся огромную конфету “Мишка на севере”. Такой вкусной я никогда не ела. Наверное, так вкусна она была от солоноватого привкуса моих слёз по непугёвому. Возможно, уже тогда я впервые поняла, что любовь это штука солёная.

Шурка уехал из моего детства навсегда. Он так-таки не развязался с ворами, был втянут в какую-то историю и на десять лет исчез из нашей жизни. Я, мало что понимая в то время, всё-таки чувствовала, что в тот момент мой справедливый и добрый дед был и недобр, и несправедлив к Шурке. Я не могла тогда знать, что за сила такая могла так повлиять на его решение отречься от сына любимого брата.

А с красавицей Веркой произошли столь странные перемены, что её просто никто не мог узнать. Сыны-солдаты появлялись всё реже и реже, потом перестали ходить совсем, она уже не начищала, напевая, свои туфельки, на её платье словно выгорели краски. Волосы ту же были стянуты в косу, а потом вдруг я заметила, что бабы к ней помягчили и уже реже бросали её вслед то самое хлёсткое слово, которое заставляло вздрагивать её плечи. Веркины чёрные глаза стали какими-то нежными и словно подернулись дымкой. А через какое-то время даже я поняла, что у неё появится ещё один солдатик.

Она стала с особой нежностью относиться ко мне, всё расспрашивала про Шурку, о котором я мало что знала, а по вечерам сидела на крыльчке, гладила свой огромный живот и напевала:

*Баю-баюшки, баю,  
Баю доченьку мою,  
Мою маленькую, синеглазенькую.*

Как Верка могла догадаться, что родится доченька, что она будет синеглазой? Она разговаривала с дочкой нежно и любовно и так была отгорожена от всех, что казалась за невидимым забором. Я ничего ещё в то время не знала о наследственности, о странной способности детей быть похожими на своих родителей, но, когда появилась на свет Любочка и стала расти на наших глазах, я с потрясением для себя увидела, как она с Шуркиным щенячьим восторгом смотрела на мир, на людей его сияющими глазами. Какой самозабвенной, самоотречённой и любящей матерью стала Верка! Она всю себя бросила к ногам дочки. Никто уж потом ни разу и не вспомнил о её весёлом прошлом, бабы стали поговаривать, что Верка хорошая мать, да и женщина ничё, с головой. Она билась, как рыба об лёд, кроме основной работы, ходила на приработку: где что побелит, покрасит, не брезговала ничем. А Любушка росла истинной Любушкой — всем она была любя. Бабушка моя не уставала изворачиваться и придумывать какие-то работы для Верки, чтобы помочь ей и дочке. Видно, и она что-то увидела в глазах

этой девочки. А, слава Богу, всё было хорошо у Верки с её девочкой: выросла она, вышла замуж за хорошего парня, как и положено любимому и оберегаемому этой любовью ребёнку. Когда бабушка моя спрашивала у Верки: “Чей ребёнок-то, Верунь?” — Верка смеялась и говорила: “От любимого, единственного моего, от ненаглядного...” Я ей верила.

### Подслушанный разговор деда с бабушкой

— Напрасно мы не взяли Шурку к себе, не выйдет из него толку без мужской руки, слишком уж куражистый характер... А чего это ты, Николай, Степановну недолюбливаешь, она неплохая баба. Правда, с прибабахом, да ведь у каждого своё... Может, и на нас глядя кто скажет что по-хорошему, так и не надо было отказываться от мальчика...

— Ты когда-нибудь поймёшь, что отец его, твоего Шурки, не на курорте заболел и умер... — ответил раздражённо дед.

— Да всё я понимаю, но только ради своих когда-то можно и рискнуть, — не отступалась бабушка.

— А я, значит, мало для них сделал, — опять раздражённо ответил дед. — А кто ей все эти годы помогает, кто детей её одевает? А сколько раз картошки, муки ей отправляли, детей подкармливали?

— Не о том я, — как-то очень грустно сказала бабушка. — Уж больно ты дорожишь своим партбилетом, больше, чем всеми нами, своими родными.

— А вот этого ты не трожь, глупая баба, — взвился дед. — Я за него жизни не жалел, когда усмирять бунты басмачей ездил. Он меня, может, и от смерти спас.

Эту историю, как дед взял в плен самого главного басмача и вёз его семь суток, я знала. Первые двое суток было ещё куда ни шло, а потом наступил ад: басмач спал, ел, глядя на деда, улыбался из-под густых бровей, мол, давай-давай, посмотрим, сколько ты сможешь так продержаться без сна. Спать с открытыми глазами дед стал уже на третьи сутки. Но ему удавалось прийти в себя, как только басмач подходил к нему, протягивая руку к лицу, чтобы проверить, спит ли его конвоир, в состоянии ли ещё что-то соображать. Когда начались седьмые сутки, дед был уже не совсем нормальным человеком. Видения перемежались редкими минутами оознанного восприятия мира. Вот тут-то его и подстерёг басмач. Он ударил его ножом, тяжело ранил, бросил и сбежал. Ранить-то ранил, но не убил, так как, что с особенной гордостью любил повторять дед, его спас партбилет, который был в левом внутреннем кармане гимнастёрки.

Как-то были связаны партбилет, басмач, Шуркин отец, но как, я тогда не понимала, а просто лежала и думала о Шурке, который сидел в тюрьме. Мне было особенно страшно, что в ней надо было сидеть, ведь он такой быстрый, верченый, этот Шурка, как же это он там сидит и сидит. Я представляла, как они там все сидят рядами, и начинала плакать.

Если в детстве на меня большое впечатление производило то действие, которое мы устраивали вместе с Кирихой, то потом мне особенно интересной казалась история Анны Друбецкой.

### Василий

В шестнадцать лет Анна осталась на берегу, когда отчаливал пароход: её отёрла толпа. Пароход уходил из России навсегда, унося от неё её детство, её защиту. Я думаю, в тот миг, в те страшные минуты, когда от родителей ушёл берег с родимой стороной, с единственной дочерью, которая, как песчинка, утонет в ней, они стали стариками-сиротами. Анна, оберегаемая их молитвами, каким-то чудом, без денег, отправилась в далёкий город Оренбург, куда уехала её няня. Она была единственным человеком, который любил этого одинокого испуганного ребёнка. Анна поехала к ней. Но что такое “поехала” в те страшные дни? Даже если бы у неё были деньги, как мож-

но было попасть в воинские эшелоны? Да притом девушке, барышне. Да только так и можно было, как попала Анна. Она бродила от состава к составу, спрашивая, не идёт ли этот поезд в Оренбург.

— Идёт, идёт, — весело ржали солдатушки, — поедем с нами, красавица.

Ржать-то они ржали, но, однако же, и робели, так как ясно было, что перед ними была настоящая барышня. Этим-то Анна и была каким-то непонятным образом защищена от их двусмысленных намёков, от их сомнительных мыслей; даже было ощущение физической невозможности прикоснуться к её руке.

Вот тут-то и столкнулась она лицом к лицу с молодым вдовцом, красным командиром Кириным Василием Петровичем, к которому она кинулась всё с той же безумной просьбой: довести её до Оренбурга. Под завистливыми взглядами солдат он взял барышню за руку...

Он взял барышню за руку, а она, как и положено было её одинокому и незащищенному сердцу, вдруг поняла: это Он. А Василий вдруг испугался её незащищенности, детской потерянности так, как не боялся до сих пор даже за своих детей, которые жили сейчас, после смерти жены, с её родителями. Он хмуро подсадил худенькую девушку с огромными ореховыми глазами, в которых от последних нескольких недель скитания была гремучая смесь отчаяния и безумия, в свой вагон.

Несколько дней она отказывалась снять пальто, хотя от буржуйки в вагоне было тепло. Анна молчала и смотрела на него невидящими глазами, когда он подходил и с тревогой вглядывался в её лицо, не понимая, зачем он взял с собой эту девочку. Какое ему дело до неё? Почему, откуда и куда она едет? От кого или к кому бежит в этом хмельном тумане новой жизни, в которой он — на коне. Он, любимец и удачник, так радостно и упоённо чувствует себя строителем этой жизни, нового счастливого будущего. Оно ему отчётливо видится вон там, за извилистым поворотом железной дороги, по которой он везёт своих воинов, готовых и своей, и чужой кровью начать строительство этого будущего здесь, в этом диком, удалённом от центра страны краю.

А девочка сидела и полубессознательно принимала из его рук пищу, судорожно сжимая своё пальто под горлом, когда он пытался снять его. А потом вдруг упала, потеряв сознание. Неделю он отпаивал её травяными настояями, натирал каким-то жиром, обтирал самогонкой её тело, когда жар казался испепеляющим. Тревога, даже какой-то ужас потерять её сделал его почти одержимым. На одной из остановок он за спиной услышал предательское: “Уж натешился, командир, дал бы и нам...” Василий повернулся на каблучках на голос, побелевшими губами выдавил: “Убью всякого, кто посмеет думать о ней, не только что сказать...” Было ясно, он так и сделает.

Анна трудно возвращалась к жизни, да, надо признаться, она и не хотела возвращаться. Там, в её снах или бреду, она была ребёнком. Утром её будила мама, которую обожал серьёзный и всеми уважаемый папа. Там была няня, которая, одевая её, не могла налюбоваться, надышаться своей душечкой, красавицей, ягодкой, рыбонькой. Няня целовала её локоны, пальчики и так безыскусно и преданно любила, что была незаметной, как воздух, которого не замечаешь, пока он есть. Возвращаться в разрушенный мир Анна не хотела. Здесь всюду было темно, свет и тепло остались там. Она вынырнула из этого света и тепла и почувствовала на лбу руку... Нет, это была не мамина маленькая, блаженно дорогая рука, не была эта рука и пухлой рукою няни Вари.

— Где я? — прошептала еле слышно Анна.

— Всё хорошо, вот и славно, вот и хорошо, вот и славно, — непривычно потеплев своим обычно хмурым лицом, бессмысленно повторял одни и те же слова Василий.

Анна с недоумением, а потом с нескрываемым страхом посмотрела на незнакомца, который с такой нежностью, напомнившей ей нежность няни Вари, смотрел на неё.

Девочка ожила, но, судя по всему, жить не хотела, а он, Василий, очень даже хотел, чтобы она жила. Он хотел не только, чтобы она жила, но что-

бы её жизнь была как-то связана с его жизнью, да просто даже была его жизнью.

— Что со мной? — спросила она, наконец, начав осознавать себя и вспомнив, что этот человек согласился отвезти её в Оренбург.

\* \* \*

В Оренбург она приехала уже женой Василия. Как-то случилось это так просто и естественно.

Василия любило начальство, любил сам Фрунзе, потому-то доносы о нём, что он на глазах у своих бойцов вёз девушку в своём вагоне, никаких серьёзных последствий не имели, тем более что Василий женился на Анне. Правда, Фрунзе сказал ему, что мог бы он жениться и на девке из своего села. Но поскольку вскоре родилась у них дочь, разговоры сами собой стихли.

Василию никто не был так нужен, никто не был так дорог, как эта смешная, открытая и наивная девочка из чужой, раньше враждебной ему среды. А среду лучше было считать враждебной, ведь, не вызвав в себе чувства ненависти, невозможно было почитать за праведное дело то, что скрывалось за словами: “Весь мир насилия мы разрушим...” Для разрушения нужен был кураж, кураж человека, который должен был подпитываться ненавистью. Появление Анны пробило брешь в его непримиримости. Возможно, сам того не сознавая, Василий всю свою жизнь с трепетом восхищения, с удивлением и потрясением смотрел на тех, к кому никогда не осмелился бы подойти, — на барышень. Они были такие другие, непонятные, притягательно интересные, что даже мысленно он не мог бы вообразить себя рядом с кем-нибудь из них.

Анна полюбила этого человека, который так же был для неё чужим, непонятым и по языку, и по несдержанной взрывчатости, не принятой в её среде. Она с радостным удивлением принимала его шалую, нежную и трогательную любовь. Эта любовь защищала её от тоски по утраченному миру.

Хозяйство она вела странно. Вернее, никак не вела. Но всегда с весёлой радостью бросалась делать то одно, то другое, ощущая себя так, как порою в детстве, когда просила Лизоньку-душеньку разрешить чуточку помыть пол или на кухне разрешить, пока не видит мама, почистить картошку или порезать капусту. Тут никто не запрещал ей делать этого. И она носилась по дому, взвизывая его и доводя до какого-то неохватного беспорядка.

— Васенька, — кричала она мужу, когда он был дома, — смотри, я уже почти полкартошки оставила, — и показывала ему, что осталось от очищенной картофелины. Он же удивлялся себе. Его покойная жена была прекрасной хозяйкой, а в этом сумасшедшем доме он был так непривычно счастлив от беспорядка. Он обожал жену, любил детей, которые появлялись один за другим.

Василий перемывал, перестирывал, перечищал, пере... и любил до замиранья сердца эту весёлую пичугу. А по вечерам, когда его ловкие руки успевали навести хотя бы маломальский порядок, он просил её петь ему. Её голос был ещё одним его потрясением. О голосе Анны Друбецкой знал весь Петербург, а она пела ему, самарскому крестьянину, и ни разу не была так счастлива, как сейчас, от слёз, с которыми он её слушал.

\* \* \*

Они были просто счастливой семьёй. Они были просто очень счастливой семьёй.

Карьера Василия, несмотря на жену-чужачку, не пострадала. Он видел, как один за другим его бывшие соратники, достигшие высоких постов, куда-то исчезают, некоторые навсегда. Одних он жалел, когда узнавал, что их погубила незрелость мышления, тлетворное влияние старого. О других думал, что сумели эти люди притвориться, приспособиться, обмануть бдительность да-

же таких, как он сам. Труднее всего было разобраться с арестом Фрунзе, но он знал одно: человек может ошибаться, партия — никогда! Партии он верил, в неё он верил, как иные в Бога. Правда, жене он не мешал молиться за детей, но в церковь ходить запретил. Иногда Анна всё-таки умудрялась вырваться из дому в церковь и помолиться, покаяться в том, что так счастлива, несмотря на все потери, помолиться о чуде, в которое даже поверить было трудно, — в возможность встречи с родителями.

### Анна Друбецкая

Беда, как известно, самая неожиданная гостья, но самая неотвратимая. До тридцать седьмого года у Василия и Анны было уже четверо детей. Шурка родится потом, после смерти отца, так и не увидит он своего родителя, о котором мать неустанно, до последних дней своих будет говорить с такой любовью, на которую способна была эта удивительная женщина. Уже взрослой я узнала ещё об одной стороне характера моей оренбургской бабки.

Семья Василия жила в то время в ведомственном доме, в одном из лучших образчиков сталинского неоклассицизма. Правда, жильцы часто менялись... На секретных совещаниях говорили о бдительности, о том, что враг не дремлет, что он порою в наших рядах. Но никогда, в самом страшном сне не мог бы Василий представить, что осенней ночью именно по его душу будет прислан “чёрный ворон”. Странно и необъяснимо, что от скрипа тормозов одновременно проснулись Анна и Василий, с замиранием сердца и с предчувствием беды. Гостей довольно долго не было, и Кирины совсем уж было успокоились, когда в дверь постучали. Мир рухнул снова...

Никто не хотел объяснять, где Василий, что с ним. Анна металась по всем приятелям, которые стали вдруг отчуждёнными и вежливо холодными. И только один намекнул, что муж пока что здесь, в оренбургской тюрьме. Он же сказал, что лезть к большому начальству ей не стоит — будет ещё хуже — и намекнул на то, что ей, с её прошлым — тем более... Но обещал свести с одним из тюремщиков, предупредив, что ей следует приготовить что-нибудь вроде самогона, и в больших количествах. Тут же Анна бросилась к своей прежней соседке по коммунальной квартире, списала рецепт приготовления этого напитка и в тот же день поставила брагу. Позже, когда её свели с “нужным” человеком, она этой самой самогонкой растопила его сердце, и он иной раз передавал письма от жены мужу. Да и от Василия иногда приносил записки. Они были всегда жизнерадостными, полными надежды: “Не унывай, Анна Степановна, очень скоро разберутся те, кто умнее нас, с этим делом, партия знает, кто такой красный командир Василий Кирин, что он сделал для родной Красной армии, для партии, для Родины. Чуток подожди, береги себя, не поднимай до родов тяжестей. Верю, что родины будем справлять вместе, если родишь, паче чаянья, без меня, назови Шуркой, я знаю, что будет сын. Береги себя, любая моя”.

Анна перечитывала записку, понимая, что Василий не мог написать всего, что хотел сказать ей, но она чувствовала между строк столько любви, тревоги и нежности, что, прижав письмо к мокрому от слёз лицу, ощущала тепло его рук, его губ, слышала стук его сердца. Всплывали воспоминания: перед тем как уснуть, она замирала на его крепкой надёжной груди и слушала ровный и сильный стук его сердца, оно всегда выстукивало одно и то же: “Люблю, люблю, люблю...”

Трудно было ей в эти дни, но, видимо, жизнь решила, что этих испытаний для неё ещё недостаточно.

Однажды красноорды́й охранник сказал ей, что Василий сильно заболел, и жить ему осталось, видимо, совсем немного, да это и к лучшему. От этого многозначительного “к лучшему” застыла кровь, а в глазах потемнело.

— Дорогой, золотой, милостивый, — умоляла она тюремщика, — расскажи мне правду, расскажи, мне будет легче.

Она принесла ему несколько бутылок мутноватой жидкости. После того

как Анна поставила перед ним третью бутылку, “милостивец” наконец-то разговорился.

— А чего тут рассказывать, — начал тюремщик, белозубый и кудрявый парень, которого легко было представить скорее актёром, играющим этакое славного тракториста-передовика, стахановца. Кровь быстрее побежала в его жилах, что можно было заметить по его и без того румяному лицу. — Хорошо, что салца с огурчиками догадалась принести на закуску, — похвалил он Анну, громко, с хрустом откусывая добрый кусок огурца. — Доказано уже почти, что... — глянув на побледневшую пуце прежнего Анну, охранник смешался. — Короче, если бы... не болезнь, то отправили бы его в неизвестном направлении...

— Как же так, как же так? — шептала помертвевшими губами Анна, — он ведь так предан революции, он ведь жизни своей не мыслит без всего этого.

Она не могла найти слов, не могла собрать мыслей. За что это всё ей, за что? Нет, она не роптала, она пыталась понять, что она сделала не так. Анна никогда и никого не винила в своих бедах, она знала, что все наказания ей были даны Богом по грехам её. Значит, и это тоже заслуженная кара.

Да что там было долго думать! Она ощущала, что была слишком счастлива, слишком растворилась в своём блаженном женском счастье, которое воспринималось ею как заслуженная награда за то, что жизнь отняла у неё прежнее спокойное и счастливое детство; за то, что отняла у нее родителей; за то, что она сумела пережить скорбь свою, а вернее, словно забыла её, вырезала из своей памяти большое прошлое и научилась жить только сей минутой, сим мгновеньем; за то, что она была так безудержно и блаженно, как-то по-животному, природно-женски, эгоистично счастлива. Анна чувствовала себя частью природы, но ей было понятно, что душа её словно задремала, а она, лукавая, понимала это, понимала, что это грех, что она обманывает себя, обманывает Бога, что так не бывает, что так не может долго продолжаться, но... Вот и пробил час. Боль, которую она кутала и убаюкивала, прятала от себя, от других, взорвалась в ней с чудовищной силой. *Пришло время собирать камни...* Она уже знала, “за что”. За то, что предала своё прошлое, отреклась от него; за то, что судьбу свою пыталась перехитрить...

Почему к ней теперь так часто стал приходиться сон, вернее, не сон, а воспоминание того страшного мгновенья, когда она осталась на пристани одна? Словно для того, чтобы эти видения истязали её ещё и ещё раз с какой-то растянувшейся до бесконечности ноющей болью.

— Мама, — кричала Анна, хватаясь за ускользящую руку, видела мамин испуганный, остановившийся взгляд, она даже схватила и сжала так цепко, как только смогла, кружева её рукава, но они так и остались в руке, а толпа оторвала их друг от друга и, оглушая, стала растаскивать в разные стороны. Она хотела проснуться, — нет, не во сне, а там, на пристани, — она хотела проснуться от этого ужаса... Пожилый казак, которого толпа притёрла к Анне, увидел её испуганное лицо и пожалел её, подбодрил: “Ничего, барышня, ничего, не слухай, что это последний пароход, будет ещё, догонишь своих...” Но он не верил в это, и она тоже не верила. Она уже знала, что в последний раз видит там, на сходнях, искажённые отчаянием лица отца и матери.

— О-го-го-го-го, — прощально взорвался сиреной пароход и стал медленно отрывать от её сердца её жизнь. Жизнь не хотела отрываться, она тянулась, растягивалась, вытягиваясь в едва заметную нить, но пароход, превратившись в чёрную точку, вскоре исчез, канул в вечность. И она умерла. Она была мёртвой. Душа её отделилась от тела и вилась, вилась белой чайкой, которая слилась потом с пеной морской, над набитым людьми пароходом, а жалкое её худенькое тельце обнял за плечи всё понимающий казак и повёл от пристани прочь, приговаривая бессмысленное: “А вот и ничего, девонька, а вот и ничего...” Он, наверное, уговаривал не её, а себя, утирая заскорузлой рукой маленькие капельки, стекающие по щекам на седые обвислые усы.

Как и где потом она потеряла его, где они разошлись, чтобы уже только в воспоминаниях встречаться опять и опять?..

Она поверила Василию, что жизнь можно считать начавшейся в какой-то из моментов, считать, что она, новорожденная, безгрешная, чистая, но-



вая и незамутнённая, будет началом нового и такого же прекрасного будущего. Он так веровал в это, что и она попала под гипноз его веры.

— Чего это ты ему написала? — простодушно начал прямо при ней читать письмо любитель самогона, ковыряясь спичкой в зубах. — Люблю я твои письма. Так уж ты складно врешь мужику.

Анна словно окаменела, ей было всё равно. Она вдруг поняла, что письмо это писала не она, писала другая женщина счастливая, блаженно глупая от этого счастья и столь же блаженно освобождённая от памяти о прошлом. Но она была просто женщиной, и она инстинктивно позволила себе слабость — слабость слияния с природой, слабость жить вне законов времени, вне зависимости от прошлого, настоящего, будущего.

— “Здравствуй, мой единственный, — по складам читал охранник письмо. — Мои губы шепчут твоё имя: “Василий”, — мои губы ждут привычного прикосновения твоих губ. Так было всегда, когда мы были рядом, и я произносила вслух, а порою даже про себя твоё имя, ты это не только слышал, но и чувствовал и тут же целовал меня, словно в благодарность... Я порою задумываюсь над тем, за что судьба меня так наградила тобою? Твоей любовью? Как она не похожа на то, что я представляла в своих девичьих грёзах. Это так же не похоже, как не похож рисунок акварели морского пейзажа на само море. Ещё там, в вагоне, после болезни, я поняла, что это ты меня выходил, что это ты меня отпаивал отварами, переодевал, ухаживал за мной, я поняла, что была вся в твоей власти... Едва придя в себя, я впервые осознала волшебное чувство этой власти над собой, и сердце моё оборвалось. Когда я посмотрела в твои глаза, в которых была такая земная, такая безграничная нежность, мне, тогда ещё барышне, было уже дано понять и прочитывать это. А что самое странное, не испугаться и ответить, ещё полумертвой, ещё не совсем здоровой, но уже ответить своим сердцем на твой взгляд.

Это был великий грех, что без Божьего благословения я стала твоей женой, что без Божьего благословения мы стали с тобой единой плотью, что без Божьего благословения родились мои дети, но, я полагаю, ты знаешь, что я всё-таки окрестила их всех, дав им если не право родиться в венчанном браке, то хотя бы Ангела Хранителя.

Но ты также должен знать, что с первой же минуты, как я тебя встретила на перроне, как только ты посмотрел на меня, я уже поверила тебе...”

Анна тупо слушала письмо, которое читал при ней разомлевший страж. Она вдруг поняла, что такого письма она больше не смогла бы написать никогда, что она словно бы очнулась от летаргического сна. Ей даже было любопытно услышать, что могла написать та Анна.

— “Я помню твои руки, мои руки помнят твоё тело, твои волосы, мои губы помнят твоё лицо, твои ресницы, твои брови, твои губы. Когда я пишу это, моя голова начинает кружиться, и мне опять и опять хочется этого дурмана — счастья. Я хочу быть рядом, я хочу чувствовать себя рядом с тобой, перестать чувствовать нас разными людьми. Я верю, что скоро во всём разберутся, что тебя отпустят. Мы с детьми любим тебя и ждём. Мы скучаем по тебе. До скорого, самого скорого свидания, твоя, вся от волос до пят, Анна. Навеки только твоя. Целую...”

Как она дошла до дома, она не помнила. Словно душевный обморок случился с ней. Несколько суток она механически делала всё необходимое: кормила детей, мыла, стирала, убирала и не думала ни о чём. Она просто пыталась научиться жить с извистием, что скоро придёт день, когда она останется одна, без него, с детьми. Одна! Навсегда!

\* \* \*

Когда Анна пришла в себя и снова отправилась в тюрьму, охранник встретил её неприветливо:

— Всё, переписки больше не будет, он совсем плох, так что жди, тебе его после того... — При всей своей толстокожести он всё-таки замялся, когда увидел, как побелела Анна. Он даже предложил ей воды, а потом сказал,

что теперь только начальник тюрьмы может распоряжаться судьбой смертельно больного заключённого.

— Быть может, ещё нужно самогонки? — встрепенулась Анна. Чтобы как-то выжить, чтобы спастись, надо было что-то делать, и она с радостью ухватилась за мысль пойти к начальнику. Знакомый охранник обещал устроить ей встречу.

Анна вошла в огромный кабинет, где в углу за огромным столом сидел рыжий дегина с маленькими хитрыми глазками. Он как-то слишком долго и прилипчиво разглядывал её с ног до головы, потом, не церемонясь, включил свет и направил его Анне в лицо.

— Так вы и есть та самая дворянская дочь? — наконец, проговорил он неожиданно высоким голосом. — Чего изволите?

Анна поняла, что он издевается над ней, но всё равно быстро и сбивчиво проговорила, что знает, что муж очень болен, что ему осталось совсем немного, что хочет его забрать домой. Она раскраснелась и стала вдруг такой красивой, такой живой, какой давно себя не чувствовала. Она начала вдруг говорить этому сфинксу, не проронившему больше ни слова, какое у него доброе и мужественное лицо, что ему должны быть понятны её переживания, и она ей верит, что он ей поможет...

В какую-то минуту она увидела, что начальник криво ухмыльнулся, потом встал, подошёл к двери, закрыл её на ключ, но Анна продолжала, как безумная, уговаривать его. Она обещала ему принести свои драгоценности, которые якобы остались у неё в муфточке, там, на берегу, она спрятала их в потаённом месте.

— Я согласна на всё ради мужа, я могу у вас мыть, убирать, если нужно, стирать...

Он вдруг остановился перед ней и, приоткрыв в улыбке кривые жёлтые зубы, переспросил:

— На всё? Много баб я перепробовал, а вот дворянского тела не приходилось...

— Напишите приказ об освобождении в связи с...

— Ну-ну, — процедил сквозь зубы начальник, — тут же, на этом же столе и напишем, на котором ты меня сейчас очень... попросишь написать эту бумагу.

Анна похолодела: лихорадочный румянец на её лице сменился белой маской.

— Но я не настаиваю... — вроде бы дрогнул этот бесчувственный человек.

— Нет-нет, — испуганно и лихорадочно быстро прошептала Анна, — я согласна, согласна. Только вначале напишите бумагу...

Офицер медленным взглядом обвёл её фигуру с ног до головы, опять криво усмехнулся и сел за машинку. Он нарочно тянул: двумя пальцами что-то печатал, потом отложил бумагу, подошёл к сейфу, открыл его, расстелил газету "Правда", на неё аккуратно и как можно соблазнительнее разложил закуску. Анна тупо смотрела на то, чего давно уже не видела, — ни колбасы, ни ветчины, а о том, что существуют бутерброды с икрой, она уж и не помнила. Потом подошёл к Анне, которая, как тряпичная кукла, так нелепо, мешковато сидела на стуле, что он очень вовремя оказался у неё за спиной, иначе она сползла бы на пол. Он своими короткими волосатыми пальцами взял её за подбородок, повернул под свет безжалостной лампы и стал рассматривать, как какую-то диковину, бледное лицо Анны. Потом наклонился, и Анна чуть не потеряла сознание от омерзения, когда он жадно поцеловал её мёртвые губы, а когда он вдруг больно, до крови, укусил её, в глазах у неё потемнело...

Пришла она в себя от того, что рыжий заливал её в рот водку.

— Ну-ну, — даже как-то обеспокоенно приговаривал он, — вот бумага, возьми.

Анна с прытью, которой и сама от себя не могла ожидать, схватила листок, сунула в сумочку и прижала её к груди, а потом, опомнившись, встала и начала медленно раздеваться, покачиваясь и чудом не падая.

Когда на ней осталась одна только рубашка, начальник, который смотрел на её раздевание со всё той же кривой ухмылкой, вдруг побледнел и неожиданно высоко по-бабы закричал:

— Пошла вон, ненормальная.

Но Анна уже ничего не слышала, она вместе с газетой сбросила всё описуемое богатство их стола на пол, бутылка глухо ударилась о пол и, словно подумав, всё-таки разбилась.

Видавшему виды начальнику вдруг стало не по себе от остановившегося взгляда Анны, от её движений, которые напоминали скорее движения автомата, чем живого человека. Он вдруг схватил её за руку, посадил на стул, выдернул провод лампы из розетки и начал сам неумело натягивать на её обмякшее тело одежду.

Анна ничего не соображала, только сумочку не выпускала из рук. Она не помнила, как её потом вывели с чёрного хода во двор тюрьмы, как посадили в машину, как привезли домой, она не помнила, как оказалась в постели. Уже позже, вечером Анна очнулась от того, что кто-то шептался рядом. Она открыла глаза и увидела испуганные лица своих детей, которые не отходили от её постели, а старшая, Женечка, увидев, что мать проснулась, радостно вскрикнула, и все четверо впервые за весь день заплакали, всхлипывая и причитая, как это умеют только дети, умирая от страха и от радости, что мама очнулась, что она не пропала, не исчезла, как папа, что она с ними. Васенька захныкал, что они ничего не ели, и Анна бросилась было на кухню, но, вспомнив всё, что произошло с ней, схватила сумочку, стала судорожно рыться в ней и чуть не умерла от радости, когда нашла драгоценную бумажку. В ней значилось: “Труп Василия Петровича Кирина выдан родственникам для захоронения. Церемония похорон запрещена”.

Если бы не испуганные и голодные дети, Анна бы в очередной раз провалилась в беспмятство; но дети смотрели на неё, и она сложила бумагу, спрятала её в какую-то книгу с работами Ленина и поспешно стала готовить еду детям.

### Разговор деда и бабушки

— Что ты так неприветливо к Степановне, баба бьётся, как рыба об лёд, а ты — деверь — мог бы помочь...

— Ей есть кому помогать, — отрезал дед так жёстко, как он никогда не разговаривал ни со мной, ни с моими дядьями, а уж тем более с бабушкой Марией.

— Что ты такое говоришь?... — горячо прошептала баба Мария. — Уже сколько прошло лет, как она похоронила мужа, а всё живёт одна, крутится, как может...

— За неё можешь не переживать, она знает, как можно подработать на жизнь.

— Что? — уже просто прокричала охваченная непонятным мне негодованием бабушка. — Ты всё никак не можешь забыть, как она вызволила твоего брата? Да если бы не она, так и умер бы он на тюремной больничной койке, дыхание последнее некому было бы передать. Господи, какие вы, мужики, бестолковые. Да я чище этой бабы и не видывала в жизни. Как ты не понимаешь, что она с той поры и не живёт, а так, спит с открытыми глазами...

— Василию уже всё равно было, где умирать, а себя она потеряла.

— Тьфу на тебя, — в сердцах дошла бабушка до крайней меры, — ты что, не понимаешь, каково бабе пойти на такое, на что она пошла? Уж как она любила своего, так поискать надобно такую другую. Не она назначала цену за его свободу, а этот упырь. Да, вишь, ему какая кара за то: сколь уж лет прошло, а он всё не может её забыть, всё вокруг вьётся да всё замуж зовёт, а она могла бы и прикрыть давний грех, если он и был-то, выйти за него, чтоб детей прокормить, да хоть к кому-то прислониться... От тебя-то толку чуть, всё ты судишь, всё ты терзаешь её душеньку своим отношением.

И не тебе судить её, на то Бог есть, он один знает меру греха нашего, ему одному решать, виновна она или нет. А я так считаю, что она святая баба... Соблуди она себя — так ты бы и знать не знал, где кости твоего брата покоятся.

Вскоре бабушка на цыпочках со своей подушкой вошла в мою комнату и легла на диван. Она долго ещё вздыхала, что-то шептала, потом подошла к огромному старинному буфету, открыла заветную полочку, где подальше от чужих глаз были спрятаны иконки, и долго молилась. Так я и заснула под успокаивающее:

— Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныния исполнити мою душу: умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Только много позже, став взрослой, я поняла, как Анна Степановна вызволила мужа своего из тюрьмы. Она могла ради него и для него почти всё, да только одного она не могла: отогнать от постели его смерть, когда та пришла за ним. Долго она охраняла его. Врач, который жил по соседству и по ночам тайком приходил навестить больного, искренне не мог понять, как, на чём держится жизнь этого избитого, измождённого человека. А он не мог умереть, так как она ему не давала уйти. Анна спала два-три часа, а всё остальное время разминала его холодеющие руки, ноги, поила его тёплым раствором меда с клюквой. И смотрела, и не могла насмотреться, надышаться каждой минутой, каждой секундой рядом с ним. Напрасно соседки ругали её, пытались увещевать, уговорить её думать о ребёнке, которого ждала. Она же то тихонько пела Василию его любимые романсы, то читала стихи, которых знала величайшее множество, то, когда он засыпал, над ним, сонным, молилась. Вспомнились ей все молитвы, которые когда-то над нею, ягодиной, шептала нянюшка. И он жил, порою даже приходил в сознание, его лицо освещалось, когда он видел рядом похудевшее, помолодевшее лицо своей возлюбленной, своей жены, своего Ангела Хранителя. Он смотрел на неё уже оттуда, издалека, долгим, впитывающим каждую чёрточку, каждую клеточку взглядом. Иногда он одними губами произносил: “Анна”. Она целовывала беззвучную ласку с его губ, и лицо её вспыхивало девичьим румянцем. И она шептала ему:

*Ах, как сладко было  
То, что сладко было,  
И какие глупости  
Я вам говорила,  
Нежной вербной почкою  
Ваших губ касалась.  
То, что было сладким,  
Сладким и осталось...*

И всё-таки смерть пришла, пришла воровски, когда сон смежил веки Анны, и она, прислушиваясь к ставшему спокойным дыханию Василия, отдалась дрёме. Почему она проснулась? Холод... То ли форточка открылась, то ли дверь распахнуло порывом ветра? Тут-то она и поняла, что не уследила. Проскользнула-таки мимо неё, проклятая...

Если бы Анна могла умереть вместе с ним... Но ей было нельзя, она должна была воспитывать, растить уже родившихся детей и родить, дать жизнь ещё не рождённому Шурке. Конечно, она всё-таки умерла... Она стала другой, словно всю любовь и нежность Василия смерть превратила в её броню. Её не брали ни болезни, ни чужая злоба и навет. Сколько таких жён последовало за мужьями: кто в тюрьму, кто в вечность, а она жила. Анна даже стала какой-то шало весёлой. Нежная, чувствительная барышня умерла, улетела лёгким облаком вослед душе любимого. Она перестала бояться жизни. Вот тогда-то Анна и занялась извозом, стала приторговывать.

И только по ночам, когда она оставалась одна, просыпались в ней воспоминания о той, которая казалась ей теперь её младшей сестрой или, по-

жалуй, даже дочерью. Она порою плакала над её печальми, которые ей вспоминались теперь словно не её, Анны Степановны, дни прошедшие, а со стороны наблюдаемые горестные странствия доченьки её, её кровиночки, которую жаль было до слёз... В такие ночи она писала письма Василию, потом плакала над ними до полного бессилия, от которого и забывалась под утро. А потом Анна стала писать стихи, о которых не знал никто.

Как я теперь хорошо понимаю то, чего не могла, не умела понять в те достопамятные вечера, когда она мне, Таньке большеглазой, говаривала:

— Каждому Бог даёт своё, вот и меня Он наградил моим. И был Господь ко мне так щедр, так добр, открыл мне так много, да только так уж получилось, что всё моё огромное счастье было дано мне в начале жизни. И дал мне Господь умение быть благодарной за Дар Его.

Я-то, любя Анну Степановну, никак не могла понять, как это она может считать себя счастливой! А уж как это можно жить счастьем прошедшего — этого мне ещё долго будет не понять...

### Эпилог

Долго могила с деревянным крестом, на котором были только даты рождения и смерти, без имени, удивляла всех тем, что раньше всех на ней расцветали ландыши, что холмик был ровным, что трава на ней была всегда свежее и ярче, чем на соседних могилах.

Но пришёл час, когда рядом с этим холмиком появился ещё один, с памятником, на котором из мрамора смотрела с огромной, увеличенной с паспорта фотографии улыбающаяся Анна Степановна. Её ругали работники паспортного стола, уговаривали, что, мол, нельзя на серьёзном документе улыбаться, но она всё-таки пошла наперекор...

Чуть позже, когда Александр Васильевич Кирин, главный инженер одного закрытого завода, получил, наконец, реабилитационные документы, на старом дубовом кресте рядом с памятником появилось имя: Кирин Василий Петрович. А ниже четыре строчки:

*Золотой ты мой, ах, ты мой золотой...  
Где же те ворота золотые,  
Под которыми прошли мы, молодые,  
Чистые, как месяц молодой...*

АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ



ЕСЛИ УЕХАЛ —  
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ...

\* \* \*

Стрижи, как будто хлопья сажи,  
и хлопья сажи, как стрижи,  
почти неразлично даже  
закладывают виражи.  
Кругом подвох, везде обманка,  
ни в чём незыблемости нет:  
едва уверился — на свет  
уже является изнанка...

Но с приближением концовки  
припоминается и то,  
как мама зимнее пальто  
сдавала для перелицовки,  
и как великие умы,  
дивясь, разглядывали снимки  
обратной стороны Луны —  
совсем не тёмной половинки...

---

*РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович родился в 1964 году в Магнитогорске. Окончил Уральский госуниверситет в Свердловске и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ в Москве. Кандидат исторических наук. Автор нескольких книг стихов, переводов и литературно-критических статей, многих публикаций в литературных журналах, участник ряда антологий. Лауреат Государственной премии Республики Коми, литературной премии Уральского федерального округа. Член Союза писателей России. Живёт в Екатеринбурге.*

\* \* \*

Аэробус “Люфтганзы” снижается над сосняками —  
ушипните меня, если это и вправду январь...  
У наследников Гёте опять нелады со снегами:  
где повыше — бело, а пониже — осенняя хмарь.

Наши зимы сибирские здесь поминают не всуе,  
и едва осыпаются рыхлые тучи с вышин —  
тормозят автобаны, на летней резине буксуя  
и гармошки губные творя из разбитых машин...

Дело прошлое вроде, заросшее тиной и торфом,  
но и внукам иным — отчего, догадаться могу, —  
снятся бомберы в небе над Гамбургом и Дюссельдорфом  
и убитые танки, застывшие в русском снегу.

И во времени нынешнем неисправимо неместный,  
в понарошной атаке сражённый не раз наповал,  
не английский когда-то я взялся учить, а немецкий,  
не за Гёте и Шиллера... Их я потом прочитал.

\* \* \*

Сею вновь огородную зелень  
в черноту перекопанных гряд.  
Это тяга к земле, а не в землю —  
дети пусть, что хотят, говорят:  
мол, погода на свете иная —  
даже иней гораздо иней...  
Что я сею и что пожинаю,  
здесь по осени много видней.

\* \* \*

Словно держа в голове ежа,  
рыщем по белому свету счастья...  
Если остался — не уезжай,  
если уехал — не возвращайся.

Пусть железа разъедает ржа,  
Не сторожа мы кандалной части...  
Если остался — не уезжай,  
если уехал — не возвращайся.

Лишку еля родне не лей  
И с неродными не жди затишья...  
Если остался — не сожалей.  
Если уехал — не возвратисься.

\* \* \*

Правят конторские. Черновиков навалом:  
пишем на гербовой, правда, на оборотках.  
Медленно движется по костяным каналам  
время коротких денег и дел коротких.

Ведает Бог, каким завариться кашам  
в юных, нетвёрдых ещё черепных коробках.  
Разве мы раньше знали, что будет нашим  
время коротких писем, друзей коротких?

Сказано было: живи и не жди иное.  
Но разве кто уверен чужою правдой?  
Словно луна, поворачивается спиною  
мамина поговорка: хоть стой, хоть падай...

Вот и стою пока, укрепляем то ли  
Страхом посмертным, то ли семейным долгом.  
Да вот ещё — не смейтесь — родное поле:  
Слово короткое, а на дыханье долгом.



АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ



## НАВАЖДЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Всю ночь мучил дурной сон, странный и страшный. Происходящее ощущалось как бы и не во сне. Настолько яркими и убедительными были видения, что, проснувшись, Митя ещё долго не мог избавиться от непонятного происхождения жуткой реальности. И забрезживший рассвет, и мерное тиканье будильника, и шум водопроводных труб у соседей казались продолжением цепи событий, в круговорот которых был насильно втянут во сне. Вот сейчас распахнётся дверь, и в комнату ворвутся те, с обезображенными яростью лицами. А тот, у кого на левой щеке грубый шрам от ножа, накинет ся и, сорвав с Мити одеяло, хрипло заорёт:

— Вот он, голубчик! Здесь окопался. А ну, давай сюды, гадёныш, — и стащит с постели, а двое других подхватят под руки и скрутят.

“Шрам” сграбастает за грудки и начнёт принюхиваться к Митиной одежде. Под одеялом Митя окажется в камуфлированной полевой форме и даже в берцах — полусапожках, которые сохранил с армии.

— Он это, братья... По запаху чую, тюрягой так и несёт. Вертухай. Точно. А ну, мочи его, паскудника!

Другой бандит выхватит огромный тесак, замахнётся. Холодное лезвие зловеще сверкнёт в пробившемся через щель в шторах утреннем луче и воткнётся... Нет, не в грудь. Митя, движимый инстинктом, крутнётся в цеп-

---

*ЛОБАНОВ Александр Александрович родился в 1954 году в г. Киеве. Окончив Самарскую военно-медицинскую академию, служил войсковым врачом. С 1991 года, выйдя на пенсию, жил с семьёй в Приднестровье. Война с румынскими националистами неизбежно наложила отпечаток на творчество писателя. В 1997 году переехал в Сыктывкар, где проживает по настоящее время. Печтается в республиканских журналах и газетах Приднестровья и Коми. Член Союза писателей Приднестровья и СП России.*

ких клешнях, и под удар ножа попадёт широченная спина “Шрама”. Дикий вопль ударит по перепонкам, и станет до того страшно, как будто ты, сорвавшись, летишь в пропасть, и к горлу подкатит комок тошноты...

Находясь во власти воображения, Митя не сразу заметил, что его на целую ладонь приподняла над постелью какая-то сила, и он завис в воздухе, как в невесомости. Сердце готово было выскочить из груди, в ушах появился пронзительный звон. Бандитов и занесённый нож он вдруг увидел воочию. Те, действительно, на доли секунды появились в комнате, как будто материализовались из воздуха. Когда Митя, наконец, обратил внимание, что парит над постелью, видение исчезло, а он сразу же шмякнулся на кровать. Весь в холодном поту.

Оглядываясь в недоумении по пустым углам, стал припоминать ночной полубред. Как и когда попал он в тёмный коридор следственного изолятора и почему именно туда? Раньше про такие заведения он слышал только мельком, но с подробностями, что приснились, раньше не сталкивался. Дежурный по изолятору вёл, может быть, на допрос, верзилу двухметрового роста. Проходя мимо, тот глянул с такой мерзкой гримасой, что побежали мурашки. Особенно ужасающе выглядел шрам. Губы уголовного пролопотали: “Готовься, пада, скоро уроем”. Митя невольно прижался к обшарпанной сырой стене, ощутив, как противно намокла спина.

С другого конца коридора показалась ещё пара. Вели того, кто потом в квартире будет пытаться убить Митю тесаком. Видно, сговорившись заранее, рецидивисты, невероятным способом освободившись от наручников, разом кинулись на охранников, свалили с ног и принялись избивать, пока те не потеряли сознание. Отобрав ключи, стали отворять камеры и выпускать таких же ужасных на вид амбалов, всё время кивая в Митину сторону:

— Погоди, щас и тобой займёмся. Стукачок ты наш зафоршмаченный.

Когда собралась внушительная толпа, к входной решётке, которую бандиты ещё не успели взломать, подоспел спецназ с оружием. Их капитан, заметив Дмитрия, вскинул автомат и дал очередь поверх голов, крикнув, чтобы бежал к ним. Уголовникам пришлось залечь, а спецназовцы кинулись оттаскивать бездыханных охранников. За решёткой капитан попытался у них прощупать пульс. Потом припал каждому к груди. Сильно побледнев, встал и глухим утробным голосом процедил:

— Ну, волки позорные! Спецназ, ого-о-о-нь!!!

Пули высекали из потолка, стен, металлических дверей яркие искры. Зависло под потолком душное облако пороховых газов. Грохот стоял такой, что раскалывалась голова. Не ожидая, что в них станут стрелять так, без предупреждения, уголовники метались, падая один за другим, сражённые на смерть. В конце концов, рухнул последний. Стрельба прекратилась. Сквозь пороховую вонь пробился приторный запах свежей крови. По изолятору выли сирены, хрипели и резонировали сигналы тревоги. К зданию прибыло подкрепление.

Капитан в сопровождении троих бойцов вошёл в коридор и принялся осматривать убитых, пиная каждого тупым носком берца, который, щедро нагуталиненный, ярко поблескивал в луче фонарика. И вдруг из кучи мёртвых взвились четыре огромные тени. Офицер и бойцы не успели среагировать, и были убиты на месте. Завладев их оружием, уголовники моментально расстреляли оставшихся спецназовцев и ломанулись к выходу.

— Ну, милок, теперь с тобой порешаем, — ослабься, верзила надвинулся на Митю. — Вона как вышло-то. Вертухайчиков, защитничков, значит, твоих, до единого положили, а тебе нипочём всё. Непорядок. Фуфлыжничать нам негоже.

Он вскинул автомат, но стрелять не стал, а громко чмокнул:

— Пу-у-у...

— Га-га-га! — заржала кодла, наблюдая, как Митя весь съёжился и задрожал.

Чтоб не видеть и не слышать страшной своей кончины, юноша зажмурился и обхватил руками голову. В коридор влетела световая граната, оглушительно хлопнуло, и вспыхнуло маленькое солнце, ослепив всех, кто не успел прикрыться. Тут же на бунтовщиков накинulo подкрепление. Завяза-

лась рукопашная. Один из бойцов вскрикнул и, схватившись за грудь, стал оседать. Митя, раскрыв глаза, успел заметить блеснувшее в руках знакомого бандита лезвие. Вскрикнул и упал другой охранник, третий, четвёртый. Опять раздалась выстрелы. Надо было спасаться, и Дмитрий пополз к выходу, всё время слыша за спиной:

— Куда ж ты, милоч? Щас мы тебя. Щас. Потерпи.

Луч прожектора ударил по глазам. Кто-то кричал в громкоговоритель, обращаясь к Мите, но тот слышал лишь хриплое:

— Щас, милоч.

Вырвавшись за оцепление, он бежал и оглядывался, ища глазами, откуда грозят. Вот и квартира, уютное родительское гнёздышко. Митя прыгает в кровать прямо в одежде и накрывается с головой одеялом. Начинает понимать, что всё не на самом деле.

Господи, я болен? Вот и галлюцинации начались. Если бы пил много. Но ведь кроме пива ничего. Да и то чуть-чуть, с ребятами после работы. Последствия контузии? Два года прошло, а теперь аукнулось? Митя провёл ладонью по лбу. Мокрый. Попытался успокоиться и трезво оценить ситуацию. Вроде не болит. Пробежался по памяти. События, даты, имена родственников, друзей и многое другое — всё было ясным, как солнечный день.

Откинулся на подушку, прикрыл веки. Всплыла картина из армейского прошлого. Они — на БТРе, в общей колонне, справа и слева добротные домики чеченского селения. Отделение десантников, в котором он служил, обеспечивало вместе с мотострелками прикрытие полевого госпиталя, передислоцированного из Моздока в район Ханкалы. Сельские мальчишки подбегали к колонне и строили рожицы, кидались камнями, направляли в бойцов деревянные палки, изображая, что стреляют из ружей. Старались не обращать внимания, хотя была очень неприятна детская ненависть. Потом вайнахские пацаны как-то разом исчезли.

Колонна двигалась в совершенно обезлюдевшем пространстве. Ни одного местного. Только собаки выныривали из кустов и в бессильной ярости кидались, делая вид, что сейчас вцепятся клыками в шину и порвут. Митя хорошо помнил, как возникло и больше не отпускало чувство обречённости. Это ощущение было и сейчас, в постели, после жуткого наваждения.

На выезде из селения БТР попал под заложенный в обочину фугас. В живых остался только он. Но Митя узнал об этом много позже, в госпитале, который они и сопровождали. Быстро пошёл на поправку. Однако служить больше не довелось — подоспел “дембель”. Врачи всё равно признали его негодным к службе по всем статьям. А Митя и не настаивал, хотя до ранения серьёзно подумывал о сверхсрочной, даже закидывал удочки, как выучиться на офицера.

Свой парадный китель, на котором, помимо “дембельских” причиндалов, поблёскивал пятью рубиновыми лучами орден Красной Звезды, он с чистой совестью спрятал в шкаф и больше не надевал. Нашивку за тяжёлое ранение в виде красной полоски спорол и выбросил. Казалось, от неё исходит боль, не телесная — вроде занозы в душе. Когда полоску выбросил, саднение прекратилось. Объяснить это Митя не мог.

Устроившись в таксопарк водителем, он стал усиленно готовиться и в сентябре после экзаменов был зачислен на заочное отделение университета. Жизнь потекла мирным чередом. Постепенно забывались армейские будни. Дольше всего в памяти держались мальчишки с деревянными ружьями и пустынная чеченская улица. Дни, проведённые в госпитальной палате, стёрлись прежде других.

Работать таксистом ему нравилось, он любил водить машину. У отца в своё время был четыреста седьмой москвичок. В какие только передраги они ни попадали! Столбы сбивали, переворачивались, раз чуть не утопили легковушку в речке, пытаясь перебраться вброд. Сын вырос в машине, и, когда подошёл срок, папаша посадил его за руль и сказал: “Давай езжай самостоятельно”. И он сел и поехал. Блаженство, какое испытал в то мгновение, запомнилось навсегда. Ничего подобного потом не случалось. Разве что когда в первый раз поцеловал девушку.

Отца не стало вскоре после того, как юноше исполнилось восемнадцать. Это был тяжёлый удар. Они с отцом любили друг друга. С его уходом Митя впервые столкнулся с реальным чувством одиночества. С годами горечь потери заглушилась, но чувство это так и не выветрилось. Маму, конечно, он тоже любил, однако единения взглядов, мироощущения, какие были с отцом, между ними не получалось. Мать к нему относилась, как к маленькому, он знал, что точно так же будет и через десять лет, и через двадцать, даже когда уже сам он сделается стареньким, для мамы он по-прежнему останется ребёнком.

...Зазвонил поставленный на шесть утра будильник. Смена начиналась в семь. До парка минут тридцать, рядом совсем, однако сегодня можно не спешить. Машину он оставил около подъезда, так как закончил работу за полночь, и не хотелось даром терять время на пешую дорогу в парк. И так не выспался.

— Ты чего бледный, не заболел? — проворковала из кухни мать, звеня чашками и тарелками. Она проснулась гораздо раньше и уже приготовила завтрак.

Митя глянул в зеркало. Видочек не лучший. Лицо заострилось, на щеке — следы от подушки, всклокоченный. “Надо бы подстричься, — он провёл по волосам ладошкой, — как щётка сапожная, ей-Богу”.

Приняв душ, взбодрился. Приснится же такая хренотень! Не без труда водрузив на физиономию жизнерадостную беспечность, таксист Митя уселся за стол.

— Так, что у нас сегодня? — он с удовольствием наблюдал, как мама накладывает его любимые драники, поджаренные, с корочкой.

Потом обнаружил, что ест без обычного аппетита. Что за ерунда! Мать тут же заметила:

— Да что с тобой, сыночка? А ну-ка, дай, — приложила ко лбу ладонь. — Вроде не горячий. Может, болит где?

— Да нет, мамуль, всё нормалёк. Просто не выспался.

— И то правда, — согласилась мама, — носишься целыми днями, а вечером с книжками сидишь. Этак и надорваться недолго.

— С чего это надорваться? Не грузовик вожу. А учёба всегда дело не лёгкое. Зато потом начальником стану. Самого повезут на персональной машине. Так-то, моя дорогая мамуленька.

— Ладно, моя начальник, ешь побольше, не привередничай. Маслом хлебушек намажь.

Чтобы не расстраивать мать, сын усиленно задвигал челюстями.

Лифт работал исправно и усердно рычал, пока спускал с седьмого этажа на первый. Кабинка была незрочной, пластмассовые кнопки оплавлены зажигалками. Хулиганы не пощадили и красивые пластиковые панели, испарав их похабщиной. На полу наплёвано и замусорено. “Что за люди, — не в первый уже раз возмущился юноша, — обязательно надо нагадить себе же! Долго мы ещё порядочное общество строить будем”.

Не скрывая выражения гадливости, вышел из подъезда. Утро выдалось хмурым, как перед дождём. Зябко передёрнув плечами, Митя поспешил к машине, что стояла неподалёку под разлапистым тополем. Это была старенькая, но ещё шустрая и ухоженная “Волга” с шашечками по бокам. На крышу, капот и багажник напало множество тополиных серёжек, стёкла покрылись желтовато-серым налётом.

— Надо бы протереть, — Митя достал пейджер автосигнализации. Нажал на кнопочку. Машина пропищала три раза, сработал, щёлкнув заглушками, центральный замок. Открыв переднюю дверцу, он извлёк из бардачка старое полотенце, приспособленное под ветошь, и уже собрался было занять стёклами, когда внимание его привлёк пакет на заднем сиденье. Он прекрасно помнил, как вечером, оставляя машину на ночь, всё хорошенько осмотрел. Посторонних предметов не было.

— А чтоб тебя, нечистая сила, — ругнулся нехотя таксист и потянулся рукой. — Тяжёлый. Видно, бумаги какие-то. Надо отвезти и сдать.

Кинув пакет на переднее сиденье, вставил ключ в замок зажигания. Но повернуть не смог. Заклинило. Митя растерялся. Наверняка этот пакет

и сон каким-то образом между собой связаны. Обратил внимание, что сердце стало колотиться с удвоенной частотой. Превозмогая неприятные ощущения в груди, взял пакет и принялся внимательно его рассматривать. Бумага завернута подобно конверту, но не склеена, углы слегка оттопырены. И что удивительно — шпагат завязан бантиком.

Дёрнул за свободный конец, узел сразу распался. Аккуратно отогнув углы, развернул бумагу. Внутри был ещё пакет, полиэтиленовый, но не прозрачный, чёрный. Запаанный напрочь. Чёрт! Что же делать? Умом соображая, что не надо больше ничего предпринимать, всё же полез в карман за складным ножиком. Пакет весил килограмма три. Что-то в нём хрустело и шуршало. Руки заметно дрожали, а сердце прямо-таки рвалось из грудной клетки. Глубоко вздохнув, провёл лезвием по полиэтилену, края тут же растопырились, изнутри показались толстые пачки перевязанных тем же шпагатом стодолларовых купюр.

И в этот миг по совсем потемневшему небу зигзагом полоснула ослепительная вспышка, и через секунду его оглушил громовый раскат. “Волга” словно подпрыгнула, и сразу же пронзительно завывла сигнализация. Митя схватился за ключ зажигания и вынул его из замка. Ключ отчего-то был горячий и обжигал пальцы. Попытался жать кнопку отключения sireны на пейджере, что висел рядом с ключом. Ничего не выходило. Машина продолжала выть и прерывисто мигать габаритами. Митя выскочил наружу и остолбенел. Вместо светло-зелёной “Волги” с пашечками, перед ним стоял огромный чёрный “Мерседес”.

— Эй, мужик, ты что там делаешь? — проревело откуда-то сверху. — А ну, стой! — и через мгновение, обращаясь к кому-то внутри. — Все вниз, живо! Взять живьём гниду.

Митя стоял, не в силах двинуться с места, словно парализованный. Ничего не соображая, медленно повёл взглядом вокруг и вдруг похолодел, заметив шагах в пятидесяти в кустах чёрного кота. Тот нехотя обдирая когтями кору со ствола торчавшей в зарослях сирени осины. Потом встал на задние лапы, подбоченился, подмигнул Мите ярко светящимся жёлтым глазом и, сладко зевнув, промурчал:

— Щас, милоч.

Митя схватился за голову и зажмурился. Холод собственных ладоней немного отрезвил его. Он вдруг ясно осознал, что всё происходит на самом деле. Открыв глаза, он снова увидел кота. Тот явно над ним потешался и будто хихикал. Это уже было ни в какие ворота! Митя осмотрелся по сторонам, нет ли где кирпичка. “Я тебе покажу, скотине, как издеваться”, — подумал он.

Но из подъезда напротив выскочили трое бритоголовых. У одного в руках была бейсбольная бита, у другого сверкал тесак. Знакомый ножичек, успел подумать Митя и обомлел: у третьего верзила через всё лицо тянулся безобразный шрам.

Сверху вновь проревело:

— Обходи его. Хватай, хватай, тудить, мать его растудить!!!

Дальше произошло необъяснимое. Видя, что его окружают, Митя схватил пакет и, с силой оттолкнувшись обеими ногами, перепрыгнул “Мерседес”, успев заметить, как кот от удивления раскрыл рот и боязливо прижал уши. Одним прыжком перемахнул улицу и оказался у подъезда. Было слышно, как кто-то быстро спускался по лестнице и матерился. Потом раздался характерный щелчок передёргиваемого затвора. Не рассуждая, Митя с такой же невероятной лёгкостью запрыгнул на козырёк подъезда и, опять оттолкнувшись ногами, взлетел на тот самый балкон, с которого минуту назад на него ревел главарь шайки. Тот уже выскочил из подъезда и орал на всю улицу:

— Где эта гнида?

Трое бритоголовых с округлёнными глазами стояли тут же и молчаливыми жестами указывали вверх. Главарь задрал голову.

— Ах ты, Матерь Божья! — только и смог пролопотать он, вскинул пистолет и, не целясь, стал палить. Зазвенели стёкла. Митя поспешил внутрь. На широком диване, разбросав по смятой простыне шелковистые каштано-

вые волосы, лежала совершенно голая девица. Пахло то ли спиртным, то ли дорогими духами.

— Парень, а ты кто? — проговорила она таким приятным голосом, что Мите захотелось её поцеловать. Как зачарованный, он подошёл к дивану и стал откровенно разглядывать неприкрытые женские прелести. От девицы так и веяло желанием, отчего у Мити закружилась голова, и он присел на край постели. Таких великолепных женщин он ещё не встречал. Не давая отчёта своим действиям, он потянулся к её груди.

— Какие у тебя горячие руки, — откидываясь на подушку, прошептала девица.

В голове промелькнуло: “Да что же это происходит со мной?” И опять по небу полоснуло молнией, и раздался жуткий треск, как при обстреле шрапнелью. Дверь в квартиру с грохотом распахнулась, ввалилась бритоголовая компания. Митя рванул на балкон. Пакет пришлось сунуть за пазуху.

Вскочив на перильца, Митя оттолкнулся и взлетел на два этажа выше, ухватился за металлическую решётку, легко подтянулся и перекинул тело. Балконная дверь в эту квартиру оказалась запертой. Тогда он проделал ту же процедуру ещё раз; получилось запрыгнуть вообще на крышу. Митя уже ничему не удивлялся. Он бежал по кровельному железу, не ощущая шагов, которые почти не сопровождались шумом. Будто не взрослый мужчина ростом метр восемьдесят три нёсся по крыше, а пушинка, перекатываемая ветром. Догадываясь, что вскоре бандиты доберутся и сюда, Митя, не сбавляя темпа, добежал до края и, что было силы, толкнул его носком левой ноги, одновременно взмахнув руками, как это делают пловцы в воде. И тело, движимое векторными ускорениями, взмыло вверх. Митя полетел. Когда сила первого взмаха стала угасать, он повторил его, отчего тело снова подбросило кверху.

Он стал махать руками, как птица крыльями, и продолжал лететь дальше. “Вот бы так наяву, — пришло ему на ум, — экий восторг! А ведь я и раньше во сне летал, даже просыпаться не хотелось. Боже, как же не хотелось каждый раз просыпаться! Стоп. А сейчас я разве сплю?” И вдруг почувствовал, что стал падать. Усиленно замахал руками, пытаясь взлететь выше, но тело уже не взмывало, как в первый раз, хотя противодействие падению всё же ощущалось. Митя отчаянно боролся за высоту и выдохся. Взмахи получились вялыми. Вскоре он мягко шлёпнулся в траву на незнакомом поле. Было тихо и безлюдно, только птицы щебетали в вышине, а в цветах и траве стрекотало и жужжало насекомое сообщество. Выглянуло солнце, запахло свежестью прошедшего дождя. Воздух был насыщен озоном.

Митя лежал на влажной земле и пытался внушить себе, что всё это сон. Начало пришекать. Почувствовав невероятную усталость, он прикрыл веки и вскоре действительно задремал, никем и ничем не потревоженный.

Под вечер на город опустилась прохлада. Асфальт давно высох, остались местами лишь небольшие лужицы. Листва в заходящем солнце поблёскивала, плавали розовые облака. Было тихо и безветренно. Подойдя к дому, Митя обнаружил, что “Волга” стоит на прежнем месте. Никакого “Мерседеса” не было и в помине. Пробежался глазами по окнам дома напротив. Отыскал знакомый балкон. Каково же было его удивление, когда там появилась милостивая старушенция и принялась из кувшинчика поливать невесть откуда взявшиеся пышные, с белыми и красными цветками герани.

“А пакет? — Митя похлопал по рубашке — пакета за пазухой не было. — Не может быть. Неужели потерял?”

— Мя-а-а-у, — послышалось сзади. Он вздрогнул и резко повернулся. Из кустов чинно вышел пушистый белый кот и не спеша проследовал за угол, однако через несколько секунд вылетел оттуда, как ошпаренный, и дал стрекоча. За ним, распаяясь басовитым лаем, нёсся огромный чёрный лабрадор. Кот, чувствуя, что от пса не оторваться, взмахнул на осину и скрылся в кроне. Лабрадор, отчаянно виляя хвостом, заматался вниз. Продолжая рычать, он пытался запрыгнуть на ствол, обхватывая его лапами, словно хотел влезть, шмякался в траву и, ещё сильнее свирепея, брызгал во все стороны слюной.

С любопытством наблюдая за баталией, Митя отметил, что с каждым прыжком собака достигала всё большей высоты. Уже допрыгивала до нижних веток. Ничего себе, этак и до кота доберётся. Странно всё.

Тем временем пёс ухватился клыками за ветку, на которой, съёжившись, вошёл о помощи кот. Движимый жалостью к несчастному пушистому красавцу, Митя схватил валявшуюся в кустах жердь.

— А ну, пошёл к чёртовой матери, — закричал он на собаку, отчего у той разжались челюсти.

Приземлившись на четыре лапы, лабрадор громко чихнул и угрожающе развернулся. Пригнув морду и по-прежнему роняя слюну, он утробно зарычал. Митя почувствовал знакомый холодок на спине. Он с детства боялся собак, которые отчего-то всегда на него кидались. На других мальчишек — нет, а на него постоянно. Даже прививки от бешенства приходилось делать.

Приготовив палку, Митя отступил на несколько шагов. И зря: его маневр вдохновил лабрадора. Он решительно двинулся с места, ещё громче рыча. Противники смотрели друг другу в глаза, один — со страхом, другой — с ненавистью. Кто-то рассказывал, что ни в коем случае нельзя так вести себя с нападающей собакой: собаки принимают это как угрозу.

Митя почувствовал, как похолодело всё внутри, руки и ноги стали безвольными, ватными.

— Лорд! Ко мне! — неожиданно раздался за его спиной бархатный голос. Мите на выручку спешила, по-видимому, хозяйка собаки. Пёс моментально отреагировал и, спустя мгновение, ластился у ног высокой шатенки. — Вы извините нас, пожалуйста. Не доглядела, вырвался, паршивец. Очень уж он не любит котов.

Он не мог произнести и пары слов. Он узнал её. И голос такой же — низкий, бархатный.

— Да вы не бойтесь, он не тронет. Если хотите, можете погладить. Ну, что же вы?

Дмитрий по-прежнему безмолвствовал. Не может быть! Она!

Внешнее сходство несомненно. И духи. Те же, дорогие, французские.

Видя, как сконфужен молодой человек, девушка приблизилась и, улыбувшись, протянула руку:

— Меня зовут Надежда Николаевна. А вас?

— Меня, — Митя всё ещё не мог прийти в себя и глупо переспросил. — Меня как зовут?

Шатенка рассмеялась, у неё получилось настолько очаровательно, что юноша, наконец, расслабился.

— Дмитрий Сергеевич, — он аккуратно пожал маленькую ладошку и улыбнулся. — Если честно, я испугался. Ваш Лорд такой огромный. Надежда Николаевна, а мы с вами раньше не могли встречаться?

Шатенка внимательно взглянула на парня и пожала плечами. Лабрадор в это время внимал к Митяному бедру. Митя потрепал его по загривку, а затем погладил за ушами, отчего пёс удовлетворённо завилял хвостом.

— Нет, Дмитрий. Можно мне вас так называть? Вряд ли мы могли где-то пересекаться. Разве что в какой-нибудь параллельной жизни?

Настал черёд рассмеяться Мите.

— Верите в подобную ерунду? — сказал и осёкся. Стал оглядываться. А что, если не ерунда? То, что произошло ночью и сегодня днём — плод больного воображения? Красивая девушка разве не была реальностью там, за балконной дверью? Митя невольно обратил взор наверх, где старушка поливала герани. Шатенка взгляд перехватила, заметила старушку, которая всё ещё возилась с цветами.

— Какой прелестный балкончик! Я не впервые прогуливаю здесь Лорда, и каждый раз вижу эту милую женщину. Не правда ли, чудесная герань? А вам нравятся цветы, Дмитрий?

Митя пристально глядел в её глаза, но кроме искреннего умиления, ничего другого не находил. Как и всё в этой девушке, глаза были очень красивыми. Светло-зелёные радужки с тёмной окаёмкой и длинные ресницы, которые не нуждались ни в подкрашивании, ни в нанесении туши, чем обычно

пользуются молодые девчонки, сплошь и рядом мелькавшие в Митиной жизни. В этой жизни. Интересно, а в параллельной жизни ресницы красят?

Он смотрел на собеседницу и постепенно проникался к ней особым чувством. То ли нежности, то ли благоговения. Впрочем, и то, и другое, что, несомненно, присутствовало в Митиных переживаниях, не превосходило того ощущения, которое он не мог объяснить. Новое, незнакомое, начинало завладевать телом, эмоциями, мыслями.

В этот момент лабрадор зарычал и подался к осине, по стволу которой пытался спуститься на землю белый пушистый кот, но, увидав собаку, он снова скрылся в листве.

— Фу, Лорд! А ну, назад. Рядом! Сидеть! — лицо Надежды Николаевны вдруг сделалась строгим. — Как нехорошо ты себя ведёшь, ай-яй-я-ай!

Пёс как будто обиделся, поджал хвост и стал глядеть на хозяйку укоризненно.

— Ну, что так смотришь? — девушка погладила лабрадора по голове. — Если будешь плохо себя вести, надену намордник. Ясно?

“Любопытно, — подумал Митя, — разговаривает с псом, как с человеком”.

— А вы, Дмитрий, думаете, он не понимает? — словно прочитав его мысли, произнесла Надежда Николаевна. — Мне иногда кажется, что эта собака умнее меня. Не соображу только, отчего несчастный кот так не понравился Лорду. Что-то здесь не так. Лорд, поведай нам, неразумным, что тебя беспокоит? Понимать-то понимает, а сказать не может.

— А что тут непонятного, Надежда Николаевна? — Митя улыбнулся. — Между семействами кошачьих и собачьих вековая вражда. А вот откуда она тянется, наверное, никто не знает. Одни мифы. Сейчас Лорд победитель, потому что большой. А вот я как-то читал Арсеньева, так он описывает, как во время путешествия в Уссурийской тайге на их лагерь тигр напал. И в первую очередь накинулся на собак. Всех порвал. Просто из ненависти, заряженной в гены. Тигр — он ведь тоже кошка. Только большая.

Лабрадор при Митиных словах слегка заскулил и прижался к хозяйке.

— Так, это что ещё за капризы! — Надежда Николаевна удивлённо приподняла брови. — Лорд, если на то пошло, заканчиваем прогулку. Домой! Не умеешь себя вести, нехорошая собака. Что ж, Дмитрий, до свиданья. Приятно было познакомиться. И, пожалуйста, не сердитесь на Лорда. Уж вас-то он больше не обидит никогда.

Она подала ему на прощанье руку. Митя вдруг почувствовал, что не хочет, чтобы она просто так ушла. Придерживая её ладонь, он неожиданно проговорил:

— А мне всё же сдаётся, что я вас уже знаю. Надежда Николаевна, вы не будете против, если я провожу вас?

— Нет-нет, Митенька, не сегодня, я прошу, — и она неожиданно поцеловала его в щёку, после чего повернулась и ушла. Лорд послушно увязался следом. Уже поворачивая за угол, он обернулся, негромко гавкнул и, как померещилось Мите, ободряюще подмигнул.

Не придя толком в себя, Дмитрий автоматически поднял голову и стал разглядывать ветки осины, ища, где мог спрятаться белый кот.

Кот оказался почти у самой верхушки. От страха у него не получалось собраться с духом и выбраться из переплетений мелких веток и листвы. Он и хотел бы спуститься, но не мог, отчего принялся жалобно мяукать. Мите стало жаль кота, и он решил снять его с осины. Подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку, подтянулся. Без труда взобрался на самый верх и протянул руку:

— Иди сюда, хороший. Кыс-кыс. Ну, не бойся.

Распушив ещё сильнее свой и без того пушистый хвост, белый кот стал медленно продвигаться к Мите, осторожно ощупывая мохнатыми лапками каждый сучок. Потом доверительно перебрался к нему на плечо и вцепился коготками в рубашку.

— Ну, что, поехали вниз, путешественник?

Они стали медленно спускаться. Когда Митина нога коснулась последней ветки, кот неожиданно рванулся, оцарапав кожу на груди под рубашкой,



и спрыгнул на ветку напротив. Встал, картинно подбоченясь одной лапой, а другой опираясь о ствол. Белый мех начал быстро тускнеть и через секунду превратился в чёрный. Кот широко зевнул, очи его сделались яркими, жёлтыми, и он, пристально глядя Мите в глаза, отчётливо произнёс:

— Щ-щ-щас, милоч.

Ветка, на которой стоял почти обезумевший Митя, вдруг обломилась, и он, сопровождаемый треском сучьев, полетел вниз. При этом нога зацепилась, Митя перевернуло. При падении он ударился головой и потерял сознание.

— Алё! Алё! Это скорая? Да что ты будешь делать, — Клавдия Ивановна нетерпеливо крутила диск, опять и опять набирая “03”. — Уснули они там? Алё! Скорая? Ну, наконец-то. Немедленно приезжайте, — она назвала адрес, — тут молодой человек с дерева сорвался. Разбился бедняжка, лежит без движения. Алё! Вы меня слушаете, девушка? Нет, я не родственница. Да никто я ему. Цветочки поливала на балконе, гляжу — падает. Да так сильно, прямо вниз головой, сердешный. Почём же я знаю? Нет, ну, ты подумай... Алё! Девушка? Я говорю, откуда же мне знать, что он там делал, на дереве-то? Вы уж сами разбирайтесь.

В реанимации стояла тишина. Негромко попискивал кардиограф, выдавая на монитор кривые, отображающие работу сердца. Митя лежал под капельницей и ничего не мог вспомнить. Сильно болела голова. Хотел попросить сидевшего рядом человека в голубом халате и в такой же больничной шапочке дать чего-нибудь, но боль была такой сильной, что не хотелось раскрывать рот. Заметив, что больной приоткрыл веки, дежурный врач склонился над ним:

— Вы в состоянии говорить? — дождавшись утвердительного кивка, доктор продолжал. — Вы что-нибудь помните?

Митя отрицательно покачал головой и сморщился. Боль пронзила всё тело. Врач это заметил, и что-то ввёл шприцом в резиновую трубку капельницы. Лекарство подействовало мгновенно, в голове сразу прояснилось, боль отпустила.

— Как вас зовут? Фамилия? Какое сегодня число?

Митя назвал. Это он помнил, как и всё, что было до сегодняшнего дня, как пришёл с работы, поужинал, затем просидел над учебниками и конспектами до часу ночи и лёг спать. И всё — полный провал. Врач внимательно наблюдал за его лицом. В общем-то, картина ясная: посттравматическая амнезия чистой воды. Полежит пару недель, оклемается. Похуже видали, а парнишка молодой, крепкий. Надо будет следовательно позвонить, сказать, чтоб пока не приходил. Что толку? Когда начнёт соображать, тогда — пожалуйте.

— Ну, как, отпустило?

— Да, спасибо, доктор.

— Ну, ты давай, спи. Тебе теперь надо много спать. Твоё лучшее лекарство. Понятно?

Доктор улыбнулся и положил Мите на лоб ладонь. От приятного тепла Митя быстро задремал, а сердечные зубцы на мониторе кардиографа стали заметно реже. Глянув на них, врач одобрительно кивнул и погрузился в обычные свои эскулаповы раздумья.

Через неделю после того, как его перевели в общую палату, приходил следователь из райотдела. Записал анкетные данные, спросил, где работает, когда и кем служил в армии, имел ли приводы в милицию и тому подобное. Но на вопросы о случившемся Митя ничего ответить не смог. Стёрлось из памяти начисто. Однако следователь успел раскопать и старушку, поливавшую герань, которую звали Клавдией Ивановной, и то, что непосредственно перед падением с дерева Митя долго беседовал с не установленной пока молодой женщиной лет двадцати трёх-двадцати пяти, шатенкой, роста выше среднего, рядом с которой, со слов Клавдии Ивановны, была породистая собака чёрной масти, предположительно, ротвейлер или лабрадор. А вот за каким чёртом пострадавшего понесло на дерево, выяснить не удалось. Похожих собак в квартале, где проживает гражданин Сергеев Дмитрий Сергеевич, уста-

новить не удалось. Ничего не смогла добавить и Митина мама. Бесперспективное дело, решил про себя следователь, и удалился восвояси.

Приходило консультировать психиатр, который никакой психопродуктивной патологии, как потом записал в истории болезни, не выявил. Потерю памяти на день травмы сочли в порядке вещей. Обследования на компьютерном томографе фиксировали нормальные показатели. Организм у Сергеева по врачебным меркам вообще был образцовым, но о выписке пока не могло быть и речи.

Потянулись нудные, полные скуки и безделья дни. Трижды в неделю Мите снимали энцефалограммы, повторно направляли на томограф. Сделали запросы в Военно-медицинское управление о прошлом ранении и получили ответ. Смотрел Дмитрия и главный врач, и невропатолог из центральной областной клиники приезжал, и ведущий психиатр. Не совпадало у них что-то. А что, никак не удавалось определить. В конце концов, появилась бредовая идея об обследовании Мити в Москве. Ну, это уж слишком, решил Митя, и после очередного “допроса с пристрастием” категорически потребовал выписки, пригрозив, что бежит к чёртовой матери. Достали! Ну, исчезло из памяти — и пёс с ним, возмущался он в разговоре с лечащим нейрохирургом. Что теперь делать? В параллельных мирах искать. Что-то смутное шевельнулось в голове при тех словах. Митя пытался потом вернуть ощущение, но безрезультатно.

Господи, как хорошо было на воле! Солнце слепило отовсюду: сверху с небес, снизу из луж после прошедшего накануне дождя, из окон шагнувших мимо многоэтажек и пролетавших легковушек. Воздух — без всякой карболки и йода. Запахи сирени и лилий приятно кружили голову, будоражили кровь. Митя откровенно засматривался на мелькавшие мимо девичьи ножки, ловил выражения лиц юных незнакомок, на которых неизменно читалось одно: “Да здравствует лето! Да здравствует молодость! Да здравствует любовь!”

— Ох, батюшки! — всплеснула руками мама, открывая дверь. — Уже выписали? Вот радость-то. Мальчик мой, — она прильнула к сыну и заплакала.

— Ну, что ты, мамуленька, всё ж хорошо, — он гладил её по седым волосам и ловил себя на мысли, что на всём белом свете нет и не будет человека роднее, человека, которому он нужен, несмотря ни на какие свои недостатки и проблемы, который любит его только лишь за то, что он есть. — Я люблю тебя, родная, и всё у нас будет в порядке, вот увидишь.

Дни летели быстро. Студент сдал сессию на пятёрки и до осени сложил учебники в шкаф. Каникулы! Можно было бы взять отпуск. А что, махнуть, куда-нибудь к морю, позагорать, поплавать, здоровье поправить. Впрочем, чувствовал Митя себя прекрасно. О дне, стёртом из памяти, несколько не сожалел. Иногда, правда, разбирало любопытство. Но будничная суета быстро растворяла его в себе.

Проходя мимо балкона с геранями, он каждый раз приветливо здоровался с Клавдией Ивановной, та, в свою очередь, долго с ним раскланивалась, как со старым знакомым. Когда вышел из больницы, в знак благодарности подарил старушке красивую лейку для цветов, купил торт и шампанское, которое они вместе и распили. Клавдия Ивановна охотно рассказывала Мите про случившееся с подробностями, какие смогла запомнить. Но ничего конкретного про то, как он оказался на дереве. Особенно Митю заинтриговала беседа с красивой женщиной. Собака ещё большая чёрная рядом крутилась. Старушка их заметила мельком, после чего пошла пить чай. А когда вышла, то как раз увидела, как Митя падал. Рядом никого уже не было.

У Клавдии Ивановны в доме жил очаровательный котёнок. Белый, пушистый. Не совсем маленький, но ещё и не взрослый. Котом не назовёшь, да и котёнком тоже. Котик, одним словом. Когда пили чай, настойчиво тёрся о Митины икры и задушевно мурлыкал. Ласковый. Митя иногда брал его на руки, гладил. Котик начинал утробно урчать, как маленький трактор, и от удовольствия прогибал спинку.

Мите вначале нравилось забегать к старушке. Тихая домашняя идиллия успокаивала, расслабляла. Рассказывал про учёбу, работу. Клавдия Иванов-

на участливо слушала, поддакивала, иногда восхищённо вставляла: “Вот молодец, унучек!”

— А что ж, зазноба есть у тебя, Митька? — такой вопрос звучал, чуть ли не каждый раз. — Вона ты какой вымахал. Красавчик! И без девушки? Не хорошо это-ть.

Митя отвечал, что достаточно успел нагуляться и до армии, и после. Теперь учиться надо, да и на жизнь подзаработать. А пристанет жениться, куда молодую жену приведёшь, в хрущёвку? Нет, пока повременим.

— И то верно, милоч, — соглашалась собеседница. — Для семейного гнёздышка капиталец-то сколотить надобно. А что, много платят в таксистах?

— Когда как, Клавдия Ивановна. Бывает, что и премиальные дают хорошие, а бывает, что и на мороженое не хватает. Ну, и левый заработок, какой-никакой.

— Эх, мила-а-ай, да какой там у тебя заработок. Сурьёзным делом заняться надо-ть. Вона, люди иные живут, в хоромах, да на мисидесах ездить.

— Да какие ж это люди, Клавдия Ивановна? Бандиты, воры, убийцы. Знаем мы таких. Я, как они, не могу. Сроду чужой копейки не взял.

— Ой, ли? Так уж и не взял? — старушка прищурилась, а Мите стало как-то не по себе. Он замолчал и внимательно поглядел ей в глаза.

— Что это вы меня на слове ловите? Да, я ни разу не зарился не на своё и не собираюсь. — Отчего-то этот разговор начинал злить его, то ли взгляд у бабки был приставучий, не мигающий, то ли её намёки непонятные. С чего вообще завела она такой разговор?

— Ну, и молодец, Митрий, правильно! Так и надо жить, честно, по справедливости.

— А я про это вам и толкую.

— Дык, верно-то оно верно, милоч, да только кто знает, где эта справедливость начинается и где заканчивается? Вам про это в нирвиситете читають? Мало я её знала в жизни своей, Митька. Согнула меня жизнь справедливостью своей до земли. Хочешь, расскажу, какая мне долюшка досталась? Щас, милоч...

У Мити неприятно заныло под ложечкой. Станный разговор. Незнакомые ассоциации стали настраивать его на враждебный лад к этой вдруг так изменившейся пожилой женщине, которой он, вполне возможно, обязан жизнью. Особенно это: “Щас, милоч”! Как нехорошо прозвучало. Такое ощущение, уже когда-то он уже слышал это.

Клавдия Ивановна долго болтала про горькую долюшку. Митя слушал и не слушал. Казалось, старуха говорит не то, что думает. В её глазах играли совершенно иные искорки, далёкие от сбивчивой простонародной речи.

Вышел он от неё с тяжёлой головой. Мысли путались, словно пили они не чай, а водку. Тяготили мутные предчувствия. Нет, всё-таки в ТОТ день что-то произошло. Во что-то он вляпался. И старуха имеет к тому непосредственное отношение.

Придя домой, Митя обнаружил на книжной полке новую книгу. Булгаков, “Мастер и Маргарита”. Давно хотел прочитать, но как-то не случилось. И вот на тебе!

— Мама, откуда у нас Булгаков?

— А это, Митенька, я принесла с работы. Ты как-то говорил, что хотел бы прочесть. Ну вот, читай. Одна знакомая подарила. У неё дочка учительницей работает в гимназии. Литературу преподаёт. Достала по случаю две. Одну вот тебе. — Мать, улыбаясь, вошла в комнату. Увидев Митю, забиеспокоилась:

— А ты что такой бледненький?

Митя и сам чувствовал неладное. Сердце билось учащённо, голова была, как в тумане, слегка поташнивало. Мать потрогала лоб, покачала головой.

— Погоди-ка, сынок, давление померю.

Кинулась к себе в комнату и через минуту принесла тонометр в пластиковом футляре. Со знанием дела распаковала и приладила манжету на плечо. Митя наблюдал, не скрывая удивления. Когда научилась?

— Мам, ну, ты, как заправдашний доктор.

— Щ-щ-щ! Тихо, не мешай. Так, давление нормальное. Мне бы такое. Дай-ка ещё раз проверю.

Ночь он провёл беспокойно, вздрагивал, часто просыпался. Ему ничего не снилось, но сквозь забытьё ощущалась постоянная тревога. Через открытое окно налетели комары. Надо было встать и включить фумигатор, но тело никак не хотело вырваться из оцепенения, которым сковало, словно параличом. Когда забрезжил рассвет, Митя откинул одеяло и включил ночник. Достал с полки Булгакова. С первых же строк книга им овладела полностью. “Странно, — думалось Мите, когда он прерывался, чтобы вникнуть в прочитанное, — отчего мне раньше-то не привелось его прочитать? Как говорят, пора не пришла? Каждое произведение ждёт своего читателя до времени, когда тот созреет, что ли, или когда жизнь к тому подведёт. Интересно, к чему меня жизнь подвела?”

Когда на кухне начала греметь посудой мать, Митя успел пробежать около двухсот страниц, и находился под впечатлением от прочитанного. Что же это за книга такая? По жанру вроде бы и роман, но чтобы так воздействовать на читателя, просто романом быть недостаточно. И как будто писано про него самого.

Он помимо воли вновь и вновь обращался к необыкновенному образу Маргариты. Странное чувство, что эту женщину он уже знает, назойливо овладело его мыслями. “Маргарита и чёрный лабрадор...” А это к чему пришло ему на ум? Мало ли что там следователь плёл, да старуха полуграмотная вещала? Может, и не было никакого лабрадора или, как там его, ротвейлера, что ли? Чёрных котов не хватало ещё! Бегемотов. И поняв, что в голове его образовалась сплошная чехарда, Митя поставил книгу на полку, вскочил с постели и ринулся под душ.

“Волга” шустро лавировала в сумасшедшем транспортном потоке. Митя машину вёл уверенно, полагаясь на интуицию, которая ни разу не подводила его. Он чувствовал дорогу, как собственный организм, и знал, где притормозить, а где, наоборот, поддать газку. Руки и ноги управляли автоматически, как бы сами собой, отчего голове доставался широкий оперативный простор для умозаключений. Постепенно Дмитрий Сергеевич становился настоящим асом городских улиц и перекрёстков.

Был час пик, и объездное транспортное кольцо кишело автомобилями. Новичку — ад. За последние годы количество машин в городе возросло в десятки раз, постоянно возникали пробки, миновать которые не было никакой возможности, особенно если ты лопух. Мите же по какому-то везению всегда удавалось проскакивать автомобильные заторы. Он их умел предвидеть и выбирал соответственно маршруты, менее всего уязвимые. Ради выигрыша во времени, что для таксиста всегда оправданно, приходилось делать солидный крюк или сознательно впутываться в нескончаемые лабиринты узеньких улочек, проходных дворов, знакомых с малолетства. Пассажиры пугались, ворчали, но когда вовремя поспевали к поезду или в аэропорт, обязательно благодарили хорошими чаевыми.

Вот и на этот раз Митя удачно миновал предполагаемые пробки и мчался по трассе с ветерком. До начала регистрации в аэровокзале оставалось совсем ничего, и пассажир явно нервничал. Это был грузный мужчина средних лет, одетый в дорогой костюм. На пальце его Митя успел заметить поблёскивающий крупным бриллиантом великолепный перстень.

— Куда летим, если не секрет? — Митя, чувствуя состояние клиента, пытался отвлечь его непринуждённым разговором. — Да вы не переживайте. Почти доехали.

— Я знаю, — буркнул в ответ представительный мужчина и принялся неуклопе вертеть головой, постоянно оглядываясь назад.

Митя пожал плечами, промолчал. Если пассажир не желает говорить, лучше не лезть в душу.

— Вот что, — в голосе мужчины неожиданно сквозанули повелительные нотки. — Ты, парень, сверни-ка вон туда, — он указал пальцем на прилегающую к трассе лесную дорогу, которую не сразу и заметишь-то среди кустарника.

Митя хотел возразить, но вдруг почувствовал: не стоит. Понял: не совсем обычный пассажир! И, что интересно, ничего странного в желании клиента не узрел, как будто знал, что именно на этот просёлок в данный момент им и надо. Перескочил кювет, слегка шаркнув днищем по песчанику, и они вкатились под сумрачную сень листвы.

— Остановись, — лаконично скомандовал клиент. — Теперь заглуши двигатель.

Митя с готовностью исполнил распоряжение и, не скрывая любопытства, уставился на вспотевший лоб новоявленного командира. Тот, не обращая никакого внимания на водителя, достал с заднего сиденья кейс, покрутил колесики секретного замочка и извлёк пистолет.

— Сиди здесь и жди. И чтоб ни-ни у меня, понял?

Мите стало забавно. Никакого страха он не испытывал, одно лишь любопытство. Ну, и тип! Шмотки его, наверное, стоят больше, чем несколько моих “Волг”. Отчего это он, интересно, взял простое такси? Такие франты обычно в лимузинах разъезжают.

Пассажир, крадучись, двинулся к просвету в кустах, потом затаился и принялся наблюдать за дорогой. “Ей-богу, как в детективе. Может, ён шпиён?” — Митю криминальное действие позабавило. Так и подмывало что-нибудь такое сотворить шалопутное, очень уж несерьёзно, как ему казалось, складывалась ситуация.

Простояв около пяти минут, клиент жестом велел Мите развернуть машину и подъехать. Тот послушно тронулся с места и медленно подкатил к кустам, из которых по-прежнему внимательно наблюдал за дорогой пассажир.

— Теперь так, — не отрывая взгляда от проносящихся машин, пробурчал он, не удосужившись даже убедиться, слышат ли его. — Быстро выскываешь и гонишь, что есть мочи, к главному терминалу. Понял?

— Понять-то я понял, но как быть с автоинспекторами?

— А никак. Это моя проблема. Не бойся.

— А кто сказал, что я боюсь?

Видимо, в тоне водителя клиенту послышались нетерпимые нюансы. Он повернулся и неожиданно вскинул пистолет:

— Начнёшь выёживаться — пристрелю.

Ожидаемого испуга увидеть ему не пришлось. Митя спокойно выключил зажигание и вышел из машины.

— Послушайте, милейший! Вы явно преувеличиваете свои способности в тактике ведения ближнего боя. Пукалку уберите, как бы греха не случилось.

— Что-о-о?! — мужчина мгновенно побагровел. — Да я тебя... Ах, ты, щенок!

Доругаться он не успел. Митя мудрёным прыжком взвился над землёй и так быстро выбил из рук клиента оружие, что тот даже не успел сообразить, что произошло. Через мгновение мужчина в дорогом костюме тупо таранился в чёрное отверстие, нацеленное ему в лоб и чрезмерно громко сопел.

— Видите ли, гражданин с бриллиантом, прежде чем стрелять, надо хотя бы снять оружие с предохранителя. И вообще, я к вам со всей душой, а вы в меня стволом тычете. Невежливо.

Некоторое время оба молчали. У клиента с лица сошла краска, и оно приняло обычное сосредоточенное выражение. Митя опустил пистолет. Подумав, протянул его хозяину.

— Возьмите и — знаете что? — Давайте по-доброму. Садитесь, я сделаю всё так, как вы говорили. С пистолетом-то в аэропорту вам не пройти, между прочим.

Пассажир сел на заднее сиденье и внимательно посмотрел на Митю. Потом взял пистолет за ствол и уже другим тоном заговорил:

— Ты, я вижу, парень боевой. Бери, прикроешь, в случае чего. Потом объясню, сейчас некогда. Ну, а теперь, когда мы разобрались по понятиям, давай, выручай. В накладе не останешься. Если выкрутимся, не пожалеешь, что встретил меня.

“Волга” влилась в общий поток и стремительно понеслась в аэропорт. Митя, поглядывая на всякий случай в зеркальце заднего вида на клиента,

одновременно старался примечать машины, следующие за ними. Вроде ничего подозрительного. Перстень с бриллиантом вёл себя спокойно. Справа мелькнул указатель поворота на аэропорт. Не сбавляя скорости, Дмитрий свернул. “Волга”, издавая характерный визг, чуть не оторвалась правыми колёсами от асфальта. Выскочили на прямую, впереди уже было видно красивое здание аэровокзала.

— Чёрт!!! А этот откуда здесь взялся? — Митя едва успел вывернуть руль. Огромный чёрный “Мерседес”, возникнув, словно ниоткуда, подрезал их спереди, очевидно, пытаясь столкнуть в придорожный кювет.

Отчаянно визжа тормозами, обе машины выскочили на обочину. Но Митя на сотые доли секунды опередил соперника и, включив повышенную передачу, лихо, как в автогонках, развернул “Волгу” в обратную сторону, используя приём “скольжения”. Далее, утопив газ до упора, рванул по шоссе, успев заметить синее облачко дыма, вырвавшегося из-под колёс машины. Не щадя мотора, он набрал такую скорость, что стрелка спидометра зашкалила. На какие-то секунды оторвались. Не теряя времени на размышления, после очередного дорожного зигзага он вдавил в пол тормоза. Машина, дымя покрышками, прокатилась метров тридцать юзом.

— Быстрей из машины! — теперь командовал таксист. — Спрячьтесь в кустах. Я их отвлеку. Да скорее же!

Несмотря на грузность, мужчина резво сиганул из салона и слился с листвой. А Митя уже набирал скорость, отчётливо видя, как из-за поворота ринулась тупая морда чёрного капота, ярко блестящего лакировкой. Некоторое время, благодаря неровностям дороги, удавалось сохранять дистанцию. По всей вероятности, мастерства у водилы “мерса” явно было меньше, чем у него. Зато мощностью иномарка, конечно же, превосходила хоть и ухоженную, но всё же свой век отжившую волжанку. Это сразу почувствовалось, когда гонщики вылетели на широкую магистраль.

— Здесь не уйти, — Митя выдавливал из машины всё, на что она была способна. — Надо как-то дотянуть до просёлка. Был ведь, я заметил. Где же он?

Глянув в зеркальце, он обомлел: “Мерседес” уже сидел на хвосте. Ничего не оставалось, как начать петлять и лавировать между другими машинами, не давая им возможности себя обогнать. Он прекрасно видел, как из окна чёрной иномарки ему махали сначала голым кулаком, а потом в руке преследователя показался пистолет. “Где же гаишники?” — мелькнуло на секунду у Мити в голове, он вслух выругался так витиевато, как это у него получалось во время боевых действий в Чечне.

— А-а-ах-ха-ха-а-а! — он, наконец, заметил просёлочную дорогу, которая убегала от автострады в поле к видневшемуся в километре лесу. — Ну, теперь, господа бандиты, поговорим на равных.

Дождавшись, когда “мерс” опять сел на хвост, Митя выбрал момент и, как бы пропуская его на обгон, ударил по тормозам перед самым поворотом и вылетел на просёлок. “Мерседес” по инерции проскочил вперёд метров пятьдесят и пока, рискуя быть вдребезги разбитым встречным потоком машин, неуклюже разворачивался, “Волга” уже преодолела половину расстояния от шоссе до леса. Водитель, по-видимому, решил не жалеть иномарку и рванул Мите наперерез, не разбирая дороги, по выбоинам, кочкам и кустам. И всё же к лесу Дмитрий успел раньше.

Сквозь завесу пыли было видно, как у “мерседеса” открылась дверь, показалась здоровенная квадратная харя, следом вывалилось не менее внушительное нечто и стало палить по Митиному такси из чего-то компактного коротким очередями. С берёзок на опушке упали срезанные пулями ветки. Митя, ведя машину уже по лесу, нащупал в “бардачке” рукоять пистолета, передёрнул затвор, притормозил и в тот самый момент, когда иномарка влетела в просвет между деревьями, произвёл три быстрых прицельных выстрела по водителю. “Мерседес” резко кинуло в сторону и понесло прямо на широкий, в три обхвата, растущий на укромной полянке дуб. Поскольку скорость была не менее ста, столкновение стало для всех в машине роковым. От удара сдетонировал бензобак. Ослепительная вспышка и оглушительный взрыв

заставили Митю вздрогнуть. Он инстинктивно пригнулся и с силой надавил на тормоз.

Не зная, что предпринять дальше, на какое-то мгновение он растерялся. В какую круговерть, гражданин Сергеев, вы позволили себя вовлечь? Костёр неподалёку издавал зловещий треск, в небо вздымался чёрный дым. Вероятность того, что кто-то выжил, была минимальной. Постепенно он начал приходить в себя. Оглянулся. На заднем сиденье лежал кверху дном кожаный кейс. Ну, правильно, решил Митя, это его, бриллиантового “клиента, чей же ещё. Перетащил кейс на переднее сиденье. Замок был надёжный, и сколько Митя ни крутил колёсики у кодирки, разгадать код не удалось. Пришлось доставать из кармана нож. Лезвие с трудом протиснулось в щель около защёлки. Покручивая колёсиками, Митя распатал железки. Что-то щёлкнуло, и кейс распахнулся.

Внутри лежал внушительный пухлый свёрток из жёлтой паковочной бумаги, перетянутой шпагатом. Не понимая, откуда, но Митя уже знал, что внутри. Он потянул за конец знакомого бантика и уверенно извлёк чёрный полиэтиленовый, наглухо запаянный по краям, увесистый пакет.

На обратном пути гнать уже не было смысла. Проехав по трассе пять километров, Митя прижался к обочине и решил осмотреться. Позади темнел шлейф дыма, поднимавшийся над лесом и расплывавшийся чуть выше мутным пятном на фоне сияющих белых облаков. Вскоре в небе появился вертолёт и стал кружить над пожаром. Ещё через несколько минут мимо пронеслись милицейские и пожарные машины с мигалками. Туда же.

Не обнаружив повреждений, вынудив только несколько ольховых веточек, застрявших в щели задней двери, Митя погнался машину в направлении аэропорта. Свернув за указателем, он стал высматривать кусты, где спрятал рокового пассажира. Найдя похожие, остановился. Со стороны взлётного поля слышался сильный рёв реактивных двигателей. Периодически взлетал и проносился прямо над ним очередной лайнер, при этом старая обшивка “Волги” начинала дребезжать.

— Ну, где же вы, господин хороший? — Митя начинал терять терпение, поскольку не имел понятия, что делать. Чёрный пакет он вскрывать не стал. И так знал, что в нём. Аккуратно всё упаковал, стараясь, чтобы не было заметно. Так же легко удалось ему защёлкнуть кейс. Вроде ничего не видно, сойдёт.

Он на мгновение усомнился, там ли притормозил? Но вскоре блеснул из зарослей радужный лучик. Ага! Здесь, голубчик. Наверное, пот со лба вытирал, — вот бриллиант на солнце-то и заиграл. Нет, это не шпион. Таких ляпов разведка не допускает.

Митя трижды просигналил, а потом ещё и помахал рукой. Пассажир нерешительно покинул своё убежище. “Надо же, — отметил про себя Митя, — ни пятнышка. Как будто из бутика вышел. Денди. Даже стрелки на брюках целы”.

— Стрелять пришлось? — “бриллиантовый” сразу же, без обиняков, приступил к расспросам.

— Трижды, и думаю, что в цель.

— Тогда от ствола надо избавиться. Немедленно.

Сели в машину. Толстяк оглянулся на кейс. Митя спокойно отвернулся в окошко.

— Поехали, — видимо, удовлетворившись, распорядился клиент. — Сначала туда, — он указал на второстепенную шоссею.

Митя догадался: пистолет надо утопить в протекавшей километрах в трёх речушке. Через пять минут они остановились на мосту. Дождавшись, когда проскочат другие машины, мужчина зашвырнул оружие подальше в воду. Удостоверившись, что за ними никто не наблюдает, сел рядом с Митей и лаконично приказал:

— В аэропорт.

Когда такси припарковалось около главного терминала, пассажир снял с пальца перстень:

— Надень.

Митя молча принял драгоценность. Размер совпал. Натянув бриллиант на левый безымянный палец, он вопросительно посмотрел на хозяина.

— Деньги отвезёшь, куда скажу, — видя, как взметнулись у Мити брови, он продолжал говорить довольно резким, не терпящим возражений тоном. — Лишних слов не нужно! Что не взял, это хорошо. Ведь мог?

Митя промолчал.

— Ладно, запомни адрес. — Толстяк в очередной раз смахнул со лба пот. — Поезжай прямо сейчас. Перстень — это вроде пароля тебе будет. Говорить, чтоб не трепался, не стану. И так вижу: не из болтливых. Как думаешь, выжить кто-нибудь мог?

— Нет, все сгорели, я рядом стоял.

— Будем надеяться, что так. Тебя как зовут?

— Митя. Сергеев Дмитрий Сергеевич.

— Меня можешь величать Арнольдом Митрофановичем. Давай, Митя, езжай. Там тебе всё просветят.

Он взялся за ручку, но задержался, сел обратно.

— Держи.

— Что это? — Митя нерешительно принял конверт, который Арнольд Митрофанович извлёк из внутреннего кармана.

— Как что? Заработок. Бери-бери, станешь и дальше так трудиться, будешь иметь всё. Прощай.

Ничего больше не говоря, скорыми шагами пассажир направился к автоматической стеклянной двери вокзала, а Митя включил стартёр.

Тёплый ветер врвался в кабину и тербил зуб. Было приятно. Ехал он, не превышая скорости, соблюдая дистанцию. Проезжая злополучное место, ничего, к своему удивлению, интересного не заметил. Дыма уже не было. Ни милиции, ни пожарных, ни вертолётгов. Его ни разу не остановили на постах ГИБДД. О погибших не без его участия людей Митя вспоминал без всякого сожаления. К тому же, в боковом кармане лежал конверт с десятью тысячами баксов. То, что сегодня в него стреляли и наверняка могли убить, также не вызывало никаких эмоций. По такому поводу Митя последний раз переживал, когда отправлял из Чечни “груз 200” с телом друга, погибшего при налёте боевиков на их подразделение. Потом было ещё много потерь, и боль за товарищей не ощущалась уже так остро. Потом он сам чуть не погиб. Но ведь то была война, жестокая, непримиримая, но справедливая. Митя даже чеченских боевиков не осуждал, в какой-то степени уважая их мужество и бескомпромиссность, а также умение воевать. А здесь что творится? Из “Мерседеса” стреляли явные отморозки. Разве это люди? Хуже бандитов.

Размышляя, Митя не заметил, как вкатил в город и помчался проторенным маршрутом. Спустя некоторое время сообразил, что адрес, данный Арнольдом, вроде как знаком ему. И чем ближе подъезжал к месту, тем отчётливее начинала работать память. Господи, да ведь это же рядом с моим домом! От неожиданного прозрения он даже остановился, включив аварийную сигнализацию. Его бросило в жар. Он догадался, чей то был адрес.

Баба Клава, как всегда, поливала свои ненаглядные герани. Митину “Волгу” она приметилла сразу.

— Ну, вот, милоч, и сошлись наши пути-дорожки. Летун ты наш. Куда ж денешься, родименький? Слышь, Котофеич? Прикатил голубчик.

Из комнаты послышалось царапанье. Кот оттачивал когти о косяк двери. Потом, изогнувшись, принялся облизывать свою глянцевитую чёрную шёрстку.

— Давай, прилижись, ласковенький мой. Прилижись да гостя встречать будем.

Кот фыркнул, кинулся на спину, начал кататься по ковру, недовольно урча. Шерсть у него сделалась серой. Покатавшись, встал на лапы, подбоченился и вдруг издал дикий вопль, от которого даже Клавдии сделалось не по себе. Перевоплощение завершилось. Из чёрного матёрого котяры снова получился пушистый очаровательный белый котик.



Лето кончилось как-то вдруг. Проснувшись однажды, Митя обнаружил на берёзке под окном первую позолоту. А через неделю все деревья польхали той прелестью, от которой хочется быть поэтом, чтоб хотя бы в бесхитростных наивных строчках продлить, запечатлеть восхищение пышным успехом природы. Начался осенний семестр. Получив письменные задания в университете, он затарился в библиотеке литературой, и жизнь заочника потекла привычным руслом. Но была у Мити теперь ещё и другая жизнь.

Он уже не работал в таксопарке, хотя продолжал исполнять должность водителя. И не только водителя. Вместо потрёпанной “Волги” он водил теперь роскошный джип. Сергеев каждое утро надевал дорогой костюм с белой рубашкой и галстуком, обязательный атрибут — золотая заколка с бриллиантом. Так требовал Арнольд Митрофанович, шеф. Кто он был, этот Арнольд, Митя так до конца и не разобрался. В центре города имелся шикарный офис, напичканный современным оборудованием, штатом сотрудников, таких же неразговорчивых, как и патрон, несколько сногшибательных секретарш. Но чем люди в этом учреждении занимались, оставалось для Мити мрачной тайной. Любопытство иной раз доводило до зуда, но он старался его перебороть. Помнится, “любопытной Варваре на базаре нос оторвали”, а здесь могли оторвать и голову.

Другим обязательным атрибутом его новой службы была официально разрешённая двадцатизарядная “беретта” под пиджаком в нательной кобуре, поскольку Митя исполнял ещё и роль личного телохранителя Арнольда. Каждое утро ровно в семь тридцать он заезжал за шефом, причём каждый раз по новому адресу, который становился известен ему всего лишь за полчаса. Арнольд звонил по мобильнику и говорил, куда следует подъехать. Ни разу адрес не повторился. Складывалось впечатление, что шеф владеет всем городом. И ещё было одно обязательное правило: Митя отъезжал от своего дома в шесть тридцать и, петляя по улицам и проходным дворам, внимательно наблюдал, нет ли слежки.

Раз в неделю надо было завезти на квартиру к бабе Клаве пакет. Всё тот же пухлый, в жёлтой оберточной бумаге, перетянутый шпагатом, завязанным бантиком. Старуха расплывалась в улыбке, по-простецки нахваливала своего “Митрия-касатика”, тащила за стол к самовару. Митя не кочевряжился, садился и с аппетитом уплетал плюшки, пирожки с творогом, брусничкой, всевозможные блинчики. У Клавдии Ивановны на этот счёт были золотые руки. Всё у неё выходило необыкновенно вкусным. И чай, кстати сказать, она заваривала отменно. Видя, как по-стахановски Митя управляется с её стряпнёй, баба Клава умилялась до слёз, начинала тягомотить про свою несладкую жизнь, что Бог не дал ей деток. И до того влюблённо тарасилась на “касатика своего”, что Митя начинал ёрзать на стуле, отталкивая ногой под столом назойливо лезущего ласкаться кота. Он старался в ответ улыбаться, хоть и получалось натянуто, поскольку не чувствовал искренности в старухиных излияниях. Да и о какой искренности могла идти речь в этом, по меньшей мере, странном доме?

Дни бежали. Слетела листва, отошли октябрьские дожди, наступил ноябрь. Природа затаилась, краски её поблекли. Небосвод по большей части был обтянут серой замшей, а ползающие туда-сюда тучи казались пропитанными свинцовой примочкой. Ничем выдающимся дни и недели не отличались. Работа Митю не изнуряла, он мог уделять достаточно времени чтению. Арнольд редко выезжал из офиса до вечера. Митя отвозил его в ресторан, каждый раз новый, после чего шеф отпускал его домой.

Сегодняшний день, как и все предыдущие, начался и до семи тридцати продолжался обычно. Попетляв по городу, Митя глянул на часы: время вышло, а звонка нет. Дмитрий извлёк из футлярчика на поясе мобилку, проверил, в исправности ли? Звонить Арнольд разрешал ему лишь в крайнем случае. Оставалось кружить по городу и ждать. Митя вынул из главную улицу и двигался не спеша в общем потоке машин, автоматическим через зеркала заднего вида фиксируя обстановку. Тупую морду “Мерседеса” он заприметил сразу, как только свернул на боковую улицу. Вначале не придавал этому значения, но теперь почувствовал, как внутри зародилось и заняло нехоро-

шее предчувствие. Зная по опыту, что подобные ощущения у него никогда не бывают беспочвенными, непроизвольно потрогал кобурку. Достав мобильник и убедившись, что входящих звонков нет, набрал скорость. Обгоняя машины, отметил, что “Мерседес” рванул следом. Ну, теперь всё ясно. И по-хож-то как!

— Здравствуйте, Арнольд Митрофанович, — Митя всё же решился и набрал номер шефа. — Меня преследует чёрный “мерс”, точь-в-точь как тогда, перед аэропортом.

— Знаю, — прозвучало лаконично и без каких-либо эмоций, — действуй по обстоятельствам.

Шеф отключился. Митя пожал плечами, резко, нарушая правила, развернулся и понёсся к ближайшей второстепенной улочке, даже не глядя в зеркальце. Знал, что теперь не отстанут.

Погоня! Какой жанр обходится без погони? Митя улыбнулся цитате. “И нет нам покоя, гори, но живи! Погоня-погоня-погоня-пого-о-о-ня в горяче-е-е-й крови. Та-дам, та-дам, та-дам, та-да-а-а-м...” Знаменитая песня *неуловимых мстителей* из фильма, который Митя с детства обожал, теперь звучала в салоне автомобиля, как боевой гимн. То ли взбудрил мотив, то ли быстрая езда, но Митя ощутил азарт. Он гнал, не боясь непредвиденных препятствий, потому что знал их все наперёд. Даже притормаживал, замечая, что “Мерседес” отстаёт. В одном из дворов преследователи со всего маху наскочили на какой-то сарайчик, видимо, водитель не справился с управлением.

— Что, уже шарики за ролики заскакивают? — злорадно пробормотал Митя и остановился, дожидаясь, пока в “мерсе” очухаются. От такого нахальства у бандитов начиналась истерика. Не успев выскочить из завала — сарай-то разлетелся по доскам! — “Мерседес” тут же снёс столик, на котором обычно отводят душу доминошники. Матерясь на весь двор, из машины вывалился... Нет, не может быть! Митю бросило в дрожь. Он же должен был сгореть! Раздалась очередь, пули прошли заднее и лобовое стёкла джипа. Митя нажал на газ.

Никак не получалось восстановить хладнокровие. Его всего трясло. Дворы мельгали один за другим, джип выскакивал на главную дорогу, потом опять нырял в невзрачные проулки. И всё время “мерс” висел на хвосте. Теперь Митя и рад был оторваться, но не получалось. Как будто там сменился водитель, или... Или “Мерседес” вёл он сам. От таких рассуждений голова пошла кругом. Это плохо. Митя начал уставать. На выезде из очередной поворотни зацепил бампером за угол, машину отбросило в сторону, а он сам ударился виском так сильно, что потемнело в глазах, только слышно было, как визжат тормоза у встречной иномарки, чуть не врезавшейся в него.

Митя резко нажал на педаль тормоза. Оглянулся. “Мерседес” тоже остановился. Из задней дверцы показалась изуродованная грубым шрамом физиономия и ослабла:

— Щас, милок.

Вывалились и остальные. У одного в руке блеснул огромный тесак, другой поигрывал бейсбольной битой, третий вскинул автомат.

— Та-та-та-та-та, — громко протараторил тот, что со шрамом, остальные заржали.

Митя поднял голову и опешил: на одном из балкончиков стояла Клавдия Ивановна с леечкой, которую он ей подарил, и поливала герани. Она радостно кивала тем, что стояли около “мерса”, а потом ангельским голосочком пропела:

— А где ж мой касатик, мой Митрий?

— Привет, баба Клава! — дверь водителя отворилась, из неё показался...

Дальше, как во сне, Митя увидел подобие себя за рулём чёрного “Мерседеса”, приветливо махавшее старухе с геранями.

— Га-га-га!!! — ещё громче заржала блатная компания.

И в довершение кошмара из-под Митиново джипа вынырнул белый котик и, вздыбив свой великолепный пушистый хвост, чинно проследовал к “Мерседесу”. Потом встал на лапы, моментально сделался чёрным, подбоченился и, громко промяукивая гласные, завопил:

— Ща-а-а-с, милоч, ща-а-а-с...

Митя вдавил в пол акселератор. Мотор взревел. Колёса завизжали, машину развернуло и понесло прямо на бандитов. Выхватив “беретту”, он высунулся в окошко и стал лихорадочно палить по водителю. Бандит со шрамом поспешил из “Мерседеса”, но столкновение произошло как раз в тот момент, когда он только наполовину высунулся. От удара его подкинуло вверх и швырнуло в кусты, что росли неподалёку. Митю же со страшной силой бросило на рулевое колесо, но сработали подушки безопасности, и никакой травмы он не получил. Обе машины вспыхнули. Митя выбрался наружу.

Кот, придавленный колесом Митинового джипа, предсмертно выл. Старуха с балкона редела:

— Ох, уби-и-и-ли!!! Уби-и-и-ли!!!

Боковым зрением Митя отметил, как справа мелькнула бейсбольная бита. Он инстинктивно ринулся навстречу нападавшему, отчего удар пришёлся по воздуху, бандита крутануло, и Мите ничего не оставалось, как вырубить его резким хуком правой снизу в челюсть. Но увернуться от ножа он не успел. Тесак пропорол дорогой костюм, и спасло его лишь то, что лезвие натолкнулось на кобуру и прошло по рёбрам вскользь. Митя трижды выстрелил в бандита в упор.

Неожиданно прямо у ног с грохотом разлетелся керамический горшок, забрызгав брюки до колен грязью. Вскинул голову, он едва успел увернуться от второго горшка. Даже почувствовал характерный запах, который издаёт герань, когда её беспокоят.

— Ах ты, старая ведьма! — Митя впал в бешенство.

Он прицелился и выпустил по старухе всю оставшуюся обойму. Из кустов показалась знакомая физиономия со шрамом:

— Ну, милоч, патрончики-то тю-тю? Щас мы тебя. Щас, — он нагнулся за автоматом, что валялся рядом.

Взрыв страшной силы потряс весь двор, из окон посыпались стёкла. Митя понял, что находится в воздухе, но не падает, а висит неподвижно. Он глянул вниз. Там распростёрлось в неуклюжей позе тело, сжимавшее в предсмертной судороге автомат. Рядом с телом валялось что-то продолговатое, чёрное. Кошачий хвост.

Митя толкнул пространство руками, как будто плыл в воде, и направился к балкону. Плавно опустившись на него, проник внутрь квартиры. На диване, сцепившись, ворочались два женских тела. Одно из них, окровавленное и обезображенное, принадлежало бабе Клаве, а второе... Митя обомлел, узнав. Это была Надежда Николаевна. Совершенно обнажённая.

— Марго, это я, — произнёс незнакомым для себя голосом Митя. — Сейчас, секунду. Держись!

Он подлетел и резким движением скрутил старухе голову, ухватившись руками за подбородок и затылок. Баба Клава истошно взвыла, её пальцы, до того намертво сцеплённые на горле девушки, разжались, и она вдруг, словно в неё влили живительный эликсир, вырвалась, встала на дыбы и зарычала раненой медведицей. У Мити мурашки по спине побежали. Ему даже показалось, что руки у бабы Клавы покрылись бурой шерстью, а рот стал вытягиваться, из него потекла слюна, а вместо гнилых старческих зубов прорезались массивные клыки. Комната наполнилась отвратительным смрадом. Он быстро перезарядил пистолет и, уже когда готов был к стрельбе, увидел, что перед ним душераздирающе ревёт самый настоящий монстр со звериной внешностью. Прицелившись предположительно в сердце, Митя разрядил обойму. По сторонам полетели ошмётки тканей, шерсти, чего-то скользкого, грязно-бурого. Чудище припало на колени, не переставая размахивать лапами, зацепило угол шкафа, шкаф разлетелся в щепки.

— Марго, улетай. Я догоню, — Митя опять не узнал собственный голос. Девушка, покачиваясь и держась за горло, встала и обняла его.

— Только с тобой, — прошептала она, но Митя уже подталкивал её к балкону.

За их спинами хрипело и смердело. Монстр снова поднялся на ноги и шагнул следом. Надежда Николаевна, не обращая внимания на наготу,

легко приподнялась над полом и словно поплыла по воздуху. Задержалась у перил, оглянувшись.

— Да лети же, Маргарита! Нельзя эту нечисть так оставлять. Я справлюсь. Но один. Когда ты рядом, я не смогу быть жестоким. Прошу тебя, любимая, улетай. До встречи.

Девушка быстро набрала высоту и скрылась в облаке. Митя кивнул в знак одобрения и приготовился к битве.

— Помни, что я всегда жду тебя, Мастер, — принесло ветром перед тем, как раздался оглушительный вой.

У Мити оставалась последняя обойма. И он понимал, что стрелять в сердце бессмысленно. По всей видимости, там и сердца-то не было. А куда? Если пули не попадут наверняка, он погиб. Есть двадцать патронов. Где же, где уязвимое место? Нечисть же!

Он по-прежнему парил в воздухе. Монстр пытался достать когтями и наносил удары. Митя легко уворачивался, отгалкиваясь руками и ногами от стен, потолка. В квартире царил настоящий разгром. То, во что превратилась баба Клава, блеснуло откуда-то из впадины между глазами пронзительно жёлтым лучом, как лазером резануло. Митю на мгновение ослепило. Прикрываясь рукой, нащупал мушкой место, откуда исходил лазерный луч, и нажал на спусковой крючок. Отдача “беретты” швырнула к противоположной стене. Чудище завывало ещё громче, стало дёргаться и метаться. Митя отлетел за балкон, ухватился левой рукой за перила и стал прицельно посылать пулю за пулей. Когда оставался всего лишь один патрон, монстр рухнул: смрад усилился и стал нестерпимым. Митя оттолкнулся и хотел уже лететь к облаку. Но вдруг снизу раздалось жалобное пискливое мяуканье. Белый несчастный котёнок, прижавшись к стене и дрожа всем пушистым тельцем, будто звал на помощь. Митя спустился. Подошёл. Ему стало так его жалко.

— Кс-кс-кс. А ты что тут, бедолага? Откуда ты? Иди ко мне, а то ещё бегемот какой-нибудь порвёт.

И в ту самую секунду, когда котик готов был прыгнуть на руки, увидел, что у него нет хвоста.

— Ах ты тварь! — Митя быстро выпрямился, а кот, сделавшись втрое больше размером и совершенно чёрным, блеснул жёлтыми огнями из глаз и прыгнул, намереваясь вцепиться в горло. Митю спасла бойцовская реакция. Последний выстрел разнёс коту череп.

Неожиданно двор заполнился воем сирен и бликами милицейских мигалок. Митя взмахнул руками, оторвался от земли, но... Силы взлететь уже не было. Он пытался махать руками интенсивнее, но ничего не получалось. “Беретта” так и осталась в руке. Омоновец в чёрной маске, увидев оружие, налетел, сбил с ног, огрел дубинкой. Митя на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, то на запястьях уже замкнулись наручники, а самого его волокли в автозак.

В этот момент непонятно откуда выскочил чёрный лабрадор и кинулся на омоновцев. Всё произошло так неожиданно, что бойцы не успели среагировать. Собака сбита одного с ног, другой выпустил Митину руку. Можно было бежать, но Митя вдруг заметил, как третий омоновец вскинул автомат и уже готов был расстрелять пса. Дмитрий грудью толкнул бойца, тот не удержался, припал на колено. Очередь прошла по верхушкам тополей, сбив несколько веток.

— Беги! — крикнул Митя лабрадору, и пока бойцы возились с ним, собака рванулась в кусты. В последний момент пёс оглянулся, кивнул Мите и исчез. А облако, что висело низко над двориком, медленно поплыло прочь.

Сзади раздавались и одиночные выстрелы, и автоматные очереди. Выла сирена, ревели моторами бронетранспортёры, слышалась ругань. Мимо пронеслись машины скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками. Дмитрий, почти обезумев от пережитого кошмара, замешанного на чудовищной мистике, бежал к дому, держась за голову. Навязчивое: “Щас, ми-

лок...” — всюду преследовало его. Митя искал глазами, откуда оно. Кроме тёмных кустов, голых деревьев и шарахающихся редких прохожих, никого видно не было. А голос был.

Митя стал устывать, ноги подкашивались. Спотыкался. Дышать сделалось нестерпимо тяжело, кольнуло в сердце. Но не останавливался. Уже у подъезда почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Ухватился за перильца лестницы. Оглянулся. Прямо за спиной стояла старая компания: верзила со шрамом, бандит с тесаком и ещё один с бейсбольной битой. Все скалились. Митя, собрав последние силы, ринулся к двери, быстро отпер ключом, который отчего-то оказался в кулаке, захлопнул дверь и прыгнул в койку, накрывшись с головой одеялом.

Было слышно, как бандиты ворвались в квартиру, вышибив дверной косяк. Тот, что со шрамом, стащил одеяло. Мелькнуло лезвие тесака. Митя инстинктивно крутнулся, отчего нож воткнулся не в него. Раздался рёв. По всей комнате распространился удушливый смрад. Митя поднял голову. В комнату, не спеша, вваливался рыхлой массой монстроподобный субъект с полковничьими погонами. Из жёлтых глаз его били два ярких луча, а между ними начинал высверливаться лазерный пучок, становясь с каждой долей секунды всё мощнее. Лазер принялся блуждать. Отыскав Митин взгляд, он упёрся в точку на переносице и стал буравить её.

— Что, Арнольд Митрофанович, всё-таки хочется душу мою заполучить?

Остальные бандиты попадали на колени и утвердительно закивали головами, гундя под нос:

— Угу-угу-угу.

Из пасти Арнольда потекла слюна, он удовлетворённо засопел и двинулся на своего бывшего охранника. А Митя вдруг почувствовал, что стал совершенно спокоен. Его подняло над полом. Он парил в воздухе и улыбался.

— Щ-щ-щ-а-а-ас-с-с, милоч, — передразнил он, — щ-щ-щ-а-а-а-с, Арнольдик. На, получи мою душеньку, чмо нерусское!

И, мгновенно подлетев к уроду, схватил его за голову и прижал к переносице гранату, которую успел незаметно извлечь из потайного запаса. Чека уже была выдернута. Через секунду всё провалилось в небытие.

— Повезло тебе, солдат, — хирург, присев на край госпитальной койки, считал пульс и отчего-то улыбался. Улыбка у него была добрая, душевная. — Хочешь, честно? Не выживают в таких ситуациях. Ты, конечно, не помнишь ничего. Не должен, во всяком случае. Такие контузии память отшибают. Поверь, сынок, чтобы после фугаса, под какой ваш БТР попал, осталось хотя бы ошмётке какое-нибудь, немислимо. А ты практически невредим.

— Послушайте, доктор, а чего вы меня сынком называете? Мы не так уж и разнимся в возрасте, — Мите захотелось шутить.

— Да вижу, вижу, что ты дед уже. Глядел на себя в зеркало, нет?

— Нет ещё.

— Ну, когда поглядишь, поймёшь, что сынок ещё. Только... — и доктор вдруг посерьёзней, — только с обратной стороны. Ладно, спи давай, это единственное пока для тебя верное лекарство. Спать, спать, спать.

И ушёл, по пути отдавая распоряжения медсестре, которая вскоре принесла шприц и что-то вколола Мите в ягодицу. Голова пошла кругом, сделалось приятно.

— Слышь, Танюша?

— Что, Димуль? — сестра склонилась над койкой, улыбнулась. Он притянул её к себе и поцеловал. Она ответила. Оправив халатик, Татьяна сделала притворно строгое лицо:

— Чего-нибудь ещё желаете, раненый?

— Желаяю, желаяю, — Митя протянул руки.

— А вот, молодой человек, и нетушки. Много сладкого вам вредно.

— Тань, ну, ты чего. Иди же, — Митя по-прежнему простирал к ней руки. — Ну, ещё разок, ну, я прошу.

— Со своей ненаглядной целуйся! — Татьяна решительно направилась к выходу.

— Да погоди ты, — Митя чувствовал, что уже начинает отключаться, у него стал заплетаться язык. — С какой ненаглядной? Ты это, Тань, к чему? Нет у меня никого.

— Да? — медсестра состроила рожицу. — Нету? А кто всю ночь сегодня стонал: “Маргарита, Маргарита”?

— Какая ещё Маргарита?

— Не знаю, какая. Тебе виднее. Все вы, мужики... — не договорив, она вышла из палаты.

Митя откинулся на подушку. Белиберда! Что она выдумывает? Мужики, мужики... А вас, баб, вообще понять невозможно. И уснул. Долгим, спокойным, без всяких видений сном. А когда через сутки проснулся, встал и, пошатаваясь, подошёл к зеркалу, не узнал себя. На него смотрел не мальчик Митя с курчавыми тёмными волосами, а поседевший и враз постаревший на добрый десяток лет мужик.

Время излечивает всё. Дмитрий Сергеев вернулся из армии. Живым, в отличие от некоторых своих друзей. Сказать, что возмужал, — мало. Он стал очень взрослым. Много виделось совершенно в ином, чем когда-то, свете, многое открылось, что ранее было недоступным его пониманию. Научился видеть людей и определять им цену. Странное дело, раньше Митя не замечал, сколько хороших людей вокруг. Не мог объяснить себе причину столь разительной перемены. Разве дело только в том, что побывал по ту сторону бытия благодаря чеченскому фугасу? Вряд ли. Нечто подозревающее наталкивало его на иные раздумья. Какие-то предчувствия бередили душу, но их Митя расшифровать не мог.

От медсестры Тани пришла пара писем. Он ей отвечал. Потом всё само собой заглохло. Не задевало, значит, за те струны, на которых играют понастоящему влюблённые. Заочная учёба Мите давалась легко. Работа в таксопарке была в радость. Он любил водить машину.

В это пасмурное утро в парк бежать было не нужно. Машина стояла около подъезда, так как Митя допоздна развозил клиентов, а ещё надо было посидеть с литературой. Засиделся далеко за полночь, и сейчас одолевала зевота. Но надо идти. Зарабатывать на жизнь, на учёбу.

Светло-зелёная “Волга” с пашечками по бокам вся покрылась серёжками от тополя и пылью. Митя снял машину с сигнализации, сел за руль. В доме напротив какая-то милая старушка поливала герани на балконе третьего этажа, не обращая на него никакого внимания. По перильцам балкона отважно прогуливался симпатичный белый пушистый котик. Вставив ключ в замок зажигания, Митя включил стартёр. Мотор послушно заурчал, придавая корпусу характерную вибрацию. Позволив двигателю поработать несколько минут вхолостую, он включил заднюю скорость, чтоб развернуться. А когда оглянулся, увидел на заднем сиденье пухлый свёрток жёлтой объёмной бумаги.

— Откуда он взялся? — Митя попытался припомнить, проверял ли с вечера машину? Пассажиры частенько что-нибудь забывали в салоне. — Нет, не помню. Надо отвезти диспетчеру.

И, развернув “Волгу”, он помчался по мокрой дороге. Сверху на город падал тёплый весенний дождь, прибывая пыль и давая влагу растениям, которые после долгой зимы принялись выпускать на свет свежие молодые побеги, ростки, клейкие листочки и цветы.

Диспетчер внимательно осмотрела свёрток, пожала плечами и закинула на полку для забытых вещей:

— Надо будет, хозяин отыщется.

Митя некоторое время смотрел на него, о чём-то задумавшись, потом решительно встряхнулся, словно сбрасывая с себя невидимую тяжесть.

— Ну, раз для меня вызовов нет, поеду по городу. Так сказать, в свободном парении. Счастливо!

— Давай, Митенька, — диспетчерша приветливо помахала в ответ, — только допоздна не разъезжай, а то опять мама станет звонить, беспокоиться.

Асфальт блестел. Около луж Митя притормаживал, чтобы не обрызгать пешеходов. В окно врывался воздух, пресыщенный озоном и головкружи-

тельными весенними запахами. Свернув на густо заросшую кустами сирени улицу, над которой горделиво возвышались минареты пирамидальных тополей, он приметил полного мужчину в дорогом костюме, с солидным кожаным кейсом. Тот явно намеревался поймать такси. Сбросив газ, Митя включил поворотник и уже собрался прижаться к обочине, как вдруг с противоположной стороны улицы выбежала миловидная девушка и призывно замахала рукой. Не раздумывая, Митя переключил поворотник влево и лихо, как автогонщик, развернулся, пробуксовав по мокрому асфальту завизжавшими покрышками. В зеркальце заднего вида он успел заметить, как недобро блеснули жёлтыми огоньками, будто у тигра, глаза несостоявшегося дорогого пассажира. На лимузине, уважаемый, на лимузине.

— Здравствуйте! — девушка оказалась просто красавицей с необыкновенными зелёными глазами и пышно вьющимися каштановыми волосами до плеч. — Можно?

— Садитесь, — Митя открыл дверцу и пригладил сиденье.

— А вы не будете возражать против ещё одного пассажира? — она смотрела в глаза ему так, словно была уверена, что любой каприз, любая её просьба будут исполнены безоговорочно. И действительно, Митя готов был для такой пассажирки на что угодно:

— Если вон того, — он кивнул в сторону гражданина с кейсом, — то ни в коем случае.

— Ну, такого нам и самим не надобно, — девушка смеялась настолько обворожительно, что Митя почувствовал, как захотелось ему вдруг летать, а тело стало необыкновенно лёгким. Если бы он глянул в этот момент на своё сиденье, то обнаружил бы, что оно распрямилось, будто на нём и не сидел никто.

— Так куда прикажете? Наш Росинант готов хоть к облакам, хоть к звёздам. Куда желает прекрасная сеньорита?

— Сударь, а способен ли ваш Росинант домчать как можно скорее сеньориту к школе-гимназии, где её ждут прелестные отроки, жаждущие познаний?

— Так вы — учительница?

— Так, сударь. И представьте, учительница безалаберная. Вечно опаздывающая. Но со мной верный рыцарь. Возьмём?

Митя почувствовал, как внутри закипело. Рыцарь! Нет, никаких рыцарей, я сам её рыцарь! А девушка, читая бесхитростные его мысли, рассмеялась ещё громче.

— Да вы, юноша, собственник.

— С чего бы это? — он, словно влюблённый мальчишка, не мог скрыть эмоций и явно начинал расстраиваться по поводу какого-то ещё там рыцаря.

— А с того, что нельзя так сразу ревновать, — она приоткрыла дверцу и крикнула: — Лорд, ко мне!

Тут же из сиреневых зарослей вылетел, радостно перебирая лапами и размахивая хвостом, огромный чёрный лабрадор. Митя встал, обошёл машину и церемонно открыл заднюю дверцу:

— Прошу вас, сэр рыцарь. Не прогневайтесь за мою неучтивость.

Пёс вдруг протянул лапу. Это случилось настолько неожиданно, что водитель выпрямился, как по команде “смирно” в армии. Взял её и пожал. Он готов был потом поспорить с кем угодно, что в тот момент собака подмигнула ему и вроде как улыбнулась. Но ведь такого же не бывает?

— А знаете, я вас ещё больше удивлю, — сказала девушка, когда они мчались коротким путём через проходные дворы, чтоб успеть к началу занятий, — хотите, назову ваше имя? Дмитрий. Правильно?

— Да, но... — Митя совсем опешил.

Девушка в очередной раз рассмеялась. Какой у неё чудесный смех! И голос необыкновенный. Бархатный, как баритон, но не столь низкий. Волшебный прямо. Неясные, хорошие предчувствия вдруг взволновали юношу.

— Ваша мама и моя, представьте себе, подруги. И я запомнила фотокарточку, которую мама показывала, когда приходила к нам в гости. Вы там

такой бравый, в десантной форме, с орденами. Ваша мама рассказывала, — голос у девушки дрогнул, — о ранении, как вы чуть не погибли и чудом остались в живых. Лорд! Не хулигань.

Лабрадор положил водителю на плечи лапы и лизнул в ухо. Они подкачали к гимназии. Девушка вышла, Митя поспешил следом:

— Надежда Николаевна, а можно я вас встречу после занятий? Мы с Росинантом хотим быть вашими рыцарями.

Нисколько не удивляясь, что её назвали по имени-отчеству, она оглянулась, потом ласково улыбнулась, подошла к юноше и поцеловала, нежно проведя ладонью по щеке:

— Да, рыцарь мой. Да! — и побежала по ступенькам школьного крыльца, почему-то не кликнув с собой Лорда.

Митя долго смотрел ей вслед. Точно так же вёл себя и лабрадор: сидел, уставившись на закрывшуюся за Надеждой дверь, и прижимался к его ноге.

— Ну, поехали? Надо денежки зарабатывать, — как само собой разумеющееся, он открыл дверцу, собака радостно запрыгнула на сиденье. Они покатали по городу. “Интересно, а как это у меня получилось? — весело размышлял Митя. — Ведь нас никто не представлял, а я — раз — и вот вам, здарсьте: Надежда Николаевна. Я, наверно, экстрасенс”.

Лорд слегка рявкнул. Митя оглянулся. На сиденье лежал фиолетовый пакет. Аккуратный, небольшой. Лабрадор поставил на него лапу и как бы указывал мордой: возьми. Митя остановил машину, пересел на заднее сиденье и, еле сдерживая волнение, разорвал бумагу. Из пакета выпала записка: “Дмитрий, это Вам. Ничему не удивляйтесь. До встречи. Не балуйте Лорда. Ваша Н.”

В пакете была книга: та самая, которую он так давно мечтал прочесть.



ВЛАДИМИР ПОДЛУЗСКИЙ



БУХОВА ГОРА

\* \* \*

Жена!  
Я не считал года —  
Прошли легко, как дым.  
Но почему ты молода,  
А я вдруг стал седым?

Жена!  
В какой весёлый миг  
Вошёл холодный страх?  
Зачем мне этот скорбный лик  
И пепел на висках?!

И снег, и мел —  
В одной судьбе.  
Как будто это грим.

Когда я изменил себе?  
Когда я стал седым?!

---

*ПОДЛУЗСКИЙ Владимир Всеволодович родился 5 июня 1953 года в селе Рохманово Брянской области в потомственной учительской семье. Его мама Наталья Петровна, дочь священника, сидела за одной школьной партой с будущим русским проповедником отцом Дмитрием Дудко. С отличием закончил Санкт-Петербургский университет, Брянский сельхозинститут, Северо-Западную академию госслужбы и управления при Президенте РФ. По образованию журналист, менеджер и агроном. Автор поэтических книг "Светозар", "Посконные холсты", "Зажинки". Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живёт в Сыктывкаре.*

## У ПРУДА

У дубов и тёплых ёлок,  
Подстеливших шёлк и плис,  
Очарованный посёлок  
Выбирается из риз.

Все красоты после ночи  
Не оставишь на потом.  
Протирает небо очи  
Над вскипающим прудом.

Под блины на простокваше  
И зарядок невзначай  
Луч помешивает в чаше  
С мёдом вересковым чай.

Трав округлое горенье  
Греет пальчики судьбы.  
Горьковатые коренья  
Слаще всякой ворожбы.

И, краснея, просит слова  
Меж склонившихся раки,  
То ли терем водяного,  
То ли иноческий скит.

## БУХОВА ГОРА

Я не знаю, почему ты Бухова,  
Месяцев взошедшая гора.  
От тебя рукой подать до Рюхова,  
Вотчины то лавры, то орла.

До неё ржаные вёрсты мерены  
Распростёртым саженом стрижа.  
На горе такие зёрна сеяны,  
Что годны для треб и куража.

Дан нам день для светлого свидания,  
Ночь — для оправдания затей.  
Всё, что выше нашего страдания,  
Ничего не значит для людей.

Помнит житель добрые истории  
И такие, что бросает в дрожь.  
Сельские простые аллегории  
Разделяют истину и ложь.

Я не знаю, почему ты Бухова,  
Над селом взошедшая гора.  
Но гремят за восемь вёрст у Рюхова  
Из Рохманова перепела\*.

---

\* Рохманово – родное брянское село поэта.

## СИНИЙ СНЕГ

Синий снег. Сараями стога.  
Булькает укутанный колодезь.  
Улеглась мещёрская пурга  
На звенящий ясеневый полоз.

Тёмный лес и розовая сеть,  
Небеса поймавшая форелью.  
На холсты те стоит посмотреть  
Лишь тому, кто любит эту землю.

Меж столбов искрящихся теперь  
Избы пахнут дымом и уютом.  
На поленнице, как странный зверь,  
Спит сугроб, облитый перламутром.

В конуре повизгивает пёс,  
Предлагая гостю увязаться  
Вслед за ним за пару добрых вёрст,  
Поохотиться вдвоём на зайца.

Не спешу с ружьём, я с детства жертв  
Не люблю весёлых и напрасных.  
Как рыбацья, золотится жердь  
Средь ячеек, розовых и красных.

Синий снег, сараями стога  
За чредою ивовых плетений.  
И дрожат хрустальные рога  
Луговых застенчивых растений.

## ДУБЫ

*Фотохудожнику  
Андрею Снисаренко*

Лапами медвежьими дубы,  
Муравы улёгшаяся лань.  
Кличет леший белые грибы  
Попасться собраться на елань.

Заселясь в старинное дупло  
В ожерелье вещей желудей,  
Рассыпает жменями тепло  
В сорок наговоренных рядей.

Дух привык водить и искушать  
Подпускающих грехи на шаг.  
Всё равно им ближе благодать,  
Чем лесной малиновый кушак.

То ли медный, то ли бурый свет  
Озаряет праздную елань.  
Лишь в лесу мы помним про обет  
И свою святую иордань.

Оттого звенящая краса  
Торжествует солнечно окрест.

И на все лешачьи голоса  
Человек накладывает крест.

Лапами медвежьими дубы,  
Муравьи, вцепившиеся в лань.  
Чешет нежить осторожно лбы,  
Заглядевшись хмуρο на елань.

### СРУБ

Чем дальше в лес, тем боле Русь острожная,  
Сидит в глуши сорокой на колу.  
И сызмала серьёзно острожная  
На похвалу и дерзкую хулу.

Надеется на дичь, улов и рыжики,  
Малину, мёд и травяной отвар.  
Выращивает на парах бульжники  
И, причитая, превращает в пар.

Тут знатоки и знахари-кудесники  
Колдуют под сурдинку ремесла.  
Умеют всё давно мои ровесники,  
Для коих нет ни года, ни числа:

Хоть сруб поднять, простой до величавости,  
Хоть лодку иль полозья для саней.  
Им пару раз лишь плюнуть между чарками,  
Которые не хочешь, а налей.

Я им завидую и по-хорошему  
Желаю долгих лет и добрых жён.  
И кто из нас тут более заброшенный  
Поспорить есть, по-моему, резон.

Чем дальше в лес, тем боле Русь колодная,  
Вытёсывает щепки из колод.  
Она, по всем канонам благородная,  
И составляет, словно сруб, народ.

### ЗОЛОТАЯ КАРЕТА

Под стакан старик из табакерки  
Извлекал пахучую легенду  
И всерьёз придумывал примерки,  
Как достать французскую карету

У резного города Погара,  
Где бурчат торфяниками топи,  
Чуть не ухайдакавшие галла,  
Драпающего в свои Европы.

Чудом выполз бледный император  
Из болота, собирая силы.  
А повозка провалилась в тартар  
Посреди разверзнутой России.

С той поры смущает многих отблеск  
Золотого мрачного дурмана.  
Ищут в прорве, проявляя доблесть,  
Призрак королевского рыдвана.

Тайные обряды совершают,  
Жуткие выдерживают встречи.  
Колдунов, цыганок вопрошают,  
Стеариновые ставят свечи.

Хоть какую положите плату,  
Не открыть ей у болота створки.  
И ночами тут по Бонапарту  
Плачут лишь фореиторы и волки.

Доставал старик из табакерки  
С сердюком на крышке сказ про город.  
И журчал сквозь медные тарелки,  
Очищаясь до слезинки, солод.

ЕЛЕНА ГАБОВА



## ЛЮБОВЬ НА СЕМИ ВЕТРАХ

РАССКАЗ

— А листья рябин как будто сгорают. От своего красного цвета сгорают. Видишь, как скрючились. Как на пожаре.

Двое сидели на крыльце старой мельницы. Она пряталась в затишке, за кучами рябин, и крылья ветряка шевелились вяло даже при сильном ветре. В нём что-то поскрипывало, покряхтывало, словно в живом старческом организме. Спиной эти двое чувствовали странную защиту: как будто в детстве сидели у бабушки на печке.

— Мы с тобой сидим тихонечко, — говорила она, тоненькая, бледная, глаза выделялись на лице зелёными блестящими листочками. — А неделю назад я присела сюда отдохнуть, а на крыльцо с того края дикий турист какой-то прямо запрыгнул. Старушка моя вся затрепетала.

— И ты, небось, старушка моя, вся затрепетала.

Он был молод, хорош собой. Лишь одна-единственная морщинка посреди лба говорила, что и он постареет.

— Ещё бы... Конечно.

Она сидела, сжавшись в комочек, подобрал под себя колени, а он, наоборот, раскрылся, руки за голову закинул, опираясь о старинную стену.

— Как хорошо, что в этот раз ты приехал осенью. Как хорошо, что ты вообще приехал. Я уж думала — всё. Ждала тебя целое лето, а недавно решила — всё.

---

*ГАБОВА Елена Васильевна родилась в Сыктывкаре. Закончила сценарный факультет ВГИКа. Автор множества книг для детей и подростков, изданных в Москве, Киеве, Сыктывкаре, Токио. Ее произведения переведены на английский, немецкий, украинский, финский, венгерский, норвежский, языки народов России. Лауреат нескольких литературных премий, удостоена звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей России.*

— Не мог, Ольгиня, не мог. Получить квартиру в наше время — редкое везение. Обновлял мебель, крутил гайки, по трубам стучал.

— А по трубам-то зачем стучать? — удивилась она.

— По разным причинам. Вода лучше бежит, соседи лучше ведут себя, дурную музыку приглашают.

— А-а... И не писал. Сознайся, теперь тебе стыдно.

— Стыдно. Оказывается, в новой квартире не до писем. Мысленно я все время с тобой говорил, ты должна была чувствовать это.

— Я чувствовала это перед сном. Казалось, ты рядом, где-то на острове, но увидеть тебя невозможно. Как будто ты в шапке-невидимке.

— Так оно и было. Я навешал тебя каждый день. Воображу луг, церковь, брожу вокруг, грызу травинку. А как покажется первая звезда, иду в твой маленький домик. К тебе. Ты опасалась напрасно, милая. Ты знаешь, как меня тянет сюда. Тянешь ты, недотрога. Тянет вот эта старая мельница. Церковь. И тишина. И озеро. Пойдём?

— Пойдём.

Они встали и медленно побрели по лугу, на котором заплатками осени лежали жёлтые и красные листья.

— Мой самый любимый отдых — ходить по опавшим листьям. Листва вся жёлтая, и на её фоне Преображенский храм от дождей становится чёрным. Знаешь, вот он от дождей чернеет и становится ещё ближе к природе. Он как будто не выстроен, а рождён, как будто вырос из травы, возник из озера вместе с островом. Тебе не кажется так?

— Милая Ольгиня, мне показалось это ещё в первый вечер, пять лет назад. Помнишь, ты проводила ночную экскурсию?

— Ещё как помню!

— Вот тогда. Тогда я влюбился во всё это — с тобой во главе. — Он потёрся щекой о её волосы. — В Москве я не живу — существую.

— Оставайся. Насовсем оставайся.

Шуршала листва, припадали травинки к ногам, последняя ромашка забилась в шнурки её кроссовок.

— Я, как дурной, жду отпуска. Лечу сюда. Еду. Плыву. Если бы ты знала, как раздражала меня эта квартира. А ведь её ждали так давно.

— Ты не ответил. Оставайся на острове.

— В качестве плотника? Не умею. Я тут буду социальным нулем. К тому же — понимаешь меня? — я не брошу Наташку. Смотрю на неё, как она засыпает, думаю о тебе и стискиваю зубы, чтоб не завывать.

— Большая стала...

— Да. Следующей осенью — в школу.

— Представь, как было бы хорошо ей здесь. Мы любовались бы озером, читали книги. Смотрели бы на звёзды.

— С тобой ей было бы лучше, чем с женой. Для той главное — тряпки. Она и Наташку в таком духе воспитывает.

— Как тебя жена отпускает? Ты что говоришь? Куда едешь?

— Говорю, что сюда. Что остров меня обворожил. Что заболею, если не побываю тут снова.

— Верят тебе?

— Так это же правда!

Помолчали. Понимали оба, что он, конечно же, обманывает жену, что они оба грешны. Но об этом было столько переговорено — уже не нужно было слов. Сто раз винулась Ольга перед незнакомой, чужой женщиной. В душе винулся перед женой и Владимир.

Он остановил её посреди луга, посмотрел внимательно в лицо и поцеловал в глаза:

— Я люблю тебя, Ольгиня.

— А я — тебя. Не целуй в глаза — это перед разлукой. Впрочем, что это я... Разлука для нас неизбежна.

Они прошли уже комплекс домов, привезённых сюда из разных деревень, прошли церковь Преображения и по грунтовой дороге направлялись в деревню, где жила Ольга тихой жизнью затворницы.

Вокруг тихо бушевала осень.

“Тихо бушевала” — разве могло такое быть?

Было. Тишина стояла вокруг. И осень бушевала вокруг. От обилия жёлтого цвета сентябрьский день казался солнечным. А день был пасмурный, сейчас он втягивался в шахту сумерек, ночи.

— Милая моя, нетронутая...

— Я тронутая... Ветром, солнцем... Осенью, её тихими прохладными листьями. Я тронутая озером в его тиши... Храмом Преображения. Я тронутая красотой. Выключи свет.

— Зачем? У тебя же всё равно глаза закрыты. Почему ты на меня не смотришь, скромница?

— Выключишь свет — буду смотреть. В темноте я вижу тебя лучше.

— Ты кошка. Пусть будет свет. Как мне нравишься ты. Миниатюрная. Ты как листочек, Ольгиня. Пусть будет свет.

— Пусть будут звёзды.

Он надавил кнопку настольной лампы. К ночи ветер разогнал облака, и в комнату заглянула луна.

— Говорят, когда луна — тревожно. А мне хорошо. Как мне с тобой хорошо, Господи. Как я живу без тебя? Я устала.

— Ты такая красивая. Всё хорошеешь. Пять лет назад ты не была такой красивой.

— ...Я провожу экскурсии. По шесть экскурсий в день бывает летом, представляешь? Так устаёшь, приходишь домой, выдернешь редиску с грядки, запьёшь молоком — и в постель. С Пушкиным или Есениным.

— Неплохая компания.

— Весьма и весьма. А утром опять люди, и так всё лето. И как нужен ты!

— Переезжай в Москву. Снимем квартиру, перебьёмся... Ну, всё. Тише. Тише. Луна, не мешай.

Он задёрнул занавеску на окне и вернулся к её прохладному, как листья, телу.

— ...Знаешь, очень хорошо, что ты приехал сегодня. Сейчас у меня хороший период.

— Осеннее пушкинское настроение?

— Да, и это тоже. Но я имею в виду совсем другое, милый. Давай откроем луну.

— Давай. Теперь пусть смотрит.

Луна заглянула к ним в гости своим добрым материнским лицом.

— Матушка Луна, у меня будет ребёнок.

Он встрепенулся, приподнялся на локте, посмотрел на неё настороженно.

— С чего ты взяла?

— Ты приехал тогда, когда надо. Спасибо тебе.

— Ну, что ж. Ты знаешь, я рад... хотя тревожно, конечно. Тут, с тобой, ребёнку будет хорошо. А я буду рваться ещё и к нему.

— Я давно об этом мечтаю. Это будешь тоже ты — мальчик. И тогда тебя у меня никто не отнимет.

— Я его тоже хочу.

— Да, ему будет тут хорошо. Ты даже не представляешь, как хорошо.

— Милая...

— Милый...

Пять лет назад он, командированный, приехал сюда на экскурсию. Быть рядом в городе, на материке и миновать музей под открытым небом на Острове? Да кто ж его умным назовёт? Хотя бы отметить на Острове было надо.

Он приехал один и прибил к экскурсионной группе, потому что главная церковь — Преображения — сама о себе ничего не говорила, кроме того, что была потрясающе чудесна.



Потом, в свободное время, которое отвели группе, ставшей и для него чутью своей, он сидел на берегу удивительного синего озера. Впрочем, синей была его даль, а вблизи, под ногами, оно было до камушков на дне прозрачно. Жалел, что не взял плавки, искупаться бы сейчас, хотя говорили, что озеро очень холодное. Северное озеро. Конечно, можно было и без купальных трусов обойтись, но столичный житель в этих вопросах был очень щепетилен: не дай Бог, кто увидит...

Проснулся и по тишине, по облакам, подкрашенным солнцем снизу, догадался, что уже закат, что теплоход убежал. Не было видно и фигурок туристов, гуляющих по острову тут и там. Он поспешил на причал, сверил по часам расписание — теплоход, на котором он должен был уехать в город, был последним.

На причале, выдающемся в озеро подобно вытянутой руке, обхватив колени, сидела экскурсовод — светловолосая девушка без признаков косметики на лице. Это он ещё днём отметил.

Он приблизился к ней.

— Девушка, теплоход шестичасовой был последний?

— Последний. Вы что, отстали от группы?

— Представьте. Задержался немного, и вот...

— Где здесь можно задержаться? — пожала плечами девушка. — Даже ресторана нет. Вас так восхитили церкви?

— Да, представьте, восхитили. — Он был зол на теплоход, на время, которое так подло быстро пробежало. — А вы думаете, нет? Это вы к ним привыкли, не видите ни шиша. Говорите, церковь Преображения построена без единого гвоздя, а посреди стены огромный гвоздина торчит, костьль...

— Это после ремонта, — растерянно ответила девушка, поднимаясь с досок причала и отряхивая джинсы. Не ожидала она от туриста такого напора.

— Так и не говорите тогда — без гвоздя... Где тут у вас можно переночевать?

— А нигде.

Она пошла по гулким доскам, и он со своим безвыходным положением — за ней.

— Как нигде? Такой, можно сказать, знаменитый музей, и нет гостиницы?

— Зачем она нам? Приезжают, смотрят и — назад.

Она быстро двинулась прочь от него. Сломил веточку с прибрежного куста, веточка ожила в её руке — стала прогонять комаров. Тоненькая, в джинсах и простом сером свитере, она вписывалась в картину острова своей естественностью.

— Девушка!

Она обернулась.

— Товарищ экскурсовод, я серьёзно озабочен своим положением.

— Я не товарищ.

— Быстро же вы тут перестроились.

Она усмехнулась:

— В моём лексиконе этого слова нет.

— Хорошо. Сударыня... Сударыня, не оставайтесь же мне на съедение комарам. Можно, я переночую у вас?

— У меня?! — Веточка в её руке замерла.

— Да, у вас. Ведь вы живёте не в стогу? Хотя переночевать я и в стогу могу.

Девушка как будто обрадовалась его последним словам.

— Вот-вот, в стогу и ночуйте. Вон их там сколько! — махнула рукой по направлению к лугам. — Сено пахучее, сенокос только-только закончился. Спокойной вам ночи.

Он догнал её, пошёл чуть-чуть сзади.

— Девушка... Ну, посмотрите же на меня, чёрт возьми!

Он остановился и топнул ногой по траве.

Она обернулась, и тихая улыбка тронула её губы.

— Гляжу на вас.

- Неужели я вам противен? Я красивый.
- Очень скромно.
- А ещё я не вредный.
- Почему вы должны быть мне противны? — вдруг тихо сказала девушка. — Вы мне просто никто, — она стала грызть кончик своей универсальной веточки.
- Пустите “никто” на ночь. Я вам честно скажу: проспал. Лёг вон там, у озера, и бух... Воздух тут просто снотворный.
- Она засмеялась.
- Ладно, пошли, что с вами сделаешь.

В окне крайнего дома отразился слиток заходящего солнца, словно солнце не в озеро заходило, а устроилось ночевать в этом дряхлом домишке.

Во двор этой избушки они и зашли через скрипучую покосившуюся калитку.

— Ваш дом не экспонат музея? В нём можно ходить и что-нибудь трогать?

— Не экспонат, но ходите осторожно — дом старый. Я его у одной бабульки кушила. А трогать действительно ничего не надо, я с вас ещё и за ночь возьму.

— Пожалейте меня. Я и так жертва обстоятельств: отстал от группы.

— Хороша группа. Потеряла человека, и никто не охнул.

— Группа не виновата, я к ней случайно прибил. Тут, в городе, в командировке был, как же, думаю, музей не посмотреть? Когда ещё сюда попаду?

— Не жалеете?

— Да вот же... Жалею, что проспал.

— Не жалеете. Всё, что ни делается, к лучшему.

Девушка исчезла за печкой, которая служила и перегородкой в единственной комнате-кухне, и скоро вновь появилась в строгом чёрном платье.

“Монашка”, — подумал он и спросил:

— Вы случайно не монахиня?

— Вы хотите сказать, я похожа на монашку? — мягко улыбнулась она. — Верно подметили. И дом мой — монастырь. Поневоле. А звать меня Ольга.

— Простите, действительно, давно пора познакомиться. Владимир.

Ольга накрыла на стол. Огурцы, редиска, хлеб, молоко.

— Для вас — банка консервов. Не то с голоду умрёте. А мне вечером хватает и молока.

— То-то, гляжу, вы такая бледная.

— Монашки все бледные. Ешьте. А потом у нас будет экскурсия.

— Как? А днём что было?

— Днём... Ешьте, я вам такое покажу, никакой день с этим не сравнится.

Олю позвали с улицы. В окно он увидел двух девиц с сигаретами. Высокая — бросались в глаза её ярко накрашенные губы — и низенькая, с плоским лицом. Казалось, и сигарета её была какая-то маленькая, приплюснутая. Они откровенно смотрели на него через стекло, и взгляды у них были откровенно вопрошающие: кто такой? Оля, видимо, в этом и отчитывалась. И опять у неё в руках была веточка, та же самая или другая. Она свободно, несильно гуляла по голым ногам и шее.

“Хочу быть веточкой, — вдруг подумал он. — Хочу соблазнить монашку. Сказала же: поневоле. Сказала: не пожалее, всё к лучшему. Может, и правда, к лучшему? Бог забросил меня сюда. Бог смежил мне веки на берегу сине-прозрачного озера. И никто ничего не узнает, ни жена Света, никто. Бог узнает? Но ведь это он всё подстроил, пусть он и расхлёбывает”.

— С вами хотят познакомиться мои подруги, — вернувшись в дом, сказала Ольга. — Вы поели? Пойдёмте к ним.

— Ох... — Владимир поморщился. — А не знакомиться можно? Скажите, что я устал, расстроен и ложусь спать.

— Вообще-то у нас это не принято. Гостей бывает не так уж много, жизнь не очень разнообразна. Но я попробую объяснить...

Объяснения приняты. Владимир видел через окно, как высокая недоумённо скривила ярко накрашенные губы и пожала плечами. Подруги удалились.

— Сейчас помою посуду и — топ-топ на экскурсию.

Владимир пошутил:

— Дело пахнет керосином...

— Не знаю, что вы имеете в виду, но воду для посуды я грею на керосинке.

— Неужели нет электричества? — поразился Владимир.

— И никогда не было. Деревушка тут маленькая, заброшенная, живут в основном летом, как на дачах. Вот и не считают нужным проводить. Да и как проведёшь? Вокруг озеро.

— Можно было поставить движок.

— В этом я, право, не разбираюсь.

— Мне вас искренне жаль. Живёте, как в пещерном веке.

Скрипнула калитка, простучали шаги по крыльцу, дверь распахнулась. Согнувшись под низким косяком, в комнату вошла Олина подруга, следом вторая. Высокая держала за горлышко узкую бутылку коньяка, в руке другой в эмалированной миске горкой красовалась розовая редиска размером с крупную вишню.

— Это нечестно, — с порога заявила низенькая, — мы тоже хотим пообщаться.

— Мы со своим угощением, — сказала другая, улыбаясь немного свысока.

— Проходите, девочки, проходите — Ольга принесла из-за печки табуретку для себя, подруга усадила на скамью у окна. — Знакомьтесь — это Владимир, отставший от группы турист.

— Угу, — согласился он, дожевывая огурец, — москвич.

Ольга засмеялась:

— Да, быть москвичом — большое достоинство. Даже песня такая была, девочки, слышали? “Только девочки, только мальчики, и уже — москвичи...”

— Глупая песня. Никогда не пел.

— Так я вам и поверю... Подруг моих зовут Элина, — та, что с накрашенными губами, поджала их и кивнула головой, — и Люда.

Низенькая, как школьница, подняла руку:

— Люда — это я.

Разлили коньяк, чокнулись, выпили за знакомство.

— А я вот, представьте, жалею вас, москвичей, — сказала Ольга. — Суета сует и вечная суета.

— Ну, не скажи, — скривила губки Элина, — это уж кому как. Я москвичам завидую.

— А тут покой? — спросил Владимир, не принимая во внимание реплику непрошеной гостьи и глядя только на Ольгу.

— Покой, — ответила Ольга.

— И в душе?

— И в душе.

— Вы ужасно вкусно хрустите редиской, — тоненько сказала Люда, напоминая, что Ольга с Володей не одни. — Глядя на вас, и мне есть захотелось. Давайте ещё по одной, а, девочки? — Она залпом выпила коньяк, разлитый по чашкам Владимиром. — Эх, как бы я сейчас хотела раз — и в Москве очутиться. Мечта! — Она тоже с хрустом откусила сочную редиску.

— Никогда такой вкусной не ел, — похвалил Владимир, по-прежнему глядя лишь на хозяйку дома. Взял из миски ещё одну редиску и ещё. — На каком дереве растут эти вишни?

Люда простодушно расхохоталась:

— Вишни! В земле растут эти вишни, Володечка, в земле! Ухаживать за ней не надо, бросил в землю семена — сами растут! А вы думали — как?

— А я думал, у вас здесь специальное редисочное дерево. Называется: дикая редиска для отставших туристов.

Все засмеялись.

— Дикая редиска для диких туристов, — добавила Люда. — А если честно, у нас тут, Володечка, диких туристов мало, без них мы и сами дичаем.

Элина усмехнулась.

— У вас курить не найдётся? — спросила она у Володи. — Ольга у нас такая скромница — не пьёт, не курит, может, и молится втихомолку — не знаем.

Она кивнула в угол, где на треугольной полочке стояла иконка, — по всему выдать, деревянная.

— Вы знаете, я ведь тоже не курю.

— Н-да, мужик пошёл... Мы свои не взяли, думали, вы угостите...

— Да я сейчас сгоняю, — поднялась Люда, — идти-то два шага... Вы без меня только не пейте, я мигом.

Люда юркнула в дверь, за окном мелькнула её фигура.

— Ладно, я тоже пойду, — усмехнувшись, поднялась Элина.

— Куда же вы? — спросил Владимир, глядя на Ольгу. Взгляд на Элину был, но косвенный, как бы случайный. — Не уходите, поговорим о Москве.

— Вы с Ольгой Николаевной об этом поговорите, а мне надо ещё за молоком на другой конец деревни бежать. Спокойной ночи.

Через окно Ольга и Владимир увидели, как Элина перехватила возвращающуюся Люду, как та по-детски растерянно оглянулась на их окно, как Элина властно взяла её за руку и повела за собой.

— Вы, Володя, слишком явно их не хотели, — заметила Ольга, покачивая ладонью чашку с недонитым коньяком. — Вот они и ушли.

— Незванный гость хуже татарина.

— Вы ещё более тот самый татарин.

— Ну, извините, Ольга, мне, правда, хотелось с вами побыть. Эка невидаль — коньяк, девчонки. И в Москве их вагон и маленькая тележка...

— Ну, так я же из того вагона.

— Вы — нет. Правда, правда. Я даже не знаю, чем это объяснить. Может, тем, что у вас вот это имеется, — кивнул он на иконку в углу.

Встал и подошёл к иконе.

— Она была еще при старушке-хозяйке. Этой зимой баба Поля умерла.

— Это Христос? — спросил Владимир.

На иконе было красивое лицо с правильными чертами, прямым взглядом.

— Это Иоанн Креститель, — сказала Ольга из-за его спины. — Если присмотреться, надпись увидите. Она почернела совсем. Старая иконка — восемнадцатый век.

— Знаете, мне стыдно, но я о Крестителе ничего не знаю, кроме того, что Христос у него крестился.

— Это личность поразительная. Такая же, как Христос, чудесная. Он был тоже “заветным” ребёнком. Ангелы принесли отцу его — Захарии — весть, что жена Елисавета, уже старушка, родит Предтечу. Елисавета и Мария, мать Христа, были, кстати, какими-то родственницами. Через полгода ангелы принесли весть и Марии, что она родит от Святого Духа. Так что Иоанн и Иисус одногодки, Иоанн всего на полгода старше... Вам интересно?

— Очень. Только можно, я за вами встану? Мне кажется, он на вас смотрит, а я мешаю...

Владимир отошёл за Ольгину спину. Теперь всё было правильно: лик с иконы взирал на них обоих.

— ...Были почти одногодки, проповедовали одну веру, но странно, что не дружили, даже не встречались. Может, только в детстве, о котором нам мало что известно. Нет, в детстве, несомненно, встречались, ведь Назарет был город небольшой. Потом Иисус путешествовал со своими учениками, а Иоанн в одиночестве жил в пустыне. Всех проходящих призывал он покаяться, всех крестил в реке Иордан. Даром убеждения обладал огромным — ведь все калялись и крестились. Однажды пришёл на Иордан и Христос с уче-

никами. Вот тогда только и встретились они — впервые после далёкого детства. Молодые люди были, немножко за тридцать... Вам сколько сейчас?

— Тридцать и есть.

— В таком возрасте они и встретились. Друг друга узнали сразу, может быть, посидели, вспомнили детство, родной город. Иоанн знал, кто такой Иисус, ему не надо было доказательств, что он — Богочеловек, об этом ему мать говорила. И вот Богочеловек решает креститься у обычного человека, хотя бы и зачатого по Божьей воле, но обычного. Евангелисты пишут, что Иоанн испугался. Помните? “Я не достоин сандалий твоих развязать”. Но мне кажется, Иоанн с достоинством крестил Иисуса. Я это поняла после того, как много раз смотрела на эту икону. Зимой с ней разговариваю. Советуюсь. Вы не смеётесь?

— Вы здесь живёте зимой? При свечах? Без магазина? Ольга, это невозможно!

Он как представил её в тиши — только выюга воеет, а может, и волки тоже, на улице мороз, а тут тебе ни парового отопления, ни тёплых удобств, — так захотелось схватить её сейчас же в охапку и увезти на материк, и больше никогда не возвращаться! И главное, её не пускать!

— Не пугайтесь. Зимой экскурсий очень, очень мало. Здесь работают всего двое, по месяцу. Продукты доставляют на вертолёте, как и туристов. Остальное время — отпуск, я тогда живу у мамы в маленьком северном городе. Инта — слышали о таком?

— По правде говоря, нет.

— Это город у Полярного круга. Шахтёрский маленький городок. Иногда мне вовсе не хочется уезжать. Правда, правда, не удивляйтесь. Если б не мама, может быть, и не уезжала бы вовсе.

Этот лик на иконе — Иоанн Предтеча — тоже в этом Владимира убеждал. И книги на маленьком столике — в основном томики стихов — убеждали.

“А у неё тут и правда спокойно”, — подумал он.

Более подходило слово “покойно”, но слово это почти вышло из употребления. Люди боялись этого слова, считая, что происходит оно от “покойника”. Хотя, наверное, было как раз наоборот. Поэтому он подумал: “У неё тут спокойно”.

— Ну, а грустный конец вам, конечно, известен. Два друга детства, два праведника были казнены как преступники... Ну, что, на экскурсию?

— После вашего скорбного рассказа как-то не хочется идти на культурное мероприятие... — Владимиру лень было тащиться туда, где он уже один раз был, а завтра, перед отходом теплохода, будет ещё. — И потом, ночью...

— Белой ночью... И учтите, это не мероприятие, это — жизнь!

— Была ведь экскурсия...

— Какой же вы ленивый! Я вам покажу нечто сверх программы — ахнете.

— Ну, ежели так — ведите! Да, конечно, ведите. Я сыт и теперь хочу впечатлений.

— Хлеба и зрелищ? О люди, вы не меняетесь.

— Увы...

Опять Оля исчезла за печкой-ширмой. Новое переодевание, и вот перед ним тоненькая женщина в джинсах, мягком чёрном свитере, к которому ему захотелось припасть щекой.

Белая северная ночь — как нечто осязаемое, что можно потрогать руками, предстала перед ними. Как будто край этот накрыли колпаком от всего остального мира, и под ним, под этим колпаком, создался свой микроклимат. Деревья и кусты стояли, не шевелясь, как будто они в комнате, и в них виден каждый листочек.

Один дом стоял на отшибе, не надо было идти деревней, и они сразу ступили на тропинку, петляющую по дугу, по холму, с холма — через лесок, через миллионы еловых и сосновых иголок, берёзовых и ольховых листьев, знакомых и незнакомых метёлок, травинок. Шли, как плыли. Не разговаривая. Она — с веточкой-отгонялкой, а он, прежде чем выйти на улицу, помазался антикомарином. Оля дала:

— Помажьтесь. Столичные — непривычные.

И вот показались храмы, выплыли из трав. Живые храмы с луковицами куполов. В природе нет ничего прямоугольного, как наши жилые коробки. Луковицы церквей — это придумано гениально, эта форма и сложна, и проста одновременно, как всё, созданное природой. Когда проходили мимо храма Преображения, показалось, что он тоже спит, как всё остальное, и тихо, спокойно дышит. Владимир хотел спросить Ольгу, кажется ли ей церковь спящей:

— Ольга...

— Не спрашивайте ни о чем, просто тихо идите за мной. Хорошо?

— Угу.

Они подошли к озеру. Оно лежало перед ними без малейшего движения — земное зеркало, в котором сверкающими камушками отражались светлые мелкие звёзды.

Стояли на берегу, и он ёжился то ли от ночной прохлады, то ли от обилия красоты. И хрупкая Ольга казалась такой же спокойной и вечной, как деревья, храм, озеро. И он вдруг подумал про неё: “Ольгиня”.

Так было торжественней. Потому что вокруг было торжественно. Красота вокруг была торжественная и в тоже время очень естественная.

Но и это было не самое прекрасное.

— Пойдёмте дальше.

Он опять послушно ступал за ней, очарованный всей этой красотой, о которой понятия не имел в шумной Москве.

Тёмное тело колокольни. Не хватает нескольких рёбер — зияют дыры. Ольга открыла замок, они вошли внутрь и стали подниматься.

— Лестница прогнила, — предупредила Ольга, — идите осторожно и не отставайте. Лестница узкая, жаркая (идти было жарко), она закручивалась вокруг своей оси. Она была, как позвоночный столб этого деревянного тела.

— Туристов сюда не пускают, а вас я решила побаловать. Чтобы не очень на судьбу обижались. Опоздали на теплоход, так хоть не даром...

— На судьбу я уже не обижаюсь, — сказал он. — Наоборот, я уже благодарен ей.

— Давайте руку, здесь нет ступеньки.

Она втащила его наверх, и так стало повторяться всё чаще — ступеньки больше сгнивали сверху. “Вот почему сюда не пускают”, — подумал Владимир.

Он брал протянутую Ольгину руку — узкую, прохладную — и старался прыгнуть через недостающую доску так, чтобы очутиться ближе к Оле... чтобы её коснуться. На этой узкой, прогнившей лестнице ему впервые захотелось обнять её, с ней вдвоём слиться с этой древней колокольней.

Наконец, выбрались на площадку, куда в прежние времена каждое утро поднимался звонарь.

Владимир приблизился к перилам, отделявшим деревянную ладонь от земного воздушного пространства, и замер. Он в замершем мире замер. Он был теперь на высоте птичьего полета. Он увидел, что земля, по которой они брели с Олей, — это действительно остров. Огромное ультрамариновое с налётом серебра озеро любовалось им, как своим любимым ребёнком, бережно обнимало его.

Да он ли стоит здесь, на сорокаметровой высоте?! Он ли смотрит на озеро и храмы, поставленные здесь самим Творцом, ибо по Его воле и желанию происходит всё на Земле, в том числе и храмы строятся. Как он попал сюда, закоренелый москвич, законченный урбанист, каким чудом видит он то, чего не забудет уже никогда? И почему всё это — незнакомое, чужое ещё вчера — кажется ему таким родным, кажется частью его самого?

Комары словно замерли на лету. Ветра не было, звуков не было... Ольги не было. Милая девушка спряталась за его спину, чтобы с ним одним слушалось такое. Чтобы и душа его поднялась на сорокаметровую высоту. А он помнит: когда они только-только начинали подниматься, душа осталась у подножия, и ему хотелось обнять Ольгу, хотелось быть с женщиной. Теперь же это желание казалось мелким, ненужным, он растворился в приро-

де, он обнял природу каждой своей клеточкой. Это было больше, лучше, чем обнять просто женщину — всего лишь часть природы.

Внизу — лес, дуга. Туман пробирался по дугу на короточках. Каждую травинку, каждый спасшийся от косы цветок ласкал, целовал. И он, Владимир, вместе с туманом обнимал всякий цветок.

А ведь звонарь, тот неведомый ему деревенский мужик, каждое утро поднимался сюда и звонил в колокол — исполнял гимн всему земному и неземному. Разливался колокольный звон по земле и по небу, проникал в каждую клеточку жизни — в деревья, людей, озеро. И люди молились, благодарили Творца. Этот звон всякую душу поднимал на такую вот высоту, где стоит сейчас он, и не надо было каждому карабкаться по узкой лестнице, а достаточно одному лишь звонарю — счастливейшему из смертных.

Ему, простому инженеру, технарю неверующему, открылось вдруг, что были колокола для России, что были для неё храмы.

Он был потрясён. На обратном пути даже не пытался заговаривать с Ольгой. Молчал.

А она, напротив, оживилась.

— Я приехала сюда на экскурсию вот так же, как вы. Было это после института, я уже в аспирантуру пошла. После экскурсии побродила часа два по всему острову, — она повела рукой вокруг себя, — пришла к директору и сказала: “Я никуда отсюда не уеду”. И не жалею.

— Спасибо вам, Ольгиня.

— Как странно вы меня назвали.

— Хочется чего-то возвышенного. Теперь вы для меня княгиня Ольгиня.

— Пусть будет так. А благодарить не стоит. Если вы запомните этот день, значит, не случайно отстали от группы.

“Запомните”... Он не то что запомнил — он врос в этот день, вернее, ночь, всей своей памятью. В тридцать лет открыть для себя иной мир, мир прекрасный — это не проходит бесследно.

Назавтра он уехал.

Через неделю, закончив командировочные дела, перед отъездом в Москву вернулся опять.

Стоял в группе экскурсантов человек в солнцезащитных очках, слушал девушку-экскурсовода, грыз травинку. И только когда Ольга, как и неделю назад, сказала, что храм построен без единого гвоздя, он молча указал ей на костыль в стене. Она смутилась, поправилась:

— К сожалению, в наше время без гвоздей не могут сделать даже ремонт. Взгляните. — И указала туристам на это недоразумение — на костыль.

Конечно, Ольга сразу заметила Владимира. Он здорово её смущал. Несколько раз она даже сбилась. Хотелось поскорее закончить экскурсию, а тут, как нарочно, задавали и задавали вопросы. Обычно любознательностью российские группы не отличались. Когда терпение экскурсовода кончилось, и голос стал выдавать усталость, Владимир подошёл к ней и протянул букетик ромашек. Туристы зааплодировали.

В солнечный летний вечер они плыли на уютной лодочке по озеру. И он сказал посреди водного пространства:

— Всё. Я прирос. Я, как храм, расту из острова. Я — твой.

— Ты хочешь сказать, ты остаёшься?

— Упаси Бог, у меня работа в Москве.

— Ну, так не говори, что прирос. Не говори: твой. Приросшие не уезжают. Вот как я. Мои корешки — по всему острову. Я возникаю то тут, то там.

— Я прирос душой.

— Но ведь ты женат.

— Женат. У меня дочь.

— А сюда вернулся за приключением, которое не завершилось неделю назад?

— Ольгиня, пойми. Я не буду оправдываться. Да, я женат. Но неделю назад во мне всё перевернулось. Я люблю этот остров, а на нём — тебя, маленькую, с веточкой от комаров.

Оля вздохнула. Ладонь её была опущена в воду, она глядела на свою руку, которую омывали прозрачные струи.

— Вот так ждёшь, ждёшь, а полюбит женатый, — сказала она не то с лёгкой иронией, не то со скрытым сожалением. — Не дай Бог, сама в него влюбишься.

— Влюбись в меня, Ольгиня! А найдётся свободный, не женатый — я отступлю. Буду приезжать каждый отпуск не к тебе — к храму.

— Ты собираешься приезжать сюда в отпуск?

— Каждый год. И в этот тоже. Отпуск у меня впереди. Закончу дела на работе, и жди меня на месяц.

— А вдруг ты приедешь с женой?

— Что ты! — засмеялся он. — Она боится комаров.

— Я ей веточку подарю.

— Веточек она тоже боится. Чтобы в ней тоже что-то перевернулось, надо её на колокольню поднять. Да она туда не пойдёт — ступеньки узки. — Он вздохнул: — Моя жена любит удобства.

— Что ж... Я буду ждать, если нельзя иначе. Это не могло произойти случайно. Я фаталист.

И был отпуск. И было пять отпусков. Пять лет Ольга этим жила — природой и Володиными отпусками. И ей хватало тепла. А красоты вокруг было неограниченное количество.

И была та осень и тот день — крыльцо скрипучей мельнички, луга, ночь с луной.

С этой лунной ночи пошёл отсчёт девяти месяцев Ольгиного ожидания. Вслушивание в себя, выращивания в себе зерна жизни, создание для неё благоприятного климата — свежий воздух, здоровая вода и пища, стихи и музыка, тихое общение с природой...

Все девять месяцев ребёнок был спокоен. Ольга знала это, потому что ей было хорошо. И со здоровьем хорошо, и с душой. Просто талия увеличилась в объёме. И ровно через девять месяцев из своего спокойного, замкнутого мира вышел в мир ветров, радостей и огорчений маленький человек, сын Володи и Ольги — тоже Володя. Он чмокал губами и шевелил еле заметными лысыми бровками, а Оля улыбалась, глядя на него, и боялась поцеловать, как боялась целовать в первый вечер его отца, Владимира.

— Здравствуйте, девушка. Мне нужна Ольга Белецкая. Она живёт тут? У калитки стоял незнакомый сутулый человек, плащ накинут на руку.

— Это я. Проходите, пожалуйста.

— Я на минутку, только сказать...

Она почувствовала лёд под сердцем.

— Вы... про Володю хотите сказать? Он не приедет?

— Не приедет...

Он топтался на крыльце и заходить не хотел. И на улице сказать какую-то новость ему, как видно, было неудобно.

Всё же они вошли в комнату, перегороденную печью. Он неловко, боком приблизился к колыбели, в которой спал толстощёкий мальчик. Некоторое время человек молча, без улыбки смотрел на малыша.

— Дело вот в чём. Мы с Володией с детства друзья. Однажды, года три назад, он мне про вас рассказал. Всё рассказал. Он вас Ольгиной называл. Без вас, говорил, не может... жить не может. И вы, говорил, без него тоже не можете. Это ничего, что мы встречаемся редко, — так он говорил. Я с ней, а она — со мной. Я это понял. Редко, но бывает такое... такая любовь.

— Я не понимаю, почему вы о нём в прошедшем времени говорите: говорил, любил...

— Сейчас поймёте. Не торопите меня, ладно? — Человек потёр переносицу и зачем-то провёл рукой по одеяльцу ребёнка. — Он просил меня, Владимир то есть, если с ним что-то случится... ну, вдруг что-нибудь... чтоб я приехал сюда, вас разыскал и... рассказал.



— С ним что-то случилось? — прошептала она.

— Случилось. Помните, этим летом была катастрофа самолёта?

— Н-не слышала. Я ничего не слушаю. Извините. Как-то так мне это не нужно. Понимаете? Я книжки читаю. Книжки...

Её голос стал совсем тихим. Казалось, она заплачет сейчас.

— Пятого июня. Самолёт Москва—Самарканд. Володя был там, — добавил сутулый человек, чувствуя себя жестоким.

— Вы что говорите? Я ничего не знаю... Владимир был в самолёте, который... который... — слова не давались ей.

— Да, — сказал человек.

— Но ведь бывают ошибки...

— К несчастью, это не ошибка, Ольга.

Она застыла, закрыв узкой ладонью рот, с недоверием глядя на вестника. В её глазах ещё не было горя, лишь недоумение и недоверие.

— Извините, — сказал человек, — я хочу попасть на этот теплоход. Он взглянул на часы и вышел.

— Пойдите! — крикнула она вслед и выбежала за ним.

Он быстро прошагал к калитке. Он торопился на теплоход. А может, убегал. Хотя... хотя до отхода осталось полчаса, а до пристани приличное расстояние.

— Подождите! Пожалуйста!

Человек остановился за калиткой.

— Какого числа? Когда это было... с с-самолётом?

Последнее слово она выговорила с трудом, словно вытолкнула его из себя.

— Пятого июня.

— В девять? Это было в девять часов?

— Да. Значит, вы слышали? Вспомнили?

— Нет, другое, другое... — Человек опасался, что ей станет плохо. —

Пятого июня в девять часов у меня сын родился. Это он родился, Володя. Вы на него посмотрели? Ведь это одно лицо! Ведь правда? Посмотрите ещё раз, зайдите!

Человек смотрел на неё, как на блаженную.

— Простите, — сказал он. — Я спешу.

Он повернулся и, ни слова больше не говоря, зашагал в сторону озера. Следом за ним поспешала блаженная Ольга и несла какую-то чушь:

— Вы должны знать: Володя не погиб, он вернулся! Посмотрите ещё раз, ведь это копия, это Володя... Пятого июня, в девять утра... Боже мой, Боже мой...

Теплоход на подводных крыльях на полной скорости мчался к материку, оставляя за собой десятки крошечных, поросших елями островков.

Глядя на острова, на однообразное водное пространство, дающее отдых глазам, сутулый человек думал о странных совпадениях, случающихся в жизни. Смерть отца и рождение сына — в один час, может быть, в один миг. Это что, совпадение? Или то самое чудо, которое именуется переходом души от одного к другому?.. Если она есть — душа...

Вестник думал обо всём этом, и ему вдруг захотелось вернуться на Остров лет через двадцать, когда будет ясно, какова она, душа Ольгиного младенца. Может быть, он узнает в нём, в молодом человеке, своего погибшего друга? Тогда и решится вопрос о душе.

Ольгиня баюкала сына, напевая колыбельную, которую мало кто помнил. Склонилась к уснувшему Володе, она шептала:

— Спи, мой маленький, спи. Всё по-прежнему в мире: озеро, лес, луга. Цветы на лугах выросли те же. Просто вспять повернуло Время. Спи, маленький, спи. Я теперь не жена твоя. Я — твоя мать.

ТАТЬЯНА КАНОВА



## В ИЮЛЬСКОЙ ТРАВЕ

### ЕЩЁ ЗИМА

Ещё зима с продрогшим январём,  
ещё февраль не приходил со снегом.  
И светлый март с непостижимым небом  
припрятан отрывным календарём.

Ещё тоска ледышками в глазах,  
ещё душа завьюжена печалью.  
И белой недовязанною шалью  
лежит судьба на мёрзнущих руках.

Ещё надежда стужей сведена,  
ещё пурга с пути сбивает веру.  
И робкая, наивная без меры  
моя любовь почти обречена.

Ещё зима с морозом января,  
ещё февраль не налетал метелью.  
И ясный март с отчаянной капелью  
таится в толщине календаря.

---

*КАНОВА Татьяна Алексеевна родилась в деревне Кольёль Сысольского района Коми АССР. Окончила в 1984 году с отличием физико-математический факультет КГПИ. Работает учителем математики в Межадорской малокомплектной школе. Публиковалась в журналах "Арт", "Войвыв кодзув", "Север", "Двина", "Невский альманах". Автор сборников стихов "Осиновая осень" (2002), "Немногословие души" (2008). Член Союза писателей России. Живёт в деревне Кольёль.*

\* \* \*

Расстареется май  
и меня захлестнёт половодье.  
Из далёкой страны,  
до которой дороги мне нет,  
перелётная стая  
в глухое моё заболотье  
от тебя принесёт  
на прощанье похожий привет.

Я его утаю,  
но меня растревожит рябина,  
белым цветом надежд  
освещая июньскую ночь.  
Из ушедшей поры,  
из того журавлиного клина  
не дозваться тебя,  
И никто мне не сможет помочь.  
Я в июльской траве  
растеряю последние силы  
и последние капли  
весенней надежды пролью.  
Припадая к земле,  
Я успею шепнуть, что любила.  
Поднимаясь с земли,  
не успею сказать, что люблю.

В жаркий август совсем  
обмелеют уставшие речки,  
и нальются рябины  
попынью на Яблочный спас.  
На опушке осинки  
зажгут поминальные свечки,  
на осеннем ветру  
называя по имени нас.

\* \* \*

*В. И. Трошевой*

Так легко мне было и просторно:  
никаких не чувствуя преград,  
слово обволакивало, словно  
безмятежно-тёплый снегопад.

Всё ушло. Под снежной пеленою  
улеглись печали и грехи.  
Небо распростёрло надо мною  
новой шалью старые стихи.

Всё ушло. Затейливой снежинкой  
на ладони времени печать.  
Я читала нынче без запинки  
то, что было трудно написать.

А весна в окно ломилась солнцем.  
В многолюдном зале, на краю  
я одна и знала: не вернётся  
всё, о чём так просто говорю.

\* \* \*

Давай я научу тебя смотреть на звёзды,  
на блеск застывших грёз на траурном шелку!  
Давай поверим в то, что мир затем и создан,  
чтоб нам побольше звёзд досталось на веку!

Давай всему, что есть, как в детстве, удивляться,  
насмешек не боясь, наивность не кляня!  
Давай я научу, судьбу свою браня,  
раздольно и легко, и искренно смеяться!

## УГОЛЁК

В новогоднюю ночь не еловую ветку украшу —  
жемчуга и алмазы не трону в морозном лесу.  
Снежным холодом слов не засыплю привязанность нашу —  
в новогоднюю ночь я живой уголёк принесу.

За окошком метель завелась и поёт заунывно.  
В одиноком доме на излёте декабрьского дня  
в темноте у печи я сижу и гляжу неотрывно,  
как, скатившись к ногам, догорает кусочек огня.

И отгадет душа, а, казалось, навеки застыла.  
Подарю уголёк — пожелаю побольше тепла.  
Засмеются вокруг: эго, странная, что отчудила!  
Ты возьми уголёк — я на счастье его принесла.

Новогодняя ночь суетой да не выстудит сердца.  
Ты возьми уголёк — я тебе пожелала добра.  
Это странно и впрямь, только хочется мне отогреться,  
если нет своего, то хотя б у чужого костра.

В новогоднюю ночь да не молвлено будет про скупость.  
Не с хрустальным горшком — с угольком, что  
похож на зарю,  
постучусь я к тебе. Пусть другими сочтётся за глупость.  
Ты, быть может, поймёшь.  
Я тебе уголёк подарю.

АНАТОЛИЙ ЦЫГАНОВ



ТАНЬКА

РАССКАЗ

В детстве я часто болел, поэтому друзей среди сверстников у меня не было. Когда голопузые сорванцы играли в лапту, которую у нас называли по-своему — “бить-бежать”, — я лежал с очередным воспалением лёгких. Потом с трудом выздоравливал, и гоняться за подзагоревшими на весеннем солнце пацанами уже не мог. Даже незначительные нагрузки вызывали сильнейшее сердцебиение и одышку. Чаще всего я уходил в ближайший лес и, представляя себя знаменитым охотником, гикал и аукал в кустах ивыняка, в изобилии росшего по берегам мелководной речушки, носящей громкое название Барлак.

Из леса таскал домой разные коряги, которые в моём представлении казались охотничьими трофеями, добытыми в неравной схватке с дикими зверями. Корягами я постоянно захламлял ограду, за что мне не раз попадало от родителей. Однажды, сгибаясь под тяжестью очередной добычи, я увидел, как в соседний дом въезжали новые жильцы. Я остановился и с любопытством стал наблюдать за необычным процессом. Необычным было то, что из кузова машины выносили непривычные для сельской местности вещи. Это были и огромные напольные часы, и громадный радиоприёмник, и большой коричневый комод. Для нас, деревенских жителей, пределом мечтаний были часы-ходики с двумя гирьками да круглая тарелка динамика, работающая от общей сети подключения местного радиоузла.

---

*ЦЫГАНОВ Анатолий Фёдорович родился в 1949 году в селе Сосновка Новосибирской области. После окончания Новосибирского геологоразведочного техникума в 1970 году направлен работать в республику Коми, г. Воркуту. Работал в полевых партиях. Прошёл путь от техника до начальника партии. Окончил заочно Ухтинский государственный технический университет по специальности «геофизика». С 1988 года живёт в г. Ухта. В настоящее время работает ведущим геофизиком ОАО «Севергеофизика».*

Я стоял, разинув рот и позабыв о своей ноше, как вдруг в окно кто-то постучал. Через стекло на меня смотрела девчонка с двумя рыжими косичками, торчащими одна — вверх, а другая — в сторону. Она призывно махнула мне маленькой ручкой и в мгновение ока исчезла.

Я положил корягу и с опаской взшёл на крыльцо. Робко переступив порог, я оказался в обставленной по-городскому квартире. Большой кожаный диван занимал немалую часть комнаты. В углу стоял знакомый комод и часы, которые только что внесли и ещё не установили на место. Три книжных шкафа были до отказа заполнены книгами. А самое интересное было то, что посреди комнаты стояло кресло-качалка. В кресле сидела та самая девчонка, которая махала мне из окна. Ноги её были укутаны тёплым одеялом. Меня это очень удивило — на дворе июль, а она так тепло укутана.

— Тебя как зовут? — приветливо спросила обладательница непокорных косичек.

— Толька. А ты — Танька. Вы недавно приехали. Я видел, как ваши вещи сгружали. Твой отец у нас на радиоузле работать будет. Мама говорит, тебе лечиться надо. Ты что — больная?

— Да, мы в городе жили. У меня вот, ёлки-зелёные, ноги болят. Врачи говорят — свежий воздух нужен. Природа всё может вылечить. Нам и пришлось переехать. А ты что тащишь?

— Это я лося подстрелил, — гордо ответил за меня знаменитый охотник.

— Здорово, ёлки-зелёные. Я, когда поправлюсь, тоже буду на охоту ходить. Я лук и стрелы умею делать, как в племени делаваров.

Тогда я ещё не знал, кто такие делавары, и мне это слово поначалу не понравилось. Мы ещё поговорили о разных делах, и я понял, что нашёл родственную душу.

Прошло два месяца. Танька поправилась. Она стремительно порхала по двору, сметая всё вокруг. Она как будто хотела наверстать упущенное и в своём стремлении заражала энергией окружающих. Подруг она не признавала. Куклами и тряпками она не интересовалась, а мальчишки её сторонились, настороженно воспринимая Танькины попытки к сближению. Поэтому во всех наших играх присутствовали только вымышленные друзья. Но какие это были люди! Мы плыли вокруг света с каравеллами Магеллана. Стремилась на Север с Георгием Седовым, искали Землю Санникова. Что только мы ни предпринимали, стараясь быть похожими на героев прочитанных книг, которыми были забиты книжные шкафы дяди Паши — отца Таньки, в прошлом радиста полярной метеостанции.

Мы особо никого не пускали в наш придуманный мир, лишь однажды, когда мы играли в аборигенов Австралии, к нам прилип соседский мальчишка — Петька.

Петька был на год младше меня и вечно шмыгал сопливым носом. Его отовсюду гнали, и он уговорил нас взять его с собой в Австралию. Чтобы испытать нового члена экспедиции, мы решили проверить его на выдержку. Я как раз изготовил бумеранг аборигенов, и Танька задумала испытать его на Петьке. По замыслу Таньки я должен был пустить бумеранг в Петьку, бумеранг должен был лететь прямо на него, затем обогнуть его по дуге и вернуться ко мне в руки.

При этом мы убивали двух зайцев: испытывали Петькину выдержку и определяли лётные качества бумеранга. Мы поставили Петьку на открытой лужайке, я хорошенько размахнулся и запустил бумеранг. Бумеранг, пролетев расстояние до Петьки, почему-то не захотел огибать препятствие, и ударил жертву прямо в лоб. На лбу вскочила огромная шишка, и Петька побежал жаловаться родителям. Нам здорово влетело, а Танька сказала, что Петька хлопик и не годится для наших будущих экспедиций. Я с ней согласился, так как рядом со Шмидтом, Крузенштерном и Колумбом Петька явно проигрывал. И большинством голосов мы исключили его из нашего коллектива.

В лесу мы построили хижину из подручного материала. Крышу слепили из старых кусков железа и на стену повесили на цепях тяжёлую корягу, вытасненную из реки, которую считали настоящим бивнем мамонта, так как попытки резать её ножом не привели ни к какому результату. Рядом я пове-

сил выструганный из деревяшки охотничий нож, который Танька выкрасила акварельной краской. Получилось очень даже здорово. Особенно нам нравились сидеть в хижине, когда надвигался дождь и барабанил по листам железа, а нам внутри было сухо и уютно. Если дождь заставлял нас вдали от хижины, мы мчались домой к Таньке, где всегда никого не было. Мать и отец целыми днями пропадали на радиостанции, что-то там отлаживая и ремонтируя. Мы вытирались насухо широким махровым полотенцем. Я таких никогда не видел. У нас, деревенских, в ходу были льняные и вафельные. Забирались под одеяло и начинали строить планы будущих экспедиций. Поначалу я стеснялся Таньки. Но она, будучи на два года старше, строго сказала, что если мы решили быть всегда вместе, то надо привыкать друг к другу. Особенно если мы будем двигаться к Северному полюсу, здесь уж не до стеснений. Закон выживания гласит, что вместе всегда теплее, а тепло — это главное в Арктических льдах, и тут уж выбирать не приходится.

Я придвигался ближе к Танькиному плечу и смотрел, как бьётся жилка у неё на тонкой шее. Сердце моё замирало от ощущения надёжности и покоя, и я засыпал под голос будущей спутницы в великих путешествиях. Танька обижалась и преобольно пихала меня в бок. Я просыпался и снова слушал её убаюкивающий голос и соглашался со всеми её придумками.

Особенно нас взволновала судьба экспедиции Русанова. Больше всего поразило то, что экспедиция пропала и никого так и не нашли. Мы представляли, как измученные люди пробиваются сквозь льды, как находят Землю Санникова. Там они остались и ждут помощи. Видели же Землю Санникова многие полярники, значит, она существует. Надо идти на поиски пропавшей экспедиции. Мы твёрдо встали на этот нелёгкий путь и поклялись, что выполним нашу задачу. В конце концов, не так уж много времени прошло после пропажи Русанова и его людей — каких-то сорок-пятьдесят лет. Конечно, он уже не молод, но он должен быть жив. Наша задача — найти Землю Санникова. А там мы встретим самого Русанова.

К тому времени, как мы утвердились в своей идее, наступила зима, и мы принялись за подготовку к длительной экспедиции на Север. Для выполнения этой задачи нам было нужно надёжное оборудование. И в первую очередь — собачья упряжка и нарты. Как выглядят нарты, мы уже имели представление, почерпнутое из рисунков и фотографий. Соорудить нечто подобное из беговых лыж было делом простым. Конечно, пришлось пожертвовать парой охотничьих лыж из личных вещей дяди Паши, но он нас должен был простить. У нас же была героическая задумка — спасти людей!

Собрав соседских дворняг, мы связали их в общую упряжь, привязали к нартам и попытались сдвинуться с места. Собаки рванули в разные стороны и, запутавшись в постромках, подняли отчаянный визг. Еле распутав животных, мы глубоко задумались. Нужен был какой-то толчок, чтобы собаки потянули нарты. Танька быстро нашла выход. Она сказала, что если взять кошку и пустить её впереди своры, то собаки дружно потянут нарты, а там только успевай ими управлять. Как управлять нартами, мы понятия не имели. На следующий день я снова связал пойманных дворняг, сел в нарты и стал ждать Таньку. Танька гордо вышла из дома, пальто топорщилось, выдавая спрятанную за пазухой ношу.

Она отошла на двадцать шагов и крикнула, подражая крику филина. Это означало готовность номер один. Я вцепился в нарты, Танька бросила кошку на снег... Всё что я запомнил — это дружный вопль собак, белый вихрь снега и внезапно выросший перед глазами телеграфный столб.

Очнулся я на кожаном диване в Танькиной квартире. Надо мной хлопотала её мама, а сама Танька взахлёб редела в углу. Рядом с ней валялся широкий отцовский ремень. Всё было понятно без слов. Шрам над виском до сих пор напоминает мне ту неудавшуюся спасательную экспедицию!

С нас взяли страшную клятву, что мы больше не будем брать чужие вещи — имелись в виду дяди Пашины лыжи — и прекратим мучить животных. Клятву мы охотно дали, потому что лыжи всё равно были сломаны, а животных мы не мучили — это были издержки подготовки к сложному переходу по льдам Арктики.

После краха первой попытки спасательной экспедиции мы задумались о замене собак чем-то более надёжным. Конечно, в стране были и самолёты, и пароходы, и даже дирижабли. Но нам они были не по карману. Мы решили, что пройти к Земле Санникова надёжнее всего на лыжах. Танька твёрдо заявила, что на лыжах пойду я, а она разобьёт базовый лагерь, и будет поддерживать со мной связь по радию. Танька тоже очень хотела пойти со мной, но она знала, что не дойдёт, — у неё больные ноги. С моим здоровьем тоже не всё было в порядке. Я был хилый и болезненный. С первой проблемой справились быстро — Танька отыскала две половинки кирпича и заставляла меня постоянно поднимать их над собой. Вторую проблему решили путём закаливания. Закаливаться надо было постепенно, но нас поджимало время, и Танька быстро нашла выход. Надо было начать обливаться ледяной водой, а потом перейти на купание в проруби.

Набрав два ведра воды, мы выставили их на мороз, дождались, когда вода покроется ледком, я разделся до плавок, и Танька бухнула на меня оба ведра. Я чуть-чуть попрыгал на улице, чтобы закрепить полученный эффект и растёрся полотенцем. К вечеру у меня поднялась температура, и я надолго слёг с двухсторонним воспалением лёгких. Когда выздоровел, общее собрание двух наших семей постановило, что дальнейшее продолжение нашей дружбы чревато очень серьёзными последствиями. Нам запретили встречаться, и постепенно все успокоились.

Мы тоже сделали вид, что больше друг друга не интересуем. Но когда родители уходили на работу, я по-прежнему убегал к Таньке, и мы читали книжки и строили далеко идущие планы.

Потом дяде Паше предложили хорошую должность в городе, и они уехали. Я сильно тосковал по своей подружке, но постепенно новые увлечения вытеснили детские воспоминания, и я стал забывать две непокорные рыжие косички и вздёрнутый Танькин носик.

Окончив школу, я, как и большинство моих сверстников, подавшись уговорам совхозного руководства, поступил в сельскохозяйственный институт. Отучившись два курса, я затосковал. Это было не для меня. Я не понимал, зачем мне состояние агротехники и экономические показатели сельскохозяйственных районов. С этим чувством я и приехал домой на очередные каникулы.

По-прежнему пропал в лесу и, задумавшись, подолгу сидел на берегу Барлака. Однажды, возвращаясь домой, я увидел во дворе знакомые рыжие косички. Танька нисколько не изменилась. Она стала более женственна, но всё так же стремительна была её походка, и всё так же она мчалась, создавая вокруг вихревые потоки и сметая всё на своём пути.

— Толька, ёлки-зелёные! Что я узнала! Ты в сельхозинституте! Ты что — забыл, о чём мы мечтали? Ты совсем офонарел! Ты же прокиснешь на своих пестиках вместе с дурацкими тычинками! Мы же с тобой мечтали о Севере, об Арктике, о путешествиях. Ты — предатель, Толька!

Танька, наконец, успокоилась:

— Ты знаешь, я сейчас работаю геофизиком. Это так интересно. Вот где простор для исследователя.

— А как же твои ноги? — перебил я поток упрёков.

— Чудак! Какие ноги? Сейчас современная техника, вертолёты, вездеходы. А какая аппаратура! Ты себе представить не можешь, на какой аппаратуре мы работаем! Эх ты. Прокисшая твоя душа!

Танька ещё долго ругала меня, вспоминая наши похождения. На следующий день она уехала. Я даже не узнал её адреса. В вихре воспоминаний это казалось такой мелочью.

Через два дня я вернулся в институт, забрал документы и пошёл поступать в геологоразведочный техникум. Моя мать долго плакала и ругала Таньку. Но я твёрдо заявил, что Танька здесь ни при чём, и как дальше мне жить — это уже мои проблемы. Мать согласилась и успокоилась.

Окончив техникум, я уехал на Север. Искал ли я Таньку? Наверное, нет. Постепенно я забыл рыжие косички моей подружки. Быт затянул своей монотонностью. Лишь иногда накатывала непонятная тоска по родным местам и далёкому детству.



И вдруг судьба снова столкнула нас неожиданным образом. Однажды я оказался, не помню уже по каким делам, в геологическом управлении родного города. Шагая по коридору, я увидел до боли знакомую стремительную походку и непокорные рыжие волосы. Это была всё та же Танька. Я тихонько подошёл к ней сзади и прошептал наш полузабытый пароль. Танька вздрогнула и резко всем телом повернулась ко мне.

— Ты-ы? Ёлки-зелёные! Как ты здесь? Что ты здесь делаешь? Почему ты здесь?

Поток вопросов в одно мгновение выплеснулся на мою голову. Я рассказал ей всё. Мы забыли, зачем мы здесь, что происходит вокруг. Она работает в институте, закончила аспирантуру и теперь пишет диссертацию по гравиразведке. Завтра улетает на Полярный Урал и вернётся только осенью. Наша встреча была счастливым стечением обстоятельств. Ещё несколько минут — и она бы ушла. Её задержала машинистка, у которой забарахлила пишущая машинка. Это было здорово! Мы говорили и не могли наговориться, вспоминали и рассказывали друг другу о своей жизни. Мы договорились встретиться, когда она вернётся и у неё появится много свободного времени.

...Танька погибла глубокой осенью, возвращаясь с отрядом топографов. Вертолёт уже летел на базу, но попал во встречный воздушный поток. Машину начало крутить и вынесло на скалы. Пилоты уже не могли ничего сделать. Поисковая группа нашла только обгоревшие обломки вертолёта. Тел так и не обнаружили...

Над моей кроватью висит на цепях настоящий бивень мамонта, вид у него невзрачный. Он скорее похож на кусок коряги из моего детства. Рядом висит охотничий нож, с которым я исколесил полтундры. Мои домашние постоянно раздражаются от вида этих “украшений”. Много раз они пытались снять портящие общий вид вещи, но я упорно вывешиваю их на свои места. А над моим рабочим столом висит большая карта, где еле заметной точкой обозначено место гибели Таньки.

Я подолгу всматриваюсь в эту точку, и мне кажется, что Танька жива, ведь тела её так и не нашли, как и тела Русанова. Может, она ушла на поиски Земли Санникова и сейчас ждёт моей помощи.

БОРИС ТАРБАЕВ



## КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ

РАССКАЗ

На второй день пути он вышел к холму с лысой вершиной. Холм торчал на плоской таёжной равнине, как одинокий пенёк посреди выкорчеванной поляны, и был бы виден путнику издали, кабы не лесная чащоба. Холм имел удивительно правильные формы — ни дать ни взять небольшой вулканический конус. А откуда он взялся, как возник на ровной, как стол, местности, почему облысел — ломай голову, догадывайся.

Стояла влажная таёжная жара, взбираясь по склону, путник запыхался и изрядно вспотел. Достигнув вершины, он с облегчением вздохнул, сбросил на землю тяжёлый рюкзак, швырнул под ноги увесистый геологический молоток и, крикнув, опустился на поваленную лесину. Двустольное ружьё он бережно положил на колени.

На все четыре стороны открывались таёжные дали, бескрайняя густо-зелёная равнина, приобретающая у горизонта зеленоватую синеву, близкую по цвету нависшему над тайгой северному небу. Над вершиной, отгоняя докучливых комаров, гулял прохладный ветерок, глаз, уставший от лесной стеснённости, где дальше своего носа ничего не видишь, отдыхал, созерцая простор. Мир и тишина. Но с запада на равнину надвигалась грозовая туча, лохматая, чёрная, тянущая за собой дождевой шлейф, похожий на хорошо расчёсанную бороду. В недрах её, высвечивая клубящиеся детали, бушевало багровое пламя.

---

*ТАРБАЕВ Борис Игнатьевич родился в 1929 году в Саратове. Детские и юношеские годы прошли в сталинградской и саратовской глубинке. Окончил геологический факультет Саратовского университета. Работал в Воркуте начальником геологической партии, заведовал лабораторией математической интерпретации геологической информации. Кандидат наук. Член Союза писателей с 1979 года. Живёт в Сыктывкаре.*

“Накроет или пронесёт мимо?” — подумал путник без особой тревоги, но и без воодушевления.

Дождь — это не страшно, от дождя можно укрыться, но сырая листва и трава как пить дать промочат до костей, почище любого ливня. Мокнуть же путнику решительно не хотелось. Наползающая туча, приобретаая формы сказочных чудовищ, уже поглотила солнце. Ослепительно белый изгибающийся шнур пронзил её мрачные недра и упёрся концом в земную твердь. С пушечной мощью ударил гром, грохот, сотрясая и комкая воздух, покати́лся над тайгой.

“Чёрт побери, — мысленно выругался путник, — место высокое — может и в меня шваркнуть”.

Впрочем, спускаться к подножию холма он не спешил: успел подметить, что высотные ветры влекли грозу на север, и шансы, что дождь прольётся в стороне, были велики. К тому же он заметил на стволе лесины, лежавшей поперёк лысой вершины холма, пятна обугливания: верная примета, что в неё однажды уже угодила молния...

— Два раза в одно место молния не бьёт, — произнёс он вслух и провёл рукой по щеке от седины щетине, покрывающей щёки.

Задумавшись на мгновение, он вздрогнул, мысли его как бы приобрели движение вспять, воскрешая в памяти события, последовательно уходящие в прошлое. Память отбросила его на многие годы назад, во времена, которым положено было уже забыться, но которые, тем не менее, упорно о себе напоминали.

— Два раза в одно место, — повторил он и, опустив голову, задумался.

Казалось, что давние события произошли недавно, едва ли не вчера. Вот он сидит в мягком кресле большого самолёта, его место у иллюминатора — круглого оконца, через которое видно широкое крыло, из-за него не разглядеть земли. Зато можно вдоволь любоваться радужными дисками вращающихся винтов и созерцать клочок пустого безоблачного пространства впереди по курсу самолёта. В боковом кармане его пиджака — диплом, в его твёрдые корки — прижимая к туловищу руку, он чувствует их локтем — вложена свернутая вчетверо бумага, направление на работу в одну из геологических экспедиций. Он ёрзает в кресле: ему не терпится поскорее прибыть на место, он даже готов маленько подтолкнуть самолёт, который, как ему кажется, не движется, а висит на месте. Стрелки часов двигаются, и вот впереди обозначается нечто, похожее на грядку облаков. Он с радостью откидывается на спинку кресла, догадываясь, что видит снежные вершины далёкого горного хребта.

И вот он на земле, его по очереди принимают разные геологические чины и, наконец, последняя инстанция — начальник партии, в которой ему предстоит начать карьеру полевого геолога. Начальник лыс, с отвисшей нижней губой и изрядным брюшком. На толстом носу его — две пары окуляров, эдакая система для улучшения зрения и защиты от солнца. Пузо просторное, а бегать мужик горазд. В гору — рысью, только камни из-под сапог летят. Мало жил, а жаль: хороший был человек, может быть, самый лучший из тех, с кем сводила судьба.

Город. А вот город как раз не запомнился. Зелень садов и тысячи тополей — вот и всё. По ночам каждый тополь острой верхушкой целится в свою звезду. Из города в горы — дорога: пыль, щебень, крутизна. Начальник с шофёром — в кабине, он в кузове, верхом на мешке — картошкой. Грузовик знавал лучшие времена. Старина “газик”... Он рычал, ныл, визжал, задышался, но они добрались-таки на нём, въехали в ущелье. Человек здесь — букашка-тараканка. Впрочем, ущелье как ущелье: по дну река гальку тащит, повыше, на террасе, — палатки все, как есть, белые от солнца: солнце в горах не шутит. Дороге конец — мотору отдых. И тогда... Да, тогда из крайней палатки выходит девушка.

Сидящий на лесине путник жжал шею приклада, а через загар на его лице проступил румянец. Молния ударила в него. С того самого голубого чистого неба, что висело над ущельем и где и не пахло облаками. Ударила и попала в самую точку. Красота. Она ведь бывает ослепительной, такой, что

глянешь — и ты уже не человек, а соляной столб. И не найти слова, потому что их просто нет, чтобы передать влажный блеск таких карих глаз, прелесть таких ресниц... Они же опускаются и поднимаются подобно крыльям бабочки... И какими словами описать этот гордый носик, как бы выгоченный сказочным мастером тончайшим резцом, эти пухлые губы, слепленные ваятелем в момент высшего вдохновения, эти чуточку запавшие матовые щёки...

Она подбежала к машине. В её широко раскрытых глазах плясали весёлые, любопытные чертёныга.

— Новенький!

А в его бедной ошеломлённой голове растерянный и поглупевший вдруг внутренний голос пробормотал... Бывает же так, взял и пробубнил: “Зачем она стриётся под мальчишку? Ей было бы лучше с локонами”.

А что потом? А потом ему что-то не спалось. Первая бессонница за всю его жизнь. Думалось ему, мечталось. Луна светила на полную катушку — все заплатки на брезентовой крыше можно было пересчитать. Сон сбежал в соседний еловый лес на склоне горы. Наш герой поворочался с боку на бок и потопал вслед за ним.

У, какая луница висела над ущельем! Форменный шар. Вершины гор — как серебряные, а на земле — хоть песчинки считай. В лесу под еловыми лапами — они, как ладони, одна над другой — прожектором не просветить, такая стоит темнотища, хоть глаз коли. Внизу река гудит, наверху филин гукает. Брёл наощупь, вытянув вперёд руки, пока не споткнулся о какую-то булыгу. Тогда и сел. Сел и стал фантазировать. Такие себе картины нарисовал в воображении — сказка! Бывает же такое: человек смотрит в темноту, а впереди как бы светло, и всё можно различить. Вот сидит кто-то с неясным лицом, то ли на пне, то ли на камне, сидит и лепит. Берёт лежащий у ног какой-то материал, пробует пальцами, морщится, качает головой: не годится. Берёт следующий — и опять морщится. Но вот нашёл мягкое, светящееся; кивает головой: хорошо, очень хорошо. Не спеша работает, с удовольствием лепит и радуется, склоняет голову набок, откидывается назад, любит сделанным. А лепит он женщину. Точно. Уже готовы стройные ноги. А вот уже и туловище. Оно матовое, обтекаемое, струящееся, от его вида сладко тает сердце. Осталось только увенчать создание головой, но ваятель бдит, заметил чужое присутствие и властно поднимает ладонь, ему нельзя не подчиниться, не закрыть глаза. Но догадаться, какая голова украсит вылепленную фигуру, уже нетрудно. Ваятель ликует, поднимает вверх большой палец: задуманное получилось.

Сколько он тогда проспал в тёмном еловом лесу — неведомо: может быть, мгновение, а может, половину ночи. Кого он видел во сне? Может быть, самого Господа Бога. Пришло время — открыл глаза: река гудит, филин гукает, вот только луна передвинулась по небу и зацепилась за одну из вершин. По ущелью тянет холодом; встал он и побрёл к палатке.

У неё была странная фамилия, совсем не нашёнка — Кара. То ли от татар, то ли от итальянцев. Если от татар, то это значит Чёрная. В каком-то колене они могли затесаться. Но если “чёрная” в буквальном смысле, то ей положено было быть жгучей брюнеткой, но она же была шатенкой. Если примешалась какая-нибудь итальяночка — *cara mia!* — то это как бы в масть. Затесалась и создала породу, и пошли от неё другие *car'ы mia*. *Cara mia*, *Cara mia*... Фамилия Кара прилипла — *mia* забылась, по пути потерялась. Так бывает: была фамилия и вдруг отпала, как высохший лист.

Сохли по ней наши джигиты? Если слово такое к нашему брату-мужчине подходит, то ещё как! И молодые, и те, кто постарше. Сохли и крепились, страдали молча, потому что наш брат — персона гордая, особенно те, кто по горам да по долам шалаңдаёт. Эти норовят подбородок выше головы задрать. Страдали, но чтобы навязываться, слабость показывать — упаси Боже. Правда, был такой Федичка неотразимый, собой, как говаривал женский пол, совсем ничего; и ростом вышел, и в плечах хорош, говорлив, мастер на гитаре брэнчать, песенки походные про тропы таёжные спевать умелец. Но сколько ни терзал он свою гитару, сколько ни драл горло, сколько ни щурил томные глазки — усёк: пустые хлопоты.

Случай, однако, есть случай. Было дело. Посадил начальник на гору маршутную пару: геолога Епифанова и Кару помощницей. Сам раза три туда взбирался, но что-то недосмотрел, оставил на вершине сомнения. Сомнения же порой гложут, спать не дают. Епифанов, которого за глаза ребята звали Епифан, был хоть и не старый, но шибко въедливый: сто человек пройдут и не заметят, а он узрит. Глаз — ватерпас. Так вот, начальник Епифана послал на дело, а Кару — подальше от дыхателей, чтобы малость от сердечных болей отдохнули. Потопали они вдвоём. Склон крут — не шли, карабкались, носами щёбёнку пахали. Епифан к тому же коптил свой нос и усы из трубки табачищем, она, как и положено, щёбетала. Она спросит — Епифан кивнет: как себе позволишь не соглашаться! Прошли зону хвойного леса. Хороши тьянь-шаньские ели, где до них здешним худосочным, недокормленным, с грубой корой, зелёным до черноты, на ветках мох — ведьмам на вуаль годится. Там что ни дерево — корабельная мачта, у комля двоим не обхватить. Хвоя — зелень с голубизной, небом дарованной. Выше — альпийские дуга, а за дугами — голый камень. Достигли верхней точки. Горы, они так устроены: с одной стороны — склон, а с другой — обрыв, пропасть, будто часть горы кто-то, у кого зубы с десятиэтажный дом и крепче всякой стали, сгрыз и проглотил. Есть профессора: спроси, объяснят. Естественные процессы, мол, вода, ветер, время и не такое могут устроить — нет ничего проще. Голова к премудростям привыкает, но уж если быть честным до конца, не укладывается кое-что на предназначенную полочку, если признаться самому себе без свидетелей, можно шепнуть: а чёрт там разберёт, как возникают эти горные цирки. Если сверху взглянуть — с самолёта, с вертолётки ли, — увидишь этакий полумесяц, половинку кратера. Стены вертикальные до самого плоского днища. На дне случается озерцо. Карами они зываются. *Sara mia* и кар — интересное сочетание!..

Когда прёшь в гору, льёт с тебя семь потов, есть ли у тебя в мыслях, что там, на верхотуре, тебя ожидает? Подбираешься к кромке, пыхтишь, и вдруг ух — под ногами бездна, до днища кара — верста! Ей-Богу, это не для тех, кто левую руку иногда путает с правой, у кого на обрывах в голове круговерть начинается и дурацкий соблазн. Кое-кого до дурости тянет сигануть в бездну башкой вниз. Таких нужно заранее верёвкой привязывать. Пропасть открывается сразу, не зевай, парень, лишний шаг и — поминай как звали.

Епифан на слова скупой. Он каждый раз счёт им вёл: скажет слово — в уме отложит единичку. Но вот взял и разговорился. Шли они, значит, шли, он и *Sara mia*, достигли кромки обрыва: глубина, высота поднебесная, а у нашей Кары сердечко трепетное. Что ей пропасть, что ей высота — птичкой себя ощутила. Носила она бусы, красные такие, коралловые, любила их и каждый раз, не снимая с шеи, целовала на ночь перед сном. Одним словом, что-то вроде талисмана, чей-то подарок, очень ценный. И вот сорвала она их с шейки, стала ими размахивать на краю пропасти, а они возьми и выскочи из руки. В пропасть. Она поначалу остолбенела. Потом заплакала. Легла на живот и стала смотреть вниз. Случай бывают всякие — это уж точно. Иные — нарочно не придумаешь. И тут случилось так, что бусы не улетели на дно, а зацепились за выступ скалы. Епифан сказал: сорок метров не пролетели и упали на площадку. Одна ступня на ней уместится, а вторую уже не поставишь. Лежат себе бусики на этой площадке алые, приметные. Девчонка рюкзак с плеч и к пропасти: спускаться. Ума решилаась *Кара mia*: спуститься по отвесной скале. Епифан силу применил, удержал.

Ну, бусы и бусы: упали, пропали. Бусы дело наживное, но, видно не тот случай — со стороны не понять. Спустились с горы *Sara mia* и Епифан, на ней лица нет, слово не может выговорить, губки трясутся. Забилась в палатку и притихла. В лагере всем как-то неловко, траур не траур, а подавленность какая-то, как у виноватых. Вот тут и появился этот малый под вечер. Как с неба свалился. Когда человек спускается со склона, он ногами щёбёнку ворошит, слышно, как она осыпается, этот же, что твоё привидение, бесшумно по ней шастал. Запомнился на всю жизнь: высокий такой, не то, чтобы худой, а какой-то узкий, лёгкий, как волейболист, лицо тонкое

с чёрной щетиной на щеках, а волосы — выгоревшие, солома соломой, лентой перехвачены. Ладный парень, нос с горбинкой, а глаза в серую крапинку — форменный ястребиный цвет. Одет по-походному: клетчатая рубашка вылиняла, в соляных выпотах, брючата крепко потёртые, из палаточного брезента сшитые, почти в обтяжку, обувь, однако, классная, таких наши раньше не видывали: из-за бугра привезли, подкинули по блату. Туфли горные, полосатые, красно-белые, из мягкой кожи, подошва жёлтая из пластмассы, которая к камню липнет. Хорошая обувка, хоть и ободранная до нельзя. Возник он перед нами, грустящими, улыбнулся, кивнул, мол, всем привет и присел у костра. Понятное дело, были вопросы: откуда, как? Он кивнул на горы, показал пальцем на ноги: с гор, мол, на своих двоих. Рюкзачишко тощий бросил на землю, разулся и ноги босые протянул к костру. Вот тут-то и вышла из палатки наша *belle* (французы так своих красоток называют): вид потухший, глаза ввалились, будто только что с больничной койки встала, походка тяжёлая, а ведь всегда ходила танцую. Рука с пустой кружкой вперёд вытянута, как у слепой. За чаем к костру направилась и с этим незванным гостем встретилась глазами. Рука у неё дрогнула, чай расплескался, на бледных щёчках выступил румянец. Она подтянулась, стала выше, будто на каблучки поднялась. Руку свободно приложила к подбородку, как бы прикрывая. Смущение, смущение. Такое скрыть невозможно — все заметили. Пришелец прищурился: знал, что сказать, как подъехать.

— Зубки болят. Могу помочь — есть таблетка.

Умел он бросить приманку так, чтобы рыбка сразу села на крючок. Села и не сорвалась. *Cara mia*, как на исповеди, ему всё выложила. Всё. Были там и загадочные слова, понимай, как хочешь:

— На этих бусах слёзы моей матери...

Когда плакала? Почему? Не наше собачье дело всё знать до конца. Есть предел любопытству.

Пришелец оглядел её, как измерил, с ног до головы, посочувствовал: обидно, мол, очень обидно потерять такие бусы. Вынул из кармана записную книжку и со слов стал зарисовывать место. Это недолго — зарисовывать. Потом из своего тощего рюкзака вытащил куртку синюю, как и туфли, не нашенского пошива, на вид легковатая, но подкладка хороша — не замёрзнешь, набросил на плечи, прислонился к валуну, который за день хорошо согрелся, и прикрыл глаза.

Лишних спальных мешков у нас не водилось, но всякого тряпичного барахла хватало, и место бы в палатке нашлось. Предложили, но он усмехнулся, поблагодарил: привык спать на свежем воздухе. Привык так привык — дело хозяйское.

А утром его и след простыл. На одной из кастрюль, которые мы на ночь переворачивали вверх дном, лежали коралловые бусы, да, да, те самые, на кануне упавшие в пропасть. Лихой скалолаз был этот пришелец с гор. Ходили смотреть на это место: стена стеной, как бетонная плита, поставленная “на попа”. Как он добрался до бус без крючьев, верёвки, как поднялся обратно — вопрос вопросов. Не парил же в воздухе: крыльев мы у него не заметили. Говорят, скалолазы прилипать умеют к скалам. Как ящерицы. Шлёпнет ладонью по камню — и прикрепился. Пальцы у них — как железные. Воткнёт мизинец в трещинку — и никакого тебе горя. Болтать можно разное, но факт есть факт: бусы-то он достал и на кастрюлю положил.

Впрочем, кое-что помимо бус после него осталось. На месте, где он ночевал, прислонившись к валуну, записная книжка нашлась. Стишки в ней — то ли сам сочинил, то ли позаимствовал, — немножко формул, плохонькие рисунки и домашний адрес. Выронил записную книжку? Оставил? Нашлось ей место в кармане у *Car’ы mia*. Кому же, как не ей, было её взять, чтобы сердечное спасибо в письменном виде передать.

Молния не бьёт в одно место... Ещё как бьёт! Ещё как!.. Сколько лет минуло? Пальцы на руках и ногах не хватит, чтобы счесть годы. Много воды утекло. Давнее дело — подзабываться стало. И вот вдруг...

Обычная, электричка. Обычный тамбур вагона. Вышел покурить — грязь, мусор, пригородный же поезд. Каждый сорит, каждый норовит плю-

нуть, бросить окурок. Уборщиц не хватает, метел не напасёшься. В тамбуре стоит одинокая женщина. Стоит и смотрит в вагонное окошко, столбы, что ли, путевые считает. Пальтишко на ней дешёвенькое, из рубчатого материала — репса, что ли, или как там его ещё. Стоит и вдруг поворачивается. И тогда молния с потолка или с вагонной крыши, чёрт побери, зигзагом — и прямо в сердце! Крякнуло оно, немолодое уже, — она, точно она, *Saga mia*. Постарела? Деваться некуда: заметно. Но те же прекрасные глаза, изящный носик и пухлые губы. Морщин уже хватает, очки — неспроста в те далёкие годы шурилась, барахлили глазки. И ещё горестная складка у рта, отметиной её можно назвать — отметиной несчастья. Ему вот-вот сходить, ей ехать дальше. Времени для расспросов мало, а тут ещё язык противится спрашивать. Но всё-таки решился и голоса своего не узнал. Ответ знал: внутренний голос подсказал. Был у неё муж, но теперь нету. Обратился к ней на вы: так языку оказалось проще.

Она сощурилась, вмотрелась в него, будто желала запомнить, откинула голову. Так оно и было. Откинула голову и заплакала: погиб ее муж. Железо, оно лязгает, сцепления скрежещут при торможении поезда. Лязгало, скрежетало, дверь шипела, открывалась. Кивнула она на прощанье. Под реповым пальто свитерок у неё был, но воротничок невысокий — нитку красных коралловых бус разглядеть можно. Бусы, на которых остались слёзы её матери, уцелели, но скалолазу они не помогли. Похоже, не всегда ладони прилипали к камню, и палец, который вставлялся в трещину, чтобы удерживать туловище, однажды устал.

...Сидящий на холме путник сжал руку в кулак, крепко сжал — увесистый он был, кулак сильного мужчины, про такие кулаки в старину говорили: гробовой доской пахнет — и ударил по лесине. Костяшками пальцев потёр щёку — жёсткая пегая щетина заскрипела, как проволочная. Туча уже повернулась к холму спиной, уползая на север. Тыльная её часть напоминала огромный прохудившийся шар, складками оседавший к земле, издававший приглушённое и уже совсем не пугающее рычание.

И тогда, глядя вслед уходящей туче, он поднял ружьё и взвёл курки. Приложив приклад к плечу, он выстрелил из одного ствола и, повременив несколько секунд, из другого. Опустив стволы, он стал ждать эхо. Оно гуляло над таёжными просторами и не спешило возвращаться. Одинокий медведь, бродивший по тайге, не ведая пути-дороги, услышав выстрелы, присел на мох, задрал голову, насторожился. Белки стремительно перепрыгнули с ветки на ветку, а заяц, щипавший травку, пошевелил ушами, прикидывая: бежать — не бежать, но остался на месте. Эхо тем временем летело обратно к лысому холму, но оно не несло никакого ответа на молчаливый вопрос человека, сидевшего на вершине.

## ДВОЙНОЕ САЛЬТО

### РАССКАЗ

Нет, не попутный ветер занёс его в этот город. Человек он был молодой, но тёртый, тёртые же всегда норовят переть против ветра. Говаривал он частенько приятелям: “Попутный ветер, братцы, для слабаков и везунчиков, а я не из первых и не из вторых. Если попутный ветер — я сплю, и тогда меня несёт на рифы. Хрястнет о скалу — в судьбе дыра больше самой судь-

бы, биография в трещинах, как стекло, куда запустили каменюку, а это мне, ей-ей, ни к чему. Моя судьба, слава Богу, пока без пробоин, биография без трещин, с судьбой я как-нибудь управлюсь сам, встречный же ветер мне только на пользу: от него мой характер делается жёстким, как кожа на солдатском ботинке, ну, а если маленько покраснеет рожка, то это пустяки”.

Вот такой нехитрой философией руководствовался прибывший в приморский город молодой человек. А прибыл он в город вовсе не для того, чтобы выкупаться в солёной морской водичке, тем более что купальный сезон уже успел закончиться. Город же был хоть и не велик, но имел такое прошлое, такую историю, которой могли бы позавидовать многие набитые жителями мегаполисы. Впрочем, жители города, занятые своими делишками (в таких городишках все делается по мелочи), нимало не обременённые знанием прошлого, особой гордости от его долголетия не испытывали, а если говорить откровенно — вовсе его игнорировали. Житель всю эту покрытую паутиной веков древность, никогда не вспоминал, судачил о разных пустяках, жил днём сегодняшним, не заглядывая в завтрашний, по привычке, и вообще любопытством и тем более любознательностью не отличался. Поэтому новоприбывший у окружающих на вокзале интереса не вызывал, никто не удосужился его спросить, откуда он и зачем прибыл, по делам или просто так. А ведь, по рассказам очевидцев, были времена, когда такие вопросы последовали бы незамедлительно. Но времён этих в городе уже никто не помнил, разве что самые дряхлые старики, которых можно было сосчитать по пальцам одной руки.

Поезд опоздал часа на два с лишним, уже вечерело; приезжий взглянул на небо и покачал головой: ни звездочки, более того, сверху свалилась капля дождя, коснулась его щеки и покатилась к подбородку.

“Пора под крышу, — подумал приезжий, — должна же быть в этом городе гостиница”.

Солидный джентльмен преклонных лет в плаще почти до пят, в шапочке-бейсболке с длинным козырьком, с увесистой тростью, которая годилась и как опора при ходьбе, и как боевое оружие при отражении нападения, привлёк его внимание.

— Гостиница? — с недоумением переспросил джентльмен, будто такой вопрос был ему в новинку, в раздумье приставил палец к носу, а затем, выбросив вперёд руку, тем же пальцем указал направление, присовокупив: — Там...

Воодушевлённый своей осведомлённостью и точностью ответа, джентльмен решительно надвинул на лоб длинный козырёк, сделал поворот на сто восемьдесят градусов, показав тем самым, что он дал исчерпывающий ответ, который в дополнительных пояснениях не нуждается. “Там” означало направление вдоль погружающегося в темноту проспекта, отгороженного от моря шеренгой тополей и густыми зарослями акаций. Море за деревьями шумело меланхолично и успокаивающе, напоминая всем прибывшим в город о бесконечности времени.

“Там значит там”, — мысленно заключил приезжий, шагая в указанном направлении. Однако уже через десяток-другой шагов он ощутил голод и вспомнил, что, помогая соседу по купе переворачиваться с боку на бок из-за разбившего бедолагу радикулита, он умудрился забыть про ужин, что было тем более непростительно из-за слишком лёгкого обеда, который точно был не по его комплекции. Его молодой организм требовал пищи, и не какой-нибудь, а мясной и достаточно обильной.

Кафе немедленно встало на его пути, выставив свой фасад едва ли не на проезжую часть проспекта. Приезжий поначалу ему обрадовался, но по усвоенной с детства привычке к порядку столь неконструктивное положение сооружения не одобрил и по-своему мысленно прокомментировал.

“Нахальный парень этот кафеист (так он про себя нарек владельца заведения): взял и перегородил дорогу — двум пузанам не разминуться”.

Кафе сияло свежей краской, и каждому обратившему на него взор представлялось новёшеньким. Оно могло возникнуть на пустыре — могли же быть в этом городе пустыри, — но не исключено, что место ему освободил



какой-то ветхий домишко. Как сообщили приезжему на следующий день, исключительно из желания предупредить, чтобы он не совершал поспешных сделок по недвижимости, на улицах, выходя на них фасадом, стояло немало на вид приличных построек, а на самом деле — особняков из самана, то есть построенных из кусков необожженной глины, смешанной с соломой. Что такой домишко можно было обрушить, нажав на него хорошенько плечом. Может быть, и стоял на месте новенького с иголочки кафе особнячок из самана, может быть, нашлось крепкое плечо, в нужное время нажавшее на него.

Строили заведение смело, даже очень смело, с большими претензиями на оригинальность, о чём свидетельствовала вывеска, освещённая огромным фонарём, напоминающим небольшой воздушный шар, норовивший взмыть к небесам, который удерживал искусно сымитированный под трос медный держатель.

“Хижина дяди Тома”, — прочёл приезжий и изобразил на лице удивление: эта самая хижина никак на хижину не походила ни с фасада, ни сбоку и больше всего напоминала маленький средневековый замок с окнами в виде бойниц, с выступами-башенками и стальной дверью, ведущей в вестибюль, больше похожий на крепостные ворота. “Хижина” была сложена из красного кирпича, и красный цвет придавал ей не очень приветливый вид. Приезжий был не робкого десятка, но всё равно, не будь он голоден, как волк, наверняка поискал бы менее вызывающее место для еды. Но голод не тётка. К тому же, как пройти мимо заведения, в дверях которого стоит сам владелец, а в распахнутую дверь видны стойка, уставленная рядами бутылок с красочными этикетками, сидящие за изящными столиками кавалеры и покурывающие дамы. Из распахнутой двери струились манящие ароматы, а человек, стоявший в дверях, не мог быть не кем иным, как только хозяином заведения, потому что только хозяин мог позволить себе, прислонившись к косяку, разглядывать прохожих пристально и бесцеремонно. Нет, на нём не было чёрной пары, галстука бабочкой и лакированных ботинок, он был экипирован налегке, попросту говоря, без пиджака, в рубашке с короткими рукавами и к тому же навыпуск, поверх брюк. Хозяин поманил прохожего пальцем. Тот замедлил шаг, колеблясь в выборе: войти или миновать. Хозяин сделал широкий приглашающий жест, и прохожий выбор сделал, хотя и отметил про себя, что человек, стоявший у входа, ему совсем не симпатичен. Нет, совсем не ростом: мало ли на белом свете толстопузых коротышек. И уж, конечно, не тем, что круглая лысая голова коротышки была посажена, что называется, прямо на плечи, минуя шею. Если человек обходится без шеи, почему это не должно нравится другим? Не по вкусу ему пришлись глаза. Впрочем, какие, к чёрту, глаза! Глазки... Разве можно назвать глазами пару кругляшек, не упрятанных в глазницы, похожих на жёлтые десятикопеечные монеты. И уж, конечно, не красил владельца кафе свежий шрам, пересекавший его круглое лицо наискосок, хорошо ещё, что его короткий приплюснутый нос не пострадал.

Отступать было поздно. Повинуясь зазывающему жесту, приезжий перешагнул порог заведения в сопровождении коротышки хозяина. Помещение оказалось обширным и хорошо освещённым, правда, стены его были разукрашены сверх меры. Аляповатые картины — продукция потеющих от напряжения в творческом экстазе местных мастеров, с изображением полуодетых, а то и вовсе нагих дам чередовались с бородами, зверски ухмыляющимися рожами мужчин в одеждах давно минувших веков. И ещё на стенах красовалось оружие: от пистолетов с дулами-раструбами до чудовищно кривых сабель; всё оно было деревянным и в ужас посетителей не приводило. С подставок в посетителей целились бутафорские средневековые пушечки, но никого от них не бросало в дрожь. Но что действительно заставляло втянуть голову в плечи, так это огромное панно с изображением жерла вполне современного корабельного орудия, готового по команде долбануть во всех посетителей разом.

Посетители, а их было немало, и все, как один, они имели для натренированного глаза сомнительную внешность, и все, включая особ женского пола, были изрядно выпивши. Под потолком клубились тучи табачного дыма: все, сидящие за столами, молча и сосредоточенно курили, будто курение

и было смыслом их пребывания в этом заведении. Когда хозяин, придерживая гостя за талию, повёл его к свободному столику, курящие разом освободили рты от сигарет и папирос и проводили его многозначительными понимающими взглядами. Вновь прибывший посетитель не сводил глаз с панно, размышляя, что бы оно могло значить.

Хозяин же, как видно, умел читать чужие мысли — он сладенько улыбнулся:

— Мы это поясним.

Но объяснять он не спешил, а прежде чем усадить посетителя, осведомился:

— Пить будем одни или с девочкой?

И прищурил глаз.

— Девочки у нас брюнетки, ножки из голов растут.

Хозяин сделал жест, как бы растягивая пружину, показывая тем самым, что ноги у девиц, обслуживающих посетителей, невероятной длины.

— Девочки брюнетки, чёрненькие, что твой антрацит-уголёк. Так как, с брюнеткой будете кушать или в одиночку?

Приезжий быстро пересчитал в уме имеющуюся наличность. Уж что-что, а это он умел делать в совершенстве, ибо работа у него была такая, со счётом связанная. И ещё он умел решительно говорить “нет”. И это тоже было связано с его профессией. Ему и слов произносить не пришлось — он просто покачал головой, чем ужасно огорчил хозяина. Можно даже сказать больше: такой ответ рассердил его — глазки хозяина приобрели блеск хорошо отполированной бронзы, а любезность его как водой смыло.

Он многообещающе хмыкнул, поманил пальцем — явилась девица, в самом деле, чернявая, в самом деле, длинная, с восточным, то есть отнюдь не курносым носом.

— Господин желает выпить и немного закусить, — внушительно, ассигнуя себе пальцем, произнёс хозяин, делая ударение на первой части предложения и понижая голос на второй, как бы совсем не придавая закуске существенного значения.

И хотя приезжему больше хотелось закусить, поправку в заказ он не внёс, заключив, что немного взбодриться ему не помешает. И он было уже раскрыл рот, чтобы назвать свой любимый напиток, но хозяин тотчас перехватил инициативу и объявил: “После семи у нас только фирменное, и вам оно понравится”.

Он снова многозначительно прищурил глаз.

“Любопытно”, — подумал посетитель скорее озадаченно, чем с энтузиазмом.

Хозяин сделал какой-то магический знак рукой и вернулся ко входу, заняв позицию наблюдателя, которому видно, что делается и на улице, и одновременно в помещении. Девица оказалась проворной: не успел приезжий моргнуть глазом, как она поставила перед ним узкий бокал, наполненный каким-то тёмным, похожим на деготь напитком, крохотное блюдечко с мелкими орешками и удалилась, как предположил приезжий, за меню, которого на столике не оказалось. Вид у неё был демонстративно надутый.

“Пожалуй, попробуем, не отравя же, надо полагать”, — подумал приезжий и отхлебнул из стакана.

“Вкус специфический, — оценил он напиток, — маленько вяжет, чуточку дерёт горло, не сладкий, не кислый, но крепкий, уж точно поболее сорока градусов”.

Он сделал второй глоток, ощутив в желудке приятную теплоту и томление. Сделал и третий, весьма внушительный, почти опорожнив бокал. От выпитого ему стало жарко, впору сбросить модную замшевую куртку, на лбу выступили капли пота. Ему стало весело, захотелось хохотать и бить себя по ляжкам, и это ему, человеку сдержанному! Про таких иной раз говорят: натура в броневой оболочке. Такой колпак любую пружину, хоть с “КамаЗа” сними, хоть с трактора, сжатой удержит. Приезжий хлопнул по столу. Нет, вовсе не кулаком, а ладонью, чтобы привлечь внимание официантки. Ему захотелось выпить второй стакан — случай небывалый для него. Две рюмки

крепкого, один бокал лёгкого — вот его норма, и ни капли больше, хоть целясь в широкую грудь из крупнокалиберного пулемёта.

Чернявая девица явилась с меню, но вместо закуски приезжий заказал новую порцию напитка и в ожидании бокала принялся выстукивать на столе марш “Прощание славянки”. Он обвёл взглядом помещение; ему показалось, что воздух кафе приобрёл приятный золотисто-розовый цвет, а пол стал мягко покачиваться. Приезжий небрежно оттолкнул соседский стул, едва его не опрокинув, и тотчас перед ним возникла фигура хозяина. Рот у него страннейшим образом кривился: левый угол рта тянулся кверху, а правый опускался вниз. Короче говоря, рот у него оказался перекошенным.

— В “Хижине дяди Тома”, — произнёс хозяин вкрадчиво, — за шум наказывают.

Приезжий развязно откинулся на спинку стула.

— Дядя, ты эту кирпичную коробку называешь хижинкой. Да это же армейский арсенал! — Он говорил очень громко, будто перед ним стоял глухой, и при этом стучал ладонью по столу так, что пустой стакан, подпрыгивая, исполнял замысловатый танец. Маленькие глазки его собеседника сделались крохотными, зрачки стали похожими на острия булавок. Он склонил голову набок, как бы присматриваясь.

— Постой, постой, милочка, а ведь я тебя узнал. Ты ведь мой должник. Я тебе одолжил три тысячи “зелёных”. При свидетелях, милый. Пора возвращать должок.

Посетитель зашёлся в хохоте.

— Какой ещё долг, дядя? Какие свидетели? Я тебя, порубленный (он имел в виду шрам, пересекавший лицо коротышки), первый раз вижу.

Хозяин улыбнулся. Он очень нехорошо улыбнулся. Можно сказать, зловеще. Поманил пальцем, и послушный его жесту верзила с лицом киношного гангстера отодвинул со скрежетом стул и, оставив заскучавшую партнёршу, приблизился к столику.

— Константин, — холодно обратился к нему хозяин. — Ты узнаешь этого малого?

— Ещё бы, — пробасил верзила, — как его забыть. А вот ты, Коля, запомнил, сколько ему в лапы сунул. Наморщ лоб! Не три тысячи, а все пять! Ты эти “зелёненькие” ещё в салфетку завернул. Беленькая такая салфеточка.

Хозяин, он же Коля, охотно согласился:

— Верно, Константин, именно пять тысяч на три месяца. Процент по ганцу назначил товарищеский: пять единиц, копейки. А сколько с того дня прошло времени?

Рослый Константин стал загибать пальцы:

— Шесть, Коля, шесть месяцев и восемь дней.

Посетитель после слов Константина заплакал от смеха.

— Ну, и шутники же вы, вашу мать. Да я в этом городишке первый раз: я только с поезда. Перестаньте, парни, смешить. А вы знаете, кто я? Не знаете. Я акробат, чемпион, я полмира объездил. Много людей повидал, но таких трепачей вижу в первый раз. Пять тысяч баксов! Они вам, ребята, во сне приснились.

Хозяину заведения слова посетителя не понравились — лицо его окаменело. Константин поиграл ладонями, сжимая их в кулаки и разжимая. Из соседних столиков поднялись посетители — несколько дюжих толстомордых парней — и окружили столик. Вид их не обещал приятного продолжения вечера. Приезжий смотрел на них с весёлым умилением, без всякой опаски. По лицу хозяина бродили тени, не обещающие добра. Похоже, он размышлял: бить сразу и очень сильно в зубы и по рёбрам или все-таки погодить. Качнув головой, он, в конце концов, принял решение.

— Акробат, говоришь, чемпион. Ну, что же — это мы сейчас проверим. Залезай, милочка, на стол, разувайся. Ботиночки поставь рядышком, шнурки вынь. Крутнёшь сальто, попадётся ногами в ботинки, тогда, может быть, я тебе долг и прощу. Не выйдет — будет разговор. И тогда, милочка, я тебе не завидую.

— Запросто! — воскликнул, сияя улыбкой, посетитель.

Замшевая куртка полетела прочь. Модные, из тонкой кожи, цвета карих девичьих глаз мужские туфли расположились точно посередине столика. Посетитель легко вспрыгнул на него и остановился, примериваясь и готовясь.

— Кручу двойное.

Он взглянул на потолок и взлетел в клубящийся под ним табачный дым. Мускулистое тело дважды перевернулось в воздухе, ступни его ног угодили точно в туфли. Но! Но бедный стол не выдержал тяжёлого удара и с треском развалился надвое.

Измученный хозяин обвёл глазами своих соратников и остановился взглядом на Константине. Это означало: “Отставить!”

Проснулся приезжий от утренней прохлады, озябший и разбитый, в каком-то скверике на скамейке. Настолько разбитый, что с трудом привёл своё туловище в вертикальное положение. Листья тополей лопотали от свежего ветерка, за тополями мерно вздыхало спокойное море. Приезжий напряг память, пытаюсь припомнить, где он был вечером и чем занимался. Сознание его восстанавливало события прошедшего вечера по кусочкам. Какое-то кафе, какая-то хижина — хотя при чём тут хижина? Что-то он пил. Что-то чёрное. Потом стало весело. И это ему, природному зануде! Больше, как он ни напрягал свою память, ему ничего не припомнилось. Куртка была на нём, дипломат — под боком. Он пошевелил ногами — вот так штука: туфли его тонкой кожи цвета карих девичьих глаз лишились шнурков.

“Деньги?..”

Эта мысль буквально пронзила его. Деньги — это слишком серьёзно. Он немедленно сунул руку в карман — бумажник оказался на месте, но заметно похудел. Слабыми пальцами приезжий пересчитал банкноты — не хватало изрядной суммы. Вместо неё была вложена записка, которую он и прочёл в тусклом свете нарождающегося дня.

“Напитки у нас фирменные — стоят дорого, сломанный стол тоже недёшев. Жаловаться не советуем, обижаться тоже. У каждого своя работа”.

И никакой подписи.

— Встречный ветер, — пробормотал приезжий, со вздохом поднимаясь со скамьи. На встречный ветер не жалуются, а зубы он умеет показывать.

ИНГА КАРАБИНСКАЯ



## ТАК ПОХОЖЕ НА ОСЕНЬ...

### ЛЁТНОЕ

Сказано, спето и сыграно всё возможное,  
Не тяготит молчанье, не ждут друзья.  
Ангел-хранитель стиснет у врат таможенных —  
Дальше ему нельзя. Никому нельзя.

Дальше с тебя испросят за всё сохранное,  
Прочее сбросят росчерком со счетов.  
Ты, почитавший аэропорты храмами,  
К взлёту готов. Да в общем, давно готов.

Помнишь, хотелось верить во что-то вечное,  
В доброе и разумное, чёрт возьми!  
Нажил себе балластом добра заплечного,  
Кто бы подумал, сколько же с ним возни.

Всё примерялся жить — широко и с пользой,  
Всё выверял — то выгоду, то престиж.  
Хватит, рождённый ползать, уже отползали —  
Здесь без билета тоже не полетишь.

---

*КАРАБИНСКАЯ Инга Витальевна родилась в Ухте в 1980 году. Публиковалась в альманахах Пушкинского молодежного фестиваля “С веком наравне”, “Современники”, альманахе Союза писателей РК “Белый бор”, коллективном сборнике “Простые вопросы”, журналах “Планета Университет”, “Концерт”, “Арт”. Дипломант Пушкинского молодежного фестиваля “С веком наравне” (2009 год). Работает главным редактором научно-гуманитарного, художественно-публицистического журнала “Концерт” Ухтинского государственного технического университета. Живет в Ухте.*

Здесь проходные те же, таможни, кассы ли —  
Толпы людей и не с кем поговорить.  
Впрочем, да что я... Жизнь получилась классная.  
Надо её при случае повторить.

## НЕЛЁТНОЕ

Казалось бы, до писем ли теперь,  
когда приспущен флаг на главной башне,  
и будущее, ставшее вчерашним,  
растерянно выходит в ту же дверь...

Казалось бы, до писем ли теперь?  
Но я опять пишу тебе: не страшно.  
Казалось бы, куда теперь спешить,  
когда на всех табло — отмена рейса.  
Сиди в бистро и чашкой кофе грейся,  
соседа анекдотом рассмеши  
(а если не поймёт, то сам посмейся).

Казалось бы, сдались нам облака,  
когда вокруг — родное и простое,  
и есть, кого винить в своём застое,  
и всё слегка, не вглубь, не на века...  
Овчинка неба выделки не стоит.

Казалось бы, сейчас домой и в душ,  
а после, согреваясь у камина,  
дожечь к чертям недоброго помина  
весь многотомник полумёртвых душ  
и самому сгореть наполовину.

Казалось бы, награда так близка,  
и жизнь войдёт и в колею, и в рамки —  
так почему же всё трещит с изнанки,  
и ты меня боишься расплескать,  
хоть я и так сочусь из каждой ранки.

Казалось бы, какой тебе резон  
в таком же зале ждать меня на входе?  
Седьмое небо ливнями исходит  
и закрывает бархатный сезон.

Борт не взлетит ни при какой погоде.  
Сейчас бы отрешённо закурить  
и боль топить в непокорённой выси,  
когда в три слова уместились мысли,  
казалось бы, о чём тут говорить...

До писем ли теперь? Теперь — до писем.

## ГОНЧАР

Не жди конца времён, не думай об исходе.  
Сними корявый нимб, купи гончарный круг.  
Ремесленнику с рук халтурный обжиг сходит —  
Творцу же никогда ничто не сходит с рук.

А в прямоте своей земная ось наклонна.  
И мир ей дан в упор, как грифелью — доска.  
Но средоточьем всех амбиций Вавилона  
Ты лепишь куличи из мокрого песка.

А впрочем — суета. Бери смелей и выше,  
В растянутом трико взойти на горний трон.  
И ежели пророк отечеством не вышел —  
Так то у нас, творцов, позвольте, испокон.

Но припадает жизнь на все четыре лапы,  
И, плоская, бежит из-под ноги Земля...  
Ложись черновиком под свет зелёной лампы,  
Доверив гончару начать тебя с нуля.

И разве что теперь, под бредущим полётом  
Тончайшего резца, пронзающего вот-вот,  
Неизданный никем, но тёртый в переплётах,  
Оденешь, наконец, последний переплёт.

Рядами корешки глядят с широких полок,  
Под скрип земной оси, развёрнуты торцом,  
Работает гончар — и танец глины долог,  
И обжигая Мир, Он кажется Творцом.

## НОЧИ

*Ночи без мягких знаков,  
Глухие мужские ночи.*

Зимовье Зверей

Такие ночи нужно пережить,  
Как мёртвый штиль над Марианской бездной.  
На дно дождя ложатся этажи,  
И проблесковым маяком дрожит  
Фонарный свет над трюмами подъездов.

В такие ночи жгут черновики.  
И, опершись о подлокотник кресла,  
Как будто вдаль глядишь из-под руки,  
Как прорастают красные вьюнки  
Сквозь былъ, что в очаге на бис воскресла.

В такие ночи хочется рывка.  
Обтечь ладонью набалдашник трости,  
Вдоль палубы ночного городка  
Лететь аккордом позднего звонка,  
Незванным чьим-то и тревожным гостем.

Но это после. После. А пока —  
Ты из себя вычерпываешь горстью  
Отживший мир из ила и песка;  
Такие ночи учат отпускать.  
А впрочем, это тоже будет после.

А ныне тает тьма, как воск свечной,  
И тлеют в рыхлом сумраке поленья.  
Мелеет небо. Смерть идёт с ночной.  
Ей хочется любимой и ручной  
Светло заснуть на чьих-нибудь коленях.

## ТАК ПОХОЖЕ НА ОСЕНЬ

Так похоже на осень. Размытым пунктиром  
Мироточащий дождь повисает над миром.  
Над гербарием лестниц, скамеек и горок  
Он висит, как беда, бесприютен и горек.  
И раскисших дорог непролазная слякоть  
Так похожа на правду, что впору заплакать  
И вослед, и навстречу любому и каждой —  
О своём безотчётном, неясном, неважном...  
И не высказать, как отсыревшую стружку  
Обдирает с души вид забытой игрушки  
Не надвижных качелях у детской площадки;  
Как безжалостна боль, как тоска беспощадна;  
Как в насмешку над самой прекрасной из истин  
Продолжают движение мёртвые листья;  
Как подёрнуты небом сентябрьские лужи...  
Как бездомно и тихо, когда ты не нужен.  
И прилипшей к стеклу полусонною мухой  
Так привычно живёшь с недосказанной мукой,  
Как письмо, что заклеив, не бросили в ящик.  
Не умеешь о прошлом? Живи настоящим.  
Ибо только разъятое кем-то на части  
Понимает, как просто и дорого счастье.  
И о прочем — не стоит. А если и спросят —  
Это осень. Она так похожа на осень.



НИНА ОБРЕЗКОВА



## СТЕПАН

РАССКАЗ

Степан вошёл в село ранним утром. Село ещё спало, только над несколькими печными трубами лениво поднимался дым. Забrehали было собаки, но, видимо, и им было ещё лень лаять в такую рань. Так, никем не замеченный, и пришёл Степан домой, откуда ушёл двадцать лет назад таким же ранним утром...

...Собака пришла домой к полудню. Матрёна как раз выходила с огорода. Буско бросился к ней.

— Буса, ну, где вы целый день шляетесь? А хозяин-то где?! Буско! — сердито выговаривала собаке Матрёна и только потом заметила, что с мордой Буско чего-то неладно. Воткнула в землю вилы, наклонилась к собаке. — Господи! Буско! Что это? Кто тебя так? О, Господи, весь нос разбили, в шкуру свою люди от злости уже не влезают! Ну, иди, Буса, иди, на крыльчке присядем да толком осмотрю твою мордочку, — пробормотала Матрёна, взяла вилы и пошла к крыльцу.

Но Бус за хозяйкой не пошёл, лёг возле забора, побитый нос положил на лапы и еле слышно заскулил. Матрёне пришлось вернуться к собаке.

— Ну, что, что? Больно? Больно, конечно, — погладила Матрёна пса. Тот даже не пошевелился. — Иди, поешь, поешь, беденький, да потом уж ложись. — Но Буско ни к еде не притронулся, ни к крыльцу, возле которо-

---

*ОБРЕЗКОВА* *Нина Александровна* родилась в 1965 году в с. Глотово Удорского района. Окончила Сыктывкарский государственный университет. Автор нескольких поэтических сборников. Стихи переводились на эстонский, болгарский, удмуртский, мордовский, венгерский, финский языки. Лауреат премии Правительства Республики Коми в области культуры за 2009 год. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

го любил лежать, не пошёл. Матрёне до слёз было жаль пса, но что делать, она не знала. Побродила по двору, потом опять наклонилась к Буско. — Ох, бедненький ты мой. И Степана нет, хоть бы уж к ветеринару отвёл пса. Мучается, бедный.

Но Степан не пришёл ни в тот вечер, ни наутро. Буско так и лежал возле забора, не ел и не пил. Сердце Матрёны сжалось, но до вечера решила обождать. Не хотелось попусту будоражить село. Степан, бывало, во время своих “загулов” ночь-другую ночевал у друзей, но тогда пёс постоянно был с ним, и сразу видно, где сегодня Степан. “А ведь Буско всегда со Степаном был”, — пронеслось в голове Матрёны. Она накинула пальто и, оставив дверь открытой, побежала к Митрей Васю\*. Вместе росли они, и Степан нет-нет да и заглядывал к Василёю.

Василей, уже порядком хмельной, сидел возле стола и смотрел на стоящую на столе пустую бутылку. Посмотрел на вошедшую Матрёну пустыми глазами и снова усталился на бутылку.

— Василей, — от ходкого шага Матрёна запыхалась, — Василей, ты Степана не видел?

— Чего?

— Степана, говорю, не видел?

— Степана? — вздохнул Василей и добавил. — Нет.

— А вчера, вчера? — Матрёна села рядом с ним и, толкая в бок, расспрашивала. — Вчера, говорю, не видел?

— Тётка Матрёна, у тебя сто грамм есть? — в глазах Василея зажглась слабая надежда. — Ты меня не толкай, я упаду.

— Василей, — уже ошутимо толкнув мужика в бок, снова спросила Матрёна. — Ты Степана вчера не видел?

— Вчера? — Василей отодвинулся от Матрёны. — Вчера... видел.

— Где? Когда? Василей?

— М-хм, — снова вздохнул тот. — Вчера... вчера... он с Буско... Случилось что-то? — и как будто вдруг очнулся. — Ты чего тут кричишь?

— Василей, Бус вчера один пришёл, с побитой мордой, а Степана всё нет.

— Нету? — удивился Василей. — Придёт... придёт, — пробормотал Василей, а затем вскинулся: — Нету? Как нету? Вчера он... — Василей протёр глаза. — Вчера он утром... рано ещё было... по берегу с Буско куда-то... вниз по реке пошли... Я ещё спросил... куда, мол, отправился? А он... Степан... мне ничего не ответил... только рукой махнул... туда, мол. А что, не пришёл?

— Я и говорю, Буско вчера один с побитой мордой пришел, а Степана до сих пор нет.

— А кто Буско обидел? — Вась потёр лоб и затем вдруг повернулся к Матрёне. — Знаешь, тётка Матрёна, знаешь, Степан-то с пустым вещмешком был... мешок-то пустой был, с таким мешком в лес не ходят... только топориче виднелось. Я ещё подумал, куда Степан пошёл...

Матрёна вскочила из-за стола.

— Очнись, Василей, неладное что-то с другом твоим. Надо что-то делать. Искать, людей поднимать. Вниз по реке, говоришь... — Матрёна поднялась, запахнула пальто и уже на пороге сказала: — Я к управляющему схожу, а ты давай друзей обойди, может, кто ещё чего видел ли, слышал...

...Долго искать не пришлось. Недалеко от села дорога раздваивается: одна ведёт на дальние луга, другая — в лес, где сельчане, в основном бабы да ребятишки, собирают грибы-ягоды. Вот как раз на этом месте, на сосне, растущей аккурат посередине развилки, и нашли воткнутый в дерево топор Степана и висящий на нём рюкзак... А дальше ни следов, ни каких-нибудь других знаков, оставленных Степаном, не было.

Искали всем селом, искали и в лесу, и в воде, разве что лес не порубили на корню и воду не высушили. Ничего... Потом пришли к мысли, что последним прибежищем Степана стало озеро, которое слыло бездонным...

---

\* Митрей Вась — у коми имя отца ставилось перед именем сына.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно было бы передать горе матери Степана. Матрёна своего последыша родила уже под пятьдесят, чтобы под старость было хоть с кем словом перемолвиться. Мужа Матрёна в первый год большой войны потеряла, две дочери уже давно своей жизнью жили, и никто не стал осуждать Матрону, когда она сошлась с другим мужиком. Да вот только снова судьба не одарила Матрёну бабьим счастьем: не сжились с мужем, только сын и остался на радость матери, да и он незнамо куда голову унёс... Пятерых детей похоронила Матрёна, да ведь их Бог совсем крохотными забрал, ангелочками, да и могилки их рядышком на сельском кладбище. А вот что стало могилой Степана? Земля или вода забрала его? Некуда Матрёне прийти оплакать сына, негде облегчить рвущееся сердце... Крепкой была Матрёна, статной даже и в старости, длинной её косе многие бабы завидовали. Но нечему стало завидовать — обрезала Матрёна косу, да и волосы, некогда чёрные, как смоль, поседели в одночасье. Обвязала седую голову свою Матрёна чёрным платочком и снимала его только в бане да ещё пот устатный вытереть с лица... Никто не слышал от неё ни мольбы, ни жалоб. Только вот унёс сын песню её, голос её — не пела она больше с подружками своими да всё чаще вдруг обрывала разговор, замолкала, будто пыталась понять непонимаемое...

Степан был высокий, крепкий, хоть с лесу, хоть с реки никогда пустым не возвращался, да и руками Бог не обидел — любую работу шутя делал. В соседнем селе поднял сестре баню — игрушка, да и только. Один и поставил, только печку сложить друга позвал. Матрёна ездила в новой баньке помыться, такая, говорит, хорошая баня, хоть не выходи... И слова сына не приняла всерьёз. А Степан — в чистой рубашке после бани, волосы зачёсаны назад — за столом сказал:

— Ну, вот, последняя баня поставлена.

— Давай, Степан, не говори ерунды, — сказала сестра, а мать только рукой махнула: иди, мол...

...В тот год Степан с дальней делянки, где они вчетвером валили лес — все друзья детства — вернулся перед Новым годом один. Сельчане, конечно, в расспросы: а где ж друзья-то, мол? А не захотели, говорил Степан, что нам, мол, в селе делать, за подругу и бутылка сойдёт. А я, говорил, в баньке решил помыться, да что...

Люди хорошо попраздновали, где-то к Рождеству стали приходиться в себя, тогда как гром среди ясного неба, грянула весть — в лесной избушке сгорели мужики, те самые, которые остались на Новый год. Только уголья да пепел нашёл охотник, промышлявший в тех местах.

Привезли останки, рядышком и похоронили. Степан больше других возился-помогал. А затем... Затем Степана обвинили в убийстве... До суда дело, правда, не дошло, милиция приезжала, допрашивала, но ничего не могли противопоставить словам Степана. Свидетелей в этом страшном деле не нашлось. Не посадили Степана в тюрьму, оставили жить в селе... Только лучше бы посадили, иногда думалось Степану; матери сгоревших, особенно тётка Дарья, мать лучшего друга, Михаила, набросилась на него, обвиняя в убийстве своего сына. Да не столько на него, сколько на мать его, Матрёну. Матрёна, конечно, не верила, что её Степанушко, её сыночек, мог сотворить такое, и изо всех сил отбивалась от Дарьи...

После похорон, дня через два-три, Дарья, хмельная, распахнула дверь в избу Матрёны:

— Ну, Матрёна, где твой убивец?

— Дарья, Господи помилуй, какой же мой Степанушко убивец, что ты несёшь-то? Сама ведь знаешь, милиция была, всё выспрашивала, коль виновен был бы, так посадили бы.

А Дарья с порога кричит:

— Надо было посадить!

— Дарья, как же ты можешь так говорить? Знаешь ведь, Степан с Мишуком лучшие друзья были...

— Не смей имя моего сына произносить! — налились кровью глаза Дарьи. — Не смей!

Сердце Матрёны рвётся, но она ещё пытается образумить Дарью. — Зайди, Дарья, зайди, помянем Мишеньку.

— Что? Чтоб я с убивцами за один стол села! Пропадите вы пропадом! Чтоб собака вас съела! Тьфу! — плюнула Дарья и хлопнула дверью.

Встали друг против друга две большие силы, две матери, одна — за своего сына, и другая — за своего. Вот только у одной сын в сырой земле лежит, а у другой по земле ещё ходит. И разрушилась некогда верная дружба, не то, что в гости захаживать, — смотреть друг на друга не могли.

А Степан вроде так же жил, работал... Хотя знал, знал, что многие виноватили его, хоть в глаза и не осмеливались говорить. А сам знал, знал: не был он виноват. Но как это докажешь? Как убедишь людей, что оставил друзей в добром здравии? Как?

...Мужики после дневной вырубki пришли, как мёрзлые столбы. Степан в тот день раньше пришёл — “домовым” был: обед готовил да по хозяйству хлопотал. Договорённость у них такая была: по очереди “домовничать”. Сегодня как раз был день Степана. Хоть и не особо любил он такую работу, но ничего не поделаешь: в лес хозяйку с собой не возьмёшь. Печка гудела от жара, суп и чай кипели на плите. А вот и мужики.

Первым в избу голову просунул Миша и с ехидцей спросил:

— Степан, где мои двенадцать блюд?

— Да заходите быстрее, выморозите избу.

После Миши зашли и Андрей с Иваном.

— Ну, и натопил, — сбрасывая фуфайку, пробормотал Миша. — Дрова бы пожалел.

— На дрова леса ещё хватает.

— Кто спорит, да вот только в такой холод попробуй ещё и дрова заготавливать.

— Холодно, мать твою, — выругался Андрей. — Да и смотрю — ещё похолодает.

— Ну, ничего, наш Степан печку раскочегарит — не замёрзнем небось. Ночью бы не гореть, — Мише непременно надо было поддеть друга.

— Не болтай, чего не попадя. Садитесь, всё готово.

— Ну, давай... поесть надо. Да и глотнуть не мешало бы. С устатку водочка хороша! — почмокал губами Миша и сел за стол. — Андрей, где твоя заначка? Доставай. Эх!

Степан разлил суп в железные тарелки, нарезал хлеб. Андрей слазил под лавку, достал бутылку, подвинул стоящие в центре стола кружки поближе к краю и щедро налил в них водку. Затем и сам сел за стол. Сел и Иван. Миша дотянулся до своей кружки, разобрали свои и Андрей с Иваном. Миша дотронулся до их кружек:

— Ну, как говорят, чтоб жила земля коми и её пьющие жители. О, Степан, а ты чего?

— Я не буду...

— О-о, это что-то новое...

— Не хочу.

— Степан, ты чего? — удивился и Андрей. — Компанию не разбивай.

— Нет.

— Ну, сам знаешь, уговаривать не будем. Как говорят, нам больше достанется, — сказал Миша и выпил. — Эх! Добро! Вот сейчас можно и перекусить. Мужики тоже выпили. — Ты, Степан, может, и от еды откажешься сегодня?

— От еды нет, — улыбнулся Степан и тоже начал орудовать ложкой. Какое-то время в избе слышался только лязг железной посуды. Затем Степан сказал:

— Мужики, а давайте домой съездим... Завтра ведь Новый год.

— А что мы там потеряли?

— Ну... Новый год ведь.

— Степан, — опять наполняя кружки, поддел друга Миша, — может, ты в клуб хочешь сходить, возле ёлки хоровод поводить? “Ма-аленькой ёлочке холодно зим-о-ой...” А, Степан?

— Иди, не трепись... домой вроде как тянет.

— А меня вообще никуда не тянет, — сказал Миша. — Мне и здесь хорошо. Ёлок здесь хоть лопатой гребь, а вместо снегурочки и бутылка сойдёт, — сказал он и смачно выпил. Андрей с Иваном не отставали.

Но Степан не унимался.

— Миша, поедем домой, на “Буране” двое и в санях двое... Сам же говоришь, похолодает. Да и в баньку сходим...

— Мороз, брат Степан, нам не страшен, — Миша уже заметно захмелел. — Дров, как ты говоришь, в лесу полно. Не замёрзнем. Да и это, — щёлкнул Миша себя по горлу, — не даст замёрзнуть. А ты, друг дорогой, можешь ехать... Так ведь, Андрей?

— Мне-то что, у него своя голова...

— Иван, а как ты думаешь?

— Пусть... — Ивана и так сильно разговорчивым не назовёшь, а сейчас и вовсе не слышно его. Но всё же добавил: — Я бы в баню тоже сходил...

— Ну, давайте, давайте, все идите, идите-идите, оставьте меня здесь одного, — завёлся Миша.

— Ну, не поезду тогда, — пробормотал Иван.

— Так что, Степан Васильевич, одному придётся ехать. Ну, иди, как говорится, на посошок.

Но Степан и тут отказался. Встал из-за стола, торопливо собрал котомки, взял ружьё и топор, оглядел сидящих за столом и вышел. Друзья услышали, как взревел “Буран”, и Степан уехал...

...После Нового года сразу уехать в лес у Степана не получилось. Мать чего-то занемогла и попросила пожить дома, всё по хозяйству помощь: дрова, вода... Успеешь, говорит, по сугробам поползать, вон зима какая длинная ещё...

...Чёрной вести Степан никак не мог поверить. Кинулся к тому охотнику, может... Хотя, что “может” — он и сам толком не знал. Что-то выпытывал у старого человека: может, не та избушка, может, напутал тот чего. Охотник только головой качал, как, говорит, я могу перепутать, всю жизнь там охочусь... Не очень давно, говорит, сынок, и сгорели они, на запах дыма я и вышел туда.

Ещё до рассвета Степан поехал на “Буране” в лес, туда, где недавно сидели они за столом... Миша, Андрей и Иван... А теперь вместо них лежали их обугленные тела, и не узнать, кого из них как звали... А в стороне... в стороне стоял их конь, Буян, на котором они вывозили лес... Степан кинулся к Буяну и остолбенел — у Буяна были выколоты глаза...

После этого и начал Степан крепко выпивать. Месяц-другой держится, а запьёт — так до черноты пил.

Как-то Матрёна, возвращаясь домой, услышала звук бензопилы. Матрёна бросилась в дом:

— Степан, Степан, что же ты делаешь?

А Степан только знай пилит стену дома. Матрёна схватилось было за пилу, да куда там! Сын отодвинул её и снова пилит. Опустилась Матрёна на лавку и молча смотрела, как из вековой стены один за другим падают поленья, и чисто вымытый пол покрывается свежими опилками... почему-то на помнивших Матрене похороны её деток...

Венцов семь-восемь пропилил Степан. Затем заглушил пилу и тяжело опустился на покрытый жёлтыми опилками пол. По лицу его стекал чёрный пот...

Матрёна помолчала, затем осипшим голосом спросила:

— Чего ж ты, Степан, заживо дом-то рушишь?

Степан даже не пошевелился и абсолютно трезвым голосом ответил:

— Не хочу, мама, через двери, которые для хороших людей, ходить, убийце можно и через сарай...

— О Господи, Степан! — только и всплеснула руками Матрёна. — За-молчи! Из-за слов своих попадёшь, куда не надо! Что ж ты чужой грех на себя берёшь? Ты совсем с ума сошёл! Сам же говорил, что не виноват, что живые они остались... Или... обманул... Степан?

— Мама... — от взгляда Степана Матрёна поперхнулась. Нет, нет, не виноват её сын, пусть люди говорят, что хотят.

...Сколько мог, терпел Степан людские обмолвки за глаза, сколько мог, не слушал людских упреков, да только долго ли, долго ли вытерпишь, когда всё село, всё село ополчилось против него... И вот собрался он в одно раннее утро и ушёл с пустым вещмешком. Бегущего за ним пса ударил обухом топора, чтоб отстал, повесил на топор, воткнутый в сосну, свой рюкзак... и исчез с глаз людей.

Лет через пять прошёл в селе слух: один мужик перед смертью признался, что он поджёт ту избушку. Зашёл, мол, погреться, выпили, как водится...

— А потом Андрей вспомнил, как настиг меня на своём путике. Хотя чего уж там вспоминать... прошлое-то. Было раз, было, бес попутал... Я уж повинился перед Андреем... Но он не унимался, угрожал, что всем расскажет, какой я охотник, что я вор, что... Под конец всё же угомонился, хмель придавил... Уснули и мужики, выпили они изрядно... А я допил бутылку, посидел, и как будто кто-то стал шептать: вот он, вот твой час... И кончатся твои мученья, никто не будет попрекать, обвинять... И никто не узнает, что здесь случилось... Тайга скроет... И я вытащил из печи горящее полено... и дёрнул... Потом вернулся, но было уже поздно — сухой дом как порох всыхнул... Вот тут-то я и испугался... В тюрьму не хотелось, потому и не признался никому... Простите...

Тётка Дарья тоже приходила прощенья у Матрёны просить, да та только рукой махнула...

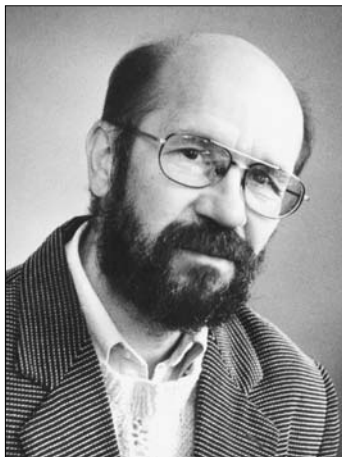
...За Матрёной в последнее время ухаживала дочь. Сын, которого она растила людям и себе на радость, не смог скрасить последние дни матери... Временами приходила весть, что-де жив Степан: то там вроде видели, то там... Матрёна попервости оживала от таких вестей, а потом... потом перестала... Только гаснущее сознание порой вытаскивало образ сына, и тогда Матрёна шептала одними губами: “Степа-а-ан”...

...А Степан осень прожил в материнном доме. Почти никуда не выходил, к нему тоже особо не заглядывали — большинство его товарищей уже в сырой земле покоились: кто по своей воле, кто из-за водки закончил своё земное существование. Где был Степан двадцать лет, никому не рассказывал, да и не спрашивал его никто — тогдашних селян не стало, а молодым до Степана дела мало...

С приходом зимы Степан собрал нехитрое охотничье снаряжение и ушёл в тот дальний лес, где когда-то валил деревья с товарищами, чтоб заготовить брёвна... на новую избу для себя.

*Авторский перевод с коми*

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ



БЕРЕГИТЕ ИСТОКИ!

КОЛОКОЛ

У каждого времени колокол свой.  
У нашего он — поминальный.  
Стоит над минувшим старуха с косою...  
Не бабкою ли повивальной?

Родится ли новая, сильная Русь?  
Родится ли новая слава?  
А колокол тянет басовую грусть  
Тяжёлого русского сплава.

А колокол требует всех помянуть  
Прощальным молитвенным словом,  
Иначе погибелью кончится путь  
К великим державным основам.

И мы понимаем, и нам нелегко  
С виной непомерной смириться.  
И колокол слышится так далеко,  
Что даже потомкам не спится.

---

*СУВОРОВ Александр Васильевич родился в 1946 году на станции Бира Еврейской автономной области. В 1947 году его родители переехали в Сыктывкар. Окончил государственный педагогический институт Коми. Работал журналистом. Автор нескольких поэтических сборников. Печатался во многих альманахах, коллективных сборниках, журналах "Север", "Наш современник", "Техника молодёжи", "Дальний Восток", "Южный крест" и других. Член Союза писателей России.*

\* \* \*

Известно, жадный всех бедней  
И ненасытней всех голодный.  
Увы, таков закон природный  
И для зверей, и для людей.

И потому не победить  
Голодному нужду до смерти.  
Не смог вас в этом убедить?  
Что ж, на своей судьбе проверьте.

А впрочем, огради вас Бог  
От этой гибельной напасти!  
Нет отвратительней эпох,  
Когда бескормица у власти!

### ИСТОКИ

Если устья грязны, словно свалки,  
Берегите хотя бы истоки!  
Пусть хоть там смогут ваши русалки  
Прятать тайны в зелёной осоке,  
Пусть хоть там не умолкнут в рябинах  
Детских птиц голоса заревые,  
Пусть хоть там в старомодных корзинах  
Не иссякнут грибы боровые,  
Пусть хоть там ваши женщины будут  
Мыть прекрасные белые ноги,  
Пусть хоть там никогда не забудут  
Первый шаг ваш по вечной дороге.

### ЧУДО

Навстречался с шумным людом  
И на все верхушки влез...  
А схожу-ка я за чудом  
В золотой осенний лес.

Поброжу по мхам немятым,  
По забытым соснякам,  
Там, где нет пути завятым  
Вездесущим грибникам.

Подышу прохладой влажной,  
Горсть брусничин кину в рот,  
И в моей душе бумажной  
Грянет вдруг переворот.

Стану я не тем, что прежде.  
Стану проще и добрей,  
Верить научусь надежде  
У деревьев и зверей.

Суету и аритмию  
В гордом сердце усмирю.  
И зажжёт на всю Россию  
Лес вечернюю зарю.



## ШИТЬЁ КОЛПАКА

Не по-колпаковски до сих пор  
Шьётся наш затейливый колпак.  
Вот с чего в родной стране сыр-бор —  
Каждый знает: надо шить не так.

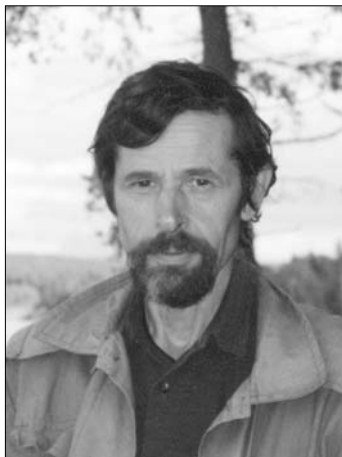
Каждый со своей спешит иглой,  
И свою в иглу вдевает нить,  
И не хочет со швей-судьбой  
Жизнь в один узор объединить.

Каждый ткань по-своему кроит  
И свои стежки кладёт в канву.  
А колпак всё так же норовит  
Затрещать и разойтись по шву.

Нет бы взять переколпаковать  
Душу неразумную свою  
Да иглу такую отковать,  
Чтобы по уму и по шитью.

Чтоб по-колпаковски, наконец,  
Сшить один на всех большой колпак.  
Я бы, может, взялся, да не спец,  
Я ведь тоже шью совсем не так.

ПЁТР СТОЛПОВСКИЙ



## ПОНЯТИЕ ЖЕНСКОГО РОДА

РАССКАЗ

Жён надо беречь. Оберегать, охранять, ограждать от всего, что может нарушить их божественное спокойствие, душевное равновесие и, соответственно, драгоценное здоровье. Это истина. Оспаривать её — верх неприличия.

Лёша Кузюкин, конечно, знал эту истину, но не всегда её помнил. Не из-за дурного воспитания, а по причине сугубого простодушия. Прост, как дрозд, Лёша Кузюкин, немудрёный, как гриб солёный. Никто его за язык не тянет, а он — ляп Верунчику своему про то, что жене знать совсем необязательно и даже вредно. Про рыбалку, к примеру. А ведь знает, знает, что для женщины тема рыбалки посложнее будет, чем теория относительности Эйнштейна. Сам же не раз говорил: “Извини, конечно, Верунчик, но рыбалка — это понятие чисто мужского рода”.

Тут он, конечно, прав на все сто. Посудите сами, может ли нормальная женщина понять что-то в таком, скажем, ненормальном телефонном диалоге:

— Привет! Наточил?

— Как огонь!

— Кровь кипит?

— Да прямо выкипает!

— Тогда в двадцать четыре с двумя нулями, плюс-минус исключается.

— Куре?

— Сообщаю по большому секрету: на северо-северо-восток с поправкой на нестабильность магнитных полюсов.

---

*СТОЛПОВСКИЙ Пётр Митрофанович родился в 1943 году в Сибири. Окончил Коми педагогический институт. Работал журналистом, редактором. С 1999 года — директор Коми издательства. Автор книг прозы, в том числе детских. Член Союза писателей СССР с 1982 года. Заслуженный работник культуры Республики Коми. Живет в Сыктывкаре.*

Скажете, бред беременной сороги? Это смотря для кого. Для рыбака — исчерпывающая информация, для женщины — *сапоги всмятку*.

И не жалко же было Лёше Кузюкину своего Верунчика, когда расписывал всеми цветами и полутонами прелести далёкой речки Ловью, куда ездил он иногда с приятелями на рыбалку! Разукрасил, завитушек романтических понавешал. Впечатлительная Верунчик руками всплеснула, глаза мечтательно закатила. “Ах, Лёшенька, я по твоей красавице речке весь покой растеряла, наверно, опять бессонница начнётся, а от бессонницы у меня всегда давление прыгает, как кенгуру, а от давления — знаешь, что бывает? Скажу, так ты тоже запрыгаешь и покой растеряешь. Так что, Лёшенька, заводи машину, поедем рыбачить вместе на эту самую Ловью”.

Лёша хмыкнул так, что сразу было понятно: жена может попасть на рыбалку только через его надёжно охлаждённый труп.

— Кузюкин! — гневно воскликнула жена, придав голосу удвоенную... нет, утроенную решительность, и Лёша позорно сник.

— Ну, вот, сразу Кузюкин...

Он терпеть не мог, когда Верунчик называла его по фамилии.

— Да, Кузюкин! — напирала Верунчик. — Фамилия у тебя такая: Ку-зю-кин!

— А ты Кузюкина, — вовремя вспомнил Лёша.

— Я Кузюкина по причине замужества, а ты — по состоянию души.

— Ты же знаешь, мой род не Кузюкиных, а Кузьминых. Писарь, собака пьяная...

— Вот-вот, писарь виноват. Докажи теперь — полтора века прошло с крепостного права...

Перепалки между Кузюкиными случались очень редко, и всегда Лёша проигрывал их ещё до того, как они разгорались. Можно было не тратить патроны, а сразу, после первого залпа выходить из окопа с высоко поднятыми руками.

Короче говоря, не уберёт Кузюкин божественное спокойствие любимой жены — сдался, подписав кабальный мир, то бишь дал согласие взять Верунчика на рыбалку. Можно сказать, невоздержанным своим языком по её здоровью шмякнул.

Это во-первых. А во-вторых, сами подумайте: как называется рыбалка, когда жён с собой берут? Вот именно: как угодно, только не рыбалка.

Слово не воробей. Рано поутру Лёша подогнал к подъезду чудо родного автопрома четырнадцатой модели и загрузил в багажник всё, что приготовил с вечера. Прежде всего, приготовил самое главное — лодку и удочку с рыбацкой сумкой. Эту основу основ — удочку с сумкой — бережно поставил возле входной двери. В уголок по правую руку. Очень разумно! Что угодно можно забыть, а вот основу основ оставить дома можно только вместе с головой.

Первым делом в багажник нырнула “резинка”, то бишь лодка надувная со всеми её причиндалами. Следом улеглась пара котелков с кружками-ложками и прочими кухонными делами. Потом — пузатая сумка с продуктами. Тут Верунчик хозяйничала, Лёша самолично проверил только чай, сахар да соль. Далее в багажник протиснулся складной столик со складными же сиденьями. Затем...

— Много ж набирается, Верунчик!

— А ты как думал, Лёшенька! Это только экстремалы вроде тебя на целый день едут с куском хлеба в зубах.

На заднем сиденье — одежда на любые капризы северной погоды, запасная обувь с носками, накидки непромокаемые, шляпы недосыгаемые, пятое-десятое, да ещё мелочей всяких набралось на безобразно расплывшую сумку...

Да уж, берёшь с собой жену на один день, готовь контейнер средних размеров.

— Верунчик, ты фотоаппарат взяла?

— Взяла.

— А книгу какую-нибудь взяла? Вдруг заскучаешь.

— Лёшенька, кто же на природе скучает? Заскучаю, так ты мне споёшь и спляшешь. Взяла, взяла книгу. А ты сухари свои на прикормку взял?

— Сейчас гляну... Взял!

— Насос лодочный на месте?

Глубокий вздох. Чем глубже, тем лучше.

— Верунчик! — сказал со значением. — Я без насоса на рыбалку не езжу.

— Ну, если ничего не забыли, вперёд — на красавицу твою писаную!

Восемьдесят километров мчали по приличной автотрассе. Двадцать ехали по дырявому асфальту эпохи Никиты Сергеевича. Ещё десять двигались по неукатанному просёлку, на котором четырнадцатая модель переваливалась с боку на бок, как утка пенсионного возраста. А последние пять километров ползли по старой лежнёвке, где сантиметр вправо-влево — и сиди на брюхе до морковкина заговенья.

Верунчик сначала разглядывала проплывающие мимо пейзажи, потом малость вздремнула, затем послушала какую-то несусветную поп-дредбедень. А лежнёвку она не заметила, потому что с непонятным упрямством крутила пуговки радиоприёмника — искала программу про очередные панацеи.

— Лёшенька, это важно.

— Конечно, важно, — не спорил Кузюкин. — Говорят, даже после смерти помогает.

Программа не обнаруживалась. Наверно, панацеи были запрещены президентским указом ради сохранения здоровья нации, только Верунчик этого не знала.

— Приехали! — объявил Лёша, вырвав на песчаную площадку, окружённую с трёх сторон бронзовостальной сосновым бором.

— Красотища!.. А речка где?

— Там, внизу, — кивнул Лёша в сторону обрыва.

Верунчик вышла из машины, раскинула в стороны руки, оглядывая красоту, и не было сомнений, что сейчас она взлетит и запорхнет восторженной бабочкой. Но полёт был отложен.

Выше по течению Ловью порожистая, быструструйная, а ниже — омутистая, спокойная. Там вековые берёзы, как в зеркало, грустно смотрелись в речную гладь — что ни год, то новые морщины на некогда белоснежных стволах.

— Срочно запечатлеть для потомков! Где фотоаппарат?

— Чего не знаю, того не знаю. Верунчик, давай договоримся: у меня — своё рыбацкое, у тебя...

— Моё дурацкое?

— Не угадала. У тебя — всё остальное.

— Смотри, Лёшенька, прогадаешь! Всего остального очень много.

Пока Верунчик, спустившись к воде, примерялась к роскошной речке курсами-фокусам, Лёша занялся “своим рыбацким”. Вытащил из багажника лодку с поэтическим названием “Тузик” поливинилхлоридовый, распластал её на песочке, вставил в пазы сиденья и повернулся за “лягушкой”, то бишь резиновым насосом.

И замер с каменным лицом.

Запоздалая память с безжалостной услужливостью развернула перед его внутренним взором картинку. На этой картинке с фотографической точностью, с сумасшедшим количеством пикселей, во всём цветовом богатстве была изображена часть прихожей с входной дверью. Ужас притаился в углу, справа от двери.

Удочка!

С рыбацкой сумкой!

В которой всё, от крючка до наживки!

Ну, как?! Как Кузюкину удалось вместе с удочкой и сумкой не забыть взять в дорогу голову?! Фантазмагория! Неразгаданная тайна серого вещества!

— Лёшенька, тут такие кадры!.. — словно из параллельного мира доносился восторженный голос жены.

В следующую секунду Верунчик вздрогнула и чудом не уронила фотоаппарат в светлые воды Ловью. Сосновый бор испуганно притих. Он много чего понаслушался на своём вечнозелёном веку, но такого вопля, такого знания парашафов неизящной словесности он не знал.

— Лёша, что случилось? — тревожно запрашивал параллельный мир.

Какие у неё огромные глаза! С какой изящной лёгкостью она взлетела на речной обрыв! Грациозная лань из роскошной сказки!

— Лёша!..

Кузюкин стоял памятником нерукотворным самому себе, туло уставившись в багажник родимого автопрома, словно там в развёрнутом виде лежала его трагическая судьба.

Говорили тебе, Кузюкин, говорили: женщина и рыбка несовместимы, как губная супернежная помада и банка грязно-коричневого солидола. Говорили ведь!..

Ладно, не добывать же Лёшу Кузюкина в минуту тяжёлой утраты. Успокой бы, отвести от его несчастного сердца секиру инфаркта. Пусть лучше Верунчик...

Она сразу всё поняла. Приобняв, нежно погладила по голове... и столбняк начал отпускать благоверного. Она тихонько щebetала ему о чём-то, тут и бор стал нащёптывать успокаивающее, и бабочка села на рукав его штормовки...

Жизнь продолжается, Кузюкин! Выше голову! Вполне возможно, что мир способен выжить без удочки и рыбацкой сумки, хотя это ещё не проверено.

— Отдохнём, грибочков поищем, — нащёптывала Верунчик. — Я книжку взяла с собой.

— Вера!

Вера вместо Верунчик — это очень серьёзно. Это как окрик: “Стой, кто идёт!” Такое заставляет вспомнить семейнообразующую истину: жены должно быть ровно столько, чтобы её чуточку не хватало.

— Не расстраивайся, Лёшенька, — перешла она на голубиное воркование. — Я погуляю с фотоаппаратом, а ты успокойся. Потом чай будем пить, у меня такие ватрушки!..

Нет, женщине спеты далеко не все гимны, “полные любви и удивленья”.

Проводив взглядом Верунчика, Кузюкин глубоко вздохнул, и это помогло ему вспомнить, что ещё неделю назад он собирался подкачать передние шины. Да, шевелиться надо, двигаться, чтоб крыша не съехала, чтоб стропила не трещали. Движение — это жизнь!

Стараясь не встречаться взглядом с бездыханной лодкой, коварно разложенной на песке, он стал извлекать из-под складных сидений, из-под столика, из-под неприлично расплывшей сумки автомобильный насос.

— Лёшенька! — донеслось певуче с опушки бора.

Кузюкин ещё глубже вздохнул и страдальчески поморщился.

— Лёшенька, тебе удочка нужна?

Переступавший с ноги на ногу Кузюкин замер. Почему он не падал, стоя на манер Пизанской башни, могут ответить только в клубе “Что? Где? Когда?” В следующую секунду он, словно пущенный из осадной катапульты, был возле Верунчика.

— Где?

Очаровательно улыбаясь, она игриво указала пальчиком... кажется, в сторону северо-северо-востока.

...Она стояла, прислонённая к матёрой сосне, как часовой на стратегически важном посту. Никто не знает, кто её туда поставил, сколько ей пришлось стоять здесь без смены караула, забытой всеми разводящими. Но разводящий пришёл и снял её с поста. И палкоподобная, кривоватая, но милая до святой слезы удочка была счастлива.

Мало того, удочка оказалась в полной боевой готовности: слегка поржавевший крючок на толстой леске, грузило в виде маленького болтика, поплавочек, выстроганный из сосновой коры. Сияющий Кузюкин поднял глаза на своего Верунчика. И было в его взгляде столько благодарности, нежности

и восторга, что она вмиг почувствовала себя на высоченных каблучках, с потрясающей причёской “А ля метагалактика”, в блистающем сверхзвёздами бальном платье и в разящем налево и направо макияже...

— Верунчик! Ты... ты богиня!

Интересно, кем бы она была, найди она ему американский спиннинг “Шекспир” с добротной плетёнкой на японской безынерционной катушке “Шыmano” вместе с набором вышколенных финских блёсен?

— Верунчик! — После упражнения с непристойными параграфами так трудно находить слова! — Я... я попробую на хлеб.

— На хлеб?! — Верунчик соскочила с высоких каблучков и посмотрела на него, как на неумеху, завалившего экзамен на звание “чайника”. — Тут что, короеды не водятся?

Ничего себе! Может, это не Верунчик, а загримированный под неё рыбак экстракласса?

— Дай нож. Я короедов поищу, а ты лодку надуешь.

Причёска “А ля...” вместе с макияжем “Супер” растаяли, как дым, как утренний туман.

— А ба-баночка? — вовсе растерялся Кузюкин.

— У меня пакетик есть, — сказала Верунчик, похлопав себя по вечернему... э-э, по карману джинсов.

Она протянула руку за ножом, и для Лёши это был самый подходящий момент, чтобы грозно крикнуть: “Ты кто? Колись!”

Вместо этого Кузюкин покорно пошёл давить “лягушку”. Чтобы лодка была надёжно надута, “лягушку” надо придавить раз двести, пока она не устанет квакать.

Верунчик вернулась, когда резиновое судно с интригующим названием “Тузик” готово было доказать, что собаки отлично плавают.

— Хватит?

В пакетике самодовольно шевелились десятка два раскормленных короедов.

— Да ты... — Кузюкин снова растерял подходящие слова.

— Знаю: богиня, — кокетливо улыбнулась жена. — Теперь будет уха?

— Верунчик, царская!

— Хвались, хвались. Ты как похвалишься, так ничего не поймашь.

— Ну... без прикормки бешеного клёва, конечно, не будет...

— Как?! Ты ведь сказал, что взял прикормку!

— Прикормку-то взял, а вот прикормочница, сеточка такая, там осталась, — махнул рукой в ту сторону, где предположительно должен находиться правый угол прихожей у входной двери.

Верунчик хмыкнула неопределённо, открыла дверь машины и села на заднее сиденье.

Лодка уже полоскала в речке свой задранный поливинилхлоридовый нос, когда на краю обрыва показалась жена. В её руке был кусок светло-коричневого капрона.

— Лёшенька, этого хватит?

— Ну, ты даёшь! Ты что, колготками пожертвовала?

— Они у меня расплзлись, вчера ещё хотела выбросить.

— Верунчик!..

— Знаю, знаю!

Стосковавшаяся в одиночестве палкоподобная удочка старалась изо всех своих деревянных сил. Она уже подцепила десятка полтора хороших ельцов и успокаиваться на этом не собиралась. Время от времени жена, не выпуская из рук фотоаппарата, подходила к обрыву и смотрела на рыбака со снисходительной улыбкой. Это была улыбка победителя безжалостных обстоятельств.

— Верунчик, а лавровый листик у тебя есть? — радостно спрашивал Кузюкин, словно читал любимые стихи.

— Есть.

— А лучок, а перчик, чёрненький такой, горошком? — рвалось из его благодарной души. — А...

— Лёша, запомни! — назидательной прозой ответила Верунчик. — Я без лаврового листа, перца и колготок на рыбалку не езжу!

Уха, конечно, была. Лично я ушицы из их котелка не отведал, но верю этой милой паре: получились она поистине царской.

О чём бишь я? Ах, да!.. Жён беречь надо! Оберегать, охранять, ограждать от всего, что может нарушить их божественное спокойствие, душевное равновесие и, понятно, драгоценное здоровье. А для этого надо, надо брать их на рыбалку!

Тем более что рыбалка легко становится понятием женского рода.

## ЁК-МАКАРЁК

### РАССКАЗ

— Хе-хе-е, ёк-макарёк! Ты чего эт вынырнул? Какого ляда ты тут не видал?

Это дед Селиван, сидя над своей лункой, ерша журит. Держит его на мормышке в подвешенном состоянии и выговаривает. Ерш чуть больше ногтя. Изогнулся колечком, не трепыхается, ждёт своей участи. Дед снял его с крючка, бросил в лунку.

— Нырйай, ёк-макарёк. Чтоб я тебя, фулюгана, не видал тут больше. Вся курью захватили тараканы, ёк-макарёк!

Любит дед Селиван с рыбой беседовать. И не только с рыбой. Червяку, мотылю найдёт что сказать, и всякой твари, всякому предмету окружающего мироздания слово у него припасено. Всё достойно беседы с дедом Селиваном.

— Ты меня, конечно, извиняй, — винится он перед червём, — такая у нас с тобой служба, ёк-макарёк. Велено нам с тобой рыбку ловить. Ты с одного конца, а я тут вот, с другого!! Меня не ругай, не я порядок придумывал, ёк-макарёк.

Ростом дед невысок и худощав, на перепаханном морщинами лице нос сизой картошкой красуется, жидкая бородёнка неухоженная вперёд топорщится. Сидит он на деревянном ящичке, старый кожух бечёвкой перепоясан, шапка солдатского кроя одно ухо свесила, будто прислушивается. Не зябко деду — хорошо греют просторные ватные штаны и валенцы, собственной, видать, рукой подшитые. Терпеливо сидит, никакого недовольства вялым клёвом не выказывает.

Кажется, что с лица его никогда не сходит добродушная улыбка. Вторую мормышку подряд о сорное дно оборвал, третью на леске вяжет, а лицом вроде улыбается. Но язык своё знает:

— Ты там рот-то не разевай, ёк-макарёк, не цепляй что попало. Мне вас всё ж таки за деньги в городе дают. Окушка мне цепляй, да поядрёней.

Моя лунка близко от деда Селивана, каждое слово слышу. Слушаю да усмехаюсь. Занятный дедок. Он местный, из деревеньки, край которой отсюда, из курьи, виден. Всяк рыбачок в курье его знает.

— Здорово, дед Селиван! Клюёт?

— Клюёт, ёк-макарёк, да в самое темя, хе-хе.

Вот мужик тучноватый по льду вышагивает с буром наперевес, вроде винтовки с примкнутым штыком. В пухлой камуфляжной куртке, в таких же штанах и рыбацких бахилах он ещё тучнее кажется. Прямо на деда правит.

- Здоров живёшь, дед Селиван!
- А то как же, Аркаша, здоров! Стропила держат, ёк-макарёк?
- Держат, дед. Твоими-то молитвами! Примешь?
- А нальёшь, дак и чего ж!

В Аркашину руку как бы сама собой вспрыгнула бутылка, а другой рукой он уж стопку гранёную из кармана вытянул. Пока дед под сизую свою картошину стопочку опрокидывал, Аркаша, как фокусник, и сосиску варёную ему протянул.

— Ы-ы! — рыкнул дед Селиван, потешно тряся бородёнкой. — Сладкая попалась. А ты-то чего?

— Я уж с мужиками. Вон скучковались, гогочут. Анекдоты травят.

— Ну, эт как водится, ёк-макарёк. Самое весёлое время, когда не клоёт.

Сюда я повадился ездить только в эту зиму, прежде и не знал, что есть на Вычегде такая курейка. Она бы и немудрящая, но уж больно уютна. С правой стороны спелый лес стоит, слева — старый ивняк плотной стеной вытянулся, а вдали, на пригорке, — избяные думы небо подпирают. Морозный ветер не шибко тут буянит; оно и добро. Опять же рыбаков в курье этой не так много набирается, никто не станет лунку бурить под твоим задом. Ну, и что, коль не очень рыбная курейка? Не ради ведь промысла наш брат зимние дороги на колёса наматывает.

С дедом Селиваном, можно сказать, в первый же час познакомились: “Мы тут всех примаем, которые без динамиты”.

Так получалось, что наши лунки частенько оказывались рядом, и мало-помалу я кое-что узнал о немудрёной жизни его деревенской. Что уж там мудрёного, коли всю жизнь на скотном дворе мантулил. “Жизнь моя, — сказал дед, — сплошные палочки”. Это значит, трудодни колхозные, их палочками копечными отмечали. Да ещё заплата ли... За такую жизнь деду Селивану, может, памятник надо ставить прямо возле скотного двора. Но колхоз стал совхозом, который потом развалился вместе со скотным двором. И не осталось на земле места, где бы деда Селивана можно было увековечить. Так вот и живёт без памятника со старухой своей, бывшей дояркой.

От рюмашки дедова картоха из лиловой постепенно становилась красной. Стало быть, на пользу пошла “сладкая”.

— Слышь, майор!

Дед Селиван почему-то майором меня зовёт. Вроде, не пытался я тут командовать, с чего бы майором стать? Сразу ему не сказал, что как был в молодости сержантом, так им и остался, а теперь вроде и не к месту сознаваться.

— Слышь, что говорю: я его ругаю, а он мне наливает. Вот дела, ёк-макарёк!

— Аркаша-то?

— Ну, да. Он у меня по соседству дом ставит. Гляжу, стропила слепил как попало. Ты что ж, говорю, ёк-макарёк? Подломятся, говорю, снега-то у нас будь здоров! Ну, переделал. На другой день подошёл, налил.

— А сейчас за что?

— Дак за что... Вчера гляжу — он на ступеньках лёд топором рубит, аж кряхтит. Я его и ругнул, ёк-макарёк. Этак за год все ступени изрубит.

— Выходит, за науку наливает?

— Ну, да, за науку, а то за что ж.

— И часто ты его ругаешь?

— Ругаю. А чтоб часто, не скажу. А то ещё осерчает, доской навернёт, ёк-макарёк.

Выдернул дед Селиван очередного ершиного лилипутика, поговорил с ним по-хорошему; на меня обернулся:

— Слышь, майор, что скажу тебе. Где ты сидишь, там у тебя клевать не будет.

— Это почему?

— А потому: налим там стоит, ёк-макарёк. Он ерша ко мне сюда согнал. Ты возьми да вылови его, фулогана. Я на неделе двух там взял.

— Чем же я его? Никогда налимов не ловил.



Дед Селиван крикнул досадливо и без слов полез в свою сумку. Выпротстал из неё моток толстой лески с огромным крючком и грузилом на конце, привязал его к палке, что была воткнута в снег.

— Забирай, майор! Вот тебе жирный червяк, сам нанижи.

Смотал я свою удочку с тончайшей леской и ювелирного вида мормышкой, пустил в лунку дедову снасть с жирным червём. Сижку, жду от моря погоды.

А деда Селивана рюмашка разогрела, язык на привязи не держится.

— Ах, ты, ёк-макарёк! Опять вынырнул! Я ж сказал, чтоб ноги тут твоёй не было!

Опять на его мормышке ёрш с ноготок колечком висит. Может, правда тот самый?

Потом дед снова с червём побеседовал, лунку пожурил за то, что очень уж быстро ледком покрывается... Я и не заметил, как под его говорок задремал над лункой.

— Эй, майор! Налима проспишь, ёк-макарёк! Проверь-ка, он прорва не насытная, а тихонько берёт. Возьмёт и сидит, пережёвывает.

Взялся за снасть. Не идёт что-то. Зацеп или, правда, налим? Сонливость с меня вмиг слетела.

— Вроде, есть что-то, — говорю.

— Дак и того, поднимай, ёк-макарёк! — Дед Селиван был уже возле лунки. — Поднимай, теперь не уйдёт!

Рыбина упиралась вяло, но у самой лунки ей вздумалось свернуться кольцом, в точности, как ёршик.

— Тащи, майор!

— Куда тащить? Он же вперёд хвостом идёт!

— Говорю тебе, тащи, ёк-макарёк!

Вот уже конец хвоста из лунки торчит. Уйдёт! Свободной рукой я схватил этот хвост, да куда там! Налим, он и есть налим — скользкий, как намыленный.

— Не дёргай! — заорал дед. — Не дёргай, ёк-макарёк, я сам!

Не успел я опомниться, как он упал на колени, быстро наклонился и хватанул зубами налимиий хвост.

Р-раз! И рыбина шмякнулась на лёд. Кило с лишним потянет.

Дед Селиван встал на ноги, отплевался.

— Дёргает, дёргает, ёк-макарёк! А зубы на что?

А меня смех пробрал.

— Ловко же ты его!

— А то не ловко... Фамилия-то у меня какая, знаешь?

— Нет, не знаю.

— Э-э... Налимов я! Налимов, ёк-макарёк!

АНДРЕЙ КАНЕВ



## НАХЛЫНУЛО

РАССКАЗ

На душе у Василия Туркина было беспокойно, хотя вроде бы всё шло нормально. Самолёт, летевший спецрейсом, будто завис в воздухе. Внизу облака — чего только не выстраивало из них воображение! Ребята, чумазные стреляные воробьи, пьяные возвращением домой, спят. Позади осталась дружеская Махачкала, куда привезли отряд спецназа автобусом со всей амуницией и снаряжением из-под треклятого Грозного. Солнце светит в иллюминатор, словно и не зима вовсе, а самое что ни на есть жаркое лето в самом разгаре.

В такие минуты бездействия всегда хочется окинуть взглядом свою жизнь, может быть, подвести какой-то итог. Подумать о будущем.

А что? В общем-то, жизнь у капитана милиции, большого и вдоль, и поперёк человека Василия Туркина, сложилась, на его взгляд, просто замечательно. По службе продвигался, вовремя получал новые звания. Заочно окончил юрфак. Мужики его уважали, а теперь, после Чечни, ещё больше зауважают, ещё уверенней начнут прислушиваться к его мнению. Год назад квартиру дали.

До этого снимал Василий почти за так дачный домик у своего начальника. Жили они тогда с женой, словно в его родной деревне. В баньке помыться, воды из колодца натаскать, звонких на морозе дров поколоть, тишину ночную, полную загадочных шорохов послушать — это ли не наслаждение

---

*КАНЕВ Андрей Валерьевич родился в 1963 году в п. Ачим Княжпогостского района Республики Коми. Окончил филфак Сыктывкарского университета и аспирантуру при Коми научном центре УрО РАН. Автор нескольких книг стихов и прозы. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Член Российской ассоциации ветеранов боевых действий МВД и внутренних войск. Лауреат Лермонтовской литературной премии патриотической поэзии. Член Союза писателей России. Живет и работает в Сыктывкаре.*

и счастье для него, сельского паренька! Одно плохо — далеко на службу добираться, двумя автобусами. Да, ему-то что, проезд всё равно бесплатный, а раньше встать на часок не сложно, а только в радость.

С женой Василию крупно повезло. И красивая, и хозяйственная. Поначалу, конечно, попробовала, было, повыступать, но Туркин сумел ей показать, кто в доме хозяин. Мужчина, если он настоящий мужик, и должен быть в доме хозяином. А как он любит свою Ольгу — словами не расскажешь. Он себе без неё и минуты жизни представить не мог. Да и в редкой семье такое бывает, что вот уже пятый год живут вместе, а он всё, словно сумасшедший, не может на неё спокойно смотреть.

Туркин денег с собой везёт — ей столько и не снилось. Первым делом купит ей хорошую шубу, шапку и сапоги в фасон. Пусть его куколка будет понастоящему упакована. Хватит жаться. Теперь деньги есть, получил “боевые”. Нужно будет — ещё съездит в командировку и подзаработает.

Мечтал ли он, в недавнем прошлом обычный деревенский мальчишка, о такой замечательной жизни, выстроенной им самим собственными руками в чужом городе? Конечно же, нет. Подумав обо всём об этом, Василий остался горд собой.

Через несколько часов полёта в шесть утра самолёт сел в морозном городе.

Командир отряда спецназа Василий Туркин отрапортовал встречавшим из управления внутренних дел о выполнении поставленной задачи, о том, что весь личный состав жив и здоров. После чего дал команду своим орлам разгрузиться и ехать на базу. Дела шли — не придерёшься, но на душе всё равно было почему-то беспокойно.

Может, что с Ольгой стряслось? С его любимой жёнущкой, пока он был на Кавказе, игрался в аты-баты, беда приключилась?

Он вспомнил последний разговор с ней по телефону, прошептал:

— Да нет, вроде бы всё было в полном ажуре...

Ждёт, любит и прочее. А что ещё положено делать жене боевого офицера, когда он в командировке в зоне вооружённого конфликта выполняет свой долг по восстановлению конституционного порядка на территории страны, за что ему, между прочим, зарплату платят.

Через полчаса, расквитавшись с делами, Туркин уже летел к своему дому на отрядной “буханке”.

Одним махом взлетев на третий этаж, он отомкнул дверь своим ключом. В квартире пахло родным теплом и уютом. Как же он всё-таки истосковался по дражайшей своей половине! Оставив рюкзак в прихожей, Василий заглянул в спальню. Ольга ещё спала. Она лежала на левом боку, и правая нога выпросталась из-под одеяла. Увидев эту голую красивую ногу, Туркин чуть не задохнулся от нахлынувшего на него чувства восхищения и желания. Словно в детстве накрыла его с головой волна от катера-“водомётки”: и страшно, и восторгу нет предела...

Он стал лихорадочно стаскивать с себя грязное, пропитанное известняковой пылью камуфлированное хламьё. Потом замер на минуту.

— Милая моя, солнышко моё... — шепот вышел хриплым и прерывистым.

И как был, терпко пахнувший окопом, так и нырнул к ней под одеяло — в тепло и уют домашнего очага.

Очнулся Василий от сна уже ближе к полудню. Жена была на работе. Он смутно помнил, как она уходила. Счастливо улыбаясь, — много ли мужику, в принципе, надо! — прокрутил в голове сладкие минуты встречи с полусонной Ольгой. Её отчаянные вопли, пока она не поняла, что это не кто-то другой, а её собственный муж вернулся с войны.

По радио передавали песню:

*...дорога, дорога,  
осталось немного,  
мы скоро вернемся домой...*

Быстро вскочил с постели и направился в душ. Затем с удовольствием заглотив найденные на кухне “домашние коврижки”, накатив под них на грудь стакан привезённого с собой дербентского коньяка. Песня о дороге продолжала сотрясать воздух вокруг него.

Ещё одна горячая волна нахлынула на Туркина. Он поёжился и вспомнил свои страхи-переполюхи, сумасшедшую стрельбу в городских развалинах... Он выпил ещё полстакана и вдруг заметил подоткнутую под телевизор на холодильнике голубенькую тетрадку. Некоторое время Василий сидел и тупо смотрел на неё. Хотя выпитое согрело его изнутри, на душе всё одно было как-то беспокойно.

Туркин протянул руку, раскрыл тетрадку где-то посредине и стал читать слова, написанные Олиным ровным почерком...

“О, Господи, нахлынуло на меня, как малолетняя дура, сижу и пишу дневник. А как жить по-другому? Кому ещё расскажешь?”

Вот вчера, например, приснилась большая белая крыса. Большая хитрая белая крыса. Крысы — это почти единственное, чего я панически боюсь, то есть боюсь так, что перестаю соображать, что я делаю и говорю. Так вот, эта большая толсто-гладкая белая ухожженная крыса с наглыми глазами непонятого цвета — то чёрными, то красными, то зелёно-голубыми, то прозрачными — и длинным нежно-розовым хвостом вилась вокруг меня полночи, она снилась мне непрерывно, в разных сюжетах, размерах и возрастах. Похоже, у неё была основная цель: укусить меня в руку, точнее, в то место, где у некоторых бывают оспины от прививки. Это очень нежное место наверно, было бы ужасно больно, если бы она всё-таки вцепилась в меня.

Фрейд, которого я недавно читала, уверяет, что сны — это зашифрованные тайные мысли и желания и что непременно надо их расшифровать, а то хуже будет. Ну, хорошо. Крыса. Ассоциация какая? Деревянный дачный домик, который мы снимали, когда поженились. Мебели почти не было. На полу лежал матрас, а под полом ходили крысы. Не всегда, но ходили. Иногда они дрались и очень громко при этом пищали, почти визжали, иногда принимались грызть в том месте, где на полу стояла провизия.

Когда приходили крысы, у меня ноги холодели от ужаса. Мне казалось, что ещё секунда — и они прорвутся через какую-нибудь щель и понесутся по полу, а я лежу на матрасе, и мне даже вскочить некуда — стола нет, а на табуретку и им выпрыгнуть нетрудно.

Я проклинала их, я проклинала мужа, который не в состоянии был защитить меня от этого кошмара. Более того, он не понимал меня. Он думал, что я фиглярствую. Он бросал тапку в то место, где они скреблись. Иногда это помогало, они уходили, чтобы вернуться через час.

Мы не могли купить мебель, потому что расплачивались с долгами. Долги были свадебные. У других после свадьбы деньги есть — те, которые подарили, а у нас — долги. Мои родители решили просто:

— Мы тебе денег дарить не будем, — это папа.

А мама добавила:

— Лучше мы тебя оденем с ног до головы и хорошую свадьбу справим...

Одеть им меня не удалось, но приодели, конечно. И свадьбу справили. Было весело. Только Вася быстро напился...

Ну, а у мужа-то отца нет, одна мать. Да и ту сыночек уж давно высосал. А гонору-то — вагон! Ну, он и давай занимать и в свадьбу вкладывать. Друзей-ментов приглашал... Потом у него не то что костюмов — трусов-носок не было. Одни сушит, другие носит. Короче, он решил, что для семьи полезно будет, если он тоже приоденется. Снова занял.

Все мои родственники дарили вещи — видно, мать надоумила: молодые, мол, на ветер деньги-то пустят. У него из родственников — мать да тётка, вот и всё. Мать немного ещё до свадьбы дала, а тётка двести рублей подарила. Друзья его... Они в наглую, без подарков явились. Нет, я ничего не прошу, но свадьба-то отгремела, отплясала, а на третий день выяснилось... Я-то, наивная, и думать не думала, что Вася всем своим друзьям понемногу, но должен.

Как отдавать-то? У него зарплата ерундовая, у меня тоже — бюджетники оба. Мои родители всё, что могли, на меня уже потратили. У его матери пенсия — птичка-невеличка... Я чуть не плачу, а он то смеется, то злится. Подумаешь, говорит, это что, деньги, что ли? Деньги — не деньги, а год отдавали.

Васина мать телёнка сдаст, деньги пришлёт — отдаём. Мои подкинут — свои добавим и несём из дома, потому и был дом — не дом. Матрасы да коробки, да две старых табуретки. Не в коробках, конечно, дело. Обидно страшно. Да за те деньги гарнитур купить можно было...

Когда крысы приходили, я всё время это вспоминала”.

...К двум часам дня за окном начало темнеть. О чём-то бормотало радио. На стене громко тикали часы домиком. Василию всё труднее становилось разбирать написанное.

Он распрямил спину:

— Чего ей теперь-то не хватает? И деньги все домой несу, и получаю сейчас прилично, и квартиру от МВД дали... Живи да радуйся, дура...

Он, капитан милицейского спецназа Васька Туркин, — плохой мужик, что ли? Чего бабе не хватает?

Туркин встал, отложив ненавистную тетрадь. Включил на кухне свет и, присев на табурет, снова стал угрюмо шевелить губами, вчитываясь в написанные Ольгиной рукой строки.

“Ну, это я отвлеклась. Это всё с крысами связано. Но почему эта белая была? Опять, что ли, с Васькой связано? Васька у меня белый, блондинистый, красивый. Я его, когда на дискотеку пришла, — чуть вошла — сразу увидела. Он среди остальных мужиков, как белая среди серых крыс стоял. Он сейчас, правда, толстый стал. Ага, и крыса толстая была, ухоженная... Точно — Васька! Выходила-выходила я его, вынежила...”

Дуры мы, бабы. Вместо того чтобы себя любить-тешить, мужиков тешим, себя — по боку. А потом в крик-плач:

— Изменил!..

Или вообще ушёл.

Да так нам и надо. Иной раз смотришь: был сморчок занюханный, а женился — стал ходить бстиранный, кормленный, удовлетворённый. Приодели его, обласкали. Волосы, глядишь, у него распушились, плечи расправились, взор затвердел. И тут же бабы одинокие, да и не очень одинокие стали липнуть... И увели.

А женщину вы хоть одну видели, которая бы после замужества расцвела? И не увидите. Сумки-сетки, кастрюли-сковородки, полы-ковры, носки-рубашки, пелёнки-распашонки, соски-коляски...

Руки красные, лицо землистое, волосы жидкие, рот нервный. И уведут, уведут мужа-то...

Как хорошо писать, валяясь в постели! Всё. Встану сейчас, в баню, нет — в сауну пойду. Одна. Потом маникюр пойду сделаю, плевать, что дорого, муж дороже. Обед сегодня готовить не буду, потерплю. На днях вернётся из командировки, веди, скажу, меня, Васенька, в ресторан обедать. Он, конечно, начнёт то да сё, долго да дорого. Если честно, то он на себя только щедрый, а на меня скупой. Вот на этом я его и поймаю. Неужели, скажу, ты себе за всю военную поездку не заработал гробовых-окопных на один хороший обед в воскресенье? Сможешь же ты, скажу, в конце концов, позволить себе один разок в неделю хорошо поесть. Пойдёт как миленький, никуда не денется.

Замечательно, что его так долго нет. Сейчас бы он проснулся и приставать начал. А я не хочу. Ему всё время надо. В любом месте и в любое время. Лишь бы было десять свободных минут. А я так не могу. Мне сначала успокоиться надо, расслабиться, настроиться! А Васька не понимает, злится, холодная, говорит. А если я отказываю, вообще свирепеет, скандалы устраивает, фригидной обзывает.

Одно время занялся моим сексуальным воспитанием и просвещением. Книжки всякие приносил, брошюрки с картинками. Фрейда тогда принёс,

потому что ему сказал кто-то, что это про секс. Но там про секс ничего и не было, трудно сказать, про что было, медицина какая-то. Но вот про сны я поняла, и мне понравилось.

Нет, это неправда, что я фригидная. Ведь я его так хотела раньше! Я его сразу захотела, как увидела тогда, на танцах. Прямо вместо крови кипятков по жилам побежал...

Наверно, это тогда началось, когда я ему в первый раз отказала. Говорю:

— Устала я, Васенька, не хочется мне...

Действительно, день был трудный. А он дальше лезет:

— Не хочешь. Так я силой!..

Смех смехом, а в общем-то так на самом деле и вышло. Мне больно было. Я разозлилась. Он тоже расчиховался, стал права качать:

— Ты мне жена, ты должна!

Пошёл на кухню и мою любимую чашку разбил. Потом ещё так было пару раз. Я не выдержала и что-то очень обидное ему сказала, а он меня в ответ по лицу ударил. Затем долго-долго извинялся, не хотел, мол, говорит. Две недели ходил тихий. Но я с тех пор этих скандалов стала бояться. И врать, и терпеть. “Всего лишь немного потерпеть”, — так говорила старуха в фильме “Легенда о Нараяме”, на который меня Васька в целях посвящения водил.

С тех пор со мной что-то произошло. Будто мне в живот положили холодный камень. От этого, наверное, и забеременеть не могу. Да сейчас это и к лучшему. Какие нынче дети?

Да. Эта крыса точно Васька был. Хвост её длинный, розовый, ненавистный — точно, как у него одно место. И вилась она вокруг меня так настойчиво, так нагло, укусить хотела... Ну, точно он вьётся, когда ему очередной раз хочется.

Но почему туда, где оспа? Ведь у меня оспы нет. Оспы у меня нет потому, что мне все прививки врачи отменили. Какую-то одну сделали, я чуть не умерла. Аллергия какая-то, оказалась, наследственная.

Стоп. Так это что же получается? Что же это за мысль такая зашифрованная? Муж мой — крыса разжиревшая, поганая, укусить хочет, то есть отыметь меня, а в этом укусе прививка, то есть смерть моя. То есть мысль моя в чистом виде такая, что боюсь я панически и ненавижу смертельно я мужа моего. А он меня насмерть заездить хочет.

Ой, мамочки мои родные! Может, я чего прочла неправильно иль не так расшифровала? Как же я теперь с такой мыслью жить буду? Не разводиться же мне теперь из-за Фрейда, дурака, наркомана старого? Да и как разводиться? Что я в суде скажу? Не пьёт, не курит, деньги домой носит, не изменяет даже! Да как разводиться, я ж его люблю... вроде бы”.

...Написанное было датировано вчерашним числом. Василий захлопнул дневник и сунул его туда, где взял. Столько боли и обиды нахлынуло на него, что Туркин подумал: “Вот сейчас лопнет сердце...” Но оно не лопнуло.

На кухне радиодиктор говорил о том, что скоро морозы в далёкой Москве пойдут на убыль.

Василий огляделся. В никелированном чайнике отразилось его лицо, неузнаваемо искажённое пузатым боком.

— Действительно, крыса... белая... — прошептал он и заплакал.

АНЖЕЛИКА ЕЛФИМОВА



## ПО НЕБЕСНОМУ НАСТУ...

\* \* \*

В деревню — домой — всё длиннее, длиннее дорога,  
Хотя расстояние то же — знакомы пейзажи.  
Ухабы засыпало — стали ровнее, и даже  
Нет грязи, что прежде месили. Острее лишь тревога.

Острее желанье — домой! Хоть на день. Всё успею:  
Окошки помыть и свою беспокойную душу,  
И печки сонливой мудрёную сказку послушать.  
Поеду домой... А дорога длиннее, длиннее.

\* \* \*

По небесному насту иду босиком.  
Ты же знаешь, всегда я легка на подъём.  
Словно в детстве, иду до родного села —  
И дорога небесная так же светла!

---

*ЕЛФИМОВА Анжелика Геннадьевна родилась в селе Маджа Корткеросского района Коми АССР. Закончила Сыктывкарское училище искусств по классу хоровое дирижирование, Литературный институт им. А. М. Горького. Автор двух сборников стихотворений. Лауреат премии общества М. Кастрена (Финляндия) в области журналистики. Член Союза писателей России. Литературный консультант Союза писателей Республики Коми. Живёт в Сыктывкаре.*

Солнце — рядом. Уходит звезда из-под ног.  
Только ветер в лицо. Только голос продрог.  
Но взгляни же наверх да раздвинь облака —  
Посмотри, как любовь у тебя высока.

\* \* \*

— Попробуй что-нибудь забыть, чтоб возвратиться...  
Неверные слова, затем пустые лица...  
Чему завидует предутренний туман —  
Двум грешным людям, искупающим обман?!

— Я забывала, чтоб вернуться — сны и ложь.  
В одну и ту же Эжву дважды не войдѣшь,  
В одну и ту же реку веры и любви,  
Хоть душу водяному посули.

\* \* \*

Не позволила себя я  
Остеречь —  
Вот в столицах и теряю  
Коми речь.  
Вот и в сладкие минуты,  
Затая,  
Вздоргну: жизнь моя — как будто  
Не моя...

*Перевод с коми  
Владимира Цивуна*



ИВАН БЕЛЫХ



## ТАМ, ДАЛЕКО-ДАЛЁКО

РАССКАЗ

С какого же времени я стал помнить себя? Иной раз в памяти мелькнёт туманным видением картина из раннего детства, и тогда кажется, что помнишь себя с пелёнок, с зыбки.

Чаще всего память, как настойчивый поводырь, приводит меня к окошку в нашей деревенской избе. словно заправский киномеханик, она, моя не худая ещё память, прокручивает одну и ту же ленту. Картина настолько проста и бесхитроствна, что рассказывать о ней не следовало бы. Но она дорога мне до тихой душевной боли, значительна, как философский трактат.

Жаркое северное лето. В сияющей голубизне неба плавится солнце. Я, бесштаннный карапуз, сижу в прохладной летней избе у раскрытого окна и постигаю ошеломляюще просторный мир. Он пугает меня своими аховыми размерами и в то же время завораживает, неодолимо манит к себе.

Из окна мне видно всё. Сразу за деревней — спелые поля, ржаное и пшеничное. Их цвет кажется мне вкусным. Чуть ниже начинаются кочковатые пойменные дуга, огороженные змейками словых и сосновых веретей. В прогалах между веретями синее лента величавой Вычегды-реки. За рекой расстилается плотная, косматая медвежья шкура пармы. Отсюда, из деревни, она кажется настолько непроходимой, что я не могу понять, как в неё попадают люди.

---

*БЕЛЫХ Иван Ильич родился в 1946 году в селе Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР. Окончил филологический факультет Коми педагогического государственного института. Работал корреспондентом газеты "Коми му", редактором Коми книжного издательства. Автор четырех книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.*

Тайга поднимается выше, выше, медвежья шкура густеет, переливается на холмах и впадинах, и на самом горизонте заканчивается высокой горой. Мои младенческие глаза научились видеть так далеко, что я стараюсь различить на этой горе вершины самых больших деревьев. Я понимаю, что там растёт особенный, сказочный лес, и всё там должно быть особенное, сказочное.

На самой вершине горы виднелась вышка. Ни одно дерево не могло сравниться с ней. Мне казалось, что это царь загадочной горы, повелевающий деревьями и зверьём. Позже отец сказал мне, что это Керос-гора, а вышку на ней поставили геодезисты. Но это только добавляло загадочности.

Должно быть, я медленно постигал мир, потому что долгое время он для меня заканчивался Керос-горой, за которой, конечно же, не могло быть ничего. Мир казался таким огромным, что мне с лихвой хватало того, что я видел из деревни. И он всё больше становился для меня своим — понятным, уютным. Под осень поля дадут душистый хлеб, рассыпчатую картошку и сочную галанку. В ближайшем лесу спеют голубика, черника, брусника. На склонах веретеек можно полакомиться костяникой и земляникой. В старой, обмелевшей протоке Вычегды купайся хоть до одури, лови селявок. Всё понятно и привычно. Но Керос-гора всегда оставалась для меня тайной.

Когда я услышал от взрослых, что где-то (совершенно непонятно — где) есть большие города, что в них живёт куда больше людей, чем в нашей деревне, и что эти люди ездят по дорогам, летают по воздуху и плавают по морям... Когда я всё это узнал, то пережил потрясение. Я снова вглядывался в Керос-гору и силился поверить, что на ней не кончается мир.

Раньше я не задумывался, откуда к нам приезжают гости. Теперь-то я знал: они живут за Керос-горой. Они живут в другом мире, который, конечно же, не такой красивый, как наш. Но может быть, там тоже растут ягоды и грибы, а в реке водится рыба?

Я подросток ещё немного. И в голову пришла отчаянная мысль: а нельзя ли как-то добраться до Керос-горы? Я бы с неё увидел другой мир и сравнил его с нашим. Я бы узнал, хороши ли эти самые города, где людей больше, чем в нашей деревне. Может, гости глупо поступают, что возвращаются назад, а не остаются у нас, где всё так хорошо и красиво?

Я отчётливо сознавал, что выше Керос-горы ничего нет и быть не может. Поэтому удивлялся, что другие даже не помышляют забраться на неё, чтобы увидеть сразу весь мир. Людское нелобопытство было новым моим открытием, от которого, кстати, я до сих пор не решаюсь отказаться.

Я рос, а вместе со мной расширялся мир. В нём появились страны, моря, океаны. Земля стала круглой, и это, на мой взгляд, было опасно: в любую минуту можно было сверзиться с неё и шмякнуться, почище, чем когда я упал с сарая.

В иные дни, особенно осенью Керос-гора исчезала в непроглядной пелене туч. Мир становился унылым и одиноким. Без горы, без вышки на ней я сам себе казался заблудившимся. Мутное небо целилось в меня первыми каплями дождя. Промазав раз, другой, оно злилось и начинало лить как из ведра. Лем синел, чернел и тоже исчезал. Мир сужался, на душе становилось тоскливо, тревожно. Словно кто-то украл и гору, и лес, и всё, что я любил, чем жил. Даже делалось страшно: вдруг всё это исчезнет навсегда! Разойдутся тучи, а вместо мира — пустота... Но кончался дождь, небо сбрасывало с себя мокрое, холодное одеяло, и я снова любовался Керос-горой, умытой и посвежевшей пармой. Мир не кончался. Мало того, с каждым годом он становился всё интересней.

Я различал и хорошо знал каждую верхушку деревьев-великанов на Керос-горе. Мог с закрытыми глазами нарисовать вышку, хотя издали её опоры казались тоньше паутинок. Каждое утро я первым делом смотрел в сторону горы: если есть она, а на ней — царь-вышка, то буду и я. Если же исчезнет этот компас моего детства, то неминуемо случится что-то страшное в этом непрочном, временами исчезающем мире.

Как же получилось, что я так и не попал на Керос-гору? Строил подробные планы, как переплыву я широченную в наших местах Вычегду, как буду пробираться сквозь парму, прорубая где надо дорогу топором, как одолею

топи... Всякий раз, когда я собирался в далёкий и опасный путь, что-то мешало мне. Мой план был словно заговорённый.

Я бывал там только в мечтах. Гладил ладонями бронзовые стволы великанов, под лапами которых мог укрыться самый большой дом нашей деревни, отважно взбирался на вышку и смотрел на города и деревни. С такой высоты я различал поезда, пароходы, отходящие от морских причалов, видел летящие вдали самолёты.

Я видел с горы всё. И оттого понятной была моя жизнь. И яснее становилось, что мне надо делать в этой жизни.

Но всякий раз что-то преграждало мне путь на заветную Керос-гору. Однако я не обижался, не роптал на судьбу, знал: такая высокая мечта, как моя, не должна так уж легко даваться в руки. Пусть я не был на горе, но ведь она всегда оставалась со мной. Когда делалось особенно худо на душе, когда когтистые лапы обид драли неокрепшее сердце и казалось, что я никому не нужен в целом свете, Керос-гора со своей царь-вышкой, со своими непобедимыми бронзовыми великанами словно говорили мне: "Главное не то, что под ногами, главное то, что в вышине". И я учился жить с поднятой головой, хотя с годами стал понимать, что так жить опаснее, потому что в поднятую голову легче целиться.

Как у всякого начинающего жить человека, у меня были случаи, когда сердце готово было подло струсить, а душа — спрятаться в неподходящее место, то есть в пятки. В такие минуты Керос-гора с её гордой вышкой словно бы спешили мне на помощь, я почти физически чувствовал, как сердце полнится отвагой, как в теле прибывает силы и как уменьшается опасность. Ведь всякая опасность живёт за счёт нашей трусости.

До горы было так же далеко, как и в раннем детстве. Но она становилась мне всё ближе.

Судьба умеет играть человеком, причём с большим азартом. Она далеко увела меня от отчего дома. За долгие годы я многое повидал, много пережил. Но деревня всегда занимала в сердце моём самое почётное место.

И вот в ясный, солнечный день я приехал домой. Родительский дом. Каким теплом от него веет — душевным, неповторимым теплом. Крыльцо. Каждый сучок, каждая трещинка до боли знакомы. Поднимаясь на крыльцо, я всегда смотрел на горизонт, на Керос-гору. Посмотрел и сейчас.

Посмотрел, и сердце защемило. Сперва не понял, что случилось с моей горой. Потом кольнуло: царь-вышка исчезла. Нет её.

"Ничто не вечно под луной..."

Она была, как командир бронзовых чудо-богатырей. Она словно стергла парму от недобрых глаз и рук... Видать, подгнули опоры, обветшали крепления, потом налетел ветровал, и не устояла царь-вышка перед временем быстротечным. Осиротела Керос-гора. Когда-то она давала мне силы, а нынче впору мне саму её пожалеть.

И снова не случилось мне побывать на заветной горе. Не приложил я ладони к бронзовым телам великанов, не снял шляпы перед поверженной временем царь-вышкой.

И ещё пролетели годы. Был я в чужих землях, видел горы величественные выше неба, беседующие с вечностью, плохо различающие жизнь у своих подножий. Видел огромные города, ознакомился с людьми, говорящими на иных наречиях, встречал зори, приходящие с другого берега океана. И всё ниже становилась моя Керос-гора, всё реже согревал я своим сердцем память о бронзовоствольных соснах. Стал я с иронией вспоминать, как собирался оглядеть весь мир с Керос-горы, на которую мог бы, наверно, взойти без роздыху.

В следующий раз я — солидный, изрядно уставший от жизни человек — ехал в свою деревню по новому асфальту, который безжалостно, точным ударом полоснул по самому сердцу горы.

Неожиданно я почувствовал рубец на своём сердце.

Сделалось больно. Я ещё не осознал глубинного смысла этой боли.

Я попросил остановить автобус. Вышел, не замечая удивлённых взглядов пассажиров. Пусть уезжают. Пусть оставят меня в покое. Меня и мою гору.

Я вошёл в древнюю, седую парму, неся в сердце боль и вину. Боль и вина скатались в комок, который мешал мне вдохнуть полной грудью целебный воздух моей родины.

Довольно поживший и повидавший, познавший житейскую мудрость и болезни, притерпевшийся к соседству высокого и низкого, я знал, что не встречу здесь чуда. Оно было, но я не сохранил его, растерял у подножий величайших вершин мира, обронил при рукопожатиях, проворонил, увлечшись океанскими восходами, растряс в бестолковой толчее городов-муравейников.

Тихо и устало брёл я по беломошному бору. Молча, словно чего-то ожидая, на меня смотрели бронзовые великаны. Наверно, я был для них одним из странных муравьёв железобетонного муравейника, лишённого воздуха и света.

Встречались кустики черники, голубики. На беломошнике рубиново горела брусника. Я не касался ягод. Я не мог положить ладони на красные стволы с седыми прядями мха. Что-то было заперто в моей душе, в темнице моей души, что-то томилось там в неволе...

Должно быть, совсем недавно тут был очередной налёт ярко-огненных белок — под соснами мох был усеян вылуценными шишками. Нередко путь мне преграждали могучие стволы поверженных сосен и елей. А ведь издали они казались непобедимыми... Иные павшие великаны наполовину истлели, другие ещё не потеряли побуревшую кору.

Я всё хотел набрести на останки царь-вышки, но не нашёл.

Может, мне больно оттого, что, повзрослев, торопясь жить, я забыл взять с собой из детства что-то важное, главное? А когда захотел вернуться за ним, за этим самым важным, то не узнал его.

Уже не тот я. Ах, до чего же я не тот! На мир смотрю сквозь очки бытового мудреца, сквозь стёкла всезнайства. Мир всё чаще вызывает у меня снисходительную улыбку умеренного, но язвительного сноба. Это мой защитный панцирь, неуклюжий до глупости. Я многое терял навсегда. От многого отказывался сам. Старался что-то найти. Там ли искал? То ли находил?

Усталый, с непонятной ещё тревогой в душе, я подошёл к бронзовоствольному великану, обнял его и приник щекой к шершавой коре.

Я, блудный сын Керос-Горы, что-то предал. Что-то запер в темнице своей души. Надо отпереть эту темницу. Это можно сделать только здесь, на Керос-горе, я это чувствовал.

— Помогите мне, — прошептал я.

Высоко над головой зашумели кроны — должно быть, налетел ветер близкой осени. Ели сердито замахали длинными разлапистыми ветвями. И стихло.

Ладонями и щекой я чувствовал живительное тепло. Оно вливалось в меня, отогревало душу. Я снова был в своём детстве — далёком, счастливым, когда ничего не боялся, потому что у меня была Керос-гора. Детство несло с собой счастье. Счастье от того, что сбылась главная моя мечта: я дошёл до своей горы.

Из бора я выходил другим человеком. На душе было удивительно светло. Нет больше в ней никаких темниц, я выпустил на волю свои детские мечты, и Керос-гора стремительно выросла в моих глазах. Теперь мне даже смешно сравнивать её с головокружительными вершинами мира. Самые трудные восхождения, самые неприступные вершины мы носим в себе. Самые трудные восхождения — на вершины нашей души.

Бодро и легко шагала я в свою деревню, подбирая для неё в уме нежные, ласковые слова, обнимая взглядом парму и небо над ней. Это мой мир. Мне не нужен другой, откуда я всегда привозил усталость и разочарования.

А если мне захочется увидеть тот, другой мир, чтобы ещё раз сравнить его со своим, то я приду на Керос-гору. С неё видно далеко.

*Перевод с коми Л. Столповского*

# УМНЫЙ ДУРАК

## РАССКАЗ

Однажды на уроке истории Валентина Ивановна, чем-то сильно раздосадованная на Максима, сказала ему в сердцах:

— Слушай, Прокушев! Есть у тебя и голова на плечах, и ум в ней водится. А вот лени и упрямства — хоть отбавляй! Ведь можешь хорошо учиться! Даже знаменитостью когда-нибудь станешь, если захочешь.

— А если не захочу? — задорно спросил Максим, совсем, впрочем, не думая нарваться на ссору. Просто мальчишке по-своему льстило, что именно о нём, а не о ком-то другом так сказала эта красивая женщина со строгим взглядом.

— А если не захочешь? — дразня Максима его же словами, Валентина Ивановна помедлила и заключила:

— Если не захочешь — дураком будешь!

Грохнул ребячий смех. Но словно не заметив общего веселья, учительница сказала, как отрезала:

— Ну, не таким уж и дураком. Умным дураком будешь! Есть на свете и такие. И их немало. Из-за собственного упрямства не ладят они с удачей. Отворачивается она от них. Запомни мои слова, Максим, чтобы потом каяться не пришлось.

Строгой была Валентина Ивановна, но уважали её ученики за то, что она всегда находила ответы на их самые неожиданные вопросы, учила думать, а не просто зубрить параграфы учебника. И ведь нашла же что-то особенное в Прокушеве! Ребятам даже завидно стало. Пытались и они новыми глазами взглянуть на Максима. Такой же пацан — ничем не отличается от других! А Валентина Ивановна “отличила”, да ещё как!

После этого и стали поддразнивать Максима, зовя его “умным дураком”. Но он не обижался.

После окончания школы Прокушев с первого раза, несмотря на огромный конкурс, поступил в один из престижнейших московских вузов. Как так удачно получилось, Максим и сам не смог бы объяснить. А деревенские, прознав об этом, с гордостью говорили о земляке: “Вон как высоко прыгнул! Может, большим человеком станет!” А “большой человек” может навсегда прославить даже затерявшуюся в парме деревеньку.

Но особенно радовались родители Максима. Не зря они сына растили. Не пропали их труды понапрасну. Когда-нибудь добром же и обернутся.

Тем временем Максим учился, легко переходя с курса на курс. Его уважали за умение оригинально мыслить. Но особенно сокурники любили, когда Прокушев вступал в дискуссию с именитыми профессорами. Никому не известный, вышедший из глухой таёжной деревни парень порой ставил в тупик своих преподавателей. Разведя руками, они говорили:

— Что ж... Может, ты и прав. Может, всё по-твоему и будет...

И уже внимательно, даже с какой-то почтительностью разглядывали этого студента — раз такие мысли бродят у него в голове, будет из него толк!

Но, как на грех, на последнем курсе чем-то разонравился Прокушеву этот институт. Ну, что с того, что он хорошо учится? Ну, любит изредка поспорить с преподавателями и даже порой кладёт их в споре на обе лопатки. Кто-кто, а уж Максим-то знал, что не своими мыслями он при этом изъясняется, а чужие, книжные пересказывает. А в этом ничего особенного нет — может, только память замечательная да умение вести дискуссию.

Своего, оригинального ничего в нём, Максиме Прокушеве, нет. Вот закончит институт и будет читать с кафедры лекции, а вечерами писать умные книги, которые прочтает не так уж много людей и о которых через некоторое время благополучно забудут. А он так и состарится на этой кафедре, живя в громадном, шумном и пыльном городе.

А потом настанет время спросить себя, для чего жил на этом свете и что успел сделать хорошего. И тогда он сможет похвастаться только этими, из года в год читаемыми лекциями, о которых его бывшие студенты уже давно забудут, да когда-то написанными книгами, которые будут мирно пылиться на полках, оставленные немногочисленными читателями...

И вспомнились тут Максиму слова Валентины Ивановны. Может, права она? Может, не дано ему стать знаменитостью, несмотря на надежды земляков?

И тоскливо стало на сердце оттого, что так и пройдёт его жизнь в этом городе, где он всё больше и больше ощущает себя посторонним. Да и родной пармы он стал как будто сторониться. И с какой-то неожиданной остротой вспомнилась вдруг притаившаяся у широкой лесной красавицы-реки деревенька, где живут знакомые с детства и такие дорогие ему люди. Да, порой они грубоваты, но не бросят тебя в трудную минуту, обязательно придут на помощь.

И так ненавистен стал Максиму большой город, к которому не сумел он привыкнуть, что готов он был сию же минуту оставить его и вернуться в родную деревню. Наплевать, что до защиты диплома остались считанные месяцы. Наплевать и на то, что его, как одного из лучших студентов, оставляют на кафедре.

Никого не известив, собрал Прокушев свои манатки и через неделю был уже дома. Его поступок поразил руководство института. Больше всех был удивлён тот самый профессор, который больше других спорил с Максимом и видел в нём свою будущую замену. Он даже прислал Прокушеву пространное и строгое письмо, где, как когда-то Валентина Ивановна, обозвал его “умным дураком”. Максим только улыбнулся, прочитав его. Ничего эти учёные не понимают в жизни! А оправдываться он не желает. Что сделано, то сделано. Поэтому и не написал он ответа уважаемому профессору. Решил, что повспоминают о нём, Максиме Прокушеве, в институте, да и забудут потихоньку.

Но другое дело отец Максима. Он с нетерпением ожидал сына уже с дипломом на руках. Надеялся, что сын так и будет жить да поживать в Москве, рядом с большими людьми и сам когда-нибудь в чины выйдет. А отец изредка будет навещать сына и хвалиться перед деревенскими: вот, мол, как высоко мой Максим поднялся! Но не сбылось...

Опозорил сынок отца. Хоть на глаза никому не показывайся! Осерчал отец:

— Не смог осилить учење! Умнее других себя считаешь? Я-то надеялся, что когда-нибудь приедем с матерью погостить к сыну в Москву... Что ты теперь собираешься делать? Топором-то махать — дело немудрёное. Большой грамоты не требует.

Пораздумал маленько и добавил:

— Как хочешь, а кормить тебя я больше не буду. Вон каким умным стал! Сам устраивай свою жизнь. А у нас с матерью и без тебя забот хватает.

Покорно выслушал Максим отца. Слова не сказал. Знал, что может невзначай ещё больше прогневить родителя и только хуже сделает. Пусть поворчит. Постепенно пройдёт его гнев, как жар остывающего уголька.

И ещё одним поступком удивил Прокушев. Об этом только и было разговору у деревенских кумушек, собиравшихся потолковать в магазине:

— Слыхала, что у Чёрного Сандро Максимушко-то уделал?

— Что, что такое?

— Ушёл из дома и поселился у Хромой Иры! Мать, говорят, слегла после этого. Еле откачали.

— Так Ира-то с “приданным”! Никто её замуж не брал, вот и переспала с проезжим шофером. От него, безвестного, и ребёнок у хромой.

— А не смотрят теперешние женихи, с ребёнком или без, хромает или нет избранница! И у родителей не спрашивают!

— Максим-то вроде с Линой дружил. Родители уже и о свадьбе говорились.

— Лина, говорят, в город от стыда и печали подалась.

— О, Господи! Что делается на свете? Не понять нам...

Но что бы ни говорили кумушки, а удивляться было нечему. Максим действительно дружил с рыжеволосой Линой из соседнего дома. Когда-то в одном классе учились. Лина на год раньше закончила институт и сейчас учительствовала в своей деревне. Ждала на лето Максима из Москвы. Но когда узнала, что тот бросил учёбу, обиделась, не поняла его. Он в ответ тоже стал косо смотреть на Лину.

Почему-то тогда же всё чаще и чаще стала попадаться на глаза Прокушеву вечно улыбающаяся Ира. Работала она бухгалтером в сельхозкооперативе. Деревенские звали её Хромой Ирой. Она в детстве повредила левую ногу, и хотя об этом все знали, посторонний человек даже и не заметил бы этого недостатка. Она лишь слегка припадала на ногу.

Что-то тронулось в душе у Максима после встреч с Ирой. Вроде перебросились малозначащими фразами, но уж как-то очень пристально разглядывала Ира парня. Очень настойчивыми были её синие бездонные глаза, как бы приглашавшие всмотреться и окунуться в их глубину. Ласково разговаривая с Максимом, она словно манила и просила; “Не бойся меня, подойди поближе да послушай, как сильно бьётся моё сердце!”

После того, как у неё появился ребёнок, Ира действительно стала женственнее и привлекательнее. Даже записные деревенские женихи стали поглядывать на неё да подходить с ласковыми разговорами. Но не допускала она к себе никого.

И вот встретился на её пути вернувшийся из Москвы Максим, “умный дурак”, как опять кое-кто из деревенских стал величать сына Чёрного Сандро. А Максим почему-то стал побаиваться её женского ласкового взгляда, хотя с нетерпением ждал встреч, и даже во сне стал видеть её глаза.

И так сильно стало тянуть парня к молодухе, что понял Максим: жить без Иры он уже не сможет. Подумаешь, с “прибытком”. Вместе вырастим. Станет он ребёнку отцом, а потом и свои пойдут.

Жалел Иру, что обманул её какой-то заезжий шофёришка, обещавший даже жениться на слишком наивной девушке. А когда Ира почувствовала себя в тягости, жениха и след простыл. И можно ли после этого доверять всему мужскому роду, когда некоторые из них так подло поступают с девчонкой, ничего, кроме своей деревни, не видевшей и верящей во всё доброе? И пускай деревенские парни старались не замечать Иру, потому что кто-то сторяча прозвал её Хромой. Сама она на это не обращала внимания и всей своей всё ещё доверчивой душой надеялась встретить сказочного царевича.

И попался ведь царевич на её пути! И пусть хоть о чём болтают в деревне, Ира его не упустит.

И уже скоро Максим, не ожидая благословения родителей, перебрался к Ире в однокомнатную квартиру. А Лина, вконец обидевшись, то ли со стыда, то ли от печали, что отняли у неё такого парня, действительно уехала в город. Насчёт этого сарафанное радио не ошиблось.

Один Чёрный Сандро не находил себе места и ворчал:

— Надо же было такому завидному парню пойти в примачи к какой-то шалавой бабе! Да что у него, мозгов нет? Не зря его учительница прозвала “умным дураком”. Долго ещё придётся сыночку дурью маяться, пока не помнеет.

А у Максима с Ирой на удивление жизнь с первого же дня пошла хорошо. Нынче даже за глаза никто не смел назвать её Хромой. Если уж такого парня сумела отхватить!

Максим работал в строительной бригаде. В летние месяцы поднимали срубы то жилого дома, то фермы, то склада. Зимой валили лес. Прокушев не хуже других был и по сноровке, и по силе.

А когда через год у них с Ирой появился на свет сыночек, родители помирились с молодыми. До этого мать так переживала, что даже пришлось лечь в больницу. А сейчас отлегло у неё от сердца. Молодые живут в мире и согласии, в деревне их уважают, а те же кумушки начали даже похвалить Максима — мол, не побоялся взять женщину с “приданым”. Поэтому родители старались забыть своё прежнее недовольство. Не знаешь ведь нынешнюю молодёжь — может, так и надо? Как хотят, так и живут.

Во время перекуров товарищи по бригаде нет-нет, да и попросят Максима рассказать об учёбе в Москве. Он первое время отнекивался, но они были настойчивы:

— Давай, рассказывай, нечего нос задирать! Мы люди тёмные, хотим знать, как там, в большом городе люди живут, о чём думают. — Они не умнее вас. А если их на наше место поставить, то едва ли что-нибудь до конца доведут. Только испортят. У каждого человека свой крест, который надо нести до конца жизни на этой земле.

— Не трави душу, времени мало! — опять обращались к нему. — Расскажи о москвичах-то.

Максим нехотя начинал рассказ про московскую жизнь и незаметно сам загорался. У его товарищей глаза на лоб лезли. Удивлялись:

— Ну и ну! У тебя, оказывается, ума палата. Чего ты вернулся? Жил бы в Москве, ездил на иномарке, пил виски да коньяк. А нам что? Только вот эта тяжёлая работа и достаётся.

И с какой-то завистью и жалостью качали головами — есть же где-то на свете другая жизнь, где не надо так горбатиться.

А Максим в это время думал, что его товарищи не понимают своего счастья. Они живут на земле своих отцов среди древней пармы по установленным предками справедливым законам. И не надо никогда насиловать душу человеческую — пускай каждый живёт, как хочет.

А почему он вернулся из Москвы в Богом забытую парму? Тосковать начал по родным местам, по друзьям-братьям.

В ответ товарищи только посмеивались. Хотя сами, навещая ближайший город по своим делам, только два дня выдерживали новый ритм жизни. А потом каждого начинало тянуть в родную деревню, к своему подворью, жене да детям. Чего тогда Максима осуждать?

А товарищи, то ли шутя, то ли всерьёз, начинали осуждать Прокушева и за то, что Ира в последнее время начинает брать над ним верх и даже прилюдно ворчит на мужа. Может, Максим уже не мужчина и не хозяин в своём доме?

Зря такое наговаривали. Ира, конечно, ревновала Максима. Только неизвестно, к кому и к чему. Поэтому нарочно на людях старалась показать себя строгой хозяйкой. А дома, нечего и говорить, жили душа в душу. Максим, как и прежде, жалел Иру и не хотел, чтобы жена брала на себя лишнюю обузу.

Пускай говорят, что он под пятой у жены оказался, что она его, словно вожжами, держит в руках. Так, мол, и надо, чтобы не особенно нос задирал. А то, понимаешь, Москва ему не понравилась! Да другой бы на его месте, может, Бога бы сто раз возблагодарил, что попал в такой институт и смог закончить его. А ему и этого не надо! Что поделаешь, такой он и есть — “умный дурак”!

А Максим и внимания не обращает, что его за глаза и даже в глаза зовут “умным дураком”. Ведь у большинства деревенских прозвища есть. И ему своё по нраву.

А другой жизни Прокушеву не надо. И безмерно счастлив бывает, когда рано утречком, ещё лежа в постели, встречает поднявшееся за дальним лесом, только что проснувшееся солнышко, которое заливает своими лучами всю деревню. Тогда Максим тихонечко встаёт, кое-что делает по дому и только тогда будит Иру, чтобы успела перед работой маленьких отвести в садик. Проводит жену и детей, сам собирается на работу.

И счастлив он такой жизнью. И больше ему ничего не надо. Не надо — и всё! Может, и права была Валентина Ивановна, называя Максима “умным дураком”. Он не отказывается от этого прозвища. И нисколько не раскаивается в том, как жил и как живёт.



БОРИС ЛАПУЗИН



## НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

АКУЛЫ

У Русского свирепствуют акулы,  
(Стал снова остров Русский знаменит)  
Стремительны, зубасты, злобноскулы —  
Известен всем акулий аппетит.

Безжалостные челюсти убийства  
Пловца подстерегут и — пополам!..  
С чего бы эти хищные бесчинства?  
Акул тут не хватало только нам!

Мутация? Почувствовали пищу?  
Услышали какой-то тайный зов?  
Что манит их? Что в нашем море ищут,  
Вздымая ятаганы плавников?

А может быть, акулы-людоеды  
Так мстят за приближение вечной тьмы?  
Грядёт уничтожение планеты,  
И в гибели её виновны мы.

---

*ЛАПУЗИН Борис Васильевич начал публиковать свои стихи с 1955 года, первая книжка “День сегодня солнцеликий” вышла во Владивостоке в 1962 году. Сейчас он член Союза писателей России, автор девяти стихотворных книг, лауреат четырёх литературных премий, в том числе премии В. К. Арсеньева за книгу “Владивостокские стихи”. Почётный гражданин города Владивостока.*

Виновны, что утрат не просчитали  
В своём преображении крутом,  
Что Божий мир на атомы разъяли —  
Сплошная инновация кругом!

Всё по плечу, по силам нам, всё просто:  
Коллайдеры, науки города...  
Дефолианты, стронций девяносто  
И радиоактивная среда.

Распад, дегенерация — не жалко!  
Важнее — бизнес, прибыль, чистоган!  
Уже и космос превращаем в свалку,  
В помойку превращаем океан.

Долины, горы, лес — в плачевном виде  
От вырубок, от взрывов, от костров.  
И род людской акулы ненавидят  
В предчувствии всемирных катастроф.

### ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь — обитель милосердия.  
Оглашает благовест простор.  
Мир богослужения, усердия,  
Место послушания сестёр.

Постою, прислушаюсь на паперти  
И зайду смиренно в Божий храм.  
Светлый лик Пречистой Богоматери.  
Благостность икон по сторонам.

Благолепно всё и удивительно,  
Создано любовью и трудом.  
Матушка игуменья молитвенно  
Осенит заботливо крестом.

Сердце благодарностью наполнится,  
Сгинет грех уныния уже.  
Хорошо, что здесь сестра помолится  
О моей измученной душе.

### НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

*А на нейтральной полосе — цветы  
Необычайной красоты.*

Владимир Высоцкий

Нейтральной полосы не существует!  
Об этом помнить мне, пока живу я,  
Обычный гражданин своей страны.  
Нейтральными летают только птицы.  
Бескомпромиссно линией границы  
Не земли, а миры разделены.

Когда творят, выдумывают, строят,  
Когда в сраженьях падают герои —  
Нейтральные хранят нейтралитет,  
Но в самые рискованные моменты  
Нейтральные уходят в диссиденты,  
Предательства запутывая след.

Нейтральных я, признаться, опасюсь,  
С нейтральными сдружиться не стараюсь,  
Нейтральные мне сроду не сродни.  
У них во всём расчёт свой хитрый, тонкий,  
Они от всех опасностей в сторонке,  
Нейтральные — ничейные они.

Мы не щадим себя не за награду,  
Мы общих дел ворочаем громаду,  
Мы в трудный час выходим к рубежу.  
В труде, в бою, в любви, в походе дальнем  
Невмоготу остаться мне нейтральным —  
Я Родине своей принадлежу.

\* \* \*

Гуси-лебеди вновь собираются в стаю.  
Вот и кончилась дней золотых благодать.  
И мои хризантемы уже отцветают.  
Что ж, пора хризантемам моим отцветать.

На планете Земля не бессмертные все мы.  
Сколько б вечных напитков не пил я взахлёб,  
Как бы живо в саду не цвели хризантемы —  
Всё равно хризантемы положат мне в гроб.

И душа воспарит, и не будет там лишней,  
Где божественный свет, хризантемы, стихи,  
Где ни мук, ни забот...

Если примет Всевышний  
И простит мне Спаситель земные грехи...

ВИКТОР ПАСТУХОВ



## ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ВЕРЕ

*Виктор Пастухов — человек научной мысли и судьбы, окончивший в Новосибирске Электротехнический институт, много лет проработавший в энергосистемах, автоматизацию которых он преподавал в различных вузах Приморья. Он заслуженный изобретатель РФ, лауреат многих инженерных конкурсов, профессор Дальневосточного университета. Словом — технарь вроде бы до мозга костей. Но во второй половине жизни он стал и поэтом, издав в 2009 году (в 60 лет!) первую книгу стихотворений, а вслед за ней ещё пять поэтических сборников. В предисловии к последнему из них Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин написал: “Этот сборник стихов ещё можно назвать исповедью, в которой автор из глубины своей души, из своего жизненного опыта в поэтической форме показывает свой собственный тернистый путь к вере, говорит о своём возвращении через покаяние к Богу... Поистине, как сказал кто-то из земных мудрецов, “малое знание уводит от Бога, а большое приводит к нему”.*

Ст. Куняев

### СТИХИ ИЗ КНИГИ “РАСПЯТИЕ”

#### МОЛИТВА

Бьются вода и пламя.  
Мир — и жесток, и мил.  
Господи, дай мне память  
смерти и жизни смысл.

Русское поле мутно.  
Волки и вороньё.  
Господи, дай мне мудрость  
Слово постичь Твоё.

Чистое сердце дай мне,  
чтобы я нёс Тобой  
страждущим — состраданье,  
зlobствующим — любовь.

Клонится в поле колос.  
Градом идёт гроза.  
Господи, дай мне голос  
людям открыть глаза.

## ДИАЛОГ

В подвальном баре визг и грохот —  
наркотики и рок.

Чревоугодие и похоть  
вели бы диалог:

— Как славно — бары, рестораны,  
Гей-клубы и стриптиз...

— У нас, мадам, большие планы:  
прикончить аскетизм.

Свобода нашей масс-культуры  
открыла сто путей  
добиться полной диктатуры  
над душами детей.

— Для взрослых и без нас, пожалуй,  
Найдётся смертный грех:

гордыня, лень... у веры жалкой  
нет шанса на успех.

— Прошу, мадам, ваш нежный локоть.  
Пора спускаться в зал...

Чревоугодие и похоть  
сегодня правят бал...

## ПОВОРОТ

Дорогие мои, любимые,  
не могу понять, что со мной.

Что за сила неодолимая  
возвращает меня домой?

Но не в такт настоящим событиям,  
а почти на полвека назад,  
где мальцом, что скучал в обыденном,  
я ступил на дорогу в ад.

Что за бесы желанья плотские  
рассадили тогда во мне?  
Что за лица, больные и плоские,  
посещают меня во сне?

Вижу нашу квартиру запущенную,  
перекошенные потолки,  
пол проваленный, трубы текущие,  
с “мясом” вырванные замки.

Выбегаю на улицу тёмную  
и не знаю, где явь, а где бред.  
И кручусь, как дворняга бездомная,  
по метели, стирающей след.

Озираюсь на окна знакомые.  
Ни огня, ни раздвинутых штор.  
Всё вокруг искажённо и скованно,  
словно вымерло с тех давних пор.

Занесённые снегом троллейбусы.  
И фигурка, бредущая прочь...  
Кто же эти холодные ребусы  
посылает мне каждую ночь?

Окунает в испуг и смятение,  
словно хочет сказать, что вот,  
здесь ищи указатель к спасению  
и пропущенный поворот.

Или нет мне прощения высшего?  
И грехом я навек пригвождён?  
Почему же душа не высохла  
и болит, продираясь сквозь сон?

Почему по пустынному прошлому  
то уныло бреду, то мечусь?  
Дорогие мои, хорошие,  
подождите — и я возвращусь.

Я вернусь, обновлённый и нежный,  
прерывая полночный полёт...  
Нужно только найти тот заснеженный,  
мой спасительный поворот.

## АЛТАРЬ

Я дубовую дверь отворю  
и замру в полумраке притвора.  
Проведите меня к алтарю.  
Мои ноги не сдвинутся скоро...

Мне бы раньше дойти до дверей.  
Перед каждой заутреней в храме  
отпускает грехи иерей  
с голубыми, как небо, глазами.

Но безгодно проспал я зарю  
и явился в конце литургии.  
Проведите меня к алтарю.  
Не чурайтесь меня, дорогие.

Перед вами открыты врата  
к небесам и святому престолу.  
А во мне и за мной — чернота  
и как будто коросты по полу.

Дрожь в коленях своих усмирю.  
И страстей оголтелую свору.  
Проведите меня к алтарю.  
Мне покаяться в самую пору.

## БЛУДНЫЙ СЫН

Блудным сыном я в церковь войду.  
Видно, мне по долгам и расплата.  
И застыну, как рыба на льду,  
припадая к стопам у распятия.

А в подсвечниках медно-литых  
задохнутся оплавленно свечи.  
И почудится шёпот святых:  
“До чего ты дошёл, человече?”

Выбегая за отчую дверь,  
был ты дерзок и самоуверен.  
До чего же ты жалок теперь...  
До чего же ты слаб и растерян...”

Незаметно опустится ночь.  
Я оттаю от вздохов и плача,  
и шагну неприкаянно прочь,  
сокрушённого сердца не пряча.

Мне покажется: чья-то рука  
невесомо ложится на плечи.  
И архангелы вслед с потолка  
тихо шепчут: “Терпи, человече...”

## ПОКРОВ

Нынче осень щедра и довольна собой.  
Стелет рыжие коврики под ноги.  
И стекается люд в Кафедральный собор  
отчитаться за все свои “подвиги”.

Сколько подано рук или сбито оков?  
В чём прибыток и что там не сходится?  
Быстро лето прошло, и нагрязнул Покров.  
Принимай “урожай”, Богородица.

Мой парадный мундир моль изъела давно  
в сундуке меж визитами краткими.  
При заслугах моих не собрать на сукно  
и уже не прикрыться заплатками.

Среди ярких одежд с покаянной свечой  
неуютно босому и голому.  
Чем одарит Покров: золочёной парчой  
или снегом колючим на голову?

Мы случайным желанием склонны внимать,  
от привычек не в силах избавиться.  
Вразуми наших чад, Милосердная Мать,  
им без помощи с лихом не справиться.

Сколько пролито слёз, сколько сказано слов!  
Как ещё удержаться над бездною?  
На пороге — зима, за порогом — Покров.  
Защити их, Царица Небесная.

Нынче осень щедрa, и под стать куполам  
тополя за оградой церковною.  
И торопится люд в переполненный храм  
к аналою с Твоею иконою.

Обмелеет поток, потускнеет очаг,  
и топор занесённый затупится,  
Но останется боль и надежда в очах:  
помоги, Пресвятая Заступница.

\* \* \*

Пока тонул я в немощах своих  
и нежил удовольствиями тело,  
ты радовалась радостью других,  
и болью их, как собственной, болела.

И между нами разница проста:  
твоя любовь — спасающая сила.  
Я звал Христа, но бегал от креста  
который ты на плечики взвалила.

Его несла одна ты за двоих,  
не требуя ни почестей, ни платы.  
А все мои награды и таланты  
не стоят слёз прощающих твоих.

## СВЯТЫЕ

Святым не свойственны слова,  
что завлекают слабых в сети,  
но их дела несёт молва  
через границы и столетья.

Они в миру, где смрад и дым,  
не оскорбят судом поспешным.  
Святой останется святым  
пока себя считает грешным.

Стяжая светлые дары  
в душе, очищенной от сора,  
святой не выйдет до поры  
из молчаливого затвора.

Бывает, что среди людей  
живёт он, тихий и безвестный,  
и только гибелью своей  
за правду явит знак небесный.

Но воспылавшая свеча  
не гаснет в холоде могилы.  
И время только множит силы  
провидца, воина, врача.

Когда пробьёт урочный час  
они восстанут, но покуда  
святые покидают нас,  
даря любовь и веру в чудо.



## СТАРИЦА

Тупик над оврагом окраинным,  
где липнут лачуги к селу,  
и церковка голубем раненым  
горюет в забытом углу.

Под окна, вагонкой\* зашитые,  
Подол подоткнула пурга.  
Икона, над входом прибитая,  
и башенка, словно рука.

Поблизости, прямо за горкою  
в угоду другим временам  
тучны корпуса санаторские  
и светел вместительный храм.

А церковка эта заштатная,  
как старица в тёмном платке:  
икона, у сердца прижатая,  
и крест, вознесённый в руке.

## АНГЕЛ МОЙ

За окном расползается слякоть,  
и потёмки в гостях засиделись у дня.  
Если всё позади и осталось заплакать,  
Ангел мой, не остави меня.

Если жалит змея угрызений,  
и весь мир ополчился, глумясь и вина,  
если шабашем кажется праздник весенний,  
Ангел мой, не остави меня.

Вороньём налетели соблазны  
и кружат надо мной, колготя и маня.  
Если плоть и душа им поверить согласны,  
Ангел мой, не остави меня.

Всё прилипчивей патока лести,  
И приблизилась власть, орденами звеня.  
Если нежится разум с тщеславием вместе,  
Ангел мой, не остави меня.

Закипает, как варево, злоба.  
И горбатая ведьма кружит у огня.  
Но падёт ворожба, если выстоим оба.  
Ангел мой, не остави меня.

---

\* Разновидность строительной доски.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...”

*Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова*

### I. Поминки

Мы с сыном Сергеем сидим за ужином в столовой санатория “Воробьёво”, что расположен в Калужской земле на высоком берегу извилистой речушки с былинным именем Суходрев, окружённой зарослями ольхи, и, оглядываясь на строгих официанток, потихоньку распиваем якобы минеральную воду из бутылки с этикеткой “Боржоми” – поминаем Юрия Поликарповича, поскольку сегодня, 17 ноября 2013 года исполнилось десять лет со дня его смерти.

Умер он легко, и отпевали его в церкви Большого Вознесенья, где Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. А гражданскую панихиду в день похорон на Троекуровском кладбище довелось вести мне.

– Помянем?

– Помянем...

Выпили. Помолчали.

– Слушай, Серёжа, а ведь Поликарпыч, как пушкинский Вальсингам из “Пира во время чумы”, всю жизнь дразнил судьбу, азартно заигрывал со злом, словно бы вызывая его на поединок.

– Ну, конечно! Как он возвеличил леди Макбет, чьи руки был готов целовать за то, что ей придётся “гореть в аду на том и этом свете!”

Я подхватываю мысль Сергея:

– Да, он словно бы искал “неизъяснимы наслажденья” у “мрачной бездны на краю”. Да и “столб крутящейся пыли”, “одинокий и страшный”, – это, конечно, не от взрыва снаряда, это нечто другое, потустороннее... В тот же ряд можно поставить и “нечистый огонь из дупла”, обжигающий “долы и воды” родной земли, и ответ женщине на вопрос: “Где ты был?” – “На дне доходящая, на дне”, – и стихи о своём родстве с героями Гоголя:

*Да, и мне поднимать тяжело,  
Словно Вию, заклятые веки  
На великую правду и зло...*

Но почему он всё время давал злу равные права с добром? Отсюда и стихи о современном Апокалипсисе.

*Планета взорвана! И в ужасе  
Мы разлетаемся во мрак.  
Но всё, что падает и рушится,  
Великий ноль зажал в кулак.*

А что такое Великий ноль? То ли Бог, то ли Сатана?.. Думай сам... "Сатаны нет? — вскрикнул он однажды в споре с друзьями-поэтами. — Да он в каждом из нас! В каждом сидящем здесь! И во мне..." Это был его бесстрашный ответ на человеческую светлую веру в то, что "в каждом из нас" есть "Образ Божий"!

— А его стихотворение про дуб? — подхватывает разговор Сергей. — Он ведь вывернул наизнанку русскую народную песню о дубе и рябине, которая мечтает "к дубу перебраться": вместо рябины рядом с дубом растёт куст, который "трепещет от ужаса" "и соседство своё проклинает". А в прогнвшей сердцевине дуба "свищет нечистая сила". Но всё-таки дуб ещё стоит, корни его держат. А что символизирует дуб? То ли судьбу самого поэта, то ли судьбу России, внутри которой свистит нечистая сила. И чужая она этому дубу или родная, вырвавшаяся из его тухлявой сердцевинки? Ответа Поликарпыч не даёт, скорее всего, потому, что не знает его сам...

Я, чтобы не обострять спор, молчу о том, что однажды в нашем тройственном застолье (Поликарпыч, Кожинов и я) Вадим стал мне растолковывать, что дуб — это Россия или русский народ, а куст, растущий рядом, — это еврейство, которое опустошило сердцевину дуба и глядит на дело своих рук, и ужасается: защитить его некому, как в 1941 году: дуб сам едва-едва держится на земле... Вадим разглагольствовал, а Поликарпыч при этом молчал, выпивал, мрачно улыбался: мол, толкуйте мои стихи, как хотите. Я написал, а ваше дело понимать их, как знаете...

Но у сына разыгралась фантазия литературоведа:

— Юрий Поликарпович истово верил в силу поэтического слова! Недаром он в поэме "Сошествие в ад" всех врагов России загнал в преисподнюю словом и, подобно Пушкину, словом справлялся со всеми своими недругами и в жизни, и в литературе. Помнишь его стихотворный ответ Геннадию Ступину: мол, коли жаждешь бессмертия — "поди, возьми его", или эпиграмму, адресованную Валентину Устинову, жившему с ним на одной даче во Внуково, на первом этаже. Поликарпыч жил на втором, и после ссоры с Устиновым написал о том, как он сам сжигает черновики поэмы о Христе и с балкона посыпает этим "божественным пеплом" голову Устинова. Он ведь даже дочь свою, которая захотела выйти замуж за нерусского человека, предупредил: "Смотри, нарвёшься на стихотворение!" Он верил в силу слова, как будто жил во времена, когда "словом останавливали солнце, словом разрушали города"...

Я слушаю Сергея, но сам гну своё, более серьёзное, на мой взгляд, нежели кузнецовские эпиграммы.

— Он ходил по краю тёмной бездны, чтобы разглядеть её суть, её мощь, её масштабы. Она притягивала его, словно гоголевского героя из "Пропавшей грамоты", который садился играть с нечистой в карты и был уверен, что выиграет. А бесы радовались! "Он почти наш! Он нас признаёт!" Они ждали, когда дурак проиграется вдрызг и поставит на договоре о сотрудничестве с ними подпись своей кровью. Ах, как это по-русски! Такое Вальсингаму и не снилось! Немцам, чтобы заставить Фауста подписать договор с Мефистофелем, нужно было оформить сделку по всем законам средневековой европейской юриспруденции. А тут — карточная игра в очко! В которой мелкие бесы передёргивать умеют! Почти русская рулетка! Но Поликарпыч — не дурак. Он, как Хома Брут, подзатынул игру до петушиного "Кукареку!", крикнул: "Нечистые, прочь от пера!" — и вся нечисть бросилась наутёк, и в оконных щелях повисла, как тряпчатая ветошь!

Сергею очень нравится этот розыгрыш:

— Помянем?

— Помянем!

Мы налили по третьей...

— А помнишь, отец, как он говорил, что ему родиться бы в эпоху Святогора и Ильи Муромца?..

— Конечно! Однако ближе всех ему был Васька Буслаев, который "не верил ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, а только в свой червлёный вяз", как писал в своей поэме его покровитель Сергей Наровчатов. А ты не знаешь, как Васька Буслаев погиб? Он же в Палестину, в святые места со своей ватагой ушкунников новгородских нагрянул. Увидели они череп Адама и расхвастались: кто его, этот череп, сумеет перепрыгнуть с разбега. Никто не решился на такое кощунство, один Васька разбежался, прыгнул, да поскользнулся, ударился об Адамово темя бесшабашной своей головушкой и убился на-

смерть... И знаешь, какими словами былина кончается? “Тут ему, Ваське, и славу поют!” Череп отца, череп Йорика, череп Адама – как череп всего человечества, легший в основу горы Голгофы. Это тебе не греческий Олимп, не Парнас, не Золотая гора, а нечто посерьёзнее!

Сергей перескакивает на другую мысль:

– Ну, конечно! Он ведь жил с убеждением, что и в наше время “снова небесная битва / отразилась на русской земле”.

Я по-своему продолжаю Сергееву мысль:

– Но поскольку он, как лазутчик, часто проникал в адский стан, чтобы “проведать, чем дышит противник”, то, как рассвирепела эта нечисть, когда до неё дошло, что он изучил её, и за это знание не заплатил! И начала ему мелко мстить. Ты помнишь, что журнал обратился к читателям с просьбой присылать, кто сколько может, на памятник Юрию Поликарповичу? И когда, благодаря этим жертвованиям, Кузнецову был воздвигнут на могиле надгробный памятник, на последней странице обложки октябряского номера “Нашего современника” за 2005 год мы напечатали фотоснимок надгробья и под ним подпись:

**“7 сентября, в солнечный и тёплый день московского “бабьего лета”, на Троекуровском кладбище столицы был торжественно открыт памятник великому русскому поэту, нашему современнику Юрию Поликарповичу Кузнецову.**

Автор памятника, видный русский скульптор Пётр Чусовитин, друг покойного поэта, вырубил из мрамора крест, а в основание памятника вмонтировал медальон с фотографией Юры – молодого, весёлого, дерзкого, необыкновенно талантливого. Верен выбор фото: истинные поэты вечно юны. Так говорил Пушкин, которого Кузнецов боготворил.

Памятник был освящён другом и учеником Юрия Поликарповича – священником и поэтом о. Владимиром Неждановым.

Благодарим сердечно всех-всех, кто внёс свою лепту на установку памятника: “шапка по кругу” позволила создать памятник, к которому будут приходить поколение за поколением русские люди, чтущие Поэзию. Будут приходить – и замирать сердцем, прочитав на надгробной плите золотыми буквами начертанные бессмертные строки:

***... Но русскому сердцу везде одиноко.  
И поле широко, и небо высоко”.***

Однако когда из типографии в редакцию привезли контрольный сигнал первого номера, и я прочитал текст на обложке, то ахнул: вместо слова “одиноко” стояло “одинаково”! **“И русскому сердцу везде одинаково”!** Представляю, как обрадовалась нечистая сила, сотворившая эту мелкую пакость! Обложка для всего тиража уже была напечатана. Что делать? Ни одного номера журнала с такой ошибкой не должно было выйти в свет! Я звоню в типографию, спрашиваю, сколько стоит заново отпечатать обложки для десяти тысяч номеров, соглашаюсь заплатить немалые деньги, и тираж с исправленным словом через неделю пошёл к читателям. Нечисть была посрамлена! Кстати, и с посмертной книжкой поэта произошло нечто подобное. Сам Юра, её составивший, дал ей название “Крестный путь”, а на обложке стояло “Крестный ход”. И по какой же причине? – Да по той же! Не успел Юра им сказать: “Нечистые, прочь от пера!”

Дальше наш разговор перешёл к кузнецовскому “Раю”, опубликованному после смерти поэта. Но я ещё при его жизни, когда узнал, что он пишет о Рае, сказал ему, что выразить сущность Рая невозможно. Поскольку она нематериальна, а язык наш неизбежно должен опираться на некую материальную сущность. “Красный сад”? Но это же очень красивая, очень яркая картина, насыщенная цветами и красками, то есть телесная. А Рай бестелесен.

Он не спорил со мной и однажды прочитал мне отрывок из “Рая”:

*Вечная туча летела в Божественном мраке,  
По сторонам возникали священные знаки,  
То пролетят голоса, то живые цветы,  
То “Голубиная книга” раскроет листы  
И унесётся во тьму золотого сеченья...  
Мы приближались к звезде своего назначения.*

*Топнул по туче Господь:*

*— Это здесь! — и кругом  
Всё засияло... Мы стали в пространстве другом.  
Воздух был свеж и прозрачен. Внизу простиралась  
Голая местность и где-то в тумане терялась.  
Сонмы великих и малых убогих людей  
С тучи сходили внутри светоносных лучей.*

*.....  
В воздухе туча стояла, а может — плыла...  
Плыл с ней и Китеж, сияя во все купола.*

Я восхитился:

— Юра! Ты совершил чудо, ты превратил свет в материю!

Он медленно улыбнулся...

А в конце нашего поминального застолья я спросил Сергея:

— Ты вот написал половину книги “Сергей Есенин” для серии “ЖЗЛ”, и она выдержала с 1995 года — со столетнего юбилея поэта — уже двенадцать изданий. Ты закончил сейчас жизнеописание Николая Клюева для той же серии. Очень жаль, что издательство отказалось издавать в ЖЗЛ твою книгу о Павле Васильеве — вот уж у кого жизнь и судьба были насыщены сплошными событиями такого масштаба, как будто поэт выстраивал свою жизнь специально для этой серии. Ты сейчас готовишься к тому, чтобы начать новую книгу о Вадиме Кожинове. Скажи, а судьбу Поликарпыча можно втиснуть в “ЖЗЛ”?

Сын задумался...

— Едва ли...

— А почему?

— Да потому, что судьбы Есенина, Клюева, Павла Васильева сотканы из множества невероятных событий: взлёты, падения, встречи с сильными мира сего, роковые женщины, предательства друзей и происки врагов, аресты, тюрьмы, ссылки... Все трое умерли не своей смертью, а смерть Есенина вообще останется вечной тайной, будет вечно волновать читателей грядущих времён... Даже Пастернак, написавший “С кем протекли его боренья? — с самим собой, с самим собой”, в конце пути поставил жирную, но ставшую необходимой для мировой славы “нобелевскую точку”. А что можно рассказать о Юрии Поликарповиче, если все главные события его жизни, все его поступки происходили не в реальном времени, а в мифологическом, то есть “внутри него самого” и воплощались лишь на страницах его книг, в его поэзии? Это особый случай! Он положил на алтарь Поэзии всё. Как он сам писал, поэзия для него была и “отцом, и матерью”.

Выпиваем и подходим к запретной черте.

— А ведь Поликарпыч и правда пытался “взять на себя” грехи мира и к Голгофе готовился...

— Ну, ты говори да не заговаривайся. Чтó он — Спаситель, что ли? Это уж чересчур!..

— А помнишь, у Булгакова, которого, кстати, на мой взгляд, Поликарпыч незаслуженно отправил в ад, есть сцена, когда на вопрос Воланда: “А что же вы не берёте его к себе, в свет?” — Левий Матвей отвечает: “Он не заслужил света, он заслужил покой”... Я думаю, что Поликарпыч заслужил свет...

После этого мы посмотрели друг на друга, молча выпили ещё по одной и я спросил сына:

— А ты помнишь, какие последние слова перед смертью произнесли два наших друга — Вадим Валерьянович и Юрий Поликарпович?

— Да, помню, — ответил Сергей. — Вадим Валерьянович, сказал, как и подобает человеку ума: “Все аргументы исчерпаны”. А Поликарпыч произнёс лишь одно слово, о смысле которого можно лишь догадываться: “Домой!”

## II. “Приснился родине герой...”

Я познакомился с ним в начале 70-х годов прошлого века, когда Вадим Валерианович Кожинов, обладавший особой страстью к поиску русских талантов, устроил в Малом зале ЦДЛ первое выступление Юрия Кузнецова на московской публике. Надпись на афише была многозначительной: “Новые явления в современной поэзии”.

Стихи Кузнецова, которые он прочитал сам, и восхитили, и озадачили меня. А потому, выступая, я сказал, что автор, несомненно, талантлив, но в то же время я не чувствую в его стихах лиризма, который составляет суть русской поэтической традиции. А ещё я вспомнил, как Владимир Маяковский, уже обретший всесоюзную славу, однажды, услышав народную песню “Мы на лодочке катались”, посетовал на то, что его стихи никогда не станут песнями, на что после вечера в узком застолье Кузнецов ответил мне, что мнение Маяковского о поэзии ему неинтересно. Но Вадим Кожин был счастлив и объявил всем, что в русскую поэзию пришёл поэт, который надолго определит её развитие. . .

С тех пор прошло сорок с лишним лет, в течение которых я убедился, что хотя Кожин был прав, но тем не менее, Кузнецов не стал полностью “моим поэтом”. Его стихи и восхищали, и возмущали меня, но жить ими я не мог. Почему? Да, наверное, потому, что не находил в них “пищи для сердца”, если говорить пушкинским языком:

*Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.*

Меня всегда смущала во многих его стихах, в том числе ставших хрестоматийными, некая мрачная метафизика и некий диктаторский культ воли. Мой вкус коробили казавшиеся мне сверхъестественными высокопарные метафоры вроде “червь сквозь сердце моё проползёт”... На мой тогдашний взгляд, его стихи были плодом могучего воображения, но не прямым продолжением личной судьбы поэта, а всё, что не подтверждается жизнью личности с её событиями, поступками, восторгами и разочарованиями, как я считал тогда, было “всё прочее – литература”. Словно предвидя сомнения такого рода, Кузнецов позднее ответил на них:

*От пронизательного чтенья  
Вся обнажается до дна  
Литература самомненья,  
Где копошится злоба дня,*

*Где топчут бисер свиньи быта,  
На ум дерзает интеллект,  
И у разбитого корыта,  
Как вещь в себе, сидит субъект...*

*Но попадаются глубины,  
В которых сразу тонет взгляд,  
Не достигая половины  
Той бездны, где слова молчат.*

Это стихотворение я впервые прочитал в статье критикессы, которая, говоря о Кузнецове, писала “Он”, “Его”, “Ему” с большой буквы. Но Пушкин, словно предвидя такого рода споры о поэзии в грядущих временах, старался снизить пафос подобных “воззрений” и оправдать поэтическое простодушие жизни, сделав поэзию продолжением личной судьбы творца:

*Иные мне нужны картины:  
Люблю песчаный косогор,  
Перед избушкой две рябины,  
Калитку, сломанный забор,  
На небе серенькие тучи,  
Перед гумном соломы кучи  
Да пруд под сенью ив густых,  
Раздолье уток молодых;  
Теперь мила мне балалайка  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака.*

*Мой идеал теперь — хозяйка.  
Мои желания — покой,  
Да щей горшок, да сам большой.*

В те годы я нащупывал свою стилистику и эстетику соотношения поэзии и жизни, судьбы и слова.

*Я на днях случайно прочитал  
книжку невеликого поэта:  
где-то под Ростовым он упал,  
захлебнулся кровью и не встал,  
и не видел, как пришла Победа.*

*Но отвага гению сродни,  
но подобно смерти откровенье,  
и стоит, как церковь на крови,  
каждое его стихотворенье.*

*Вот и мне когда-нибудь упасть,  
подтвердить своей судьбою строчку,  
захлебнуться и поставить точку —  
значит, жизнь и вправду удалась.*

В том, что я был хоть в чём-то прав, что и Юрий Поликарпович мечтал о подтверждении своего слова **судьбою**, меня впоследствии убедили его стихи о связисте Путилове из “Сталинградской хроники”, сомкнувшем за мгновение до смерти зубами перебитый осколком телефонный провод:

*Был бы я благодарен судьбе,  
Если б вольною волей поэта  
Я сумел два разорванных света —  
Тот и этот — замкнуть на себе...*

Умный и пронизательный критик Кирилл Анкудинов пишет об этой особенности кузнецовского миропонимания так: **“Сам Кузнецов, как и его герои, большей частью своего бытия пребывал в мире Мифа. <...> он знал, что все его привязки к реальности настолько слабы и незначимы, что реальность не простит ему этого”**.

Я был поэтом реальности. Однако его железная последовательность — “идти мне железным путём”, — одновременно и восхищавшая, и отталкивавшая своими несколько “общими местами” и блистательными (как в прозе Проханова) штампами, отмеченными личным клеймом, в конце концов, перемолола мой скепсис. Ну, что делать, коли Бог дал ему именно такой талант (дар), и он по-своему платит за бремя этого таланта, терпит непонимание, платит сверхнапряжением своих, увы, человеческих сил, платит верой и сомнением, платит погружением в “адские бездны” и возвращением из них... Помню, как он терпеливо, словно подростку, объяснял мне, что значит слово “тло”.

— Ну, что-то вроде дна? — пытаюсь догадаться, спрашивал я его.

— Да нет, гораздо глубже! Когда говорят “сгорел до тла”, то надо понимать, что отсюда слово “тлен” и слово “тля”, а может быть, и “тело”, то есть смертная наша часть. Но это и самое что ни на есть последнее дно, то есть адское... Где всё сгорает! После этого “тла” ничего ни от чего, ни от кого не остаётся! Там даже время сгорает!

Много позже я прочитал в “Сошествии в ад”:

*Мы обращались по лестнице вниз, и сошли  
Прямо на тло... Это было подобьем земли.*

Добро и Зло для него были почти материальными сущностями, и мир, в котором они сражаются, условен. Но почему в моей душе после его “Лейтенантов и маркитантов” началось сражение двух этих вечных сил? Как случи-

лось, что он создал свой воображаемый виртуальный миф и затащил в него меня? Это же не мой мир! Я не хочу и не могу в нём жить! Однако Юрий Поликарпович неумолим:

*Для того, кто по-прежнему молод,  
Я во сне напоил лошадей.  
Мы поскачем во Францию-город,  
На руины великих идей.*

Но тому, кто молод, нечего делать во Франции, в гостях у этой маркитантско-торгашеской Марианны, стоящей за мировым прилавком. Не хочу я туда ехать! Путь туда едет Андрей Вознесенский – в гости к Арагону и Эльзе Триоле (Каган), или Аксёнов – на свою дачу в Бретани, или Ерофеев – на очередную европейскую книжную ярмарку... Какие там “руины великих идей” остались? Никаких... Какие “священные камни” можно было увидеть в Европе? Разве что знаменитый собор Парижской Богоматери, в котором над христианскими символами, хранящимися внутри собора, возвышаются вассалы князя Тьмы – хвостатые химеры с высунутыми языками, рогами и перепончатыми крыльями? Разве можно представить себе подобных монстров на стенах и куполах Киево-Печерской или Троице-Сергиевой лавры, олицетворяющих “священные камни России”? Никакого мифологического или исторического духовного превосходства у Запада, унаследовавшего все свои хищные инстинкты и всю свою алчную волю от Римской империи, перед Россией с нашим Православием нет и не было. Так зачем нас туда зовёт Кузнецов? Из любви к мировой культуре?

“Отдайте Гамлета славянам?” Да у нас своих Гамлетов вместе с ледями Макбет полно: и у Лескова во Мценском уезде, и у Тургенева – в Щигровском, если открыть “Записки охотника”, великую книгу XIX века!

Высмеивая “дроздов общих мест”, Поликарпыч сам без лишних раздумий заменял опыт личной жизни опытом выработанной до него мудрости, пословицами и поговорками, которых – переосмысленных или использованных буквально – не счесть в его поэзии. Но если анекдот – это остроумие, взятое напрокат, то пословица – взятая взаймы мудрость, то есть вечно живое общее место.

Есенинский лирический вклад в русскую поэзию безграничен. И Чёрный Человек к нему приходил по-настоящему: осколки разбитого стекла свидетельствуют об этом. А у Кузнецова и чёрные, и светлые герои – всего-навсего плоды его могучего воображения. Но почему же тогда их явление из бездны тьмы или из бездны света так волнует меня? В середине 90-х в Варшаве я был в гостях у польского литератора, еврея Збышека. Заговорив о судьбе стран и народов, – в том числе польского, еврейского и русского, – я прочитал Збышеку (он же Янкель) стихотворение Кузнецова “Последний человек”:

*Он возвращался с собственных поминок  
В туман и снег, без шапки и пальто,  
И бормотал:*

*— Повсюду глум и рынок.*

*Я проиграл со смертью поединок.  
Да, я ничто, но русское ничто.*

*Глухие услышали человека,  
Слепые увидали человека,  
Бредущего без шапки и пальто;  
Немые закричали:*

*— Эй, калека!*

*А что такое “русское ничто”?*

*— Всё продано, — он бормотал с презреньем, —  
Не только моя шапка и пальто.  
Я ухожу. С моим исчезновеньем  
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —  
Вот что такое русское ничто!*



*Глухие человека не слышали,  
Слепые человека не видали,  
Немые человека замолчали,  
Зато все остальные закричали:  
— Так что ж ты медлишь, русское ничто?!*

Я читал стихотворение, волнуясь, чувствуя, что оно и обо мне написано. Это волнение передалось Збышеку, который, когда я закончил чтение, завизжал то ли от восторга, то ли от ужаса и отчаяния и бросился мне на шею. И я понял, что стихотворение “Последний человек” — это и о нём, одиноком варшавском еврее, не знающем, что ему делать в разорённой антисемитской Польше начала девяностых...

Но если стихотворение так действует на нас обоих, так, значит, в нём есть особый вид реальности, которую я до конца не понимаю? А коли так, значит, призраки, живущие в поэзии Поликарпыча, это — реальность?! Значит, это “было”, коль и Збышек, и я — мы оба поверили в явление поэту его “чёрного человека”, его “русского ничто”? Конечно, он встречается с потусторонними сущностями, с призраками из “четвёртого измерения”, с тенью отца Гамлета, пьёт “осадок золотой” с Гомером и Софоклом. Но поглядите на его портрет с обложки книги “Мир мой неуютный”, в которой собраны воспоминания о нём! С чего бы ему выглядеть таким потрёпанным жизнью, с одутловатыми мешками под глазами, с неизвестно откуда взявшимися пигментными стариковскими пятнами на лбу... Так значит, жить в мире мифов тяжелее, нежели в реальном мире (“можно жить и в придуманном мире” — В. Соколов)... Но зачем тогда на нём отглаженная рубашка и галстук, когда ему в пору бормотать: “Подымите мне веки...”? Между прочим, когда я дразнил его, произнося эту гоголевскую фразу, он фыркал, курил, пуская кольца табачного дыма в мою сторону, но молчал...

Я верю тому, что он по ночам, словно какой-нибудь вурдалак (кстати, Татьяна Глушкова — мастерица давать меткие прозвища — звала его именно “Вурдалаком”) или, как ведьмак на метле, носится на Пегасе... “Сажусь на коня вороного, скачу через тысячу лет...” Я на таких сказочных существах не ездил. В геологических маршрутах на Тянь-Шаньских тропах настоящим моим другом был мерин по кличке Шарабан. Конечно, ему далеко было и до “коня вороного”, и до Пегаса, но на узком каменистом прижиме, когда камни из-под его копыт сыпались по отвесной осыпи в кипящую синюю стремнину Туполанга, и задние ноги уже ползли вниз, а я, перенося центр тяжести на холку, судорожно обхватывал его потную шею с одной мольбой: “Удержись!” — он уцепился передними копытами за каменистую кромку, напрягся всем своим горячим телом и медленным сверхусилием оттащил и себя, и меня от края бездны, потеряв подкову, которая, несколько раз со звоном подскочив от столкновения с обломками базальта, набрала скорость и вошла, как снаряд, в кипящую синюю бездну. Шарабан был достоин стихотворения, и я написал его:

*Поскользнулось копыто коня,  
мускулистое конское тело  
напряглось, и подкова, звеня,  
по обрыву в стремнину слетела.*

*Усмиря невольную дрожь,  
я подумал: “Любимец удачи!  
Ты, как можешь, как хочешь, живёшь,  
хорошо, что не хочешь иначе,*

*что привык лошадям доверять,  
что проверил седло и подпругу...  
Чтобы душу свою не терять —  
будь влюблённым в судьбу и разлуку”.*

*Хоть немного, но выпало дней,  
заклеймённых печатью свободы!  
Я когда-нибудь вспомню о ней,  
вспомню эти бродячие годы.*

*Затоскую о воле своей,  
о стремнинах, где пляшут форели,  
где подковы моих лошадей  
в синих реках давно заржавели...*

Конечно, мне, всю жизнь увязывавшему слово с судьбой, было непросто понять его сверхчеловеческие пути-дороги.

\* \* \*

В русской народной речи с незапамятных времён живёт словосочетание “путь-дорога”. Два поэта разорвали его пополам. Естественно, что Кузнецов выбрал “путь”: “Я вынес пути и печали”, “Путь открыт никуда и к себе”, “Моё лицо не знает звёзд, / конца и цель пути”, “Идти мне железным путём”...

“Путь” – это призвание, это судьба “человека-народа”, это предназначение свыше. А где пути – там и распутья... Путь может уходить и в небо.

А дорога? Она дорога и есть, и вроде бы больше ничего. Она нечто приземлённое до предела, в землю втопанное... Но Николай Рубцов выбрал именно её. Он идёт своими ногами по старой дороге от берега Сухоны, а не какой-то мистической реки времён, как герой “Золотой горы”, до деревни Николы, которая стоит на берегу Толшмы и по сей день. Тридцать километров. Я сам ходил по этой дороге. Над ней плывут облака, навстречу путнику идут “июньские деньки / в нетленной синенькой рубашке”, по сторонам от неё стоят сочные травы, колышется зной над белыми головками ромашек, а чуть дальше – стена влажного тёмного леса... Путник проходит мимо полусгнившего овина и видит: по холмам то ли скачут, то ли блазнятся ему три богатыря... А вот и хуторок показался в стороне – “с позеленевшей крышей, / где дремлет пыль, где обитают мыши, / да нелюдимый филин-властелин”... Редкая, ночная, волшебная птица. Но когда мы видим, что дорога уходит в бесконечную даль, “где пыль да пыль, да знаки верстовые” (вспомним пушкинские “вёрсты полосаты”!), мы понимаем, что на наших глазах земная жизнь перерождается в миф или, скорее, в волшебную сказку, где “каждый славен – мёртвый и живой”, где “русский дух в веках произошёл, / и больше ничего не происходит”, где “заколдованное царство”. Рубцовская травяная земная дорога на наших глазах становится каким-то пушкинским лукоморьем и уходит в вечность со всем своим очарованием, с бредущим по ней поэтом с фанерным чемоданчиком в руке и с верой в вечную жизнь русского духа, который “дышит, где хочет”. Эта дорога – нечто другое, нежели путь, по которому идёт герой “Золотой горы”, потому что на “старой дороге” видны земные следы Николая Рубцова, а на пути, где прошёл поэт мифов и символов, его следов, заполненных примятой травой, тёплой полыньёй или дождевой влагой, не видно.

\* \* \*

В поэме Кузнецова “Золотая гора” есть своеобразный манифест его поэтического самоутверждения:

*Толклись различно у ворот  
Певцы своей узды,  
И шифровальщики пустот,  
И общих мест дрозды.*

А почему бы, подумал я, прочитав поэму, вместо слова “узды” не поставить слово “судьбы”? Но в таком случае я сразу попадаю в толпу незваных на пир со своим стихотворением:

*Пишу не чью-нибудь судьбу —  
свою от точки и до точки.  
Пускай я буду в каждой строчке  
подвластен вашему суду.*

*Ну, что ж, я просто человек,  
живу, как все, на белом свете.  
Люблю, когда смеются дети,  
шумят ветра, кружится снег.*

Николай Рубцов, когда заходила речь о стихах, лишённых, на его взгляд, чего-то сущностного, сердцевинного, говорил кратко и просто: “Стихи не лирические”... Не то чтобы “неталантливые”, “незначительные”, “непонятные” – нет, “не лирические”. А Юрий Поликарпович чуть ли не демонстративно избегает “личностного звука” во многих создавших ему заслуженную славу стихах. “Человек в моих стихах равен народу”, – писал он в “Воззрении”. Отсюда проистекает его отторжение того, что критики называют “лирическим героем”, а говоря самым простым языком, – “человечности” и всего, что происходит из этого понятия: “сердечности”, “душевности”, “сентиментальности”, “искренности”... Его стихами можно было восхищаться, они могли вызывать удивление или ужас, они могли поражать наше воображение, но их было трудно любить.

“Болящий дух врачует песнопенье” – кажется, это сказал Евгений Боратынский. Но после чтения стихов Кузнецова я никогда не ощущал никакого “врачеванья”, но чаще впадал в состояние душевной смуты, оторопи, отчаяния и всяческих апокалиптических предчувствий.

Я не желал погружаться в “глубины, где слова молчат”. И даже возмущался: ведь в Евангелии от Иоанна сказано: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”... А если так, то Слово “молчать” не может, потому что оно есть сущность Светлой Божественной Бездны!

Кузнецов и женскую сущность определял метафизическим языком, раз и навсегда решив, что весь “женский народ” сшит на одну колодку, и даже упрекал своих молодых учеников за то, что они меняют жён, когда это совершенно бессмысленное занятие: все они дочери одной матери Евы... А потому для него Ахматова и Цветаева состояли из одного и того же теста. Чего их разглядывать и раздумывать над их судьбами? Для него и отец – не просто отец, а куда более значительное понятие, почти необъятное: страшная метафора войны и гибели, “столб клубящейся пыли”, “одинокий и страшный”. Для него и мать – это не есенинское: “Ты жива ещё, моя старушка...” – и не передревское: “Туманный квадратик иконы, / бумажного венчика тлен, / и долго роняет поклоны, / она, не вставая с колен”, – как описана у него мать, потерявшая на войне троих сыновей; и не рубцовское: “Нёс я за гробом матери / аленький свой цветок”... Нет, для него она “седая старуха – великая мати – / одна среди мира в натопленной хате / сидит за столом”... Мать всех матерей. Родная сестра Великой Матери Николая Клюева.

И казак для него – не Григорий Мелехов и не Мишка Кошевой, а кентавр в кубанке, сросшийся с конём и обрисованный с былинной мощью:

*Клубится пыль через долину,  
Скачи, скачи, мой верный конь,  
Я разгоню тоску-кручину  
Летя из пльмя в огонь.*

Юрий Кузнецов, как античный царь Мидас, обладавший способностью превращать в золото всё, к чему прикасался, творит те же чудеса, превращая в мифы и символы простейшие явления жизни. Но ведь чудесный дар богов, дарованный Мидасу, был дан ему не только во благо, но и в наказание.

У истинных поэтов каждое стихотворение – это след соприкосновения души с жизнью. Это всплески, царапины, изливания, это “ознобинки” осязания, зрения, слуха, обоняния со всеми отпечатками характера – личного и национального. Конечно, как не восхищаться волшебным даром превращать всё, к чему прикасаешься, в мифы, но, когда читаешь размышления поэта о мировом Олимпе, “где Пушкин пригубил глоток, / а больше расплескал”, – как тут не задуматься: а что же расплескал Пушкин? Он “расплескал” всего-то “и жизнь, и слёзы, и любовь”. И, конечно, невозможно было ожидать от поэта, сказавшего: “Я в жизни только раз сказал “люблю”, / смирив гордыню тёмную свою”, – восхищения благодатной влагой, которая непонятно почему вдруг изливается из наших глаз.

Юрий Поликарпович неодобрительно и почти брезгливо относился ко все-му личному, по его суждению, приземлённому и недостойному витать в высших олимпийских сферах. Когда я написал свою исповедальную книгу мемуаров “Поэзия. Судьба. Россия”, полистав её, а может быть, кое-что и прочитав, он встретил меня словами:

– Здравствуй, мемуарист! – И произнёс-то их чуть ли не через губу.

“Ты слепая!” – сказал он судьбе” – это сказано от имени Передреева в стихотворении, посвящённом его памяти. Анатолий Передреев свою первую книгу назвал “Судьба”, и судьба его была отнюдь не слепая, а земная, русская, советская, и Передреев не мог о ней сказать “слепая” – это за него сказал Кузнецов.

Сейчас многие мемуаристы охотно вспоминают о том, где, когда и сколько раз они застольничали с Поликарпычем. Но, ей-Богу, нет большого смысла гордиться такого рода легкомысленным общением. Я прожил литературную жизнь рядом с Рубцовым, Передреевым, Соколовым, Кожиновым и больше любил “орлиные круги беседы”, нежели хмельные объяснения в любви и дружбе. Я всегда ценил ощущение телесного здоровья и радости бытия, которыми насыщался в Тянь-Шаньских ущельях, на охотничьих тропах Сибири, на берегах не мифической реки времён Леты, а Угры и Оки, Мегры и Сояны, Нижней Тунгуски и Варзоба, в окруженье русско-советского простонародья – геологов, браконьеров, рыбаков, охотников, колхозников. И каждый из них имел своё лицо и свою душу. Меня окружали не символические образы Федоры-дуры или солдат всех времён и народов, а ербогачёнский охотник Роман Фарков, солдат Великой Отечественной, мегорский рыбак афганец Степан Фефелов, старики и старухи из архангельских деревень с именами и судьбами, схожими с судьбами персонажей повестей Распутина и Белова. Мне было естественнее и надёжнее вглядываться не в мифическую Европу, а в соседнюю шляхетскую Польшу, в лицемерную Америку, в горячее пекло Ближнего Востока, в лица и души дочерей и сыновей всех этих земель и народов.

Проявляя особый интерес к поэтам мифотворческого склада, Юрий Поликарпович в то же время чуть ли не подчёркивал отстранённость от своего уже тогда известного, а ныне легендарного современника:

**“В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил, как тень. Вот всё, что я о нём знаю. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак, и вдруг – Рубцов. Он возник, как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнёс:**

– Почему Вы со мной не здороваетесь? – Я пожал плечами. Уходя, он добавил, притом серьёзным голосом:

– Я гений, но я прост с людьми. – Я опять промолчал, а про себя подумал: “Не много ли: два гения на одной кухне?” Он ушёл, и больше я его никогда не видел”.

**“Я ещё в институте скептически относился к Рубцову. То, что он пишет, слышали все. Он только схватил глубже других”.**

1969 год. В поэтическом мире Рубцов более чем известен, а здесь какой-то странный холод – и в словах, и в достаточно точных наблюдениях. Не оттого ли, что уже тогда Юрий Поликарпович понимал Николая Михайловича с его “лиризмом” всего лишь как “поэта русской резервации”, говоря его словами, написанными через четверть века после этой встречи.

Но ведь и Рубцов, если вчитаться в обстоятельства их якобы “единственной” встречи, тоже сторонился Кузнецова, видимо, чувствуя, что с талантом, имеющим столь рискованные связи с силами тьмы, ему с его светоносным даром, писавшему: “До конца, до смертного креста / пусть душа останется чиста”, – сближаться опасно.

И змеи Рубцова из “Осенних этюдов” – настоящие, опасные, ядовитые, не символические, а природные рептилии.

*Змея! Да, да! Болотная гадюка  
За мной всё это время наблюдала  
И всё ждала, шипя и извиваясь...  
.....  
С чего бы змеи начали шипеть?  
И понял я, что это не случайно,  
Что весь на свете ужас и отравы  
Тебя тот час открыто окружают.*

Своих природных северных змей Рубцов разглядел на громадном клювеном болоте, неподалёку от своей деревни Николы, в отличие от собеседника по кухне, который отправил целое змеиное стадо на береговой маяк, чтобы змеи залепили сверкающие огнями стёкла и потерявшие из виду береговой свет суда разбивались о скалы.

.....маяк  
*Стал погружаться медленно во мрак.  
Пётр выбежал наружу. Сотни змей  
Ползли наверх, свивались тяжело  
И затмевали тёплое стекло.  
Его живём покрыла чешуя!  
Пётр закричал от ужаса. Змея  
Ужалила лицо.*  
— *Твоё тепло,  
О Боже, притянуло это зло!  
Они ползут, им места нет нигде  
В дырявом человеческом гнезде...*

Символ зла, явленный в потомках библейского змия, тянущихся к человеческому теплу и погружающих мир во тьму, настолько чудовищен, что змеиное болото Рубцова, несмотря на все его страхи, кажется нам родной и естественной частью русской деревенской жизни, не более того.

Сюжет со змеями на маяке был взят Кузнецовым из рассказа Петра Палиевского, вычитавшего об этом в какой-то средневековой европейской хронике. Поэтому поэма была посвящена Палиевскому, и врача на маяке не случайно зовут Пётр. Сюжет книжный, но ужас, который испытываем мы, читая поэму, хотя и сверхъестественный, но настоящий.

\* \* \*

Как бы не ворчал Юрий Поликарпович насчёт легкомысленности “расплевкавшего” свой дар Пушкина, но когда речь заходила о вечной вражде “булата” и “злата”, о “лейтенантах” и “маркитантах” человечества, он всегда был рядом с “лейтенантами” мировой истории, с её пушкинскими творцами и героями: с Иваном Васильевичем Грозным, с Петром Великим, с героями Бородине и сербского эпоса, со Степаном Разиным (“единственным поэтическим лицом русской истории”), с Емельяном Пугачёвым, а не с ростовщиками вроде Скупого рыцаря, не с венецианским купцом и не с еврейским аптекарем, изготавливающим яды. Любимые герои позднего Кузнецова из “Сталинградской хроники” — связист Путилов, замкнувший зубами оборванную связь, и Алексей Ващенко, закрывший своим телом амбразуру, — исторические фигуры, но одновременно и мифологические богатыри, младшие братья “Стального Егория” из одноимённой поэмы. Истинные поэты всегда тянутся к героическим натурам. Даже Иосиф Бродский, выбиравший в минуту духовной слабости между “ворюгами” и “кровопийцами” “ворюгу”, в минуты просветлений восхищался всё-таки не существами из мира “маркитанства” и “маркетинга”, не талантами “Ротшильда или Сороса”, но “пламенным Жуковым”, проливавшим кровь не хуже Суворова, сказавшего перед смертью: **“Сколько сражений выиграл, сколько крови пролил, сколько людей посылал на смерть, — прости меня, Господи!”**...

*Приснился родине герой, она его ждала...*

С конца шестидесятых и до начала 3-го тысячелетия Поликарпыч населял страницы своих книг образами русских богатырей:

*Качнёт потомок буйной головою,  
Подымет очи — дерево растёт!  
Чтоб не мешало, выдернет с горою,  
За море кинет — и опять уснёт.*  
1969

*Мать-Вселенную поверну вверх дном,  
А потом засну богатырским сном...*  
1976

*Через тёмную трещину мира  
Святорусский летит богатырь.*  
1996

*Не в руку сон богатырю...*  
2001

Но, в конце концов, его надежда на русское богатырство износилась:

*Не поминай про Стеньку Разина  
И про Емельку Пугача.  
На то дороженька заказана  
И не поставлена свеча.*

*Была погодушка недоброю,  
Ты наломал немало дров.  
И намахался ты оглоблею  
Посередине родных дворов.*

*Куда ты дел мотор, орясина?  
Аль снёс за четверть первача?  
И всё поёшь про Стеньку Разина  
И про Емельку Пугача...*

*Трудись, душа ты окаянная!  
Чтобы когда-нибудь потом  
Свеча горела поминальная  
Во граде Китеже святом...*

Вот так после глубокого разочарования он переосмыслил один из главных мифов Руси-России. Да и свою собственную судьбу, поскольку это написано и о самом себе...

### III. “И видение было ему...”

В 1967 году Юрий Поликарпович написал стихотворение “Отсутствие”, в котором, обращался к женщине:

*Ты придёшь — не застанешь меня,  
И заплачешь, заплачешь.  
В подстаканнике чай,  
Как звезда, догорая, чадит.  
Стул в моём пиджаке  
Тебя сзади обнимет за плечи,  
А когда ты устанешь,  
Он рядом всю ночь просидит.*

Много позже он сделал комментарий к этому стихотворению:

**“В 1967 году у меня, наконец, прорезалось мифическое сознание в “чистом виде”. Я написал свой первый миф: стул в пиджаке сдвинулся с места сам и стал ходить и даже говорить по телефону <...> Так я открыл свою поэтическую вселенную”.**

Однако это была всего лишь модернистская метафора, подобная тем, которыми увлекался молодой Корней Чуковский в “Мойдодыре”: “У тебя такие руки, что сбежали даже брюки”. А “поэтическая вселенная” и “мифологическое сознание” открылись поэту гораздо раньше — скорее всего, он с ними родился.

**“Свой первый символ я увидел воочию и ему обязан первым воспоминанием. Мне было с небольшим два года. Помню, как долго открывал тяжёлую калитку с высоким крыльцом, ту самую, перед которой не-**

давно стоял отец. Выйдя на улицу, увидел сырой мгlistый, с серебряной поволокой воздух, не улицы, не заборы, не людей, а только этот воздушный сгусток, лишённый очертаний. Конечно, такое воспоминание не случайно. Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого выросло ощущение единого пространства души и природы. Возможно, оттуда идёт загадка “космической туманности” многих моих строк о мире и человеческой душе”.

С тех пор стихия “пыли”, “праха” или “тумана” станет одним из самых навязчивых, заветных мифологических видений Юрия Кузнецова. Началось это с видения в знаменитом стихотворении о гибели отца: “превратился в клубящийся дым”, “столб крутящейся пыли бредёт”, “словно машет из пыли рука”. А потом “образ пыли” стал властно присутствовать во всех основных мировоззренческих стихах Юрия Кузнецова: “крестный путь, не пыли”, “слава или пыль метёт вдаль”, “то пыль с Куликова”, “пропылим по забытым могилам”, “я – знамя! Вожди подо мною / во славе, крови и пыли”...

Постепенно образ пыли в поэзии Кузнецова окончательно превращается в символ распада, в символ космической смерти, сухого остатка, возникающего на месте некогда цветущей жизни. Но вспомним опять “старую дорогу” Рубцова, на которой под ногами путника шевелится совсем другая пыль – тёплая, почти живая. В “пыли веков” бредут пилигримы, “всё пыль да пыль, да знаки верстовые”, “где дремлет пыль”, словно ждущая пробуждения...

В стихотворении “Пыль на дороге” Кузнецов почти без всяких иллюзий утверждает последнюю истину:

*Человек — это прах и попытка,  
Человек — это облако пыли...  
Чёрт чихнул — и развеялся прах...*

Но, правда, тут же хватается, как за последнюю слабую надежду:

*Но не весь. Кое-что задержалось:  
Рваный оттиск воздушной фигуры,  
Может быть, это Ангел-Хранитель,  
Что вам снится в туманных чертах.*

А сказанное словно бы в отчаянье: “Человек – это прах и попытка”, – восходит у Поликарпыча к ветхозаветному образу из Давидовых Псалмов, о чём сказано в его предсмертном стихотворении “Поэт и Монах”:

*Уж пел Давид под диким кедром,  
Что человек есть только прах,  
С лица земли взметённый ветром...*

И в этом же стихотворении лжемонах “при грозном имени Христа” превратился “в свистящую воронку праха”, скопированную со “столба крутящейся пыли” из раннего стихотворения об отце...

Когда же, словно грозный судия, поэт хочет отправить в небытие солдат коричневой Европы, шагающих на Восток, он погружает их в пыль:

*Мерцают язычки штыков  
В пыли, в пыли, в пыли,  
Ряды шагающих солдат,  
Шагающих в упор,  
Которым не прийти назад...  
И кончен разговор.*

Для того чтобы высказать все свои образы, Юрий Поликарпович переносил, как правило, действия и сюжеты своих стихотворений в сон, в “сно-видения”. Во сне душа наша, как сказано Гоголем в “Страшной мести”, отделяется от тела и путешествует в мировом пространстве, где ей заблагорассудится, и встречается с кем попало. И в этом состоянии душе всё позволено. Спящий не отвечает за то, что происходит с его душой, над которой могут властвовать любые – светлые или тёмные – силы.

Несть числа сновидениям, в которых поэт прозревал смысл прошлого, суть настоящего, очертания будущего. Во сне легче бороться с призраками из “четвёртого измерения”, во сне, именно во сне можно выиграть схватку с европейской фашистской армией, что изображено в главе “Битва спящих” из поэмы “Дом”, во сне можно напоить лошадей и поскакать на родину “свободы, равенства и братства”. Именно во сне происходит встреча Есенина с Чёрным Человеком. Именно во сне подруга Лермонтова видит его труп, лежащий в долине Дагестана, а поэт в то же время видит её в своём собственном сне. Сон во сне снится и Кузнецову: “Приснился родине герой, душа его спала”. Разновидностей подобных вещей снов в поэзии Кузнецова множество. Их столько, что можно “вещий сон” считать любимым литературным приёмом автора. Или, скорее, его творческим состоянием:

*Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей  
Стояли низко над душой моей...*

*На тёмном склоне медлю, засыпая,  
Открыт всему, не помня ничего.*

*Это было на прошлой войне,  
Это Богу приснилось во сне...*

*Что-то странное снится копьёю:  
Равновесие света и мрака...*

*Я устал воевать на две стороны —  
Наяву и во сне воевать...*

*Ты спишь всю жизнь,  
Ну, так усни навек...*

*Земля от мук изнемогла  
И позабылась сном.*

*Я сплю на Слове...*

*Но Русь ответила — не трусь!  
Ищи меня, и я найдусь.  
А не найдусь, так я приснюсь...*

*Иному человечеству приснится,  
Как вдали бредёт мой распостёртый труп  
(“Знакомый труп лежал в долине той...”)*

*И снился мне кондовый сон России...*

Все вещи сны поэта перечислить почти невозможно. И тем более невозможно их разгадать. Вся его борьба, все его победы и поражения происходят во сне. Но даже если в его стихотворных видениях нет слова “сон”, это не значит, что они свободны от “наваждений”.

Это не просто стихи. А может быть, и вообще не стихи в обычном смысле слова. Это скорее “откровения”, как называется Апокалипсис, открывшийся отшельнику на острове Патмос. Их можно назвать “прозрениями”, “озарениями”, “затмениями”, “ясновидениями”, “наваждениями”, “предвидениями” и даже “галлюцинациями”. Древние греки не записывали бормотания своих кассандр и пифий, своих дельфийских оракулов — они лишь пытались разгадать их. Кузнецов чувствовал связь своего дара с этими не то что дохристианскими, а почти доисторическими стихиями:

*От того ты всю жизнь изнывал,  
От томления духа ты плакал,  
Что себя самого познавал,  
Как задумал дельфийский оракул.*



Многие его “наваждения”, облачённые в мифологические одежды и зарифмованные, а потому и считающиеся стихами, видимо, не сочинялись, не обдумывались, не записывались в виде черновиков, но рождались, скорее всего, мгновенно, в результате метафизического усилия и своеобразного “кесарева сечения”, как родился в его стихотворении Сергей Радонежский. “Змеи на маяке”, “Ноздри”, “Семейная вечеря”, “Посох”, “Холм”, “Пустынник”, “Тайна славян”, “Муха”, “Последний человек”, “Наваждение” и много чего другого рождалось у него именно таким необычным для стихосложения способом.

Этому особому жанру поэзии нужны не литературные критики, а истолкователи, ведуны, жрецы, авгуры, подобные древним волхвам, подобные творцу Апокалипсиса или схимнику, предсказавшему в своё время русскому императору его судьбу, или человеку, начертавшему на подвальных стенах Ипатьевского дома загадочную надпись на древнееврейском языке. В этой системе координат спор о месте Кузнецова в современной поэзии становится бессмысленным.

*Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей  
Стояли низко над душой моей.  
Они затмили солнце и луну.  
Что занесло их в нашу сторону?*

*Иль от лица бежали своего?  
— Мы чужем кровь! Мы чужем кровь его! —  
Раздался вопль чужого бытия...  
И пролилась на волю кровь моя.*

Добросовестный и начитанный критик скажет, что это стихотворение написано автором под впечатлением от чтения книги В. В. Розанова “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”. Другой читатель, менее дотошный в исследовании “национального вопроса”, восхитится силой мысли, упакованной в яркий запоминающийся образ. Но эти восемь строчек не могут “примыслиться”, не могут “сочиниться” — они могут только “привидеться” в целокупной, явленной, цельно рождённой картине, появиться сразу во плоти во время то ли “вдохновения”, то ли “беснования”, то ли “припадка одержимости”, когда, как говорят, “накатило”... А что “накатило” — “ясновиденье” или “темновидение”? — это не важно. Хотя надо помнить, что Христос, живя в эпоху больших и малых, истинных и ложных пророков, относился к “одержимым” всё-таки как к больным, иногда исцеляя их.

У Пушкина бывали такого рода состояния, но он опасался их. Пушкинский “Пророк” именно во сне, близком к смерти (“И он мне грудь рассёк мечом, / и сердце трепетное вынул...”) или в процессе сложнейшей операции под глубоким наркозом, проведённой “шестикрылым Серафимом”, обретает чудесные свойства провидца всех тайн Вселенной. Может быть, в таком состоянии Иоанн Предтеча и Апостол Павел прозревали явление им Христа. У русских сектантов подобное состояние называлось “быть в духе”. “Я был в духе в день воскресный” — так начинается одно из стихотворений загадочного поэта Николая Клюева. А ведь это почти прямая цитата из “Апокалипсиса”. Дар апокалиптического сно-видения, от-кров-ения — редчайшая милость (или наказание) богов. С ним трудно жить, его невозможно оспорить.

С некоторым высокомерием Юрий Кузнецов вспоминает пушкинскую строчку: “Над вымыслом слезами обольюсь”, — и замечает, что “глубинной природы своих вымыслов Пушкин не понимал”. Ну, и что из того? Поэт не обязан умом понимать всё, что напишется в состоянии “вымысла” или “наваждения”. Кузнецов и свои-то “наваждения” не понимал, в чём не раз признавался сам:

*Через дом прошла разрыв-дорога,  
Купол неба треснул до земли,  
На распутье я не вижу Бога.  
Славу или пыль метёт вдали?*

Ключья Апокалипсиса, через который так же “прошла разрыв-дорога”, торчат из многих кузнецовских откровений:

*Матерь Божья над Русью витает,  
На клубок наши слёзы мотает...*

*А клубок всё растёт и растёт.  
А когда небо в свиток свернётся,  
Превратится он в новое солнце,  
И оно никогда не зайдёт.*

*Семь небес никого не спасут...*

*Я построил вам новое небо...*

*Ибо всё на свете станет новым...*

*С голубых небес в пору грозную  
Книга выпала голубиная...*

*Заговорили голоса из бездны...*

*Птица по небу летает,  
Поперёк хвоста мертвец,  
Что увидит, то сметает.  
Звать её — всему конец.*

*Треснул с грохотом мир — и в избе  
Я увидел зиянье провала...*

*Грянет в трубу Архангел,  
Кончится сила строк...*

*Я хотел бы услышать твой голос  
Перед гибелью света сего...*

Примеры такого рода можно черпать из книг Кузнецова пригоршнями.

В пустом дупле некогда могучего дуба поселилась нечистая сила; неведомо откуда возникший из земной поверхности плавник подрезает корни деревьев; в стае серебристых змей, ползущих через железнодорожную насыпь, увязли чугунные колёса эшелона... Вот какие видения ни с того, ни с сего возникают в стихах Юрия Поликарповича. Пусть проклянут меня его верные поклонники, но мне кажется, что он подбирал весь апокалиптический мусор, попавшийся ему на глаза, и лепил из него свои творенья.

Вадим Кожинов, близкий Кузнецову человек, но материалист до мозга костей, мог восхищаться откровениями своего друга, но растолковать их был бессилён. Недаром же сам Юрий Поликарпович сравнивал себя с древнерусским столпником:

*Всё стоит в знак вечного покоя...  
Столпник перед Господом стоит.  
Древо жизни умирает стоя,  
Но стоит и мне стоять велит.*

Стояние перед Богом и молчание — вот единственный ответ человека перед последними временами.

Именно так же, как древнерусский столпник, стоит в его стихотворении и русская Федора-дура. Стоит “на истине, на кочке, на болоте”, “на рельсах, на трибуне, на вулкане”,

*Меж двух огней Верховного Совета,  
На крыше мира, где туман сквозит,  
В лучах прожекторов, нигде и где-то  
Федора-дура встала и стоит.*

Стихи написаны осенью 1993 года. И стояние, и молчание Федоры — это ли не ответ России на Апокалипсис?

*Есть немота, по ней легко узнать  
В любой толпе инога человека:  
Он хочет что-то важное сказать,  
Его душа немотствует от века...*

*.....  
Замри, мой стих!.. Безмолвствует народ  
В глухой долине смуты и страданья.  
И где-то там, из мировых пустот  
Очами духа светит щит молчанья.*

Не хочу обращать внимания на то, что “Замри, мой стих!” – это всё равно, что “Умри, мой стих!” Маяковского, но ко многому в стихах Ю. К. последнего десятилетия можно поставить одно модное на нынешних телеэкранах слово: *No comment* – “Без комментариев”. Словом, “народ безмолвствует” (А. П.)

А чего комментировать, когда на вопросы, которые поэт задаёт Мирозданию, не слышится ни одного ответа? Да и зачем нам этот комментарий, если русский человек, собрат и кровный соплеменник Федоры, нашёл единственно верный ответ на рёв мирового зверя – число 666:

*А когда привечный гром ударил,  
Вскинул ты, не открывая глаз,  
Голову, стакан рукой нашарил  
И махнул во сне, благословясь.*

*Может, Бог тебя во сне приветил,  
Или чёрт поставил свой рожон?  
Страшный Суд проспал и не заметил...  
Вот что значит богатырский сон!*

В то, что “откровения” Кузнецова “не всегда стихи” или вообще не стихи, а моментальные вспышки, Бог знает, откуда возникающие в его сознании, поверить придётся:

*Небо покинуло душу мою,  
Я под ногами повешенных сплю.  
Тягой они затекли,  
Но не достигли земли.*

*Бездна раскрыта... при звёздном огне  
Ноги повешенных ходят по мне.  
— Спи, — говорят, — это сон.  
Если окончится он.*

“Наваждение” происходит от слова “водить”: “**В поле бес нас водит, видно**”, – но, как спасительная от этой “вспышки тьмы” молитва, вспоминаются слова Пушкина из письма к Вяземскому: “**Да говори просто. Ты довольно умён для этого**”... Однако и этот совет не спасает, потому что Пушкин имел в виду именно стихи, а здесь – “наваждение”...

Пропускать через свою душу такое количество то светлой, то тёмной энергии небезопасно.

*Туча в сумерки. Буря огня.  
Тьму свою отдаю ради света.  
Я летаю во сне, и меня  
Люди сна ненавидят за это.*

*Сразу крючья озлобленных рук  
Начинают цепляться и плакать.  
Это ад. Это родина мук.  
Корча памяти, пекло и слякоть.*

*Вон плывёт человеческий зрак  
И кровавыми льётся слезами.*

*Только снижусь — и свора собак  
Мои ноги хватает клыками.*

*Я с трудом отбиваюсь от них.  
Башни, стены, какие-то ниши.  
Из одной выплывает двойник.  
Я лечу сквозь него. Выше, выше!*

*Вижу свет, он как будто зовёт,  
Но туман продолжает сгущаться.  
Обрывается плавный полёт.  
Тьма и трепет. Пора возвращаться!*

*...Подле вялого тела жена  
На постели сидела вдовою.  
— Что с тобою? — кричала она  
И трясла то, что было не мною.*

Вот что такое “наитие”, “видение”, “откровение”, “прелесть” “заклина-ние”, словом, всё, что мерещилось древним грекам от бормотания оракулов, древним арабам — от изречений Магомета, изрыгнутых им во время падучей, древним кельтам — от вещания друидов, древним русским — от загадочных воплей юродивых.

*Есть камень в широком поле,  
На камне старик стоит.  
Колени его ослабли,  
И голос его дрожит.*

*Небу возденет руки —  
Руки горят огнём.  
Долу опустит руки —  
Они обрастают мхом.*

*Когда подымет руки —  
Мир озаряет свет.  
Когда опускает руки —  
Мира и света нет.*

Сколько ни спрашивайте автора: что он хотел сказать этим “вымыслом”? — он не ответит, поскольку это не стихотворение, а “видение”, смысл которого не ясен самому духовидцу, так же как ему неясен смысл поэмы “Змеи на маяке”, заканчивающейся словами:

*Вот что я знаю. Более того  
Я не прибавлю миру ничего.*

Задумаешься над такими стихами и вспомнишь, что писал Пушкин: **“У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну...”** Слабая, то есть нормальная голова была у Александра Сергеевича по сравнению с головой Юрия Поликарповича... “Наваждение — то, что, по суеверным представлениям, внушено злой силой с целью соблазна; облом чувств, призрак” (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М. “Русский язык”, 1979. Т. 2. С. 329).

У нас нет критериев оценки гениальности, безумия или “призрачности” наваждений, особенно если они заключены в “телесную” стихотворную форму. Пушкин знал опасность такого рода соблазнов для простых верующих душ и брал “разборки с призраками” на себя, а не взваливал эту непосильную работу на малых сил, отсеивая зерна от плевел, “обеззараживая” их.

Когда я размышлял о подобного рода искушениях, исходивших от книг Кузнецова, жена спросила меня, о чём я задумался, и после моего невнятного ответа сказала:

— Надо пойти в церковь и поставить свечку за упокой души Юрия Поликарповича.

Но тут невеста откуда на кухню, где я работаю, прилетела муха, их не было видно с октября, а сейчас январь — и крещенские морозы!

— Галя! Муха!

Жена схватила тряпку, чтобы прибить наглое насекомое, но я удержал её.

— Муха — любимая собеседница Поликарпыча. У него есть три стихотворения: “Зелёная муха”, “Муха в янтаре” и просто “Муха”. Она для него — символ вечности, всё равно, что банька с пауками для Ивана Карамазова. Он ловил мух, беседовал с ними и отпускал их...

И я прочитал жене кузнецовское:

*— Отпусти, — зазвенела она, —  
Я летала во все времена,  
Я всегда что-нибудь задевала.  
Я у дремлющей Парки в руках  
Нить твою задевала впотьмах,  
И она смертный стон издавала.*

*.....  
Я сражалась с оконным стеклом,  
Ты сражался с невидимым злом,  
Что стоит между миром и Богом...  
— Улетай, — говорю, — коли так. —  
И разжал молодецкий кулак... —  
Ты поведала слишком о многом.*

Жена посмотрела на меня с сожалением, как на больного, перекрестилась, взяла разделочную доску, стала резать морковь, но острый нож соскользнул, и она порезала палец до крови, а над каплей крови тут же появилась роковая кузнецовская муха... Вот тут и я перекрестился. А жена молча оделась и пошла в церковь.

#### IV “Я смотрю в упор...”

Перечитываю стихи Юрия Кузнецова, задумываюсь над ними. Вроде бы давно их знаю и многие — наизусть. Но с каждым новым прочтением чуть-чуть глубже и точнее понимаю их и через них — его судьбу. Вот и сейчас подумал, что объём знаний о мире был ему дан сразу, а потому он жил и писал, отстраняя от себя многое, что связано с возрастом, личной жизнью, реальными событиями, лирическим воздухом. Его стихи, написанные им в 20 лет, можно, переставив даты, отнести к концу его жизни. На них нет печати времени.

Я всегда без лишних слов ценил Поликарпыча и как человека, и как поэта. Где только мог, защищал его от всех нападков и с правой, и с левой, и с русской, и с еврейской стороны. Однажды на литературном вечере в разгар перестроечной идейной вражды я прочитал со сцены переполненного зала Центрального дома литераторов его стихотворение “Маркитанты”. Прочитал наизусть. И в ответ на крик из полутёмного зала:

— Господин Куняев! И вам не стыдно читать такие стихи! — ответил кричавшему, что я горжусь Кузнецовым, что это его стихотворение навсегда останется в истории русской поэзии, и добавил:

— А вас, господин маркитант, я прошу выйти из зала! — И “маркитант”, хлопнув дверью, вышел.

Помню, как Юрий Кузнецов читал это стихотворение в конце 90-х годов со сцены омского оперного театра. Он подошёл к микрофону, прочитал две-три строфы, дошёл до строчек:

*Маркитанты обеих сторон —  
Люди близкого круга,  
Почитай, с легендарных времён  
Понимают друг друга...*

И вдруг замолчал. То ли это было следствием вчерашнего застолья, то ли по какой-то другой причине, но пауза затянулась, и зал заволновался, из него полетели к поэту раздражённые и даже оскорбительные реплики. Тогда Поликарпыч собрался с силами и выдохнул в зал:

– А чего читать? И так всё ясно.

Махнул рукой, повернулся и тяжёлой поступью ушёл за кулисы.

В те 90-е годы где только мы не побывали с ним: в Иркутске, в Красноярске, в Калуге, в Ленинграде, в Сталинграде, в Краснодаре, в Новосибирске, в Белгороде. Всего не упомнишь. Было время в гостиницах, в поездах и самолётах, на вокзалах и в аэропортах наговориться вдоволь.

Несмотря на свою гордыню, он бывал суров к самому себе. Как-то, будучи в Калуге, мы поехали в Тихонову пустынь к святому источнику, к недавно построенной там купели. Была ранняя осень, и первый снежок уже запарошил лесную дорогу и свежую дощатую дорожку, проложенную к купели. Один из членов нашей делегации вышел из машины, разделся и чуть ли не пополз по доскам к святому источнику. Но Кузнецов сидел в машине, словно и не желая вылезать из неё. Я открыл дверцу:

– Юра, приехали! – Поликарпыч потрянул тяжёлой головой и, глядя на ползущего к купели по деревянному настилу полураздетого критика, твёрдо ответил:

– Не могу, не достоин!

Я поглядел на него и вспомнил лермонтовскую строку из “Маскарада”: “И этот гордый ум сегодня изнемог”.

Можно ли было назвать нас друзьями? В том смысле, в каком мы были друзьями с Анатолием Передревым и Вадимом Кожинным, – едва ли. Но Поликарпыч сам с печалью признавался, что он “в поколение друга не нашёл”, а если говорить точнее – и не искал. Но он не раз давал понять, что питает ко мне чувства, которые можно назвать дружескими. Правда, некоторые нынешние мемуаристы, которых в те времена рядом с Поликарпычем “и не стояло”, сейчас тратят немало сил и фантазии, чтобы доказать, будто Поликарпыч иногда отзывался о моих стихах и обо мне как о человеке весьма язвительно. Но можно ли им верить? В ответ сочинителям сплетен и слухов я лучше вспомню о том, как в 1982 году на моём юбилейном вечере в том же ЦДЛ Юрий Поликарпович прочитал наизусть моё довольно длинное стихотворение “Золотые квадраты”. Не было на моей памяти такого, чтобы он в переполненном зале читал какие-нибудь стихи своих современников.

*Что же делать, коль не вмогучу  
оставаться в больничной постели,  
потому что берёзы в саду  
так отчаянно ночью шумели,  
говорили, что жизнь хороша,  
что её чудеса несказанны.  
Но больница жила не спеша,  
по законам тюрьмы и казармы.  
Умывалась, питалась, спала,  
экономя ослабшие силы,  
и в бреду бормотала слова,  
что так дороги нам до могилы.  
В темноте вдруг припомнилось мне,  
как в далёкое время когда-то  
от проезжих машин по стене  
плыли в ночь золотые квадраты.  
Заплывали, как рыбы, в окно,  
уплывали в пространства ночные...  
Что-то я вас не видел давно,  
где вы скрылись, мои золотые?  
Гул машин и берёзовый шум  
то сплетались, то вновь расплетались,  
западали в рассеянный ум  
и о землю дождём разбивались.  
Я прислушался к дальней грозе,  
ощутил освежительный холод.  
За углом рокотало шоссе,  
чтобы утром насытился город.  
Самосвалы построились в ряд,  
надрываясь, режут на подъёме,*

*а берёзы — берёзы шумят  
в невесёлом оконном проёме.  
Так шумят, погрузившись во мрак,  
с горькой нежностью и трепетаньем,  
словно скрасить хотят кое-как  
наше равенство перед страданьем.*

Трудно себе представить, чтобы Поликарпыч, готовясь к литературному вечеру, заучивал чьё бы то ни было стихотворенье наизусть. Значит, оно запомнилось ему ранее, как и мне постепенно запоминались сами собой стихи Рубцова, Передреева, да и самого Кузнецова. Но что могло его привлечь в этом совершенно чуждом ему сентиментальном сочинении, написанном мной в молодые годы на больничной койке в полубреду? В сочинении, полном даже не чувств, а каких-то зыбких ощущений? Чего он, исповедующий мифологическую волевою стихию духа нашёл в этом “бормотанье”? Неужели ему не хватало каких-то “витаминов душевности”? Жаль, что я никогда не спросил его об этом, а теперь уже и не спросишь.

Впрочем, к моему удивлению он иногда находил в моих книгах нечто такое, что было и близко и понятно ему.

В 1992 году ещё не работавший в “Нашем современнике” Кузнецов написал стихотворение к моему 60-летию с посвящением:

*Станиславу Куняеву*

*Жизнь прошла, а значит, будь спокоен.  
В общей битве с многоликим злом  
Ты владел не рукопашным боем —  
Ты сражался духом и стихом.*

*В этот день, когда трясёт державу  
Божий гнев, и слышен плач и вой,  
Назовут друзья тебя по праву  
Ветераном третьей мировой.*

*Бесам пораженья не внимая,  
Мы по чарке выпьем горевой,  
Потому что третья мировая  
Началась до первой мировой.*

Вскоре после его смерти какие-то недоброжелатели распустили слух о том, что это стихотворение поэт написал о самом себе и что я говорю неправду. Пришлось мне разыскать подшивку газеты “Завтра”, найти в ней ноябрьский номер за 1992 год и даже растолковать незадачливым сплетникам смысл кузнецовского стихотворения:

**“Юрий Кузнецов жил в высших духовных сферах. И старался понять не политический, а мистический смысл войны, условно говоря, между добром и злом, этой вечной третьей мировой, вышедшей на финишную прямую в XX веке. По поводу моих небольших восстаний — дискуссия “Классика и мы”, письмо в ЦК по поводу “Метрополя” и т. д. — он говорил мне: “Станислав, какие-то цели у тебя слишком приземлённые. Ты воюешь с конкретными лицами — критиками, политиками, историками, диссидентами, а я борюсь со всей мощью тёмных сил, я не хочу различать их лица, помнить фамилии... Ты всего лишь лейтенант, ты идёшь в атаку, пуля тебе попадёт в лоб, споткнёшься, упадёшь и не поймёшь даже, что уже убит”.**

То, что он называл меня “ветераном” и “лейтенантом третьей мировой”, мне льстит. Но у Кузнецова есть стихи “В тишине Генерального штаба”. Он оттуда смотрел на всё, как идеолог Гишштаба, воюющего с силами мирового зла. У меня же более “приземлённое” мышление, в отличие от Поликарпыча. Я ему говорил: “Юра, каждому — своё. Вот у меня есть свои окопы, своя линия фронта, свои враги на той стороне. С меня этого — вот так хватит!”

Я всегда чувствовал сумрачную мощь его поэтического дара и, не говоря никаких высоких слов, понимал, что ему надо помогать во всех житейских делах. Однажды, когда в 1977–1980 годах я работал в Московской писательской организации, мы узнали, что московские власти передают писателям несколько квартир в доме на Олимпийском проспекте. Я, зная, что Кузнецов с семьёй живёт в тесной и неудобной для него квартире без рабочего кабинета, без необходимой для такого поэта, как он, библиотеки, пришёл к нашему секретарю по оргвопросам Виктору Николаевичу Ильину, в прошлом чекисту и узнику Лубянки, с ультиматумом: в первую очередь надо выделить хорошую квартиру Юрию Кузнецову. Ильин после некоторых колебаний согласился. Я сам поехал на Олимпийский проспект, поглядел все писательские ещё незаселённые квартиры и выбрал для семьи Поликарпыча лучшую из них.

Он так же не раз отвечал мне знаками дружеского внимания. Однажды, приехав из Америки, привёз оттуда любительский фильм, в котором в исполнении какого-то русского патриота из первой волны эмиграции звучало моё стихотворение “Размышления на Старом Арбате”. Поликарпыч с удовольствием показал мне этот фильм на телеэкране со словами восхищения о стихах: “Какая высокая публицистика!”

После его смерти мне удалось отстоять право его семьи – вдовы и дочерей – на дачу во Внуково, где в последние годы он жил и работал. Его жена Батима, часто приходившая после похорон в “Наш современник” помянуть мужа, поговорить с нами, отогреть душу, однажды поведала мне о том, что ей приснился Юрий Поликарпыч и сказал обо мне: “Иди к нему, он всё поймёт...”

Чего после этого стоят измышления “Литературной России” о том, что Батима после его смерти **“продолжала воевать за Ваганьковское кладбище... Ей звонил Анатолий Лукьянов – убеждал согласиться на Троекуровское. А Куняев и Ляпин, по её словам, не только не помогают, но даже втихомолку вредят.**

– **А ты чего ожидала** (говорит ей автор этой сплетни. – Ст. К.) **У них только теперь и появилась возможность с ним поквитаться”** (“Литературная Россия”. № 24, 2012).

Прочитав это, Батима, не застав меня, позвонила моему сыну Сергею и сказала:

– Передай отцу, что Чусовитин пропил мозги и всё лжёт!

... Когда в 1997 году Кузнецов в разговоре со мной посетовал, что покидает издательство “Современный писатель”, где и зарплату не платят, и книги почти не издают – а на что жить с двумя дочерьми? – я сразу же, без раздумий, сказал ему:

– Завтра приходи ко мне в журнал. – У меня тогда после смерти Геннадия Касмынина не было заведующего отделом поэзии. – На работу будешь являться два дня в неделю.

Мало кто знает, что я не просто приглашал его руководить отделом поэзии, но мыслил о том, что когда я окончательно вымотаюсь на должности главного редактора, то передам журнал именно в его руки. Ведь он был почти на десять лет моложе меня, с его именем и власти, и авторы обязаны будут считаться. Да и его общественное положение было прочнее, чем моё. Он не дразнил власть имущих письмами в ЦК, как это делал я, не выступал на таких рискованных дискуссиях, как “Классика и мы”, не писал статей по русско-еврейскому вопросу. Ему и только ему, истинному поэту и патриоту России, я мечтал передать журнал. Но, к несчастью, судьба решила иначе.

Конечно, я пошёл на большой риск, приглашая на рутинную работу и взяв себе в подчинение поэта с таким талантом и с таким характером. И последствия моего рискованного решения стали обнаруживаться сразу. Вскоре ко мне в кабинет вбежал весьма самовлюблённый и знающий себе цену поэт из Смоленска Виктор Смирнов. Он держал на вытянутых руках, словно нечто необходимое, свежий номер журнала:

– Станислав Юрьевич! – закричал он плачущим голосом, – посмотри, что твой Кузнецов натворил с моими стихами!

Что-то бормоча и тыча пальцами в журнальные строчки, Смирнов, чуть ли не роняя слёзы, пытался объяснить мне, что Поликарпыч так переписал его стихи, так изуродовал, исправляя их, что он, Виктор Смирнов, отказывается признать их своими и требует опровержения!



– Мне путь в поэзию открыл мой великий земляк Александр Трифонович Твардовский, – кричал оскорблённый автор, – не для того, чтобы мой однокурсник Кузнецов, всегда издававшийся над моими стихами в Литинституте, калечил их до неузнаваемости!

Кое-как при помощи традиционной стопки чая и всяческих обещаний в следующий раз не отдавать его стихи на поругание Кузнецову, а напечатать под своим присмотром в нетленном виде, я утешил несчастного, припавшего к моей груди с бормотанием:

– А он ещё и глумится надо мной, говорит: гордись, что я принял участие в твоей литературной судьбе и вписал в твои рифмованные опусы лучшие слова и строки. Гордись и напиши когда-нибудь об этом!

Следующим после Виктора Смирнова в мой кабинет вошёл хмурый Иван Переверзин:

– Станислав Юрьевич! Ты всё-таки уйми нашего гения... Ну, сам поуди, приношу я ему пятьдесят новых стихотворений. Он при мне молча читает, выбирает из толстой стопки всего пять стихов, а остальные, говорит, носи в “Юность” или в “Литгазету”!

Но Переверзина я утешил без особых усилий.

– Ваня! Ты пойми. Он ведь не сказал тебе, что отвергнутые им стихи – плохие. Он просто самые гениальные выбрал для лучшего журнала страны, для отдела поэзии, которым руководит сам Кузнецов, а просто талантливые оставил для “Юности”. А потом, он же видит, как легко и много ты пишешь! И знает, что скоро ты опять принесёшь ему пятьдесят стихотворений! Ты цени его строгость, не все поэты удостоиваются такого внимательного отношения!

Иван Иванович задумался и успокоился. И вскоре стихи, забракованные Кузнецовым, появились в “Литературной газете” и в “Москве”. На мой взгляд, они были не хуже опубликованных в “Нашем современнике”.

Но это всё, как говорится, ещё цветочки. Бесцеремонность Поликарпыча по отношению к стихотворным журнальным публикациям порой переходила всякие пределы. В августовском номере за 2003 год мы, помнится, печатали подборку произведений сызранских литераторов, и одно из стихотворений лучшего сызранского поэта Олега Портнягина Поликарпыч переписал, а вернее – перепаял так, что у меня сердце защемило: из двадцати строчек портнягинского стихотворенья Кузнецов своей редакторской рукой оставил в нетленном виде только восемь, а остальные двенадцать переписал, что называется, до последней буквы. И я ничего не мог сделать, потому что Поликарпыч согласился работать в журнале с одним условием: чтобы главный редактор, то есть я, не вмешивался в жизнь отдела поэзии. А я был рад-радехонек: баба с воза – кобыле легче! Ох, и поднадоели мне за десять лет моего редакторства поэты с их капризами! Мы ударили по рукам, но при этом я выторговал себе “квоту” главного редактора. Когда по каким-либо соображениям – политическим, экономическим, дружеским – мне позарез нужно будет кого-то опубликовать, то я заявляю об этом Кузнецову, что, мол, это моя “квота”, а он стихи, идущие по “квоте”, не читает и вообще знать о них ничего не хочет.

Но с другой стороны, его приход в журнал означал приток на журнальные страницы свежей крови.

Он, преподававший к тому времени в Литинституте уже лет пятнадцать, вырастил целую плеяду молодых поэтов, которые с его приходом ко мне стали постоянными авторами журнала. Это были Диана Кан с Евгением Семичевым из Самары, Евгений Чеканов из Ярославля, Иван Переверзин из Якутии, Игорь Тюленев из Перми, Геннадий Фролов из Москвы, Валерий Фокин из Вятки. Из поэтов, которые обрели свой голос до знакомства с ним, Юра высоко ценил Николая Дмитриева из Старой Рузы и, конечно же, Виктора Лапшина из Галича.

К молодым поэтам – Марине Струковой, Нине Карташовой, Илье Недосеклву которым я открыл двери в “Наш современник” до его прихода, – Поликарпыч относился настороженно и ревниво, наверное, потому, что они были не его, а моими воспитанниками...

Что бы сейчас ни говорили критики, но, по моему мнению, он не обладал абсолютным вкусом. Не буду вспоминать имена нескольких молодых поэтов, на которых он делал ставку, печатая их в журнале, но из которых ничего путного не вышло.

Но самая большая его педагогическая неудача была связана с тем, что он открыл никому не известную сказительницу из Костромы, которая пыталась отразить современную жизнь в жанре “сказа”. Поликарпыч, как “основоположник мифологического мировоззрения” в современной поэзии, пришёл в непонятный мне восторг, прочитав её “сказы”, заходил ко мне, читал отрывки вслух, но я только пожимал плечами.

– Тебе нравится, Юра? Печатай!

После двух публикаций “сказов” Юра загрустил и вскоре забыл о своём временном увлечении.

Поликарпыч весьма ревниво относился к тому, что именно он является основоположником мифологического взгляда на жизнь в современной русской поэзии. Правда, в своих “Воззрениях” он одобрил вклад в “мифологическую традицию” Пушкина, Лермонтова и особенно Тютчева, бегло похвалил Есенина, а из современных поэтов – Николая Тряпкина, Виктора Лапшина и, со многими оговорками, Николая Рубцова... Но, на мой взгляд, глядя в эту сторону, он сознательно или случайно не заметил того, чего нельзя было не заметить. Вспоминая о том, как проявилось мифологическое сознание в его поэзии, он пишет:

**“Из меня повалили богатыри, мужики, цари, солдаты, лежебоки, дети, старики – и всё это был один человек. Мир заполнили женщины, русалки, земли, небеса, долины, пустыни, поля, леса, горы, реки, деревья, кусты, ветки, листья, птицы, бабочки, пчёлы, змеи, дома, храмы, свечи, иконы, облака, бездны, щели, дороги, камни, пыль, дымы, туманы, реки, звёзды, поезда, колёса, обрывки газет, заборы, стены, окна, стёкла, стаканы, стопки, бутылки, дождь, снег и многое другое, и всё в образах...”**

Поразительно, что, понимая это, Кузнецов не заметил великого эпоса, созданного до него в предельно мифологических поэмах Александра Твардовского – “Страна Муравия” и “Василий Тёркин”...

*С утра на полдень едет он.  
Дорога далека.  
Свет белый с четырёх сторон,  
И сверху — облака  
Земля!  
На запад, на восток,  
На север и на юг...  
Припал бы, обнял Моргунок —  
Да не хватает рук...*

Начнём с того, что героями этих поэм являются два богатыря русской истории – крестьянин и воин, и жизнь их окружена не меньшим количеством подробностей, “высыпавшихся” из Твардовского с не меньшей сверхъестественной мощью... Из “Муравии” “сыплются” лошади, телеги, колёса, кнуты, бутылки... И конца перечислению не будет! Начнёшь перечислять образы и предметы войны, а война – не менее значительное состояние человечества, нежели мир! – и “посыплются” стволы, снаряды, каски, пулемёты, полевые кухни, санитарки, шинели, бинты, ордена... А сражение Тёркина с немцем – это поистине эпическая, мифологическая картина, не менее значительная, нежели единоборство Ильи Муромца с Идолищем Поганым или Александра Невского с Магистром Тевтонского Ордена.

Но есть у Твардовского и третья поэма – “Дом у дороги”, – уже в самом названии которой заключены два великих символа русской истории, столь много значившие и для сердца самого Кузнецова: “Дом” (у него даже поэма есть с таким названием!) и “Дорога”... А четвёртая поэма Твардовского носит не менее мифологическое имя – “За далью даль”, – хотя, к сожалению, несколько конъюнктурно привязанная к задачам времени, она, конечно, уже не имела той символической мощи, которой обладают “Страна Муравия” и “Василий Тёркин”.

Да и не только о Твардовском надо вспомнить, перейдя на мифологическую стезю. Жаль, что в поисках своих предшественников в истории сказочного сознания, Поликарпыч нигде не вспомнил ещё одного необыкновенного поэта советской эпохи, душа которого была занята освоением мифологии расы

и мифологии власти, — Даниила Андреева с его до сих пор не прочитанным и не осмысленным “Ленинградским Апокалипсисом”:

*Ночные ветры! Выси чёрные  
Над снежным гробом Ленинграда!  
Вы — испытанье, в вас — награда;  
И зорче ордена храню  
Ту ночь, когда шаги упорные  
Я слил во тьме Ледовой трассы  
С угрюмым шагом русской расы,  
До глаз закованной в броню.  
.....  
Дыханье фронта здесь воочию  
Ловили мы в чертах природы:  
Мы — инженеры, счетоводы,  
Юристы, урки, лесники,  
Колхозники, врачи, рабочие —  
Мы злые псы народной псарни,  
Курносые мальчишки, парни,  
С двухильным нравом старики.*

Этот, как его называет Андреев, “сверхнарод” ничуть не уступает по своей значительности “сверхнароду” стихов и поэм Кузнецова или Твардовского.

\* \* \*

Из нашего соглашения о “разделе сфер влияния” в отделе поэзии порой происходили весьма курьёзные случаи редакционной жизни. Однажды ко мне пришла достаточно молодая поэтесса с естественной просьбой:

— Станислав Юрьевич, прочитайте, пожалуйста, мои стихи. И, если они вам придутся по душе, помогите опубликоваться в “Нашем современнике”!

— Золотко! — ответил я. — У нас с Кузнецовым заключён договор о том, что поэзией занимается он, а я в судьбу его епархии не вмешиваюсь.

— Я понимаю, — жалобно застонала просительница, — потому и пришла к вам, что боюсь его. Но вы хоть посмотрите мои стихи и скажите, стоит ли мне идти к нему?

Делать нечего. Я тяжело вздохнул и перелистал тоненькую стопку стихотворений. Вариант был самым невыгодным для неё: больших достоинств для публикации в журнале у стихотворений не было, но и резкого осуждения они не заслуживали, словом, можно и напечатать, но лучше этого не делать. Ни Богу свечка — ни чёрту кочерга. . .

— Идите на первый этаж к Кузнецову, — сказал я. — Он уже на работе.

— Но вы, Станислав Юрьевич, напишите на моих стихах какую-нибудь свою резолюцию! — взмолилась поэтесса, цепляясь за последнюю надежду. Однако я понимал, что писать нечто одобрительное, то есть распоряжение Поликарпычу, в этих обстоятельствах я не могу, и нашёл выход из положения:

— Передайте Юрию Поликарповичу, что я отнёсся к вашим стихам благосклонно. . . Слово-то какое придумал дипломатическое!

Воодушевлённая женщина ушла, но через десять минут дверь в мой кабинет заскрипела, и я снова увидел её с заплаканным лицом. Мне стало её жалко.

— Что с тобой, золотко? — задушевым голосом спросил я.

— Ничего не получилось, — она едва сдерживала рыдания.

— Ну, расскажи, как всё было?

— Я вошла, протянула ему стихи. Он молча их взял, перелистал, не говоря ни слова встал и открыл передо мною дверь. . .

— Но ты успела сказать, что Куняев отнёсся к стихам благосклонно?

— Да, успела, — плечики её подрагивали, — но он ответил мне. . . — слёзы не давали ей говорить. . .

— Что он ответил тебе? — я уже почти негодовал на Кузнецова.

— Он ответил. . . что. . . в этом кабинете. . . Куняев — это я. . .

И тут я искренне расхохотался.

А за год до его смерти в 2002 году, когда мы праздновали моё 70-летие, он вышел к микрофону с кипюю листочков и одно за другим прочитал несколько моих стихотворений, чтобы доказать одну мысль о присутствии отроческого, ребяческого, простодушного понимания жизни, которое удивляло его в моих стихах разных лет. А выступление своё Юра начал со стихотворения “Мальчик”:

*Он сегодня катался на льдине,  
весь промок, но домой не идёт.  
Захмелев от весенней теплыни,  
он костёр на песке разведёт.*

*Будет молча слоняться средь лодок,  
от прохлады подняв воротник,  
этот миру неведомый отрок,  
вечный мальчик, мой тайный двойник...*

Кстати, любопытно, что мы, не сговариваясь и не подражая друг другу, называли почти все свои книги строчками из своих стихотворений: “Метель заходит в город” — “Во мне и рядом даль”, “Отпущу свою душу на волю” — “Мать сыра земля”, “Край света — за первым углом” — “Сквозь слёзы на глазах”, “После вечного боя” — “В окруженье порожистых рек”...

Чтоб не обращаться больше к тому, что выдумывают о наших отношениях разные *огрызки*, я решил опубликовать Кузнецовские дарственные надписи на всех его книгах, сохранившихся у меня, которые он дарил мне, начиная с 1974 года.

“Во мне и рядом — даль”. М., “Современник”, 1974:

**Станиславу Куняеву с любовью и уважением. Юрий Кузнецов. 13.XI.74 г<ода>.**

“Край света — за первым углом”. М., “Советский писатель”. 1976:

**Станиславу Куняеву на славу и единство. Юрий Кузнецов. 29.VII.76.**

“Выходя на дорогу, душа оглянулась”. М., “Молодая гвардия”. 1978:

**Станиславу Куняеву дружески. Ю. Кузнецов 8.VIII 78 г<ода>.**

“Отпущу свою душу на волю”. М., “Советский писатель”. 1981:

**Станиславу Куняеву — Юрий Кузнецов дружески и сердечно 28.IX.81 г<ода>.**

“Душа верна неведомым пределам”. М., “Современник”. 1986:

**Станиславу Куняеву от верного ему человека. Юрий Кузнецов 26.2.87.**

“После вечного боя”. М., “Советский писатель”. 1989:

**Станиславу Куняеву с горячим объятием русского человека Юрий Кузнецов. 14.12.89 г<ода>.**

“Пересаженные цветы”. М., “Современник”. 1990:

**Станиславу Куняеву с приветствием духа, всегда твой Ю. Кузнецов 17.09.90 г<ода>.**

“До свиданья! Встретимся в тюрьме”. М., “Советский писатель”. 1995:

**Станиславу Куняеву, старшему собрату по перу и духу. На память. Юрий Кузнецов. 25.06.96.**

“Русский зигзаг”. М., “Московское отделение СП России”. 1999:

**Станиславу Куняеву, расчистившему мне путь в поэзии. Ю. Кузнецов. 31.05.99 г<ода>.**

“Путь Христа”. М., “Советский писатель”. 2001:

**Станиславу Куняеву на славу, образ и подобие. Ю. Кузнецов. 11.02.2001 г<ода>.**

**Станиславу Куняеву на удивление его духа, на досуг его сердца. Благодарный автор. Юрий Кузнецов. 11.02.2001 г<ода>.**

Последние два автографа сделаны 11.02.2001 года в юбилейный день рождения поэта (60 лет), который мы в редакции отметили, видимо, так мозабвенно, что он подарил мне аж два одинаковых экземпляра книги “Путь Христа”, но с разными дарственными надписями.

Не думаю, что какой-нибудь отиравшийся рядом с Кузнецовым издатель или критик-функционер мог получить от поэта книги со словами: **“старшему собрату по перу и духу”, “от верного ему человека”, “расчистившему мне путь в поэзии”, “всегда твой Ю. Кузнецов”**. Такими откровенными признаниями он разбрасываться не любил. Поэтому он не мог сказать Чусовитину: “Зачем ты читаешь Куняева – у него слово не живёт”. Смешно подозревать, что такой нелicenseмерный, такой прямолинейный и независимый ни от чьего мнения человек, как Юрий Кузнецов, мог говорить и писать сегодня – одно, а завтра – другое. Не надо мерить его по себе. Он сделан из другого материала, нежели вы. Он мог быть грубым, надменным, мог пребывать в гордыне, но чтобы льстить кому-то, быть неискренним – ни за что!

Как-то мне позвонил Вадим Кожин и сказал, что в гостях у него Юрий Кузнецов, которому он прочитал моё стихотворение “Случай на шоссе” из новой книги, и Юре оно настолько понравилось, что он хочет, чтобы я посвятил стихотворение ему.

– Но и я, – сказал мне Вадим, – прошу тебя посвятить это стихотворение мне. Так что выбирай!

– Дима, – ответил я Кожину, – мы с тобой старые друзья аж с 1960 года. И конечно, при всём уважении к Юрию Поликарповичу, я посвящаю стихотворение тебе.

С той поры во всех моих книгах стихотворение так и печаталось:

### **Случай на шоссе**

*Вадиму Кожину*

*Птица взмыла, но не удержалась, —  
видно, воздух исчез под крылом,  
и вцепилась в стекло, и осталось  
лишь пятно на стекле лобовом.*

*То что — птица, я понял не сразу,  
на баранке замлела рука.  
Я попал на хорошую трассу —  
можно выжать до ста сорока!*

*Что мне помнить какую-то птаху,  
если надо глядеть и глядеть,  
чтобы вдруг на обгоне с размаху  
в голубой березняк не влететь.*

*Я — в машине. А значит, не волен  
изменить предначертанный путь...  
Как хотите, но я не виновен:  
всё равно бы не смог отвернуть,*

*потому что вдоль вешнего леса,  
где ничто в этот миг не мертво,  
с тяжким свистом несётся железо,  
попирая законы его.*

Но вскоре Юрий Кузнецов написал и прочитал мне ответное стихотворение:

## Пятно

*Вперёд, вперёд, пока ещё цела  
И голова, и ноги, слава Богу!  
Дорога человека увлекла...  
А воробей перелетал дорогу.*

*Как мелкий вор, он в клюве нёс зерно  
И не успел заметить той причины,  
Что превратила страх его в пятно  
На ветровом челе чужой машины.*

*Остановил машину человек,  
Сорвал в степи сухой пучок полыни  
И стёр пятно — и позабыл навек...  
Нельзя перелетать чужой гордыни.*

Видимо, он был раздосадован, что я посвятил своё стихотворение Кожинову, а не ему.

\* \* \*

Как это ни прискорбно, но в журнале “Наш современник”, который стал оплотом русского национального самосознания при двадцатилетнем редакторстве моего предшественника Сергея Васильевича Викулова, до меня не было напечатано ни одного стихотворения Юрия Кузнецова. Трудно понять почему Викулов, искренне открывавший нараспашку двери журнала перед Распутиным, Беловым, Шукшиным, не решался по настоящему открыть Рубцова, опасался сближения с Кожиновым, а о Кузнецове и слышать не хотел. Скорее всего, мифологическая сложность поэзии Кузнецова и его порой демонстративное отстранение от злости дня и от основ официального советского патриотизма были, мягко говоря, непонятны ему. Да и в других журналах Кузнецова печатали весьма редко и неохотно, и читатели Советского Союза могли знакомиться с его поэзией лишь по книгам. Неудобный он был поэт и для “русско-советских правых”, и, тем более, для “еврейско-советских левых”.

Но зато с 1989 года, когда Викулов передал “Наш современник” в мои руки, для Юрия Поликарпыча наступила счастливая и благодатная пора. За эти последние 15 лет его жизни в журнале было опубликовано 26 стихотворных подборок – всего 243 стихотворения! В сентябрьском номере 1997 года – 20 стихотворений, в апрельском 1998-го – 13 стихотворений, в январском 2002-го – целых 25! – почти небольшая книжка. Помнится, когда в 1836 году Пушкин напечатал в “Современнике” 20 стихотворений Тютчева, это стало сенсацией для всей тогдашней читающей России.

В нескольких номерах 2000 и 2001 годов, как говорится, “с колёс” публиковалась поэма о Христе (“Детство Христа”, “Юность Христа”, “Путь Христа”) и заключительная часть – “Сошествие в ад” (№ 12, 2002). Последняя прижизненная подборка (12 стихотворений) увидела свет в сентябрьском номере за 2003 год.

А ещё надо вспомнить блистательный Кузнецовский перевод первого великого памятника древнерусской литературы – “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона. Да не забыть бы ещё его рассказы – всего их было три, и все исполнены рукой мастера-прозаика... В первую годовщину смерти поэта – в ноябре 2004 года – мы опубликовали в журнале его неоконченную поэму “Рай”.

А сколько за эти годы ещё при его жизни было напечатано всяческих размышлений о его творчестве известнейших наших авторов – В. Кожина, С. Небольсина, В. Личутина, священников о. Дм. Дудко и о. А. Шаргунова. А после смерти – Валентина Распутина, Дмитрия Ильина, Ларисы Барановой, Владимира Смирнова, Андрея Воронцова... Вспоминается и письмо, подписанное тридцатью крупнейшими писателями России, обличающее руководство телеканалов, организовавших заговор молчания вокруг смерти знаменитого русского поэта (“НС”, № 1, 2004).

А если говорить о других посмертных публикациях, то это были стихи “Поэт и монах”, “Молитва”, стенографические записи его лекций, сделанные студенткой Высших литературных курсов Мариной Гах... Не всё я вспомнил. Но и этого достаточно, чтобы сказать: не было в истории наших толстых журналов – ни в XIX веке, ни в “Серебряном веке”, ни в железном советском – ничего подобного... Ни Тютчев, ни Блок, ни Некрасов, ни Есенин, ни Твардовский не удостоивались со стороны печатных изданий такого внимания. В сущности, в самое неблагоприятное для литературы время мы сделали всё, чтобы в читательском сообществе возник своеобразный культ его творчества. И чего стоят после этого до сих пор возникающие на страницах жёлтой прессы измышления о какой-то зависти и неприязни к Юрию Поликарповичу как к поэту, которые якобы испытывал поэт и главный редактор журнала “Наш современник” Станислав Куняев! Да я всю жизнь гордился тем, что он живёт и работает рядом с нами и среди нас.

Слухи и сплетни вокруг наших отношений с Поликарпычем удивляют своей глупостью. Так, например, “Литературная Россия” (№ 24, 2012) публикует слова, якобы произнесённые Кузнецовым: “Всё близкое окружение Куняева ниже его... Видимо, ему это нравится”.

Моим “близким окружением” в 60–80-е годы были Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Татьяна Глушкова, Игорь Шкляревский, Владимир Соколов, Василий Белов, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков, Георгий Свиридов. Ну, неужели кого-то из них я мог считать “ниже себя”? Отношения с каждым из этих людей были для меня плодотворны, интересны, увлекательны, сердечны, необходимы. Когда же я возглавил журнал “Наш современник”, то в кратчайшее время ввёл в редколлегию или в число основных авторов журнала митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, Игоря Шафаревича, Александра Проханова, Илью Глазунова, Татьяну Доронину, Сергея Кара-Мурзу, Владимира Крупина, Михаила Лобанова, Сергея Небольсина, Александра Сегеня, Юрия Лощица, Николая Рыжкова, Валерия Ганичева, Андрея Убогого... Всех не перечислить. Вот какие люди мне нравились! Да и сам Юрий Кузнецов именно с конца 80-х годов стал одним из самых любимых и влиятельных сотрудников и авторов журнала. Поэтому он никак не мог бы произнести те глупости, которые приписал ему Чусовитин. Ибо Юрий Поликарпович, в отличие от Чусовитина с Огрызкой, был умён, благороден и сплетен не сочинял.

\* \* \*

Однажды мы разговорились об истоках зла на земле, о его живучести, о его символах. Поликарпыч, взяв нож, разрезал яблоко не сверху вниз, вдоль плодоножки, а поперёк и показал мне рисунок семенного гнезда, образовавшегося после разреза – пятиконечную звезду:

– Вот символ зла – нутро яблока, которым змий соблазнил в Раю любопытную Еву.

Я горько усмехнулся:

– А хочешь, Юра, я тебе расскажу о символах сегодняшнего зла? – И я поведал Кузнецову о трёх впечатлениях жизни, случайным свидетелем которых был сам...

Я спешил на работу в разгар гайдаровских реформ, когда на московских улицах появились нищие. На стыке Цветного бульвара и Садового кольца стал переходить бульвар, протискиваясь сквозь ряды машин, стоявших перед красным светофором, и вдруг увидел, как в стороне от меня замелькали какие-то фигуры. Подойдя к ним ближе, я понял, что дерутся два инвалида. Один был без обеих ног, ампутированных по колена, сидел на деревянной плоской тележке с четырьмя колёсами и, отталкиваясь кистями рук от асфальта, ловко юлил между сверкающими лаком и никелем автомобилями, стараясь уклониться от ударов, которые пытался ему нанести другой инвалид – высокий одноногий парень с двумя костылями под мышками. Но когда он взмахивал одним костылём, то терял равновесие, то и дело промахивался, едва не задевая машины, попадая или по тележке, или вскользь по ватнику безногого. Он прогонял чужака с обжитого места, выгодного для нищенства... Холёные люди из “Мерседесов” и “Ауди” опускали стёкла, смеялись,

глядя на разъярённых калек. Но загорелся зелёный свет, поток машин двинулся, и я, потрясённый, потерял из виду их обоих.

— Юра! — сказал я. — У тебя есть стихотворение о том, как на мосту “одноногий поляк увидал одноногого Ганса”, как они посылали друг другу “глухие проклятья”, как с трудом, чтобы разойтись на узком мосту, оперлись друг на друга. А закончил ты стихотворение строкой: “Человечество, вот твои ноги!” Но вот эта русская встреча инвалидов, по-моему, страшней! Дарю её тебе.

— Не бойтай лишнего! — буркнул взволнованный Поликарпыч и взялся за бутылку. — Рассказывай дальше!

Вторая история, на мой взгляд, была ужасней первой. Будучи в том же году в Калуге, я пришёл на рынок в мясные ряды. Разглядывая прилавок, приценивался к мясу, торговался и вдруг увидел рядом с собой худого, небритого человека с впавшими щеками в заношенном сером плаще с капюшоном, с матерчатой грязной сумкой, перекинутой через плечо. Он медленно двигался, обходя одних покупателей, молча отгесняя других от каменного прилавка, за которым с той стороны стояли торговки мясом. И вдруг из-под хламиды, в которую он был одет, словно птичья лапа с коготками, вылетела его рука, цепко схватила из мясной кучи ближний к нему кусок и бросила в сумку. Всё это он проделал мгновенно, молча, на ходу, не опуская лица и взгляда, которым сверлил и гипнотизировал торговков. Возможно, торговка, глядевшая в его лицо со сверлящими глазами, и не видела движения коггистой лапы, но хищник уже миновал её и через несколько шагов повторил свою вылазку. Другая торговка вроде бы попыталась крикнуть, но крик застыл у неё в горле. Да и я замер на месте от увиденного. Меня, как и торгующих мясом женщин, поразило, что такое стало возможно, что, коль человек ничего не стесняется и ничего не боится, значит, пришло такое время. И от внезапного осознания этого у людей язык присыхал к нёбу, и руки окаменевали. Коль всё дозволено, то лучше сделать вид, что ты ничего не видишь. . .

Кузнецов выслушал меня. Помолчал. И, как бы говоря самому себе, промолвил:

— Ну, да, я же об этом писал. О том, что “тамбовский волк выходит на дорогу” . . . Вот он и вышел. . .

А третий мой рассказ был о том, как я шёл по Москве мимо литфондовского детского сада, а за забором на детсадовской территории стоял мальчик лет пяти. Он держался за железные прутья ограды обеими руками и, прижавшись к ним лицом, повторял одни и те же слова, обращаясь не к людям, а куда-то в пространство:

— А я русский! А я русский! . .

И вот тут Юра был потрясён. Он с побледневшим лицом допил свой стакан и пробормотал, что это страшнее всего, о чём он писал до сих пор. . . Наверное, потому что было вырвано не из книг Розанова или Достоевского, а из жизни, которая бушевала за окном.

— Юра, — сказал я, — дарю тебе эти сюжеты.

Но он подумал и ответил, что переключивать их на язык мифов или символов — напрасный труд, потому что сделать их страшнее, чем они есть, невозможно.

Я видел, что после моих рассказов Поликарпычу чуть ли не стало плохо. Наверное, потому что в каждом из них он видел приметы светопреставления. Таким людям, как он, при всей внешней мужественности, тяжело жить на белом свете с их провидческим даром. Ведь даже его прекрасное стихотворение “Певучий голос” — о голосе любимой женщины:

*Он звенит, он летит, он играет,  
Как малиновка в райском саду,  
Даже платье твоё подпевает,  
Мелодично шумит на ходу, —*

заканчивается у него внезапной мыслью о близком Апокалипсисе:

*Даже волосы! Каждый твой волос  
От дыханья звенит моего,  
Я хотел бы услышать твой голос  
Перед гибелью света сего.*



И потому после тех трёх историй, увидев страдание на его лице и тоску во взгляде, я спохватился:

**“Ну, зачем, зачем я отяжелил его душу лишней тяжестью! Он ведь не может утешить себя, как Рубцов, написавший:**

*И какое может быть крушение,  
Если столько в поезде народу...*

**Он-то знает, что крушение не только может быть, но что оно непременно будет... Или уже произошло”.**

Вот почему многими его стихами можно восторгаться, можно ужасаться, но очень трудно жить ими. Однако, если вы имеете волю и бесстрашие знать, в каком мире мы живём, то читайте. И будьте готовы к тому, что ваш лоб будет пробит не “золотой стрелой Аполлона”, а железными гвоздями Юрия Кузнецова. Знание, которым он делился с нами, не для слабых. У него не было, к сожалению, пушкинской способности фильтровать “зло мира сего”, он не щадил ни самого себя, ни “слабых сих”, то есть нас. **“На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, – сказал он в одном из интервью, – и многие честные люди отводят глаза. Я смотрю в упор”.**

*(Окончание следует)*

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

## ГРОЗНЫЙ ВЕК

*К 100-летию начала Мировых войн*

Ещё в 1871 году, в год поражения Франции во Франко-прусской войне, осады Парижа немецкими, а затем версальскими войсками, после кровавого расстрела Парижской Коммуны и подавления революции во Франции, в этот страшный и кровавый год замечательный русский поэт Николай Алексеевич Некрасов написал пророческие строки:

*Страшный год! Газетное витийство  
И резня, проклятая резня!  
Впечатленья крови и убийства,  
Вы вконец измучили меня.*

*Этот год готовит и для внуков  
Семена раздора и войны.  
В мире нет простых и чистых звуков,  
Нет любви, свободы, тишины...*

Предсказание его оказалось до ужаса точным. Именно сыновьям и внукам тех людей, что жили в семидесятые годы века XIX-го, придётся испытать и пережить все муки и страдания величайшей “мировой бойни”, как назовут это историческое событие современники, – все трагические перипетии Первой мировой войны века XX-го.

Сейчас, оглядываясь на минувшее столетие, со всей очевидностью осознаёшь, что это был грозный век мировых войн. Причина конфликтов была порождена политическими, экономическими и социальными изъянами в развитии человеческого общества.

К началу XX века европейская цивилизация покорила весь мир. Достаточно взглянуть на политическую карту того времени, чтобы увидеть, что небольшие территориально страны Европы – Великобритания, Франция, Германия, Италия, даже совсем маленькие Бельгия и Нидерланды поделили между собой почти весь мир. Колониальная империя Великобритании охватывала Канаду, Индию, Бирму, Австралию, Новую Зеландию, обширные владения в Южной Африке, Судан и множество других небольших стран и островов во всех частях света. Не отставала от неё и Французская республика, которая, несмотря на свою демократическую конституцию, что называется, “огнём и мечом” присоединила к себе почти всю Северную и Западную Африку,

а также страны Индокитая, имела владения в Южной Америке и других частях света. Сравнительно недавно образовавшееся государство Италия успело захватить Ливию, Эритрею и Сомали в Африке, а крошечная Бельгия приобрела огромную территорию в Центральной Африке – Конго, Голландское королевство (Нидерланды) давно уже владело богатейшей Индонезией. Германская империя, сложившаяся после победы над Францией под железным шлемом Бисмарка, также рвалась к колониальным захватам и сумела овладеть Намибией, Танганьикой и Камеруном в Африке, а также рядом других территорий на этом континенте, островами в Океании, имела владения в Китае. Но Германия чувствовала себя обделённой в ходе колониального раздела мира и претендовала на английские территории в Африке. Лишь Австро-Венгерская империя или, как её именовали тогда, “лоскутная монархия” из-за обилия захваченных ею славянских земель и краин, не имела владений за океаном, но страстно желала их получить.

Не имела заокеанских земель и Россия, складываясь как территориально цельное государство от Балтики до Тихого океана с преимущественно русским населением, расселившимся по огромным её просторам (население Белоруссии и Украины в то время в абсолютном большинстве своём предпочитало называть себя русскими). Лишь только среднеазиатские ханства (Бухарское и Хивинское) условно можно было назвать полуколониальными территориями России, но фактически эти государства имели автономию во всех своих внутренних делах, также как и Великое княжество Финляндское, входившее в состав Российской империи в силу того, что трон великого князя финляндского традиционно занимал император всероссийский.

Сложнее был вопрос с Польшей. Эта страна была фактически расчленена между тремя европейскими монархиями – Германской империей, Австро-Венгрией и Россией, причём России принадлежала лишь центральная часть польских земель вместе с Варшавой и Лодзью. Эта территория имела статус отдельного административного образования, так называемого Царства Польского, имевшего также большую внутреннюю автономию.

Россия к 1914 году, владея огромными континентальными территориями (во многом ещё не освоенными в Сибири и на Дальнем Востоке), не стремилась к новым территориальным захватам и не была инициатором начала войны за передел мира, тем более Европы, а вот Франция спала и видела возврат Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых Германией после победы над Францией в злосчастном 1871 году. Германия же, в свою очередь, желала присоединить к своим владениям Бельгию, а в перспективе и Голландию, и территории Франции у пролива Па-де-Кале, чтобы контролировать этот важный пролив между Англией и континентом. Да и вообще Германия стремилась окончательно поставить Францию на колени как главного своего соперника на континенте, понимая, что Франция никогда не смирится с потерей своих восточных провинций. Так события 1871 года определили неизбежный конфликт двух крупнейших европейских держав, приведший к большой войне.

Чтобы выжить и победить в противостоянии с Германией, Франции нужны были союзники, как на Западе, так и на Востоке. Ей удалось заключить тактический союз с Великобританией, которая опасалась за свои колонии, видя нарастание военной мощи Германии. Естественным же союзником России давно уже (на протяжении полутора веков – после окончания Семилетней войны в 60-е годы XVIII века) была Германия. После раздела Польши между Австрийской монархией, Россией и Германией (тогда ещё Прусским королевством) Россия имела протяжённую общую границу с Германией, позволявшую без помех развивать взаимовыгодную торговлю. И надо сказать, к 1914 году Германия была самым крупным торговым партнёром России, что приносило обеим странам огромную выгоду. В Германию шёл российский хлеб и древесина, а в обмен Германия поставляла нам новейшие промышленные изделия и технологии. Можно вспомнить, что железные дороги России строили в основном немецкие инженеры.

У России не было территориальных споров с Германией, а представители русского монархического семейства ещё со времён Екатерины II были в родстве с членами германской династии (так, император России Николай II приходился двоюродным братом германскому императору Вильгельму II и породственному называл его “кузеном Вилли”). На протяжении полутора веков Германия занимала союзническую позицию по отношению к России. Даже

Наполеон I, покорив Пруссию в начале XIX века и принудив Берлин участвовать в агрессии против России, не смог заставить немецкие войска идти на Москву вместе со своей Великой армией (в отличие от “братьев-славян” — поляков, составлявших едва ли не четверть этой многоязычной армии). После разгрома Наполеона Прусское королевство немедленно вновь вступило в союзнические отношения с Россией, и немецкие войска воевали вместе с русскими и австрийцами и вместе вошли в Париж в 1814 году. В России был очень популярен немецкий полководец Блюхер, разгромивший Наполеона при Ватерлоо, некоторые русские семейства даже меняли свою фамилию на фамилию Блюхер, как это случилось с предками нашего знаменитого полководца времён гражданской войны маршала Блюхера.

Во время Крымской войны, несчастливой для России, когда английская и французская армии захватили Севастополь, а английский флот на Чёрном и Азовском морях обстреливал российские города, на Белом море пытался уничтожить Соловецкий монастырь, на Балтике стоял у Кронштадта, на Тихом океане атаковал Петропавловск-Камчатский, — в это время Германия (Пруссия) придерживалась нейтралитета, что спасло Россию от тяжёлого поражения. Во время Русско-японской войны, когда Англия, Франция и США занимали крайне враждебную позицию по отношению к России и дружескую — к Японии, Германия была единственной страной, помогавшей России, даже предоставившей военно-транспортные суда в помощь русской Тихоокеанской эскадре адмирала Рожественского.

Можно ещё много рассказывать о плодотворных взаимоотношениях России и Германии, вспомнить о тысячах немецких переселенцев в пустынные районы Заволжья и Северного Кавказа, устраивавших там образцовое сельское хозяйство, но ясно одно: причины войны Германии и России, разразившейся 1 августа 1914 года, были совершенно не ясны русскому обществу и, прежде всего, — простому народу. Если “высоколобые” представители нашей интеллигенции и истеблишмента (большей частью франколюбы и англоманы) ещё рассуждали о воинствующем пангерманизме, о “дранг нах остен”, которому надо дать отпор, о кресте над Святой Софией в Константинополе (Турция была союзницей Германии), о черноморских проливах, которые обязательно надо отвоевать, то простому народу России все эти рассуждения были совершенно непонятны, и зачем нужно было идти и погибать в борьбе с “германцем” в лесах Восточной Пруссии и на “галицийских кровавых полях” — этого официальная российская пропаганда толком объяснить народу не могла.

Величайший русский патриот, государственный Пётр Аркадьевич Столыпин, знавший, что России не нужны “великие потрясения”, был откровенным противником войны с Германией и не скрывал своих взглядов. Вот что он писал в письме к российскому послу в Париже А. П. Извольскому 28 июля 1911 года: “Вы знакомы с моей точкой зрения. Нам необходим мир; война в следующем году, **особенно во имя целей, непонятных народу** (выделено мной. — С. З.), станет фатальной для России и для династии. Напротив, каждый мирный год укрепляет Россию не только как военно-морской, но и с экономической, и с финансовой точек зрения. Помимо того, и это ещё важнее, Россия растёт из года в год, в нашей стране развивается самосознание и общественное мнение”. Очевидно, что Столыпин прекрасно осознавал, что война с Германией не только разрушит Россию и приведёт к гибели династии, но надолго прервёт те благотворные процессы развития общественных институтов, что должны были вывести Россию в ряд ведущих цивилизованных держав мира.

Я думаю, это прекрасно осознавали и тайные враги России, стремившиеся вовлечь её в “фатальную” войну. Враги эти скрывались не только за пределами России, они были и среди правящей российской коррумпированной элиты, тесно связанной паутиной огромных финансовых долгов с ростовщическим французским капиталом. Вот почему премьер-министр России Пётр Аркадьевич Столыпин был смертельно ранен в Киеве 1 сентября (по старому стилю) 1912 года вовсе не злокозненным революционером, а тайным агентом охранного отделения Дмитрием Богровым. Ранен выстрелом из браунинга в киевском театре, где находилась в это время сама царская чета и куда Богров получил пропуск, выданный ему начальником киевского охранного отделения Н. Н. Кулябко. Интересно, что Богров имел возможность убить и самого императора, в этот момент находившегося рядом в ложе, но даже не попы-

тался предпринять такую попытку, что ясно говорит о том, какие силы направляли его руку и с какой целью.

С убийства Столыпина началась череда политических убийств тех государственных деятелей, чей голос против войны был особенно весом и кто мог бы воспрепятствовать развязыванию мировой бойни. Начали со Столыпина — ведь война могла разразиться ещё в 1912 году. Именно в сентябре 1912 года, сразу после киевского убийства вспыхнула первая Балканская война союза славянских стран Балканского полуострова (Сербии, Болгарии, Черногории, а также Греции) против Османской империи (союзницы Германии). Балканских славян поддерживала Россия. Война оказалась скоротечной, быстрая победа славян над Турцией ошеломила Германию, а ещё больше — Австро-Венгрию и сорвала планы по втягиванию стран Центрального блока (Германии, Австро-Венгрии) в противостояние. Но кризис в отношениях Сербии и Австро-Венгрии стал с тех пор непреходящим.

Камнем преткновения здесь была Босния и Герцеговина, аннексированная Австро-Венгрией в 1908 году, населённая преимущественно сербами. Не случайно те, кто направлял руку сербского террориста Гаврилы Принципа против наследника Австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года, избрали местом покушения именно Сараево — столицу Боснии и Герцеговины, самое больное место! Это случилось 28 июня (далее все даты даются по новому стилю). К открытой машине, в которой ехал Франц Фердинанд с супругой, подбежал молодой человек и несколькими выстрелами из браунинга убил высокопоставленную чету. Как предполагают, сербская террористическая организация “Чёрная рука”, к которой принадлежал убийца Гаврило Принцип, финансировалась и направлялась французской внешней разведкой. К лету 1914 года, когда стала очевидна неизбежность начала войны между Францией и Германией за Эльзас и Лотарингию, Франции было жизненно необходимо втянуть в эту войну Россию, чтобы обеспечить второй фронт против Германии на востоке. Втянуть же Россию в совершенно невыгодную ей войну с Германией можно было, только рассорив её с Австро-Венгрией, заставив Россию вступить за Сербию, на которую, несомненно, должна была ополчиться Австрийская монархия после убийства сербами наследника австрийского престола. Ну, а уже в силу союзнических обязательств на помощь Австро-Венгрии должна была подняться Германия. Как тут всё было тонко рассчитано! Одно колёсико тянуло за собой другое. Франция давно стравливала Австро-Венгрию и Россию. Ещё осенью 1912 года (когда, как я уже отмечал, могла разразиться мировая война) правительство Франции выступило с неожиданным заявлением: “Отныне Франция признаёт, что австрийские территориальные амбиции затрагивают общий баланс сил в Европе и, следовательно, интересы самой Франции”. Казалось бы: какие интересы Франции могла затронуть Австро-Венгрия, ведь у этих стран даже не было общей границы?.. Но Франция просто наталкивала Россию на Австро-Венгрию, навязывая себя в союзники России, рассчитывая, что война с Австро-Венгрией столкнёт Россию с Германией. И если такая тактика не удалась в 1912 году, то она вполне удалась Франции через два года — жарким летом 1914 года.

Необходимо добавить к этому, что Франц Фердинанд был незаурядным политиком и человеком. Широко образованный, эрудированный, он совершил кругосветное путешествие и написал об этом книгу. Был женат на славянке — чешской графине Софии Хотек (она погибла вместе с мужем от рук террориста) и потому лояльно относился к славянскому населению Австрийской империи, был сторонником так называемого “триализма” — политической доктрины, предусматривающей превращение Австро-Венгрии в Австро-Венгро-Славию — равноправный союз трёх народов, её населяющих: австрийцев, венгров и славян. Эти планы вызывали против эрцгерцога крайнее озлобление в консервативной среде как австрийской, так и венгерской элиты. **Но убили Франца Фердинанда именно тогда, когда нужно было развязать большую войну**, ведь наследник австрийского престола был, как и премьер-министр России Пётр Столыпин, решительным противником войны Австро-Венгрии с Россией и Сербией и скептически относился к союзу с Германией. Престарелый же австрийский император Франц Иосиф был к тому времени мало дееспособен и, по сути, стал игрушкой в руках антирусски и антисербски настроенной австрийской военной верхушки.

Однако и во Франции были силы, которые вовсе не приветствовали готовящуюся войну. Ярким представителем такого пацифистского движения являлся известный политик, блистательный оратор и трибун Жан Жорес. Будучи главой социалистической партии и фракции социалистов в парламенте Французской республики, он добился в июне 1914 года отрицательного голосования по вопросу о военном бюджете. Видя, что угроза войны становится реальной, Жан Жорес в июле того же года призвал к общеевропейской рабочей забастовке, активно мешая правительствам европейских стран начать мировую войну. Ему угрожали, шовинисты открыто требовали его физического устранения, но он ничего не боялся, хотя сознавал (и говорил об этом), что его непременно убьют. Так и случилось: 31 июля 1914 года он был застрелен в парижском кафе неким субъектом, которого французский суд оправдал как «патриота». Но даже враги Жана Жореса признавали, что мировая война началась «на крови Жореса» (Р. Пуанкаре).

Если подумать, такие разные люди: монархист Столыпин, австрийский принц Франц Фердинанд, социалист Жорес, а к ним можно прибавить ещё несколько имён, активно боролись против войны. И все они были убиты. Значит, мировую войну готовили очень влиятельные силы, но, что характерно, мы до сих пор не знаем, кто же конкретно развязал её. Тайна эта, может быть, так никогда и не будет раскрыта. Однако одно имя можно назвать без колебаний — это президент Франции Раймон Пуанкаре. «Пуанкаре-война» — так называли его во Франции, и не случайно. Этот деятель сделал ставку на войну с Германией, для победы ему нужна была Россия как поставщик «пушечного мяса», кроме того, он хотел привязать царскую Россию к агрессивному курсу Франции. Он щедро давал России многомиллионные займы, рассчитывая на то, что царское правительство будет расплачиваться за эти займы жизнями русских солдат.

Однако к июлю 1914 года, уже после убийства наследника австрийского престола, сложилась неясная ситуация с отношением России к готовящейся войне. Царское правительство не решалось открыто выступить на стороне стран Антанты (военного союза Франции и Великобритании, куда в 1907 году вовлекли и Россию), нужен был ещё один толчок, чтобы втянуть «северного медведя» в войну с Германией. И Пуанкаре решается на откровенно провокационный шаг. Он лично в сопровождении премьер-министра Франции Вивьани и министра иностранных дел этой страны на новейшем линкоре «Франция», во главе целого отряда военных судов, 20 июля прибывает в Санкт-Петербург на встречу с царём. Такой демонстративный поход вооружённой до зубов французской эскадры по Балтийскому морю, мимо берегов Германии (да ещё, по сути, со всем правительством на борту!), конечно, заставил настояться германское руководство. Понятно же было, куда ветер дует! Ветер дул в сторону войны...

Германия готовилась к войне с Францией. Начальником её генерального штаба знаменитым Мольтке-младшим был разработан стратегический план разгрома Франции мощным ударом германских армий через Бельгию, но воевать с Россией Германия не собиралась. Да на войну на два фронта у неё просто не было сил. В германском штабе сидели опытные стратеги, они понимали, что война одновременно с Францией и Англией на западе и с Россией на востоке для Германии чревата неминуемым поражением. Но надо было знать вспыльчивый характер германского кайзера Вильгельма, чтобы рассчитывать на его неадекватную реакцию, если бы Россия, скажем, объявила мобилизацию (пусть даже частичную) в своих западных военных округах.

Что же могло вызвать такой шаг России? Объявление мобилизации в условиях столь напряжённой ситуации в Европе, сложившейся к концу июля, после убийства в Сараево, — это был прямой пролог к войне. И Россия не собиралась, разумеется, объявлять мобилизацию против Германии, даже после нажима Пуанкаре, но России вынудили вооружиться против Австро-Венгрии, когда Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии. Предъявление ультиматума последовало сразу же после окончания визита Пуанкаре в Петербург. Можно думать, хотя до сих пор всё это покрыто мраком неизвестности, что во время встреч Пуанкаре и Николая II была достигнута устная договорённость о совместных действиях против Германии и Австро-Венгрии. Если бы это было не так, то какой тогда был смысл в этой вооружённой «прогулке» на линкоре во главе броненосной эскадры почти всего французского кабинета министров в Россию? Крайне наивной в этом смысле является позиция А. Ф. Ке-

ренского, который писал: “Воспользовавшись парламентскими каникулами, президент Французской республики Раймон Пуанкаре и Вивиани, премьер-министр, и министр иностранных дел, нанесли официальный визит царю Николаю II, прибыв на французском линкоре...” И далее: “После трёх дней переговоров, банкетов и приёмов, которые прерывались поездками на регулярные летние манёвры гвардейских полков и частей Санкт-Петербургского военного округа, французские гости 10 июля (по старому стилю, по-новому – 23 июля. – Прим. авт.) вернулись на свой линкор и отплыли в Скандинавию. Чуть позже в тот же самый день Париж, Санкт-Петербург и Лондон получили уведомление, что австрийское правительство предъявило сербскому правительству ультиматум, условия которого требовалось выполнить в течение 48 часов”.

**Заметьте, между убийством в Сараево (28 июня) и объявлением ультиматума прошёл почти месяц.** Австро-Венгрия явно не торопилась объявлять войну Сербии и предъявила ультиматум лишь после того, как Раймон Пуанкаре – “Пуанкаре-война”! – прибыл на линкоре в Санкт-Петербург, после его встречи с российским императором, об обстоятельствах которой и о достигнутых тайных договорённостях, конечно, стало известно германской разведке, чья разветвлённая сеть существовала в России и агенты которой были и при царском дворе. Германскому руководству показалось, что медлить нечего, они решили действовать на опережение: был осуществлён нажим на австрийское правительство, Австрия предъявила ультиматум Сербии, и тайные рычаги и колёса войны пришли в движение.

Итак, после визита Пуанкаре в Петербург Германия решила на войну. Как Франции был нужен союзник против Германии, так и Германии был нужен союзник против России. Таким союзником для неё стала Австро-Венгрия. Необходимо было стравить Австро-Венгрию и Россию. Стравили. Разменной монетой оказалась несчастная Сербия. Австро-Венгрия, как я уже писал, вовсе не торопилась объявлять войну Сербии, понимая, что это вызовет ответную реакцию России. Воевать же с Россией для Австро-Венгрии (в которой половина населения составляли славяне) было подобно самоубийству, что и доказали последующие события. Но австрийский двор очень рассчитывал на Германию и, получив в конце июля поддержку от кайзера, он “храбро” ополчился на Сербию. Белграду был предъявлен жёсткий ультиматум, ущемлявший национальное достоинство этой страны.

От Сербии требовали разоружения армии, закрытия национальных сербских обществ, согласия со всеми территориальными приобретениями Австро-Венгрии и, среди прочего, – допуска австрийских следователей на территорию Сербии для проведения расследования и поиска убийцы эрцгерцога. Что удивительно, сербское руководство со всеми этими требованиями согласилось, кроме последнего пункта. Это странно: уж коли армию разоружить соглашались, то что говорить о каких-то следственных действиях?.. Но, видимо, именно это обстоятельство стало решающим – при проведении таких следственных действий, конечно, выявилась бы роль в убийстве эрцгерцога сербской террористической организации “Чёрная рука”, а ведь именно эта организация привела на сербский престол короля Петра Карагеоргиевича, когда в июне 1903 года в результате дворцового переворота был с чудовищной жестокостью убит прежний король Александр Обренович и его жена королева Драга. А они-то как раз были сторонниками союза с Австро-Венгрией. Тогда-то и началась непримиримая вражда Сербии и Австро-Венгрии.

Сербия отвергла последний пункт ультиматума и первые выстрелы мировой войны раздалась на Дунае, когда 28 июля австрийские военные суда начали обстреливать Белград. Итак, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ российский император объявил частичную мобилизацию в нескольких западных военных округах: эти действия были направлены против Австрийской монархии. Дальше развивается не совсем понятная история, похожая на качание маятника. Германия объявляет всеобщую мобилизацию. Сразу же, как бы в ответ на этот ход, император Николай II объявляет всеобщую мобилизацию, которую, кстати, от него требовали объявить и русские генералы генерального штаба. Но Николай колеблется и как только получает примирительную телеграмму от “брата Вилли”, тут же отменяет всеобщую мобилизацию, заменяя её частичной. Но... уже на следующий день – 1 августа 1914 года – в 7 часов вечера к российскому министру иностранных дел Сазонову входит германский посол и объявляет о начале войны... Вслед за Германией 6 августа войну Рос-

сии объявляет и союзница Германии Австро-Венгрия. Австрийский посол в кабине Сазонова зачитывает заявление австрийского правительства: “Ввиду того, что Россия объявила войну нашей союзнице – Германии...” – “Позвольте, – перебил его Сазонов, – не Россия объявила войну Германии, а наоборот, Германия объявила войну России”. – “Ах, господин министр! – восклицает австрийский посол, – войдите же в моё положение, мне так приказали!”

Интересно, что войну России Германия объявила раньше, чем самому главному своему врагу – Франции (3 августа). Это была победа французской интриги по вовлечению России в войну. Пуанкаре, может быть, надеялся, что силы Германии будут теперь брошены против России – на восток, а не против Франции – на запад. Если бы этот план осуществился, то Франция воевала бы с Германией чужими руками, а в решающей момент ударила бы с запада по германской территории, но тут французские политики допустили ошибку: Франция была главным врагом Германии, против неё кайзер сосредоточил 4/5 всех своих вооружённых сил, а против России было оставлено небольшое прикрытие, состоящее из одной армии и дивизий ландсвера (ополчения). В русском генеральном штабе об этом прекрасно знали, потому и к началу войны главным врагом считали не Германию, а Австро-Венгрию, и против неё на Западной Украине развёртывались, согласно принятому плану “А”, главные силы русских войск. Задача здесь была овладеть всей Галицией, выйти к Карпатам, перейти их, вторгнуться в Венгрию и принудить Австро-Венгрию к миру, разрыву союза с Германией, отказу от агрессии против славянских стран на Балканах. Германия же особо в расчёт не принималась в силу малочисленности немецких войск на востоке, но обстоятельства начавшейся войны сразу же изменили ситуацию.

Германия громила французозов и бельгийцев. Поскольку Бельгия отказалась пропустить германские войска сквозь свою территорию, то 4 августа была объявлена война и ей, и германская армия, осуществляя план Мольтке-младшего по прорыву через Бельгию правым флангом своих войск на Францию, вступила на её территорию. Надо отдать дань бельгийцам: они во главе со своим королём Альбертом сражались мужественно. Дорого стоил германцам захват сильной бельгийской крепости Льеж, а потом бельгийская армия отважно сражалась за Антверпен до осени 1914 года. Вообще, всей территорией Бельгии немцам так и не удалось овладеть до конца войны. Небольшой клочок свободной Бельгии её армия удерживала на крайнем западе у моря. Германская армия как бы разворачивалась на территории Бельгии с западного направления на южное – на Францию, нависая над Парижем с севера. В этом и состоял “план Шлиффена” – германского генерала, который мучительно думал, как же Германии воевать на два фронта – на западе и на востоке одновременно, – и единственный выход видел в решающем “охватывающем” ударе по Франции и в переброске войск на восток, на русский фронт.

Война разрасталась. После нападения на Бельгию войну Германии объявила Великобритания и направила свою армию на континент. И основными театрами военных действий к концу лета 1914 года стали Северная Франция, где шло сражение за Париж, и “галицийские кровавые поля”, где русская армия сражалась с австрийцами за Львов и Перемышль. Но узел всего противостояния и всей военной интриги 1914 года обозначился в Восточной Пруссии, где шло успешное наступление русской 1-й армии генерала Ренненкампа на Кёнигсберг – основной плацдарм Германии на востоке.

Тут необходимо прервать рассказ о событиях на фронте и обратиться к внутренним российским делам. В самом начале я уже писал, что война с Германией русскому народу была не нужна, что, как мы знаем, она привела к катастрофическим последствиям для всей России, но это всё будет позднее, а начало августа 1914 года в России было шумным и волнующим. Робкие голоса против войны, в частности, выступление фракции депутатов-большевиков в Государственной Думе против военных кредитов царскому правительству, воспринимались обществом как предательство. Объявление войны в Петербурге сопровождалось патриотическими манифестациями и беспорядками. “Уличные горлопаны”, как вспоминал генерал-квартирмейстер русской Ставки Ю. Н. Данилов, громили немецкое посольство, “валили с крылец его огромных металлических коней с их поводьями, исполненными тевтонами, давно, впрочем, резавшим своим безвкусием глаза столичных жителей”. Громили и разрушали также немецкие магазины и все заведения, на которых кра-



совались немецкие фамилии, а таковых в Петербурге было немало, ведь с самого основания этого города немцы, приглашённые ещё Петром I, а потом Екатериной II, жили в столице России во множестве, занимались торговлей и ремеслом, служили в российской императорской армии и особенно во флоте, поэтому совсем не удивительно, что на столицу Восточной Пруссии наступал русский генерал фон Ренненкампф Павел Карлович, а российским Балтийским флотом командовал русский адмирал фон Эссен Николай Оттович.

На волне патриотических манифестаций в Зимний дворец из Петергофа прибыла императорская фамилия. Как свидетельствует мемуарист Михаил Лемке: “При прохождении царя к Иорданскому подъезду густые толпы народа стали на колени, кричали “Ура!” и пели “Боже царя храни”. То здесь, то там слышны возгласы: “Долой Германию! Да здравствует Франция! Да здравствует Россия!” Сохранилась фотография этой манифестации на Дворцовой площади с многочисленными хоругвями, знамёнами, иконами... Кто мог тогда знать, что пройдёт всего лишь два с половиной года, и в феврале 1917 такие же толпы жителей столицы будут бросаться на солдат гарнизона, на полицейских, на жандармов с криками: “Долой царя! Долой войну! Мир без аннексий и контрибуций!..”

Совершенно очевидно, что шовинистические настроения никак нельзя сравнивать с патриотизмом. Это разные вещи. Шовинизм унижает людей другой нации, другой культуры, он нуждается в погромах, а патриотизм – это здоровое чувство, и лучше всего это чувство было выражено в августе 1914 года адмиралом Эссенем в приказе по флоту: “Поздравляю Балтийский флот с великим днем, для которого мы живём, которого ждали и к которому готовились... Офицеры и команда! С этого дня каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю на одной цели: защищать Родину от посягательств врага и вступать в бой с ним без колебаний, думая только о нанесении врагу самых тяжёлых ударов, какие только для нас возможны. Война решается боем. Пусть каждый из вас напряжёт все свои силы, духовные и телесные, приложит все свои знания, опыт и умения в день боя, чтобы все наши снаряды и мины внесли бы гибель и разрушение в неприятельские боевые строй и корабли”.

Уже начало военных действий ознаменовалось резким сломом всех планов нашего верховного командования. Основные силы наших войск разворачивались в Галиции против Австро-Венгрии. Но необходимость выступить против Германии (а необходимость эта определялась непрерывными требованиями Франции) заставляла русское военное руководство во главе с великим князем Николаем Николаевичем Романовым (дядей царя Николая II) выставить значительную часть сил против Германии, в направлении на Восточную Пруссию.

На Восточную Пруссию наступали две лучшие русские армии: 1-я – под командованием Ренненкампфа и 2-я – под командованием генерала Самсонова. Командовал Северо-Западным фронтом генерал Жулинский. Это были проверенные боевые генералы. В середине августа русские войска перешли границу Восточной Пруссии, и 1-я армия фон Ренненкампфа устремилась на Кёнигсберг. Ей противостояла сравнительно малочисленная 8-я армия немецкого генерала фон Притвица. В сражении у городов Гольдап и Гумбиннен армия Притвица была наголову разбита русскими войсками. Казалось, путь на Кёнигсберг был открыт. Генерал Притвиц слал в Берлин панические телеграммы и добивался разрешения отвести оставшиеся войска за Вислу, то есть фактически сдать всю Восточную Пруссию русским. В это время основные силы германских войск (6 армий) рвались в Париж. Они уже разбили основные силы французских войск в приграничном сражении, и до Парижа им оставалось несколько десятков километров. Правительство Французской республики во главе с воинственным Пуанкаре бросило Париж на произвол судьбы и бежало в Бордо. Однако главнокомандующему вооружёнными силами Франции генералу Жоффру удалось овладеть ситуацией и перебросить на линию огня две новые армии. Помогли союзники англичане, направив во Францию 70-тысячный экспедиционный корпус. Под Парижем в тяжёлые дни конца августа – начала сентября 1914 года сложился зыбкий баланс сил, когда численно наступавшие германцы и оборонявшиеся французы и англичане были примерно равны. Тут было достаточно 2-3 корпуса германской армии, чтобы добиться решающего успеха и взять Париж, но... эти-то корпуса германское командование вынуждено было снять с фронта и перебросить на вос-

ток против русских – спасти Кёнигсберг. Это, в конечном итоге, и решило исход “битвы на Марне”, буквально в 30 километрах от Парижа.

И вот тут есть некая странность. Русское командование предпринимало этот поход на Восточную Пруссию, подчиняясь категорическим требованиям союзников, с совершенно определённой целью: отвлечь силы немцев на восток и притормозить наступление во Франции. То есть они должны были вызвать огонь на себя. Этой цели добиться удалось. Вслед за 1-й армией Ренненкампа на Восточную Пруссию с юга, пробиваясь через непроходимые мазурские болота, начала наступать 2-я армия генерала Самсонова, бывшего атамана Войска Донского. Она сразу попала в крайне невыгодную ситуацию. Мало того, что армия эта была недавно сформированная из необстрелянных призывников, она ещё и плохо снабжалась, и во главе корпусов этой армии стояли явно не боевые генералы. Так, генерал Благовещенский, командующий 6-м корпусом, при первых атаках германцев бросил свой корпус и бежал в тыл, заявив, что он “не привык быть с войсками”! Да, с такой фамилией ему, конечно, лучше было стать не генералом, а священником! А генерал Артамонов, напротив, был слишком боевым и, бросив командование своим корпусом, сам лично с винтовкой наперевес ходил в штыковые атаки. Только вот корпус его остался без управления и был рассеян противником. Однако странность заключается в том, почему высшее русское командование, посылая армию Самсонова фактически на гибель, не учло, что план по отвлечению сил немцев с запада удался. Германцы перебросили из Франции в Восточную Пруссию 16 полнокровных дивизий, генерал Гинденбург (признанный потом лучшим германским полководцем Первой мировой) сформировал мощную наступательную группировку и сумел завлечь армию Самсонова в ловушку, окружив наши войска в непроходимых болотах. Армия же Ренненкампа после блестящей победы при Гольдапе и Гумбиненне остановила своё наступление на Кёнигсберг и не пришла на помощь погибающим войскам Самсонова. Как писал германский генерал Людендорф в своих мемуарах: “Огромная армия Ренненкампа висела, как грозная туча, на северо-востоке. Ему стоило только двинуться, и мы были бы разбиты”. Не двинулась армия Ренненкампа, не пришла на помощь Самсонову. Прославленный боевой генерал Самонов, видя гибель и окружение своих войск, застрелился...

Ренненкампа обвиняли в предательстве, но всё это в целом можно объяснить только крайней путаницей в управлении войсками со стороны Ставки Верховного главнокомандования великого князя Николая Николаевича, недооценки противника, подчинения всех оперативных планов ведения войны категорическим требованиям союзников вопреки сложившейся обстановке. Как писал историк А. Зайончковский: “Первый период кампании 1914 <года> на Восточном театре прошёл со стороны русских под знаком желания **выполнить во что бы то ни стало все обязательства перед французами** (выделено мной. – С. З.) и оттянуть на себя германские силы, совершенно не сообразуясь со степенью готовности своей армии”. Лучше не объяснять причину войны, да, пожалуй, и причину конечного поражения России в ней. Не ради интересов России велась эта война, не ради интересов её народа, а ради спасения западных стран Европы (Франции, Англии) от диктата центральных стран (Германии, Австро-Венгрии), но то, что Россия вмешалась в этот совершенно чуждый ей конфликт, стало для неё и для всего народа величайшим бедствием. И, однако, Россия свято соблюдала свои союзнические обязательства до тех пор, пока силы её не иссякли.

Поражение российских войск в самом начале войны в Восточной Пруссии как бы предопределило и весь дальнейший характер войны на Восточном фронте. Русские войска в дальнейшем добивались больших успехов, особенно в противостоянии с Австро-Венгрией: к концу 1914 года очищена вся Галиция и Прикарпатье. Но пробиться сквозь Карпатские горы в Венгрию им не удалось. Русская армия была плохо вооружена и снабжена продуктами и вещевым довольствием. Причина здесь была в том, что, начиная эту войну, российский генеральный штаб планировал закончить её в шесть месяцев, то есть до конца 1914 года. Соответственно и база снабжения русских войск была рассчитана на полгода войны. И в следующем, 1915 году русские армии в Карпатах попали в очень тяжёлую ситуацию. Не было снарядов, не хватало даже винтовок, не было тяжёлой артиллерии, не было сапог... Прежние запасы иссякли, а промышленность всё никак не могла раскататься и начать давать всё необходимое для фронта. В этом состоит существенное отличие от положения дел в ходе Второй мировой войны, когда Красная армия, потер-

пев тяжёлое поражение летом и осенью 1941 года от наступающих фашистских войск, к концу года переломила ситуацию, а советская оборонная промышленность, массово эвакуированная на восток, начала уже в 1942 году наращивать производство всего необходимого для фронта. Мы помним бессмертный лозунг времён Великой Отечественной: “Всё для фронта, всё для Победы!” Такого лозунга в 1914-м, 1915-м, 1916-м годах в России не было... Первая мировая война так и не стала народной – “Второй Отечественной”, как поначалу говорили о ней, памятуя об Отечественной войне с Наполеоном 1812 года.

Катастрофа 1915 года, когда переброшенные для помощи австрийцам на восточный фронт германские войска прорвали русские позиции в Карпатах (Горлицкий прорыв мая 1915 года), не привела к поражению России и заключению сепаратного мира, чего боялись западные державы, но потеря Польши, Литвы, всех завоёванных в тяжёлой борьбе земель Галиции и Прикарпатья, безнадёжность попыток переломить ситуацию в свою пользу и, как результат, – долгая, нудная, изматывающая силы и средства позиционная война – все эти обстоятельства подорвали дух русской армии, а в российском обществе поселили настроения уныния и разочарования. Даже знаменитый “брусиловский прорыв” 1916 года, когда русские войска потеснили германцев на сотню километров на Западной Украине, не привёл к перелому в ходе войны. Попытки вслед за Юго-Западным фронтом, которым командовал Брусилов, перейти в наступление и другим фронтам провалились. И это тем более странно, что как раз к этому времени русская армия достигла своей самой большой численности – 11 миллионов человек! Но эти миллионы русских мужиков, одетых в серые солдатские шинели, толком не знали, за что воюют, потому случаи отказа повиноваться своим командирам, идти в бой и даже попытки “братания” с германскими солдатами стали массово отмечаться на фронте уже с осени 1916 года.

Сейчас модно рассуждать о том, что к началу 1917 года силы Германии и её союзников были истощены, и стоило бы России “продержаться” ещё чуть-чуть, глядишь, победа сама бы свалилась в руки, и тогда Россия при дележе добычи получила бы от поверженного врага свою долю “аннексий и контрибуций”. Но эти рассуждения смешны. Потому Россия и взорвалась изнутри первой в цепи воюющих держав, что оказалась слабейшей среди них. Цепь всегда рвётся в своём слабейшем звене. Это показали события января 1917 года, когда попытка организовать наступление на фронте под Ригой (Митавская операция) закончилась неудачей не вследствие силы противника, а вследствие полной дезорганизации работы нашего командования, отсутствию порядка в войсках и самое главное – массового отказа солдат идти в бой. Так, прямо в ходе боёв взбунтовался 17-й стрелковый полк 2-го Сибирского корпуса, выдвигая политические требования мира и конституционного правления с “ответственным министерством”! То есть, по сути, с теми требованиями, что выдвигали царю оппозиционные депутаты Государственной Думы. И эти требования знали и поддерживали в январе 1917 года уже простые солдаты! Да, действительно, “революционная зараза” проникла в войска, и остановить её не удавалось, несмотря даже на введение смертной казни на фронте за отказ идти в бой.

Россия стояла перед неизбежной революцией. Но разве это судьба только России? Разве не погибла в огне революции (пусть несколько позже – в ноябре 1918 года) и Германская империя, и Австро-Венгерская монархия, и Османская империя. Четыре империи прекратили своё существование к концу Первой мировой войны! Разве это случайно? А разве случайно потом на развалинах Германской империи, на волне реваншизма, усиленного протестом против тяжёлых контрибуций, что наложили на германский народ западные победители, пыльным цветом расцвёл нацизм?.. И как Первая мировая война была порождена нерешёнными конфликтами предыдущих европейских войн XIX века, так и Вторая мировая война была порождена последствиями раздела Европы после окончания Первой мировой. Пример Советской России, что первой среди воюющих держав в октябре 1917 года провозгласила “Декрет о мире”, не образумил никого. Ленинское правительство за то, что оно не “закончило войну”, сейчас не кланёт только ленивый! А ведь это был прорыв в будущее, прорыв к совести, к разуму всего человечества, к сожалению, не услышанный тогда правительствами воюющих стран, озабоченных только дележом “куруров”, заработанных на крови гибнущих народов.

Грозный век мировых войн начался в августе 1914 года и продолжается в разных формах (региональные войны, межнациональные конфликты, гонка вооружений) и по сей день, и ему не видно конца.

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

## СУДЬБА РУССКОГО НАРОДА РЕШАЕТСЯ В ДОНБАССЕ

Что такое для нас Донецкая и Луганская народные республики?

Почему мы не можем и не должны спокойно и равнодушно наблюдать, как силы народного сопротивления сражаются с армией Киева? Почему исход этой битвы касается всех русских людей, в первую очередь в самой России? Я постараюсь ответить на эти вопросы.

### Украина как вызов России

Что происходит на Украине?

Там произошла украинская национальная революция и теперь успешно заканчивается финальная фаза украинского этногенеза:

- 1) достраивается новая украинская этнонация,
- 2) на ее основе достраивается политическая украинская нация,
- 3) происходит становление Украинского национального государства.

Этот процесс объективно представляет собою очень большую угрозу для русского народа и для Российского государства.

Основная причина этого носит естественный и закономерный характер, состоящий в формировании новой украинской идентичности на основе галицийской субэтнической идентичности, которая, в свою очередь, уже полностью выстроена не только на отрицании общерусского корня у русских и украинцев, но и на фронтальном и тотальном противопоставлении всей ментальности русских и украинцев.

Сто лет тому назад сказанное показалось бы бредом сумасшедшего как русскому, так и украинцу, но сегодня это стопроцентно достоверная реальность. Под разговоры о братстве и единстве русских и украинцев, о нерушимой дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины произошла радикальная и необратимая трансформация самой сущности украинства. На смену “настоящему украинцу” времён Николая Гоголя (малороссу, хохлу, как называл себя он сам) пришёл другой “настоящий украинец” – украинец времён Степана Бандеры, новый украинец. Пришёл пока ещё не повсеместно на Украине, но его триумфальное шествие продолжается неуклонно с северо-запада на юго-восток, захватывая всё новые территории к недоумению не сведущих в этнополитике наблюдателей.

Оказавшись перед выбором, поколения украинцев, особенно молодёжь, предпочитают быть новыми украинцами, бандеровцами, а не старыми, малороссами. Умильные иллюзии по поводу русско-украинской дружбы на наших

глазах исчезают, “яко дым от лица огня”, уходят в невозвратное прошлое. Если Гоголь и его герои — наши кровные и любимые братья, то бандеровец — наш жестокий и непримиримый враг. И братом быть он нам не может.

Этногенез — это процесс, который невозможно развернуть вспять, если только не применить тотальный геноцид. Икру, отмётанную однажды, обратно в лосося не запихнёшь. Современному украинцу, даже живущему в Донецке, Луганске, Харькове или Одессе, уже никак не объяснить, что он на самом деле — исторически и генетически — малоросс: можно нарваться на грубость.

Развернуть вспять этногенез нельзя, а поставить заслон, ограничить пространство его экспансии можно. Сегодня на юго-востоке Украины осуществляется попытка такого ограничения. От того, насколько она будет успешной, зависит судьба не только многих миллионов этнически русских людей, населяющих территорию Украины, но и наша общерусская судьба.

### Что такое “новые украинцы”?

Чтобы понять это, надо поехать на Западную Украину, прежде всего, во Львов, пообщаться с “национально свидомыми”, да и с простыми украинцами, полюбоваться вызолоченным мемориалом Бандеры. Надо с карандашом в руках прочесть “Историю УПА” (УПА — Украинская повстанческая армия, созданная Степаном Бандерой и его соратниками). Надо ознакомиться с трудами современных историков нового украинства, в первую очередь, Олега Неменского. Надо полистать школьные учебники по истории, насквозь пропитанные русофобией и насчитывающие четыре (!) русско-украинские войны. Но главное — надо обязательно пойти в краеведческий музей Львова и тщательно обследовать все шесть залов, посвящённых истории Западной Украины и борьбе украинцев за “незалежную и самостийную державу”.

Эти шесть залов — настоящая академия ненависти ко всему русскому и российскому. Антирусская пропаганда, которую вели на протяжении более ста лет многие исторические враги России — австрийцы, поляки, гитлеровцы, — любовно собрана здесь как свидетельство исконной русской неполноценности и злонамеренности. Но всё это затмевает собственно украинская пропаганда на ту же тему.

За последние двадцать лет через эту академию русофобии прошли десятки миллионов жителей Украины. В их сознание прочно заложена *русофобская матрица*, *перезагрузить* которую уже не представляется возможным. Здесь нет ничего случайного, наносного, неестественного. Ведь выстроить стратегию национально-освободительной борьбы, борьбы за национальный суверенитет невозможно, если не обоснована, всесторонне и капитально, собственная национальная идентичность. Но строить украинскую национальную идентичность, оставаясь в рамках концепции общерусского единства, братства, тоже невозможно. Наоборот: только отталкиваясь по всему спектру сопоставлений от всего русского, тотально противопоставляя себя ему, можно было успешно создать свою собственную идентичность.

В процессе нациестроительства должен быть обозначен главный исторический враг, должна быть выстроена оппозиция “свой — чужой”. На эту роль русские были просто обречены, ведь иначе отдельность малороссов не обосновать. И неважно при этом, где правда, а где миф. Главное — результат. Вот почему оголтелая русофобия оказалась необходимым системным элементом национального украинского самосознания, легла в основу Украинского национального государства.

Однако если исключить этот системный элемент бандеровской идеологии — русофобию, которая для нас, русских, категорически не может быть приемлема, — то иных претензий бандеровцам не предъявить, ибо они успешно действуют в неизменных, общих для любого национально-освободительного движения традициях. И с точки зрения национально мыслящего большинства украинцев, они — реальные подвижники, борцы за украинский суверенитет и государственность, герои, выкованные из стали, без страха и упрёка.

Они прошли горнило войны, в том числе партизанской, оставшись непобеждёнными (только с 1944 по 1949 годы советская власть оказалась вынуждена шесть раз амнистировать бандеровцев). На их счету десятки тысяч жизней поляков, евреев, немцев, русских — всех, с их точки зрения, исторических

врагов Украинского национального государства. В их собственных скорбных мартирологах тысячи павших борцов за “незалежную” Украину, за “неньку-лельку”. Они не щадили врага, но не щадили и себя, и сегодня предстают в героическом ореоле в глазах всех, кто симпатизирует украинской национальной идее. Не случайно бандеровцы возглашают клич “Героям слава!” – это краеугольный камень их национального мифа.

Их нынешний триумф на почве создания национальной украинской государственности вызывает сочувствие бесчисленных стран и народов, поддерживающих право наций на самоопределение. Сегодня идеи бандеровцев покорили практически две трети Украины, захватили (во всех смыслах) Киев, совершили национальную революцию, ведут национальную, этническую войну, строят национальное государство. Бандеровцам завидуют, с них берут пример националисты всех народов.

Когда мы видим на экране кадры многотысячных выступлений, шествий, штурмов, уличных столкновений и прочих “майданов”, мы понимаем, что дежурными фразами про “бесчинствующих (вариант: фашиствующих) молодчиков” тут не отделаешься.

Надо глядеть правде в глаза: это – народ. Всех возрастов и категорий.

Этот народ искони и глубоко ненавидит русских и Россию. Увы, это тоже правда. Ненавидит особенно за то благо, за те дары, которыми русские непрерывно осыпали украинцев, превратив их из крестьянского народа в европейскую нацию и наделив четырьмя пятими нынешней огромной территории. Все комплексы (в первую очередь, комплекс неполноценности) “опоздавшей нации”, присущие бандеровцам, они привычно вымещают на нас, на русских.

Но теперь они будут ненавидеть нас ещё больше, ибо часть “подарков” мы забрали обратно (зачем же оставлять врагу то, что предназначалось брату?), а часть непременно вынуждены будем отобрать в будущем.

Эта ненависть – системный элемент бандеровского организма, без которого ему не выжить. Глупо заниматься в этой связи самокопанием или – ещё чего! – самобичеванием, выискивать мнимые вины русских перед украинцами. Поражённую гангреной конечность ампутируют, чтобы спасти весь организм.

У врачей это называется “ценой потери”.

Цена потери для нас – война с бывшим братом. Война, которую мы не звали и которой не хотели, но вести её нам придётся вполне серьёзно.

### **Либо война – либо капитуляция**

Если победят *западенцы*, если Украина сохранится как единое целое, то ей суждено будет пройти через тотальную чистку любых проявлений русскости, через повальные люстрации (комитет по люстрации при правительстве Украины уже создан “Майданом”), посадки, выдавливание из страны всех русских и вообще полномасштабный этноцид русского населения. В итоге лет через десять на всей территории Украины от Львова до Одессы установится не просто недружественное, а крайне антирусское, антиросийское, враждебное нам по всем направлениям внутренней и внешней политики государство. Оно превратится в главный рычаг давления Запада на Россию, а по мере усиления востребует от нас не только Крым, но и Кубань, часть Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Надо ясно понимать: такое государство уже в принципе возникло, его поддерживает Запад, и оно утвердится в любом случае, не “рассосется” и не изменит свою основу: антирусскую сущность. Вопрос стоит только о его размерах и могуществе. О границах, одним словом.

В наших интересах, естественно, чтобы эти размеры и могущество были минимальными. Такими, чтобы Украина даже мечтать не могла воевать с нами. Эту угрозу надо блокировать в зародыше. Поэтому всё, что можно выдрать из состава новой Украины, должно быть выдрано уже сегодня. Для нас это жизненно важная проблема.

Да, украинцы имеют неотъемлемое право на своё государство. Но не за счёт русских, не во вред нам. “Отдайте то, что вам не принадлежит, и живите спокойно”, – таким должен быть русский ответ на украинские претензии.

Поэтому всем и каждому должно быть очевидно: любые разговоры о “единой и неделимой Украине” – это либо лицемерное и никому не нужное

дипломатничество, либо несусветная глупость, либо сознательное предательство русских национальных интересов. Никакая федерация и даже конфедерация на территории Украины сегодня уже не соответствуют нашим интересам, более того, сугубо им противопоказана. А соответствует им только одно: раздел Украины на первом этапе, отделение всего Юго-Востока. А на втором — воссоединение России с теми областями, с которыми это будет возможно, и создание из других буферного пророссийского государства.

Так — и только так! — должны мы понимать наш долг и нашу ответственность перед будущими поколениями русских людей.

Любое другое решение — есть предательство своего, русского народа.

### **К черту старые грабли!**

Надо честно признать: за истекшие с 1991 года десятилетия наши политики и дипломаты прошляпили, прозевали Украину.

Всё могло бы быть не так трагично, не так кроваво, не так необратимо фатально, без таких тяжёлых последствий для экономики и имиджа России. Но у руля как в самой России, так и в российском посольстве, и консульствах на Украине и в Крыму сидели и сидят люди, ни уха, ни рыла не понимающие в этнополитике. Они не расчухали тех глубинных процессов, которые происходили в этой стране. Да это им было и неважно. Не государственные интересы России, не национальные интересы русского народа отстаивали они, мелкие решалы большого бизнеса, а чьи-то личные и корпоративные интересы, не более того. Вот и прозевали все угрозы, вот и провалили всю российскую политику в этой важнейшей для нас стране, более важной, чем любая другая Европа.

Вся кровь, уже льющаяся и та, что ещё прольётся на Украине и вокруг неё, — на совести тупых и бездарных чинуш с их убогим политэкономическим мышлением, усвоенным в советских вузах. Глупость и необразованность тех, кто строил российско-украинские отношения с нашей стороны, настолько велика и разительна, что превышает всякое вероятие. Уж эти-то люди, ясно, никакого понятия не имели о том, что такое этногенез, чем отличается этнонация от нации политической, и что такое национальное государство. Они не знают и не желают знать, что этнополитические проблемы в принципе не решаются политэкономическими методами.

Эти убогие невежды всегда думали, уповая на силу денег и запасы газа, что с украинцами “можно договориться”, не понимая того, что договариваться можно было когда-то с малороссами, но договориться с бандеровцами шансов нет. Поэтому Кремль успешно “договаривался” с Кучмой и Литвиным, с Тимошенко, Симоненко или Януковичем, но результат-то каждый раз вновь оказывался не в нашу пользу. Отдельные скептики (к числу которых относились мы с Константином Затулиным, опубликовавшие статью “Обман века” к ратификации договора о дружбе и сотрудничестве) не были услышаны наверху. Тем временем украинский этногенез шёл полным ходом, и Украина не только крепла за наш счёт, но и стремительно бандеризировалась. Закономерный итог этого процесса — победа “Майдана” и падение Киева, диктатура украинских националистов — оказался для опростоволосившегося Кремля полной неожиданностью.

Эти убогие невежды верили в то, что по-прежнему имеют дело с самым “братским” народом и самой “дружественной” страной, которые лишь чуть-чуть заблудились на своём историческом пути, но это легко-де поправить. “Майдан” стал для них шоком, поставил в тупик и лишил перспектив. Однако и сегодня они видят в нём всё, что угодно, — происки Запада, игру алчных олигархов, наивность оболваненных масс, — но только не то, что есть на самом деле: украинскую национальную революцию.

Главная ошибка черномырдиных и зурабовых состоит в благополучном развале и уничтожении русского движения на Украине, которое ещё в 1990-е годы имело немалый потенциал. Но Москве и “Газпрому” было важнее благорасположение официального Киева и сотрудничество с СБУ и “Нафтогазом”, чем права и интересы русских за рубежом. Москва не сумела сделать русское движение влиятельной и мощной силой, плацдармом для продвижения наших интересов. И вот сегодня, когда оно стало необходимым, как воздух, его хватились — ан, нет такого под рукой!

А между тем, грамотно опираясь на русское движение, Украину давным-давно можно было превратить в федерацию (если не конфедерацию). И тогда сегодня проблему её раздела можно было бы решить лёгким движением руки, бескровно, как отделение Крыма. А теперь — поздно; оптимальный исход теперь возможен только через кровь, причём большую.

Ныне, похоже, Кремль намерен повторить свои ошибки. Возвращён в Киев послом Зурабов, один раз уже всё, мягко говоря, *просвиставший*. МИД в лице Лаврова что-то блеет про единую Украину, как бы не понимая, что она для нас смерти подобна. Федерализация Украины заявлена как наше максимальное политическое требование. Кремль публично рассуждает в духе вредной пошлости: худой мир-де лучше доброй ссоры, он-де готов продолжать вести добрососедскую политику с Украиной, подкармливать её газом и кредитами, явно не желая видеть, что альтернативой войне в данном случае является вовсе не мир, а бесславная капитуляция со всеми неизбежными для побеждённых последствиями.

Но Кремль обречён повторять свои ошибки и терпеть стратегические поражения одно за другим до тех пор, пока не скажет сам себе и всему миру, громко и ясно: “Это наша война!”

### **Украина потеряла. Обретёт ли Россия?**

Надо отдать должное нашему правительству: оказавшись в полном дерьме в результате “майданной” революции, Россия на удивление молниеносно и правильно среагировала на своё глобальное стратегическое поражение. Воспользовавшись хаосом в управлении соседним государством, она оттяпала у него Крым, восстановив историческую справедливость и исполнив полувекую мечту всего русского народа. Оттяпала гениально, хирургически чисто: без единого выстрела, без человеческих жертв, за что — низкий поклон и уважение Кремлю и лично президенту Путину. Это высший политический класс.

Однако дальнейшее поведение Кремля вызывает пока лишь недоумение, но не уважение. Попытки ангажированных политологов объяснить его и оправдать дипломатическими и экономическими аргументами не убеждают.

Что происходит сегодня на Украине? Какой момент мы переживаем?

На Украине решается судьба русского народа на всю обозримую перспективу. И вот почему.

Во-первых, уже стало совершенно очевидно, что имперский путь для России закрыт. Не воссоединившись со всей Украиной, она не вернёт себе имперское значение. Но только полный идиот сегодня может надеяться на такое воссоединение. Логика украинского этногенеза не допускает и тени подобной судьбы.

Во-вторых, вместо имперского пути может быть лишь одно из двух.

Либо это будет путь Русского национального государства, сопровождающийся перезапуском русского (не “российского”!) этногенеза и становлением русской нации. В этом случае единство русского народа будет расти и крепнуть, а его отдельные (в том числе отделённые государственными границами) части будут сливаться в единое целое в соответствии с вечным принципом: одна нация — одно государство. Это в случае верного выбора и нашей победы, нашей удачи.

Либо дробление русского народа будет нарастать и закрепляться в анклавах, населённых различными русскими субэтнотами, которые со временем запустят каждый свой собственный этногенез, что рано или поздно приведёт к дроблению российской государственности. Это в случае ошибочного выбора и — как следствие — неудачи, поражения.

Первым верным шагом в решении данной дилеммы был для нас Крым. Этот шаг прошёл безукоризненно правильно и породил надежду именно на создание Русского национального государства в классическом варианте, на победу.

Однако Крым есть лишь постановка, но не решение проблемы. Это выигранная битва, но не выигранная война. Сказавши “а”, надо сказать и “б”. Крымом нельзя ограничиваться. Если всю остальную Украину отдать сегодня на откуп бандеровцам, чтобы умиротворить их и вставший за ними Запад, то завтра нам будет нанесено очередное стратегическое поражение, а там и Крым придётся вновь сдавать.



К сожалению, всё не так просто, как казалось ещё недавно, в середине 1990-х, когда мы, русские националисты, готовили карту “Русская Россия. Карта компактного расселения русского этноса”, куда наносили идеальные границы Русского государства. В то время мы были убеждены, что неудержимым стремлением к воссоединению с Россией будет охвачена вся Новороссия и Левобережье Украины. Но все эти двадцать с лишним лет исподволь шло перераспределение сил противоборствующих сторон: бандеровской и пророссийской. Первая усиливалась, вторая ослабевала, лишённая поддержки России. И сегодня мы увидели, что у Харькова, Запорожья, Одессы, Днепропетровска не хватает собственных сил на национальное восстание, такое, каким охвачены Донецк и Луганск.

Таким образом, эти два региона приобрели для нас особо важное значение – значение пробного камня и одновременно последнего рубежа. Выстоят они, победят, сумеют отстоять свою независимость, отделятся от Украины, значит, есть шанс продолжить этот процесс и одержать историческую судьбоносную победу. А нет – значит молодая бандеровская Украина, победив на своей территории, перейдёт в наступление, а нас ждёт историческое поражение, развал и угасание.

Донецк и Луганск – это наш Сталинград сегодня.

Но их настоящее и будущее внушают, однако, большую тревогу, потому что в них и наше будущее – всей огромной России, всего русского народа.

Станут ли эти республики локомотивом широкого и спасительного для русских движения? Или похоронят под своими рухнувшими надеждами и наши мечты?

### **Донбасс – русская земля**

Почему именно Донецк и Луганск оказались самыми сильными и последовательными в своём стремлении к России?

Во-первых и прежде всего потому, что это статистически наиболее русские области на всём юго-востоке. Этнический фактор, как известно, – важнейший резерв сознательной силы, стойкости и мужества. По последней советской переписи 1989 года в Донецкой области русские составляли 43,6% населения, в Луганской – 44,8%. Далее шли Харьковская (33,2%), Запорожская (32,0%), Одесская (27,4%), Днепропетровская (24,2%) области, а замыкали список области: Херсонская (20,2%), Николаевская (19,4%), Сумская (13,3%) и Кировоградская (11,7%). Эта “русская дуга” имела естественное завершение в Приднестровье (30,1% в 1993 году).

Цифры эти были условны, поскольку все годы советской власти шла непрерывная украинизация (“коренизация”) населения, в результате которой в украинцы были записаны многие русские. Сегодня все цифры изменились в сторону уменьшения по той же причине. Поэтому для нас они – лишь показатель относительной русскости того или иного региона, не более. Но и по ним отчётливо видны лидеры: Донецк и Луганск.

В этом нет ничего удивительного, ведь весь Донбасс когда-то входил в состав российской области Войска Донского (ОВД) и лишь в мае 1918 года оказался отрезан немецким штыком и передан Украине гетмана Скоропадского, верного немецкого приспешника. При этом всё казачье население ОВД оказалось разделено примерно пополам, а три казачьих округа были переданы в состав вновь созданных Донецкой и Луганской губерний.

Большевики, похерив “похабный” Брестский мир, не стали, однако, восстанавливать ОВД в прежнем виде, поскольку смотрели на казачество как на своего исторического врага и приветствовали его расчленение и ослабление. Вот так и образовалась несправедливая, насильственно установленная русско-украинская граница, которая сохраняется и по сей день. Однако как этнически, так и исторически обе области – Донецкая и Луганская – принадлежат России. О том, что они помнят об этом, красноречиво говорят развернувшиеся там события. И, в первую очередь, настойчивые требования обеих непризнанных республик принять их в состав России и оказать всемерную помощь и поддержку в их героическом сопротивлении бандеровскому Киеву.

Во-вторых, Луганская и Донецкая области имеют общую границу с Россией. Это тоже очень важный фактор, однако, уступающий этническому. Ведь такая же общая граница есть и у Харьковской, и у Запорожской области,

но там сопротивление заметно слабее. А вот отсутствие общей границы, к примеру, с Одесской областью сказывается заметным образом.

В-третьих, это самые богатые регионы Украины. И им попросту надоело кормить центральную и западную Украину да ещё и терпеть от них поношения и форсированную украинизацию, ломку через колено. Донбасс верит, что сам себя прокормит.

### **Скажет ли Кремль: “Это наша война!”?**

В двух мятежных областях, на референдуме определивших свой путь к независимости, сегодня завязался тугий узелок. Кто и как его развяжет?

Обе новые республики, Донецкая и Луганская, уже не раз обращались с просьбой о развязке к России. Кроме того, это делали лично лидер ополчения Славянска В. Пономарёв, главнокомандующий Игорь Стрелков, глава Донецкой республики Павел Губарев, премьер ДНР Александр Бородай.

А что отвечает Кремль?

Похоже, он отмахивается от русско-украинской проблемы, как от ненужной головной боли. Крым забрали – ну, и ладушки. А всё остальное – гори оно синим пламенем. Мол, разбирайтесь сами. Величайшая ошибка!

6 июня, вернувшись из неприятной поездки в Нормандию, Путин не раз щегольнул формулировкой, которую следует, на мой взгляд, считать выражением его истинной установки. Он упорно говорил о необходимости мирного диалога между Киевом и “сторонниками федерализации Украины”.

Кого он подразумевал под ними? Донецкую и Луганскую республики, их руководство? Что это? Привычное дипломатическое лукавство? Вульгарный обман публики? Или самообман президента России?

Разве о федерализации Украины ставят вопрос повстанцы? Да они её и в кошмарном сне не видят! Нет в мятежных народных республиках никаких “сторонников федерализации”. Там есть лишь люди, мечтавшие повторить “крымскую двухходовку”: сначала провозгласить независимость, а потом войти в состав России в качестве новых субъектов. Первый шаг удался, второй сорвался. Сорвался по вине России, уклонившейся от него. Но обратно в Украину, хоть федеративную, хоть конфедеративную, ни ДНР, ни ЛНР не собираются. Даже в угоду России, которая, похоже, хотела бы навязать всем именно вариант с федерацией, безнадежно устаревший. Ибо кровавый Рубикон перейдён уже раз и навсегда.

Что же теперь делать России? Как заметил в подобной ситуации Черчилль, тот, кто рассчитывает купить мир ценой позора, получит-таки позор, но... ценой войны.

Надо ясно понимать: война уже идёт, и Россия, хочет она того или нет, в ней уже участвует. И бандеровцы – надо отдать должное ясности и недвусмысленности их позиции – это открыто признают, ибо давно уже считают себя в состоянии войны с Россией, давно и страстно мечтают поквитаться с нами за то добро, что мы им сделали. А также за реальное или вымышленное зло. Тем более, они уже никогда не забудут и не простят нам Крым (да и многое другое), нечего и надеяться. Отказываясь сегодня поддержать Донецк и Луганск, мы лишаем себя победной перспективы, это чисто капитулянтская позиция.

### **России не пристала поза страуса**

Не слишком успешная попытка слить ДНР и ЛНР в единое союзное государство “Новороссия” уже показала, как я и предсказывал, что ни одна из девяти юго-западных областей не захочет лечь под другую, каждая будет дорожить своим суверенитетом. Одно дело – стать, как Крым, российским регионом на почётных и выгодных условиях. Другое дело – подчиниться такому же, как ты сам, самопровозглашённому суверену. Поэтому судьба будущих народных республик представляется мне смутно.

В том случае, если Россия по-прежнему будет дистанцироваться от новых микрогосударств, возможно объединение их в конфедерацию “Новороссия”, где столица будет меняться, допустим, каждые три года по жеребьёвке. Или в несколько конфедераций и/или федераций (например, “Новороссия” и “Левобережье”). Некоторые политологи, к примеру, Наталья Нарочницкая, уже пророчат распад Украины даже и на четыре самостоятельные части.

Нужно ли это России?

Никак нет.

Потому что если сегодня Россия отвернётся от этих регионов, предоставит их своей судьбе, то завтра, с большими жертвами обретя суверенитет, но обидевшись, регионы так же отвернутся от России. Если Кремль махнёт рукой на русских юго-востока, завтра эти русские, объединившись в какие-никакие, пусть даже квазигосударства, в обиде так же махнут рукой на Кремль. И возненавидят предавшую их Россию не меньше, чем топящую их в крови Украину.

И что получится? Получится новое и не такое уж маленькое государство “Новороссия”, в котором окажется новый народ “новороссы”. Со своими элитами, которые не захотят делиться властью и ресурсами ни с Киевом, ни с Москвой. Начнётся процесс нового этногенеза – этногенеза уже не русских и не украинцев, а новороссов, которые станут строить с нуля собственную свеженькую идентичность на противопоставлении себя и украинцам, и... русским. И тогда история с бандеризацией Украины повторится вновь, но уже в Новороссии с её новыми национальными героями, борцами за полный новороссийский суверенитет и независимость как от Украины, так и от России.

И тогда на нашей, российской, западной границе возникнет уже не одно, а два или более враждебных нам государства... Они будут враждовать ещё и между собой, но нам от того легче не станет. И в Россию их уж потом и на верёвке не затянешь.

Вот почему России нужно выйти из непристойной позы страуса и занять активную позицию в отношении процессов, происходящих на Украине. Не вяло следовать за событиями, а формировать их, лепить судьбу свою и своих завтрашних подданных, поддерживая и укрепляя на данном этапе их стремление к отделению от Украины. И всячески помогая им в этом дипломатическими, экономическими и военными средствами.

Неважно, что скажет по этому поводу наш друг Запад. “Людам в угоду, да не самим же в воду”, – как любил говорить Солженицын.

Неважно, во что нам это обойдётся (в том числе и ненаглядному “Газпрому”!).

Ибо, когда спрашивают: “Какую цену надо платить за воссоединение с Крымом и Юго-Востоком Украины?” – правильный ответ: “Люблю!”

КСЕНИЯ МЯЛО

## ПОСЛЕ КРЫМА

Как ни странно, признание экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что она “совершила ошибку”, в 2003 году поддержав военное вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна, не привлекло к себе того внимания, которого заслуживало. Заслуживало, разумеется, не в силу какой-то его особой человеческой, нравственной ценности, которая, как это чаще всего бывает в случае подобных запоздалых признаний, ничтожна. Это, однако, не умаляет его политического значения, потому что послужившая непосредственным поводом для открытий Клинтон угроза окончательного распада Ирака и, соответственно, дальнейшей дестабилизации всего ближневосточного региона вновь, но ещё резче обозначила те вопросы, которые, начиная с войны в Заливе, регулярно вставали перед международным сообществом. В том числе и главный из них: каковы пределы вмешательства крупных игроков мировой политики во внутренние дела других государств и существуют ли они вообще? И может ли быть названо всего лишь “ошибкой” деяние, по многим признакам подпадающее под то определение агрессии, которое было дано Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 года? Или поддержка политического решения о вторжении, принятого, как теперь достоверно известно, на основании заведомо ложных обвинений Саддама Хусейна в разработке и хранении оружия массового поражения?

К сожалению, все эти и ещё многие другие вопросы, от ответов на которые прямо зависит международная безопасность, остались вне поля зрения и российских политиков, в частности, депутатов Госдумы, чья реакция на заявление Хиллари Клинтон, в основном, свелась, к тривиальному потиранию рук: “Ведь мы же предупреждали! Ведь мы же говорили!” Конечно, не был оставлен без внимания и украинский кризис, который опасно коррелирует с иракским и который сегодня порою, по его возможному влиянию на всю международную обстановку, даже сравнивают с карибским, но и здесь всё свелось к банальным обличениям вмешательства внешних (разумеется, исключительно западных) сил. Между тем, вмешательство тех или иных внешних сил в дела других государств в истории случалось не столь уж редко. Однако далеко не всегда оно приводило к дестабилизации огромных регионов, что мы видим уже на Ближнем Востоке и что, не исключено, можем увидеть в Центральной (бывшей Восточной) Европе, если не удастся остановить всё более разрушительную эскалацию событий на Украине. Остановить же её будет нелегко, что уже показал срыв двух объявленных перемирий и нарастающая с обеих сторон ожесточённость военного противостояния. К тому же украинский кризис, спровоцированный как причинами сугубо внутреннего порядка, так и безответственным соперничеством Запада и России в “битве за Украину”, уже очевидным образом вошёл в резонанс с другим, гораздо более

глубоким и масштабным – кризисом всей системы международного права, что многократно затрудняет достижение жизненно необходимых договорённостей.

Правда, депутаты Госдумы, поспешившие высказаться на эту тему, самым ярким его проявлением (по их словам, свидетельствующим даже о “крахе” этого самого права) сочли почему-то бурную акцию протеста у российско-го посольства в Киеве 15 мая, на следующий день после гибели 49 украинских десантников на борту сбитого луганскими ополченцами самолёта. И такой их пафос, особенно учитывая, что этот дипломатический инцидент обошёлся без жертв, мог бы показаться даже забавным – при иных обстоятельствах, конечно. Существует, однако, и более глубокий взгляд на проблему, почти тогда же высказанный Игорем Ивановым, экс-министром иностранных дел РФ, а ныне президентом Российского совета по международным делам, который полагает, что “именно украинский кризис выявил фундаментальную проблему мировой политики – стремительную эрозию международного права, показал неспособность основных игроков договориться о единых для всех правилах игры в международной политике” (“НГ-дипкурьер”, 19 мая 2014 года). При отсутствии этих правил неизбежно нарастает процесс размывания казавшихся давно и чётко определёнными понятий, пренебрежения общепринятыми юридическими процедурами, расширяется поле произвольных решений, принимаемых из соображений целесообразности, которую, разумеется, каждый понимает по-своему, что, в конечном счёте, усугубляет хаотизацию и повышает риск обретения глобальных масштабов конфликтами, которые в иное время с немалой степенью вероятности могли бы остаться локальными. Риск этот резко возрастает тогда, когда кем-либо из крупных игроков на полную мощь запускается механизм информационной войны, особенно если в такой войне в целях максимальной демонизации противника широко используются аналогии с фашизмом.

\* \* \*

Именно так западные СМИ демонизировали Сербию в годы балканских войн 90-х годов XX века, так же в 2002–2003 годах действовала и американская пропаганда при подготовке вторжения в Ирак, представляя Саддама Хусейна в образе нового Гитлера, для сокрушения которого все средства хороши. А вот теперь такие же приёмы получили широкое хождение в России, причём ими пользуются не только журналисты и телеведущие, но и некоторые политики достаточно высокого уровня. Так, накануне подписания тремя бывшими советскими республиками, и в их числе Украиной, соглашения об ассоциации с ЕС, советник президента РФ по экономическим вопросам Сергей Глазьев предпринял экстраординарную попытку напугать Европу, нарисовав картину прямо-таки из фильмов ужасов. “Думаю, – заявил он в своём интервью корреспонденту Би-Би-Си Стиву Розенбергу, – что после подписания соглашения с ЕС европейский народ удивится, когда этот нацистский Франкенштейн, рождённый европейскими бюрократами и политиками, постучится в двери европейских стран” ([www.pravda.ru/world/formressur/ukraina...12132003](http://www.pravda.ru/world/formressur/ukraina...12132003)). Примечательно, что хотя соглашение с ЕС подписали также Грузия и Молдова, “Франкенштейном”, угрожающим миру, предстаёт у Глазьева одна лишь Украина, и чудовище это имеет вполне определённую политическую коннотацию. Ибо на вопрос Розенберга, считает ли он и впрямь президента П. Порошенко нацистом, советник российского президента без колебаний ответил: “Конечно”. Давать разъяснения по этому поводу пришлось пресс-секретарю Путина Д. Пескову, заявившему, что сказанное Глазьевым – это его частная точка зрения, не отражающая позиции Кремля. Тем самым был предотвращён возможный дипломатический инцидент, однако ясности в том, какова же именно позиция Кремля по такому, отнюдь не второстепенному вопросу не прибавилось.

В самом деле, ведь сказанное Глазьевым является лишь сжатым выражением того, что на протяжении многих месяцев изливалось и продолжает изливаться по всем федеральным каналам. Но не станем же мы отсюда делать вывод, что и впрямь вступили в эпоху неограниченной свободы слова: подобное умозаключение свидетельствовало бы лишь о граничащем с неадекватностью оптимизме. А коли так, то рано или поздно Кремлю всё-таки придётся ответить на вопрос, достижению какой цели должна служить давно уже вышедшая из берегов пропагандистская кампания, остро заточенная на отождествле-

нии нынешней Украины даже не просто с фашистским, но именно с *нацистским* государством. С такими понятиями, за которыми стоит слишком хорошо знакомая миру жестокая реальность, вообще не играют безнаказанно. И уж тем более, когда речь идёт о стране, пережившей почти четырёхлетнюю нацистскую оккупацию, о стране, где даже намёк на возможность её повторения может у некоторых людей вызвать острую, на грани фобии, психологическую реакцию, не говоря уже о последствиях многомесячной обработки массового сознания в соответствующем ключе. Так, по точному замечанию одного крупного отечественного политика, готовят людей к войне, так, добавлю от себя, обеспечивают им психологическую поддержку во время войны. И, напротив, стремясь к предотвращению войны или её прекращению, коль скоро она уже началась, нельзя не понимать, что достаточного длительного перемирия, не говоря уже о прочном мире, невозможно достичь без хотя бы минимального охлаждения накалённых страстей. Но уже сам по себе процесс такого охлаждения потребует некоторого времени и по определению невозможен без радикальных перемен в работе всей пропагандистской машины, признаков которых на момент написания статьи, к сожалению, не видно. Между тем, чем быстрее они начнутся, тем лучше, потому что и на следующем, более спокойном этапе, если ему суждено наступить, рассчитывать на быстрый успех в урегулировании конфликта не приходится. Равно как и на неомрачённый триумф поднимаемой на щит Россией идеи федерализации Украины; идеи тем менее убедительной, что сами лидеры бунтующих территорий неоднократно и открыто совершенно иначе определяли свои конечные цели.

\* \* \*

21 июня, накануне всё ещё почти повсюду на пространстве бывшего СССР отмечаемого Дня памяти и скорби, “народный губернатор” Донбасса Павел Губарев, написал на своей странице в Facebook: “Завтра в Киеве вооружённое восстание против хунты. Подробно не скажу – сами увидите!” (“Независимая газета”, 24 июня 2014 года). Конечно, это был даже не намёк, но едва лишь завуалированный анонс, обращённый ко всем, кому не чужда идея такого восстания, своеобразное, “приглашение к танцу”. То есть к участию если не в самом восстании, то к созданию посредством призывов в социальных сетях поддерживающей его толпы. Приём этот хорошо известен и не раз уже использовался на самых разных территориях, от каирской площади Тахрир до киевского Майдана и даже абхазского Сухума. А поскольку призыв Губарева прозвучал на следующий день после объявленного Киевом перемирия, он недвусмысленно подтверждал отказ Донецка соблюдать режим прекращения огня, о котором, со своей стороны, сообщил командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), твёрдо заявивший, что “перемирие, односторонне объявленное украинскими военными без какого-либо согласования с ополченцами, ДНР не признаётся” ([top.rbc.ru/tag...](http://top.rbc.ru/tag...) 22 июня 2014).

Речь шла, стало быть, о продолжении войны, частью которой должна была оказаться цепочка если уж не вооружённых восстаний, то массовых выступлений в поддержку создания аналогичных ДНР и ЛНР “народных республик”. Причём выступлений не только в областных городах юго-востока, но и в Киеве, которому на сей раз даже отводилась центральная роль. Однако в столице произошла осечка: количество собравшихся на следующий день у Киево-Печерской лавры сторонников “Киевской Народной Республики” оказалось не слишком значительным как, впрочем, и число их противников, и милиции удалось без особого труда предотвратить столкновения. Обошлось без них, к счастью, и в Одессе, где также была предпринята вторая после апрельской попытка создания аналогичной республики, конечной целью имеющей вхождение в состав Российской Федерации. Но не обошлось в Харькове, где стычки противостоящих сторон оказались довольно жёсткими и где кто-то оставил на стене примечательное граффити, не мудрствуя лукаво гласившее: “Україна здохла!” (Орфография подлинника. — К. М.). Конечно, хулиганской выходкой такого пошиба (а они изобилуют в Сети) можно было бы и пренебречь, когда бы по смыслу своему то, что нашло выражение в этой безграмотной надписи, не совпало с иными высказываниями как лидеров Донбасса, так и немало числа российских политиков.

Ведь заявил же, например один из лидеров ДНР Денис Пушилин в интервью Би-Би-Си, что “де факто Украины как единого государства уже нет” (bbcussian.com 4 июня 2014 года). Пояснив, что до войны речь ещё могла идти о федерализации, однако теперь “точка невозврата пройдена”. Это чистой воды лукавство, потому что с просьбой о включении в состав Российской Федерации ДНР обратилась к Москве ещё 12 мая. Но ещё много раньше, когда ни о каких военных действиях на юго-востоке не было и речи, сразу же после референдума в Крыму глава правительства этой республики, Сергей Аксёнов обратился к руководству РФ с призывом оказать помощь и поддержку Юго-Востоку Украины. Почти одновременно депутаты Госдумы Илья Дроздов (ЛДПР) и Франц Клинецвич (ЕР) в интервью Русской службе новостей подтвердили, что в Москве могут рассмотреть вопрос о присоединении Юго-Востока Украины к РФ, если жители этих областей проголосуют за такое решение на местных референдумах. А несколькими днями раньше лидер ЛДПР В. Жириновский в интервью телеканалу LifeNews заявил: “Крымом дело не закончится. Разве русские только в Крыму живут? А Харьков, а Донецк?” Правда, почти одновременно президент Путин сказал: “Мы не хотим разделения Украины, нам этого не нужно”. Однако людей, уже с начала марта выходявших на митинги под российскими флагами, такое несоответствие позиций депутатов, открыто заявлявших о неизбежности и даже желательности распада Украины, и главы государства, отнюдь не насторожило. Вряд ли они его даже заметили, а если и заметили, то, скорее всего, слова президента сочли тонким манёвром, необходимым Москве в её осложнившихся отношениях с Западом, но не выражением её истинных намерений. Словом, той “ложью во спасение”, которой было отрицание Путиным позже признанного им участия российских военных в подготовке отделения Крыма от Украины. А весь последующий ход событий, та настойчивость, с которой официальная Москва перед лицом открыто выдвигаемых жителями Юго-Востока требований отделения от Украины, продолжала утверждать, что речь идёт всего лишь о федерализации, мог лишь укрепить их в этом мнении.

Так, в конце марта в интервью телеканалу “Россия-24” министр иностранных дел РФ С. Лавров после встречи с госсекретарём США Дж. Керри заявил, что Россия настаивает на проведении на Украине конституционного референдума, следствием которого, скорее всего, станет её федерализация, поскольку именно её требуют южные и восточные регионы страны. Насколько такое заявление соответствовало действительности, показала первая половина апреля, в открытое подражание “площади Тахрир” названная самими жителями Юго-Востока “Русской весной”. Уже 6 апреля произошёл захват ОГА (областных государственных администраций) в Донецке, Луганске и Харькове, над ними были подняты российские флаги. Днём 12 апреля такие же флаги появились на административных зданиях в Славянске, Красном Лимане, Краматорске. В течение ночи были захвачены и перешли под российский флаг административные здания в Енакиеве и Горловке, а к утру и в Мариуполе. Между тем, даже каждому подростку, не говоря уже о взрослых людях, известно (или должно быть известно), что такая смена флага символизирует переход под юрисдикцию другого государства и никак не может быть предметом лёгкого отношения, что и продемонстрировала сама Россия в середине июня, чрезвычайно жёстко поступившая с тремя молодыми людьми, — заметим, безоружными и не в балаклавах — сделавшими попытку установить флаг Германии в Калининграде. Притом не на каком-либо из административных зданий, но всего лишь в так называемом “стакане” на крыше гаража, соседствующего со зданием УФСБ Калининградской области. Но и это не было принято во внимание как, по крайней мере, смягчающее обстоятельство; но, видимо, то, что считается недопустимым в самой России, допускается и даже восторженно приветствуется на Украине.

Вот, например, как откликнулся в соцсети на события “Русской весны” вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев: “Друзья, началось освобождение Юго-Восточной Украины! Надеюсь, что очень скоро Луганская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Одесская области образуют 20-миллионную Украинскую Федерацию, которая войдёт в союзное государство Белоруссии и России” (“Независимая газета”, 14 апреля 2014 года). Как видим, так понимаемой федерализации должна была предшествовать сецессия, т. е. отделение *всей* исторической Новороссии, края гораздо более обширного, нежели общая территория Донецкой и Луганской областей, 24 мая

объявивших о создании единого государства под этим именем. Выбранным, конечно, не случайно, а в полном соответствии с главным замыслом всего проекта “Новороссия”, неосуществимого без предварительного расчленения и, соответственно, ликвидации ныне существующей Украины. Об этом со всей определённой в середине мая высказался П. Губарев, заявивший, что создание ДНР “является первым шагом для дальнейшего освобождения и объединения юго-восточных русских земель в новое независимое государственное образование” (ru.tvi.ua/nov./ 2014/05/13).

Но ещё до него с не меньшей прямотой представил свой взгляд на вопрос С. Аксёнов, продолжавший держать руку на пульсе событий: “Одно только ясно из всего происходящего – так, как было, не будет. Не будет. Народ, имеющий разный менталитет, разные взгляды на жизнь своего государства, в будущем больше не объединится в единую страну “Украина”. Юго-Восток будет частью России” (28/04/2014). Заметим, сказано это было после присоединения Крыма, когда Аксёнов, как и Темиргалиев, уже являлись российскими чиновниками достаточно высокого ранга для того, чтобы в сознании жителей Донбасса укреплялась уверенность в тождественности их так открыто демонстрируемого взгляда на события подлинной позиции официальной России, лишь из тактических соображений отказывающейся признать, что речь на донецких землях идёт именно об отложении их от Украины. И на каждое откровенное заявление адептов проекта “Новороссия”, конечно же, не случайно, а в целях мимикрии почти синхронно отзывавшейся заявлениями наподобие того, что тогда же, в конце апреля, было сделано замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. “Я не считаю, – подчеркнул он в кричащем противоречии с собственными заявлениями лидеров Донбасса, – что люди, протестующие в Славянске и Донецке, – это сепаратисты, начнём с этого” (www.tvc.ru/news/show/id/38503.29.04.2014).

Правда, Александр Ходаковский, ранее – офицер украинской группы “Альфа”, а затем – министр безопасности ДНР в своём интервью телеканалу “Дождь” (12 мая 2014 года), удивляясь не столько самой начатой Киевом операции, сколько её названию (АТО), нарисовал картину прямо противоположную: “Все хотят отделиться. Сепаратизм налицо, но терроризм?..” Чуть позже примерно то же, но с немаловажным уточнением он повторил в программе “Неделя с Марианной Максимовской”: “Донецк и Луганск однозначно заявили, что они будут с Россией. Они за Россию, не за ДНР” (РЕН TV, 1 июня 2014 года). С ещё большей определённой высказался не самый неосведомлённый человек, Игорь Стрелков, подчеркнувший неординарную связь ДНР и ЛНР с Крымом, что существенно дополняет картину. Как рассказал он в своём интервью “Комсомольской правде”, именно на территории Крыма сформировался его отряд, а после (значит, начал формироваться до? – К. М.) присоединения полуострова к России передислоцировался в Славянск. Это были не малоопытные юнцы, но люди, уже имевшие боевой опыт, кое-кто их которых, по словам Стрелкова, даже успел повоевать в Сирии. Такая предыстория отряда, на три месяца закрепившегося в Славянске, проливает немалый свет на вопрос о первоначальных масштабах и целях проекта “Новороссия”, что и подтверждается дальнейшим рассказом Стрелкова-Гиркина. “Ополченцы из местного населения, – поведал он, – конечно, хотят, чтобы Донецкая республика больше не зависела от воли киевской хунты и от хунт, которые придут ей на смену. Процентом 80 населения желает присоединения к России. Мотивации тех, кто пришёл со мной и кто к нам присоединился, более широкие. Они говорят: мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы хотим идти дальше и освободить Украину от фашистов” (Цит. по: “Независимая газета”, 9 июня 2014 года).

Оставим пока в стороне фантастические и не подтверждаемые никакими другими источниками 80% желающих присоединиться к России жителей Донбасса и вконец истрёпанные российской пропагандой жупелы “хунты” и “фашизма”. Гораздо важнее другое. Хотел ли этого Стрелков или нет, но он открыто обозначил роль “крымского отряда” как локомотива, увлекающего массы вовлечённых в протестное движение людей гораздо дальше, нежели они, скорее всего, первоначально собирались зайти. И, стало быть, уводящего их на территорию, где действительно не остаётся места для содержательных переговоров с Киевом, которому, в сущности, предлагается только безоговорочная капитуляция. Что и подтвердил ещё раз Стрелков, заявив: “Я считаю, что Россия должна помочь ВСЕЙ Украине избавиться от наркотического сна, пока она не перешла в состояние “зомби”. Сама Украина – под “дурью” – на это



не способна” ([www.mk.ru/politics/2014/06/08](http://www.mk.ru/politics/2014/06/08)). Неизменность такой конечной цели была подтверждена надписями “На Киев!”, “На Львов!” на выходящей из Славянска бронетехнике ополченцев. А на следующий день, 6 июля, на митинге в Донецке то же прозвучало в обращении помощника главнокомандующего Игоря Друзя: “Мы оставили Славянск, чтобы вернуться в Киев... Я абсолютно убеждён в нашей победе, в том, что мы освободим Киев” ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)).

Говоря словами классика, “тут уж не Николка”. Тут не о федерализации речь — о войне не на жизнь, а на смерть. И если сотни тысяч людей, несомненно, имевших, особенно после 21 февраля, веские основания для протеста, но вряд ли желавших войны, так легко втянулись в неё, то, в немалой мере, потому, что перед глазами у них был пример Крыма, где всё решилось так быстро, просто и, главное, бескровно. Значения крымского прецедента не отрицает лидер ЛНР Валерий Болотов: “Нам хотелось по примеру Крыма получить поддержку, потом пришло осознание того, что нужно действовать самостоятельно” (“Дождь”, 10 мая 2014 года). Примерно то же, хотя и выраженное проще и грубее, можно услышать от беженцев: “Выходили же, кричали: “Рос-с-ия!” Думали, что получится, как с Крымом. А теперь плачут...” (“Новая газета”, 23.06.2014 года). Не будь этого “крымского соблазна”, этой надежды, укрепляемой пением крымских чиновных сирен, возможно, в республиках более серьёзно отнеслись бы к подготовке и проведению референдума по вопросу об их независимости. А также более тщательно изучили драматичную историю четырёх самопровозглашённых государств, в 1990–1991 годах заявивших о себе на территориях бывших союзных республик. Однако складывается впечатление, что за все минувшие с тех пор годы этой историей, как и вообще судьбой постсоветских непризнанных республик, в Донбассе никто не интересовался. В противном случае Д. Пушилин не заявил бы, имея в виду экстраординарность предстоящего 11 мая события: “Это чуть ли не первый в истории народный референдум” (“Дождь”. 8 мая 2014 года). Подразумевалось, видимо, что будет создан некий образец, эталон проведения такого рода мероприятий и что донбасский прецедент, в силу его исключительности, займёт достойное место в истории.

Что ж, событие, по ряду параметров, и впрямь оказалось исключительным. Настолько исключительным, что одним из его следствий стала небывалая доселе дискредитация самого института референдума. На сегодня являющегося едва ли не единственным, пусть и несовершенным, инструментом, дающим возможность правового урегулирования конфликтов, которые всё чаще возникают в мире там, где одна из сторон заявляет о своём праве на самоопределение, а другая — о праве на защиту территориальной целостности.

\* \* \*

Противоречие между этими двумя равноправными принципами было заложено в Хельсинкском акте 1975 года, но в эпоху относительно спокойную какое-то время не слишком давало о себе знать и потому не привлекало особого внимания. Не то теперь, когда иные из государств, подписавших этот Акт, вообще прекратили существование, а в мире, с распадом СССР утратившем былую стабильность, появляются всё новые претенденты на собственную государственность. Равно как множится и число государств, стремящихся сохранить свою территориальную целостность. И те, и другие апеллируют при этом к “Хельсинки”, что открывает широкий простор для произвола и принятия ситуативных решений, что, в свой черёд, ведёт к нарушению фундаментального принципа демократии: равенства всех перед законом. В течение последних двух десятилетий он многократно нарушался странами Запада, в том числе и США, неуклонно позиционирующими себя как оплот этой самой демократии, что позволяло российской дипломатии не без оснований говорить о применении ими практики двойных стандартов. Правда, речи эти звучали бы гораздо более убедительно, если бы сама РФ последовательно демонстрировала неприятие такой практики, но, к сожалению, в действительности это было далеко не так.

В самом деле, все четыре постсоветские самопровозглашённые республики вплоть до 2008 года оставались непризнанными Москвой, за это время признавшей немало других новых государств: от Эритреи и Восточного Тимора до тех, что возникли вследствие распада Югославии (за исключением Ко-

сово). Все четыре прошли через кровопролитные локальные войны, узнали, что значит хоронить своих погибших близких во дворах и на огородах, пережили испытания экономической блокадой, но в тяжелейших условиях сумели удержать контроль над собственными территориями, создать и укрепить работающие институты власти и, с большим или меньшим успехом, решать наиболее важные социальные проблемы. Иными словами, могли с полным правом претендовать на статус состоявшихся государств со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако Россией вопрос именно в этой, правовой, плоскости никогда не ставился. Что же до признания ею в 2008 году Абхазии и Южной Осетии, то ситуативная обусловленность его очевидна. И это подчёркивается как фактом превентивного признания Абхазии (которая, в отличие от Южной Осетии, в 2008 году не подвергалась агрессии со стороны Грузии), так и, в ещё большей мере, фактом непризнания двух других: НКР (Нагорно-Карабах) и ПМР (Приднестровья). Тем самым была произведена противоправная селекция среди обладающих равными правами народов, и хотя нельзя было не порадоваться за абхазов и осетин, гораздо меньше радости могла вызывать мысль о совсем не отдалённых последствиях такого произвола, в область которого ещё резче сместился один из сложнейших вопросов современной международной жизни.

Такой способ действий со стороны России в 2008 году тем более удивителен, что для признания Абхазии и Южной Осетии, равно как Приднестровья и Карабаха изначально не существовало никаких серьёзных препятствий. Все эти республики заявили о своём самоопределении в полном соответствии с действовавшей на тот момент Конституцией СССР, равно как и не нарушали признанных на международном уровне границ, каковыми, естественно, являлись только границы Советского Союза. Тем не менее, Москва предпочла действовать ситуативно и точно так же поступила шесть лет спустя, когда обострилась тоже давно лежавшая в долгом ящике проблема Крыма. Объясняя принятое решение, сам президент Путин говорил о чём угодно – о защите русского населения, об угрозе вхождения НАТО в Севастополь, – но меньше всего обращался к правовым аргументам. Даже подчёркнув в одном из своих выступлений, что “мы”, то есть Россия, вообще-то не собирались присоединять Крым, но вот изменившаяся ситуация... Так стоит ли удивляться, что, вдохновляемые примером решения крымского вопроса и тоже имея немало оснований ссылаться на изменившуюся ситуацию, лидеры Донбасса, не говоря уж о населении, сочли совершенно излишним “разводить канитель”. То есть заботиться о соблюдении каких-либо процедур, считающихся необходимыми при решении столь важных вопросов. И в самом деле, зачем заботиться, если тщательно, даже щепетильно следившие за строгостью и чистотой проведения всех состоявшихся на их территориях референдумов НКР и ПМР до сих пор пребывают в своём неопределённом статусе. И если, как показала практика, “великие”, от которых зависит окончательный ответ, всё равно будут руководствоваться какими-то другими, никак не относящимися к области права, соображениями.

Видимо, так или примерно так могли рассуждать те, кто при подготовке референдума 11 мая 2014 года о независимости ДНР и ЛНР даже не дали себе труда проработать вопрос о правовых основаниях своих требований, тогда как прорабатывать было что. Напомню, что на референдуме 1 декабря 1991 года по вопросу о независимости Украины – референдуме, сыгравшем немалую роль в окончательном крушении СССР, – все, подчёркиваю, все юго-восточные области Украины, в том числе Крым и даже Севастополь сказали этой независимости “да”. Что же до Донецкой и Луганской областей, то здесь такое “да” сказали, соответственно, 83,90% и 83,58%, а это всего лишь на пять – шесть процентов меньше результата, полученного в западных областях Украины. Можно ли отсюда заключить, что сделанный ими выбор теперь уже на столетия вперёд исключал возможность его пересмотра? Не думаю – вот ведь предъявляют же сейчас своё право на самоопределение Шотландия и Каталония, когда-то тоже на основании определённых договорённостей вошедшие в состав Соединённого Королевства и Испании. Однако совершенно очевидно, что этот выбор создал новую международно-правовую ситуацию, резко отличающуюся от той, в которой самоопределялись четыре постсоветских непризнанных республики. Взрослые люди, тем более политики, казалось бы, должны были понимать это. В действительности же произошло нечто иное, что можно было бы назвать фарсом и над чем можно было бы даже посмеяться, когда бы этот фарс не возымел самых трагических последствий.

Всё, случившееся 11 мая, всё, — начиная от невнятных и совершенно неподдающихся проверке списков для голосования (происходившего порою просто на улице), от лишённых элементарной защиты, отпечатанных на ксероксе бюллетеней и до самого способа их подсчёта, не говоря уже о том, что во многие населённые пункты они вообще не были доставлены, — отмечено какой-то вызывающей, едва ли не подростковой безответственностью. И, конечно, прав президент А. Лукашенко, в своём интервью телеканалу “Дождь” прямо заявивший, что такой референдум не имеет и не может иметь юридической силы. Тем более удивительной была позиция Москвы, даже не пославшей в Донбасс наблюдателей, но на следующий же день устами министра иностранных дел РФ С. Лаврова призвавшей международное сообщество “с уважением отнестись к волеизъявлению” граждан ДНР и ЛНР, а главное — способствовать практической реализации его итогов.

Странное заявление. Ведь в свете того единственного вопроса, который был вынесен на этот условный референдум, такая реализация могла означать только начало подготовки к процессу признания — и это при отсутствии достоверных данных, подтверждающих именно такой выбор населения Донбасса. Более того, в тот же день, 11 мая, в западных районах Донбасса состоялся параллельный референдум — по вопросу об их переходе под юрисдикцию Днепрпетровской области в случае реального отделения ДНР и ЛНР от Украины. По данным украинских источников, количество людей, принявших участие в голосовании, превысило 2,5 миллиона и большинство из них сказало такому переходу “да”. Можно, конечно, поставить под сомнение и эти данные, но я не думаю, что они существенно искажают реальное соотношение пророссийской и проукраинской ориентаций населения этого региона, что подтверждается и другими источниками.

Так, по данным опроса, по заказу CNN с 7 по 11 мая проведённого в Харьковской, Луганской и Донецкой областях британским социологическим агентством Com Res, 49% опрошенных высказались за целостную Украину, против 37% выступающих за независимость ([top.rbc.ru/politics/14.05.2014](http://top.rbc.ru/politics/14.05.2014)). Картину, существенно отличающуюся от той, что на протяжении нескольких месяцев рисуют федеральные каналы, подтверждают, как это ни странно, сетования самих лидеров движения за независимость на пассивность местного населения, не слишком торопящегося записываться в ополчение. Эту пассивность обличал бывший “народный мэр” Славянска Вячеслав Пономарёв, ставя в пример местным “любителям отсиживаться на диване” добровольцев, едущих в Донбасс “со всего Союза”. О ней же, буквально через несколько дней после оставления Славянска, напомнил Стрелков: “За 3 месяца для шахтёрского края, где много людей, привыкших к опасной работе, добровольцев очень мало” ([imperiya.by/news.html?id=138263](http://imperiya.by/news.html?id=138263) 8 июля 2014). Поневоле задумаешься, не поэтому ли потребовались добровольцы из ингушей (их присутствие здесь признал сам Бек-Евкурлов) и чеченцев, настоящий пангеирик которым, “как людям, всегда готовым постоять за землю русскую”, произнёс премьер-министр ДНР А. Бородай в своём интервью Би-Би-Си ([www.bb/couk/russian/multimedia/2014/5/06](http://www.bb/couk/russian/multimedia/2014/5/06))? По правде говоря, подобное утверждение имеет мало общего с подлинной и очень неоднозначной историей русско-чеченских отношений, что не бросает тени ни на русских, ни на чеченцев, но заставляет задаться вопросом о подлинных причинах, побудивших кавказцев приехать на Украину, — ведь не для того же, в самом деле, чтобы убедительно поддержать проект её федерализации, на которой, как на главном и единственном требовании повстанцев упорно продолжает настаивать Россия.

Но игра с подменой понятий слишком затянута, она оплачивается всё большей кровью, что ставит под сомнение искренность стремления запустить процесс подлинного урегулирования, а не организовывать новый раунд бесплодных переговоров. Невозможно вести переговоры там, где не определён с достаточной ясностью сам их предмет. Или, вернее, с предельной ясностью определён самими ополченцами: как минимум, признание независимости ДНР и ЛНР. С последующим присоединением к России или нет — покажет время, уточнил А. Бородай в интервью Би-Би-Си, но о том, чтобы остаться в составе Украины, не может быть и речи. Стало быть, давно пора и Москве называть вещи своими именами. Сепаратисты? Да, сепаратисты, и это не кличка, не оскорбление, но просто честная констатация факта, что не гарантирует лёгких решений, но, по крайней мере, позволяет вытащить проблему переговоров из трясины неопределённости. Недвусмысленный ответ требует-

ся и на обращённые к России просьбы сепаратистов о признании их не самым безупречным образом, с точки зрения права, созданных республик. Этого требует хотя бы элементарное уважение к собственным гражданам, которые не должны случайно, блуждая в Сети или листая газету, вдруг узнавать, что вот, оказывается, партия “Справедливая Россия” уже признала ДНР и ЛНР, хотя Кремль вроде бы пока не признал, и терять всякое представление о том, что же всё это означает, как соотносится с утверждением президента Путина о том, что “мы не стремимся к разделу Украины”, и к чему следует готовиться лично каждому из нас: к благоприятному исходу переговоров о “федерализации” либо всё-таки к войне с “киевской хунтой”.

Между тем, как показали последние опросы общественного мнения, проведённые “Левада-центром”, сегодня поддержать признание ДНР и ЛНР, не говоря уже о вводе войск на территорию Украины, готова всего лишь треть населения нашей страны, а это существенно меньше, чем было месяц назад.

С нравственной точки зрения такая перемена настроений как раз в тот момент, когда вроде бы настало время доказать, что мы и впрямь “своих не бросаем”, может представляться неприглядной и даже отталкивающей, но она объяснима. Сказывается психологическая усталость и от чрезмерного пропагандистского натиска, и от самой ситуации неопределённости, потому что нельзя бесконечно находиться в боевой готовности номер один, не переходя к действию на сегодняшний день, так и не поняв, в чём же это действие должно заключаться. На официальном уровне вопрос об использовании российских вооружённых сил на территории Украины снят. Но снят ли сам проект “Новороссии”, то есть если и не отторжения юго-восточных областей от Украины, как, есть основания думать, предполагалось вначале, то создания здесь ослабляющего и напрягающего Украину очага перманентной нестабильности? По образному выражению одного из политологов, зоны “вечной весны”? Судя по некоторым признакам, отнюдь не снят, просто изменилась тактика, цель же осталась неизменной: если уж не раздел Украины, перспектива которого столь многих вдохновила в России, то максимальное её ослабление.

\* \* \*

Время покажет, насколько успешной окажется эта новая тактика, но уже сегодня можно сказать, что, поскольку неизменной осталась цель, Россия продолжает исходить из глубоко ошибочного представления о слабой сопротивляемости Украины. Между тем, попытка быстрого натиска не в последнюю очередь не удалась потому, что ошибочным было само отождествление экономической и политической слабости страны, переживающей острейший кризис, с всевышними качествами её народа. Но украинцы не слабый народ, что показала вся его история, которую так охотно растаскивают на анекдоты в блогах и которую, видимо, крепко подзабыли в кругах, где принимаются соответствующие решения. К тому же самая острая фаза кризиса Украиной уже пройдена, и выстраивать свою политику по отношению к ней, основываясь на той же презумпции, — значит предаваться опасным иллюзиям. Опасным, прежде всего, для самой России, которая и без того уже гораздо больше потеряла, нежели приобрела вследствие затеянной ею игры. В том числе — и, на мой взгляд, это гораздо важнее санкций — понесла немалые имиджевые потери. Почти утрачено уважение, которая она приобрела всего год назад, когда, умело отведя от Сирии нависшую над ней угрозу авиаударов, выступила в роли миротворца. В Донбассе же итогом странной двойной игры стало то, что здесь уже открыто зазвучали голоса о предательстве Москвы, а это означает умаление её влияния на этих, ещё недавно столь пророссийски настроенных территориях. По причинам той же невнятности дала трещину так называемая посткрымская национальная консолидация, в некоторых кругах считавшаяся едва ли не главным достижением этой короткой, но бурной эпохи. После подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС окончательно сдано Приднестровье, что еще резче обозначило склонность самой РФ к использованию двойных стандартов. Соответственно, углубилась эрозия международного права, что в будущем грозит немалыми осложнениями как на постсоветском пространстве, так и в мире. Но главное — пролилось слишком много крови для того, чтобы мы имели право потребовать ответа на вопрос, ради чего же она пролилась. И, слегка префразируя слова одного известного американского политика, назвать минувшие четыре месяца не той страницей нашей отечественной истории, которой можно гордиться.

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

*председатель Союза писателей России*

## “НРАВСТВЕННО УПРАВЛЯТЬ ОБЩЕСТВОМ”

### Размышления о литературе и власти

Копаясь в своём любимом XVIII столетии – веке гигантского могущества России, раскинувшейся от Варшавы до Аляски, веке титанов мысли и Слова: Ломоносова, Державина, Карамзина, замечательных полководцев Суворова и Ушакова, “счастья баловней безродных”, безмерно стратегически талантливых Меньшикова и Потёмкина, наречённых Великими Императорами Петра I и Екатерины II, наткнулся на некие совпадения и аналогии с нашим временем. Ну, “сурьёзный” читатель не посоветовал бы обращаться к сравнениям, где стояли бы рядом “век нынешний, и век минувший”. Ну, а нам-то всё можно. На ум почему-то пришло 70-летие первого съезда писателей СССР. Неужели можно сравнить его с веком XVIII? А почему бы и нет?

XVIII век славен реформами Петра и расширением территории России при Екатерине II. Не место здесь, в статье, давать оценку этим явлениям, но вот вытащить на обозрение так называемую литературную политику сих державных правителей, да ещё и посмотреть под этим углом на съезд Союза писателей 1934 года и на литературную атмосферу тех лет возможно.

Пётр I, занятый грандиозными войнами и реформами, вначале особого значения Слову не придавал, но газеты для распространения информации и “правильных” оценок создал. (Чем не “Искра”? Только не подпольная.) Естественно, его реформы (часто через колено!) имели немало противников, но преобразования были неизбежны, и поэтому круг людей, защищавших новации и отстаивавших их Словом был довольно широк: тут и церковник Феофан Прокопович, и дипломат Антиох Кантемир (“Запорожец кающийся”, “Слово о власти и чести царской” и др.). А вослед и великий Ломоносов славил Петра: “Он Бог, он царь твой”. Он несколько преувеличивал заслуги самодержца, но воспевал его за его размах, за его энергию, за укрепление России. Но кто из поэтов не преувеличивал, как казалось другим, заслуги своих кумиров? Возьмём хоть Маяковского в поэме “Ленин” или Пастернака в стихах о Сталине.

Многие патриотически настроенные представители русского общества объявили подлинную войну преклонению перед иноземными обычаями, модами, засилию иностранного слова. Впрочем, Пётр I никогда не отвергал “эту страну” и ощущал, особенно в конце жизни, что “Россия должна идти **своим путём, надо говорить своим, а не подражательным языком**”. Как подлинный державный правитель, он постепенно понимал, что нарождающуюся ли-

тературу из рук выпускать не надо и следует держать её при себе. Взгляд его на литературу, впрочем, был сугубо практическим: **она должна служить его делу. А сочинитель если и не “инженер человеческих душ”, то механик, подвластный государю.** Этот “механик” способствует осмеянию невежества, застойной старины, ханжей и врагов государства. Печатный станок в то время печатает книги о выдающихся событиях, торжественные вирши, оды по случаю побед, пускает сатирические стрелы в недругов реформаторских дел, выпускает лубки (прямо-таки окна РОСТА!). Тех же, кто не поддерживал его, Пётр лишал даже чернил, перьев и бумаги (так он поступил с монахами в монастырях). Согласитесь, что это несколько напоминает нам 20-е и 30-е годы XX столетия у нас в стране (хотя тогда нередко лишали голов...).

И при Екатерине II литературная политика проводилась разумно и целенаправленно. Влияние власти на формирующуюся отечественную словесность особенно проявилось именно в годы её царствования. Ещё раз объясняем, что не оцениваем всю её державную поступь. Императрица претерпела эволюцию от усиленного преклонения перед западными умами и литературно-философскими авторитетами (Вольтер, Дидро, Руссо, Монтескьё) к проявлению трезвого реализма на русской почве, осознанию выдающихся способностей её подданных, всего русского народа. И тут Слово, Литературе, Истории она отводила первенствующее место (да и сама пробовала себя в сочинительстве: написала 14 комедий, 9 либретто, 7 пьес на основе пословиц). Особо издевалась в этих пьесах над неграмотностью, невежеством, масонством, иноземными заимствованиями (немка Екатерина, как позднее грузин Сталин, считала себя русской). Она громогласно заявила, что **“литературой нравы исправить можно”**, утверждая, что “нравственное нравоучение человеку поставить надо и достучаться до его разума, а в сердце высокие помыслы вдохнуть”. Плохо ли?

Многие современники Екатерины видели в Слове, культуре, театре рычаг воздействия на нравственность и пользу для общества. Правда, каждый по-своему. К примеру, поэт Михаил Попов в XVIII веке задавал этот вопрос и отвечал на него:

*Полезен ли феатр и чистит ли он нравы?  
Иль только что одне приносит нам забавы?  
Коль спросит кто меня о сём,  
Скажу,  
И докажу,  
Ему о всём.  
И прямо.  
А как?  
Вот так,  
Как испытание доказывает сáмо.  
Для умных служит он к познанию вместо врат,  
Для глупых — игрище, гульбище и разврат.*

Честно говоря, эти слова можно отнести и к сегодняшним театрам, хотя следует понимать, что последний пункт его нравоучительных стихов стал более характерным для нашего времени.

Екатерина решила своей властью развивать дело литературы, поддерживать “пиитов” и издавать литературные журналы. Она создала свой журнал “Всякая всячина”, назначив формального главного редактора – адъюнкта Академии Григория Козичкого, который состоял при “собственных ея Императорских делах”. Разрешила издавать журналы и другим. Свобода!

И-и, что тут началось! Стали возникать издания других воззрений и даже политических направлений. Известный писатель Максим Чулков создал журнал “И то и сё” с намёком на “Всякую всячину”. Василий Рубан назвал свой еженедельник “Ни то ни сё в прозе и стихах”. Возник журнал “Смесь”, “Поденщина”, стал покусывать новиковский “Трутень”, ежемесячник “Адская почта” известного и может быть самого плодovitого романиста того времени Фёдора Эмина стал одним из популярных изданий. Вокруг новых и старых журналов начали собираться учёные, люди, посвятившие себя литературе как положительному делу. Это дало толчок развитию всей русской культуры.

Музыканты, прошедшие французскую и итальянскую выучку, вдруг услышали песни своего народа. Русская мелодия зазвучала в операх Соколовского и Фомина, в кантатах Березовского и Боршнянского, потянулась тонкой ниточкой из-под скрипки виртуоза Хандошкина. Победные марши и панегирические песнопения, звучные гимны прославляли великие победы. Кисти Андропова и Рокотова, Аргунова и Левицкого уносили в века полных очарования русских женщин и исполненных державного величия вельможных мужчин. Баженовский дом Пашкова напротив Кремля в Москве и Фальконетовский Пётр, вздыбленный в центре Петербурга, показали, что руке и разуму вдохновенного скульптора и архитектора подвластны все замыслы. В залах и приёмных зазвучали оды Ломоносова и Хераскова, там восхищались пьесами Капниста и Фонвизина, сочинениями Карамзина и Эмина, журнальными статьями Новикова и Болотова. Знаком времени, конечно, был высокий слог Гавриила Державина. Именно Державин, восхищаясь подвигом чудо-богатырей Суворова и победными битвами Ушакова, требовательно обращался к царям: “Чего не может род сей славный свершить?” И, не видя ответного помысла с бережением относиться к людям, взывал:

*Умейте лишь, главы венчанны,  
Его бесценну кровь щадить,  
Умейте дать ему вы льготу,  
К делам великим дух, охоту  
И правотой сердца пленить.  
Вы можете его рукою  
Всегда войной и не войною  
Весь мир себя заставить чтить!*

Но пришли другие годы, проступила во всей своей гильотинной красоте Французская революция 1789 года. Она лишила королей голов, помещиков – земель, церкви – священников, а народ – многолетней Веры и религии. Тут Екатерине было уже не до литературных вольностей. Она решительно заявляет: “Ответ здословью быть должен”, – ограничивая в том числе и свободомыслие журналов.

Интересная деталь, а может быть, существенная черта русской литературы. Поэты и прозаики XVIII века одобряли и воспевали наступательную политику на Юге (знаменитая поэма “Чесменский бой” академика и поэтического законодателя Хераскова о блистательной победе русского флота над турецким, “Ода на победы в море” В. Петрова, державинские оды Екатерине...).

В то время никому в голову не приходило осудить присоединение Крыма к России – либералов ещё не было.

Дальние параллели ложатся на сегодняшнюю поэзию и прозу. Понадобилось почти тридцать лет, чтобы нынешняя художественная критика признала значительность и актуальность моих романов “Росс непобедимый” и “Флотоводь” о великом геополитическом и историческом подвиге нашего народа, пробившего “полуденное окно” России на юг Европы, в переднюю Азию и Африку. Но надо признать, что Русская Православная Церковь всегда обращала на это внимание и прославила в качестве святого праведного воина непобедимого адмирала Ушакова.

Но вернёмся в век Екатерины. Журналы, расцветшие было по её инициативе, закрывались один за другим, пришла цензура. Новиков за свои масонские взгляды получил место в Шлиссенбургской крепости, а Радищев вообще оказался в дальней ссылке, в якутском городе Верхоянске, слывшем полюсом холода; пьесы Капниста запрещались.

Либеральная система культуры была приведена в строгий, подчинённый власти порядок. И вот этот поворот литературной политики XVIII века мне захотелось сравнить с поворотами во взаимоотношениях советской власти с писателями. Вначале всё казалось ясным, было определено в статье В. И. Ленина “Партийная организация и партийная литература”. Не выбрасывались даже классики. Их определяли как “зеркало русской революции”. В конце концов, Владимир Ленин, человек немалой культуры, понимал, что революции нельзя оставаться без больших литературных авторитетов. Однако его боевитые соратники, “неистовые ревнители”, не облададая особой образованностью и культурой, сбрасывали с корабля современности одного классика за

другим. Помню первую, в голубеньком переплёте “Малую советскую энциклопедию” конца 20-х годов, где Пушкин проходил лишь по разряду “певцов дворянской усадьбы”. И сохранившуюся у отца “Историю России в самом сжатом очерке” академика Покровского, где в разряд крепостников были зачислены такие писатели, как Андрей Тимофеевич Болотов, написавший 250 томов, выпустивший две первые сельхозгазеты, создавший первые учебники литературной критики и вообще бывший “русским энциклопедистом”.

Конечно, направлять литературу, объединять писателей — это не “тоталитарная” выдумка большевиков, а “приём власти” любой эпохи. Ну, а проявление таланта — это уже свойство гения или, по крайней мере, человека незаурядного. Ведь и при Пушкине было немало литераторов с именем и признанием общества, но всё-таки большинство поблекло в истории. А в созданном в 1934 году новом Союзе писателей СССР были не только говоруны, но и талантливые люди. В первую очередь, Максим Горький.

В начале 30-х годов XX столетия состояние общества поначалу не слишком заметно, но существенно изменилось. Надежды “неистовых ревнителей” на фактически космополитическую “мировую революцию” испарились. Советская власть, существовавшая уже 15 лет, выдвинула лозунг “о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране”. **И этой страной объявлялась Россия (СССР)**. Это был великий выход из сгустка энергии, порождённого революцией, часто буйной, бурной, неуправляемой, разрушительной. Он направлял усилия народа на укрепление собственной страны. Определённые круги в партии чувствовали спасительность такого поворота, причём считали, что в этом им должна помочь литература, книга. Конечно, в партии были разные группы людей, имевших свои взгляды. Стронники Троцкого, мировой революции, левого безответственного бунтарства, выжидающие своего часа ревизионисты, сионисты, все эти Бухарины, Каменевы, Зиновьевы, Радеки... Отодвинутые с главенствующих мест, они готовились к реваншу.

Однако наиболее проницательные руководители понимали: мировой безнациональный капитал — Рокфеллеры, Ротшильды, Крупы — готов смириться с социализмом. После Октябрьской революции они и у себя уступили рабочим, дали им некоторые социальные права. Но принять мировые притязания России они не могли.

Отказ от мировой революции позволил хотя бы отчасти снизить внешнюю угрозу и обратиться к отечественным основам, в том числе культурным и историческим. С литературной арены уходят “красные дьяволята”, возвышенные “коммунары”. Зато на нём появляются деятели русской истории: великие полководцы, дипломаты, властители. В жизнь стали входить фильмы и книги об Александре Невском, Суворове, Кутузове, Петре I. А письмо руководителей страны (Сталина, Жданова, Кирова) о том, что надо проявлять уважение к прошлому, к достижениям народа и страны в науке, культуре, к военным победам, сыграло большую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Правда, поворот этот происходил в конце десятилетия, а в 1933–1934 годах он получал своё обоснование, в том числе и на I съезде советских писателей.

1934 год. Десятки союзов и групп литераторов, расплотившихся в стране и претендующих на главную роль, авторитетом Максима Горького были созваны в Колонный зал Дома Союзов. Тогда, в августе, они входили в зал — самонадеянные и робкие, с душой нараспашку и замкнутые, люди пролетарской заправки и врождённые интеллигенты. Несколько сотен. Говорят, что французский писатель и будущий министр культуры Мальро с недоуменным вопросом обратился к Горькому: “И это всё писатели?” Количество, конечно, впечатляющее, но ведь и эпоха, как считали современники, была особая. Но, как сказал бы Козьма Прутков: “Если на клетке льва увидишь надпись “тигр”, не верь глазам своим”.

Можно сколько угодно иронизировать, но отрицать энтузиазм собравшихся на съезде, надежду, страсть и желание овладеть высотами культуры слова нельзя. Конечно, не все представляли магию творчества, многие как и сегодня, думали только о структуре и выстраивании “текста”. Но проснувшееся в них творческое начало, невиданное трудо- или, скажем, культуролюбие давало надежды на зрелые плоды.

В качестве объединяющей фигуры Союза был выдвинут М. Горький. Его общественная деятельность многообразна: походил он в большевиках,



в меньшевиках, в протестующих интеллигентах, говорят, даже в масонах, долго жил в фашистской Италии, но ведь остался талантливым писателем! Достаточно назвать “Жизнь Клим Самгина”. А можно вспомнить и его романтические образы. Конечно, “это не сильнее “Фауста” Гёте”, как говорил все- сильный вождь страны советов, но ведь многим хотелось, как гордый Сокол, взлетать в небо, отвергая ползущего по сырой и неуютной земле Ужа. Да и самоотверженный Данко стал тем образцом, который был товарищем и современником Николая Островского, Валерия Чкалова, метростроителей, строителей Магнитки и Турксиба, а позднее – Зои Космодемьянской, подпольщиков “Молодой гвардии”.

Но у литературных радикалов были иные кумиры. Первыми по изданиям и, естественно, гонорарам были А. Безыменский, И. Уткин, Н. Асеев.

Рвался в литературные дирижёры и витийствующий революционер, космополит Радек. Он делал доклад на съезде писателей. Но амбиции “неистовых ревнителей” смирил Сталин. Много рассказов я слышал о том, как осторожно, через писательские авторитеты М. Горького, Л. Леонова, К. Симонова, А. Суркова, А. Фадеева он формировал отношение к литературе. Его задачи, несмотря на разность эпох, сливались с замыслом Екатерины II при помощи литературы “нравственно управлять обществом”.

В общем, съезд состоялся, несмотря на все попытки сформировать оппозицию власти, близкую к троцкистско-бухаринскому объединению. Имел место и разговор о литературе, художественном творчестве, его народных истоках, истории, таланте, языке, нравственности. Делегаты запомнили мудрые слова М. Горького: “Начало искусства слова в фольклоре. Учитесь на нём, обрабатывайте его. Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймём великое значение творчества нашего настоящего”.

Итогом съезда стало не только создание структуры, призванной быть проводником державных идей, но и возникновение некоего простора для творчества, контролируемого сверху, но зато и поддерживаемого материально (достаточно вспомнить сформированный в те годы Литфонд СССР, немалое количество творческих дач для писателей в Переделкино, Дома творчества литераторов, Дома литераторов, издательство “Советский писатель”, творческие командировки по стране...).

Можно вспомнить и огрехи становления. Собственные писательские союзы существовали во всех республиках, кроме России. Понадобилась победа в Великой Отечественной войне, чтобы был создан Союз писателей России. Сейчас, когда возникают постоянные попытки деформировать, а то и закрыть Союз писателей России, мне вспоминаются “неистовые ревнители” 30-х годов.

И тем не менее, русская литература существует. Семь с половиной тысяч литераторов объединены в Союз писателей России, который причисляет себя к продолжателям традиций русской классической литературы, к людям державной и нравственной позиции, не отбрасывающей достижения русской советской литературы и честной литературы русского зарубежья. Юбилей съезда советских писателей 1934 года побуждает нас вспоминать всю сложность пути отечественной литературы.

В этом материале о попытках властей всех времён и всех уровней “овладеть”, “руководить” литературным процессом, состоянием литературного общества, нет, может быть, главного: разговора **о таланте писателя, его истинности, совести литератора**. Факторов много: генетических, воспитания, образования или отсутствие таковых. А может, главным является обращение А. Пушкина: “Веленью Божьему, о муза, будь послушна...” Как мне кажется, в этом – всё: таинственность, глубина, состоятельность истинного творчества, которое во многом зависит и от нас самих, и от воли и понимания властей предержавших.

Но об этом уже другой разговор.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Главный редактор газеты “День литературы”

## МУДРОСТЬ И МУЖЕСТВО

*Станислав Куняев и “Наш современник” — четверть века вместе*

В 1836 году наш светлый гений Александр Сергеевич Пушкин приступил к изданию первого национального русского литературного журнала “Современник”. Спустя 120 лет, в 1956 году как продолжение идей и планов Пушкина было возобновлено издание этого русского литературного журнала под названием “Наш современник”. Станислав Юрьевич Куняев возглавил этот ведущий литературный журнал в самые сложные, трагические для России и русской литературы переломные годы “перестройки” по инициативе и при активной поддержке писателей В. Белова, Ю. Бондарева, С. Викулова, В. Распутина.

На посту главного редактора с 1989 года и по сей день он в полной мере проявил себя как продолжатель лучших национальных государственно-патриотических традиций. Неслучайно в статье “Пушкин — наш современник” Куняев настойчиво проводит мысль о несомненной преемственности этих двух журналов, пушкинского и куняевского: “Там русский дух! Там Русью пахнет!..”

Когда возникла мысль о назначении Станислава Куняева главным редактором журнала “Наш современник”, этому отчаянно сопротивлялся злобный Александр Яковлев — тогдашний главный идеолог КПСС, один из “архитекторов перестройки”. По легенде, к Горбачёву пришли Бондарев, Белов и Распутин. Стали уговаривать генсека, чтобы он согласился на это назначение. Яковлев возражал. Тогда Горбачёв сказал Яковлеву: “Саша, я пошёл тебе навстречу, когда ты просил Коротича поставить на “Огонёк”, а Бакланова — на “Знамя”, давай русским отдадим, бросим эту кость...” Вот и *бросили* эти разрушители кость русским, недопонимая важность хоть одного русского национального очага в культуре слова: “Из искры разгорится пламя!” Сейчас русское пламя уже бушует по всей России, иные молодые патриоты и не помнят, причём тут “Наш современник”. Но русский огонь полыхает. Это и есть итог куняевской деятельности на посту главного редактора “Нашего современника”.

К примеру, в 1996 году тираж журнала был в 5 раз меньше, чем тираж “Нового мира”, в два раза меньше, чем у “Знамени” и “Дружбы народов”. А через 20 лет, в 2010-м, мы уже видим совсем иное соотношение: складываем вместе тиражи всех либеральных журналов — “Нового мира”, “Знамени” и “Дружбы народов” — и получаем в сумме тираж “Нашего современника”... Русские читатели своей подпиской голосуют за национальное направление в русской литературе.

Остаётся ждать, когда же наши кремлёвские власти будут проводить политику, соответствующую истинным настроениям русского народа.

Уже двадцать пять лет Куняев руководит журналом. Так долго не возглавляли журналы ни Александр Твардовский, ни Михаил Алексеев, ни Всеволод Кочетов, ни Анатолий Иванов. Да ещё в такой сложнейший период времени. По сути, весь период так называемой перестройки, период развала и крушения Русской Державы. Держава выдержала, но несколько скукожилась, уменьшилась в размерах, в мощи, в экономике, в культуре, наконец. Журнал “Наш современник”, неотъемлемая часть Русской Державы, тоже перетерпел и лишения, и страдания, терял и тираж, и авторов, но, несмотря на всё, выстоял и уже много лет является лидером по подписке среди всех литературных так называемых “толстых” журналов. Неслучайно в своём приветствии главному редактору журнала Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл писал: “Возглавляемый Вами журнал в течение двух десятилетий остаётся знаковым явлением нашей культуры. Вы всегда живо откликнулись на все социальные изменения, происходившие в России...” При этом Патриарх отметил: “Отраднo, что в своём служении слову Вы неизменно поддерживали Русскую Православную Церковь, стремились хранить верность евангельской правде, утверждать в сознании Ваших многочисленных читателей высокие христианские идеалы”. Славное подтверждение выбранной линии журнала!

Однако в так называемом “Журнальном зале”, интернет-издании, отслеживаемом все публикации в “толстяках”, почему-то “Нашего современника” нет. Кто бы мне ответил, почему такая дискриминация? Какой-то расизм по отношению к явному журнальному лидеру. Да и в других рекламных акциях, на книжных фестивалях и ярмарках, на стендах литературных журналов никогда не бывает “Нашего современника”. Этот журнал всегда в привычной для себя круговой обороне. Впрочем, и сама Россия тоже в так называемом “цивилизованном мире” держит круговую оборону.

Когда-то в авторский актив журнала вошли, пожалуй, все знаменитые писатели России, от Леонида Леонова и Виктора Астафьева до Гавриила Троепольского и Бориса Можаева. Куняев писал: “Так что мы гордимся именно тем, что пушкинские традиции в середине истекшего XX века продолжили лучшие писатели. Вспомним известные произведения, ставшие фундаментом для русской культуры и литературы XX века, такие как “Лад” Василия Белова, “Прощание с Матёрой” Валентина Распутина, замечательные романы Юрия Бондарева, военные и о послевоенной жизни, “Пирамиду” Леонида Леонова и многие другие. На этом фундаменте стоит и сегодняшний “Наш современник” в начале XXI века”.

Но и взлёт великой народной культуры давно прошёл, оставив в закрытых мировой литературы десяток-другой общепризнанных шедевров Юрия Бондарева, Василия Белова, Виктора Астафьева, Николая Рубцова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, и сама страна радикально изменилась, охотно перечеркнув своё пусть и трудное, но славное прошлое, и уж русской национальной литературе и вовсе места нигде не оставили, а журнал “Наш современник” всё держится. Тянутся к нему по-прежнему люди, чувствуя в нём живую жилку русской национальной мысли, русской национальной литературы.

Тянутся не только писатели, но актёры, режиссёры, скульпторы, художники. В журнал нёс всё своё заветное великий скульптор Вячеслав Клыков, здесь свою “Россию распаятую” печатал художник Илья Глазунов, свои мемуары в журнал отдавали Татьяна Доронина, братья Ткачёвы, Александр Михайлов, Николай Бурляев.

Журнал стал средоточием русской национальной мысли, все ведущие русские мыслители, от Льва Гумилёва до Сергея Кара-Мурзы, печатали в “Нашем современнике” свои самые важные работы, к нему тянулись отечественные политики, заинтересованные в связи с русским читателем: Геннадий Зюганов, Сергей Бабурин, Сергей Глазьев...

Этим живым нервом, живым центром неутихающей русскости в самом журнале уже двадцать пять лет остаётся верный и надёжный Станислав Куняев.

Куда ж без него? Я давно заметил, с первых лет его работы в журнале, есть в нём, кроме таланта поэта и публициста, таланта организатора, ещё и неугасающий азарт ценителя литературы. Он зажигается, когда видит цельное, крупное и национально русское дарование. Будь это яркая публицистика Игоря Шафаревича, в России открытая именно “Нашим современником” (вспомним его классическую “Русофобию”), статьи Вадима Кожинова, Льва

Гумилёва, откровения Александра Зиновьева или же проза метафориста Александра Проханова, словесного колдуна Владимира Личутина и даже одно из солженицынских “Колёс”, и даже историко-монументальные, вполне аристократические воспоминания Ильи Сергеевича Глазунова, и даже дерзкие рассказы боевого Эдуарда Лимонова, и проза Юрия Полякова...

Неслучайно именно в “Наш современник” принёс свою “Пирамиду” незадолго до смерти Леонид Леонов, зная, в этом журнале она не пропадёт. “Пирамида” поддержала тогда, в сложнейшем 1994 году и сам журнал. В этот сражающийся журнал принёс свою “Третью правду” Леонид Бородин, своего “Сергия” Дмитрий Балашов. Ему доверяла свою сокровенную правду Вера Галактионова. Росло вокруг куняевского журнала уже и новое поколение: Александр Сегень, Андрей Воронцов, Вячеслав Дёгтев, Марина Струкова, Евгений Семичев, Диана Кан, Светлана Сырнева...

Конечно же, традиционный формат канонического реалистического “Нашего современника” был Куняевым дерзко нарушен, и не раз. Явно не вписывались в привычные форматные рамки почвеннического деревенского журнала ни феерический Проханов, ни мистический Личутин, ни надмирный Юрий Кузнецов, не подошли бы викуловскому журналу ни монархист Глазунов, ни воинствующий сталинист Владимир Бушин. Но в этих нарушениях канона журнал формировал новый национальный русский канон. Куняев не боится открывать новые миры, новые явления, если они укладываются в русский боевой порядок. В конце концов, и новые имена из новых поколений, сменяющие друг друга, от Петра Паламарчука и Александра Сегеня до размашистой Марины Струковой всё так же прокладывают дорогу большой русской литературе.

Я видел, как загорелся огонь в глазах Станислава Куняева, когда он прочитал ещё первые дерзкие, яркие опыты Захара Прилепина. Понял Станислав, что, в отличие от иных наших осторожно-трусливых попутчиков, воспевающих за неимением таланта лишь свою русскость, затащит он этого молодого талантливого русского лидера в свои авторы. Так и случилось, и публикуемый ныне в “Нашем современнике” прилепинский роман “Обитель” — достойное продолжение русской национальной литературы. Всё лучшее в русской национальной литературе, за редким исключением, за эти двадцать пять лет было опубликовано именно в этом журнале.

Да и сам он всё такой же дерзкий и грандиозный в своих замыслах. Сочетание трезвого расчёта, литературного чутья, хорошего вкуса и смелости в достижении цели — вот что такое Станислав Юрьевич Куняев. Можно по-разному относиться к его последним книгам. Но даже самые злобные его оппоненты не скажут, что это уже “слабоумные потуги восьмидесятилетнего старца”. Его большой друг и, в какой-то мере, мудрый наставник Вадим Кожинов, обращаясь к Куняеву, утверждал: “И поверь мне — я знаю, — что твоя мудрость, мужество и нежность, воплощённые в твоих словах и деле, останутся как яркая звезда на историческом небе России”. Это относится уже не просто к писателю Куняеву и даже не к редактору журнала, а к самому явлению “Нашего современника”, и ныне яркой звездой сияющему в небе России.

Станислав Юрьевич — большой эстет, и его журнал, может быть, самый эстетский журнал из всех литературных “толстяков”. Он ищет достойные произведения по всей России, ради журнала врывается в высокие кабинеты областных начальников, и журнал живёт назло всем своим врагам.

Впрочем, его творческий дух царит во всей его жизни. Когда-то его судьбу определило стихотворение “Добро должно быть с кулаками”. Мне надоело слышать, что эта мысль была подсказана Михаилом Светловым. А Гоголю подсказывал Пушкин, а Лермонтову — Байрон. И так далее. Кто пишет, тот и побеждает. Стихотворение “Добро должно быть с кулаками” — куняевское, потому что именно оно предсказало дерзкое и мужественное начало всей его жизни, оно определило и двадцатипятилетие журнала “Наш современник”. То ли журнал помогает ему и дальше так дерзко писать, то ли эти дерзкие писания помогают ему сражаться за журнал, но за все эти двадцать пять лет руководства журналом он и сам как писатель, оставался в самом центре литературной жизни. Да, он по-своему дерзко, сам отошёл от поэзии. На такой поступок тоже нужна смелость. Сколько дряхленьких поэтов продолжают до самых преклонных лет писать беззубые, лишённые энергии стихи. А Станислав Куняев сказал о себе: “Так случилось, что моё творчество разделилось на три русла. Первые мои стихи были опубликованы, наверное, в 1956 году,

но с тех пор прошло 50 с лишним лет. Я-то думал, что всю жизнь буду поэтом, а не получается. Как писал Александр Сергеевич Пушкин (он писал это в 36 лет): “Лета к суровой прозе клонят, / Лета шалунью рифму гонят, / И я, со вздохом признаюсь, / За ней ленивей волочусь...” Если уж великий Александр Сергеевич чувствовал, что с поэзией придётся рано или поздно расстаться, то нам грешным сам Бог велел... Более того, я даже объяснил себе, почему. Я вдруг почувствовал, что начинаю повторяться. Пошли какие-то клише, ремейки. Чувства, страсти, мысли те же самые, но в каком-то ослабленном варианте. А зачем плодить копии, когда у меня есть оригиналы? Заняться есть чем. Есть публицистика, история, мемуары. Второе русло спасло меня от осознания своего бесплодия. Я быстро переключился на другие жанры и тем самым спас себя как творческого человека...” Да, это поступок! Всякий ли способен на такое? А прирождённый эстетический вкус позволяет ему определять, в каком жанре он особенно силён.

Если о первой половине XX века внимательный читатель узнавал часто впервые из мемуаров Ильи Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь”, то вторую половину этого века для многих и нынешних, и будущих читателей будут определять, несомненно, мемуары Станислава Куняева “Поэзия. Судьба. Россия”, написанные с художественным блеском, с присущей ему всегдашней остротой и полемичностью и с доскональным знанием глубин литературного процесса.

Возьмите его размышления о Серебряном веке. Во-первых, чтобы так его разбирать, надо прекрасно знать поэзию Серебряного века. Чтобы воевать с великанами, надо и самому быть не коротышкой. Во-вторых, по какому-то космическому замыслу, он и на самом деле прав: декаданс – есть декаданс, но все наиболее талантливые поэты из этого декаданса благополучно вырвались, от Ахматовой с её трагическим “Реквиемом” до Владимира Маяковского с его стратегическими поэмами, от Сергея Есенина, забывшего о своём имажинизме, до Александра Блока с его “Двенадцатью”. Ну, а в-третьих, любой интересный разговор на эту тему творчески состоятелен. Интересно, что на такую глобальную тему Станислава Куняева натолкнула судьба убийцы Николая Рубцова Людмилы Дербиной, вобравшей в себя все мыслимые и немыслимые комплексы декадентства, что в каком-то смысле и послужило причиной трагедии.

Или его книга “Жрецы и жертвы Холокоста”, вызвавшая большой интерес, и не только в России. Он полемист по натуре, мне кажется, ему даже нравится полемизировать. Но кроме полемики, надо признать, что “Жрецы и жертвы Холокоста” написаны грамотно, с прекрасным знанием материала, с пониманием вопроса. А книга “Шляхта и мы” – это разве не вызов одного яркого человека бешеной либеральной машине? И опять же, кроме вызова как такового, читателя подкупает ещё и предельная аргументированность: оспорь, коли можешь, кто же мешает?! Нет, никак в разряд скучных старческих размышлений его энергичные, пассионарные культурные и эстетические вызовы не попадают.

“Шляхта и мы” была впервые опубликована в майском номере журнала “Наш современник” за 2002 год, и эта публикация всколыхнула всё польское общественное мнение: “Польша бурлит от статьи главного редактора “Нашего современника”, – свидетельствовал местный автор. – Польские газеты и журналы начали дискусию о самом, наверное, антипольском памфлете со времён Достоевского <...> Куняева ругают на страницах всех крупных газет, но при этом признают: это самая основательная попытка освещения польско-русской темы...” И может быть, хватит нам паталогически радостно унижаться перед не стоящими нас оппонентами и завистниками? Кстати, это относится не только к русским, но и к евреям, уничтожаемым поляками даже с большей радостью, чем немцами. Я бы на месте израильских политиков давно переиздал “Шляхту и мы” в Израиле. В России книга стала историческим бестселлером, много раз переиздавалась.

И каждый раз я вижу величие замысла в весьма оригинальном и нетривиальном исполнении.

Вот и публикуемая сейчас первая книга о великом трагическом русском поэте конца XX века Юрии Кузнецове наверняка вызовет интерес в литературном мире. Это опять не просто воспоминания Станислава Куняева о своём давнем друге, а неожиданные, спорные, отнюдь не фимиамные размышления о большом и сложном, неординарном поэте. Я прочитал книгу залпом.

Всё-таки это, как всегда, блестящая публицистика Куняева! Прежде всего, в памяти сразу возник образ живого Поликарпыча. Не некий памятник или поминальная молитва, не житие мученика, а весь он, сотканный самой эпохой из противоречий. И прекрасно, что Куняев эти его противоречия не скрывает, они не роняют честь и значение поэта, но помогают лепить его живой образ. Был же у Юрия Кузнецова и свой “морок”, свои демонические погружения, чем он мне всегда напоминал моего любимого Михаила Лермонтова. Советую всем ценителям русской поэзии прочитать новую книгу Куняева. Это не просто воспоминания давнего приятеля, не просто мемуары; это попытка всерьёз понять путь великого поэта. Попытка эта явно удалась!

К тому же, кроме яркого образа русского поэта Юрия Кузнецова, в работе возникает неразрывно связанный с Кузнецовым образ журнала “Наш современник”. Надо признать, что не будь этого журнала в его куняевской версии, страшно даже подумать, сумела ли бы Россия достойно оценить великий дар поэта Юрия Кузнецова ещё при его жизни. Только Станислав Куняев, тонко чувствующий поэтический гений своего друга, сумел без лишней ревности и без ненужного обожествления создать воистину живой образ последнего национального поэта России XX века. Это его памятник Юрию Кузнецову.

Очень верно сказал о Куняеве мой друг Александр Проханов: “Куняев – мессианский человек. Он – весталка, охраняющая священный огонь Победы сорок пятого года, этой грандиозной вспышки, осветившей всё мироздание, озарившей пути человечества на сотни веков вперёд. В этом грандиозном тигле, среди непомерных температур и давлений, возник драгоценный слиток русского и советского. Советское предстало как продолжение неиссякаемого русского. Белые и красные энергии, доселе враждовавшие и сражавшиеся, теперь, окропленные кровью, предстали как нераздельные. Победа сковала разорванную цепь времён. Победа одухотворила небывалую культуру, в которой русское чаяние рая, одоление зла, русское, страстное, до безумия, взыскание справедливости получило прямой выход в космос. Православно-религиозное и советско-космическое обнаружили своё глубинное сходство.

В Куняеве, в его любящем, мятежном, ищущем сердце произошёл этот потрясающий синтез, и он несёт в себе это чудо по сей день, сберегая его среди всех бед и напастей. Он всю жизнь сражался с той могучей и страшной силой, которая напала на Россию в начале века и стремилась превратить её в красную Иудею...”

Это слова не только о писателе и поэте Станиславе Куняеве, но и о хранителе священного огня русской национальной литературы, а именно – о главном редакторе “Нашего современника”.

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

## “ВНИМАЯ УЖАСАМ ВОЙНЫ...”

*(Первая мировая война в произведениях русских писателей)*

*Мне кажется, что нынешняя война — только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придёт очень скоро.*

В. М. Гаршин

Похоже, что эту войну прятали от нас. И ведь не только “советские” идеологи почти целый век держали её под грифом как бы “не бывшей”, но и Запад со свойственной ему расчётливостью находил свои резоны, чтобы не препятствовать “реке времён” уносить “в своём стремлении” и топить “в пропасти забвенья” неоднозначные исторические события. Выходит, были на то свои причины. Не потому ли, что Первая мировая война — это своего рода предупреждающий знак, невостребованный “магический кристалл”, сквозь который вполне различима (и во многом объяснима!) “даль” надвигавшегося катастрофического столетия? Как скажет Анна Ахматова в “Поэме без героя”, именно с 1914 годом, годом начала войны, начинался “не календарный — Настоящий Двадцатый Век”.

Без осмысления случившегося трудно понять все последующие драмы и трагедии, хотя ход истории не всегда обусловливается причинно-следственными связями. Не случайно уже в первый день войны Валерий Брюсов, всегда отличавшийся страстью к культурным ассоциациям в духе античных сцен объясняет происшедшее подчёркнуто звонкой аллитерацией, упирая на слово “рок”, что в христианской традиции означает Промысел Божий (либо “бич Божий”):

*Свершилось. Рок рукой суровой  
Приподнял завесу времён...*

Правда, назвав своё стихотворение с публицистической поспешностью “Последняя война”, поэт, к сожалению, оказался неважным пророком.

Более рациональный взгляд на случившееся находим у Евгения Замятина: “В 1812 году Москва сгорела от копеечной свечки, но, конечно, не копеечная свечка виновата в пожаре Москвы. И конечно, не Германия и не германский народ виноваты в мировом пожаре: Германия была только копеечной свечкой. Стихийную мировую войну могла вызвать только стихия, и это была стихия экономическая”.

С суждением о как бы случайной, “копеечной” в условиях “стихии” роли Германии можно было бы поспорить. Как написал тогда же в статье “О войне” русский офицер и писатель Александр Куприн: “Особенно прямо-таки непонятна злоба и неприязнь против русских. Что сделала Россия и русские плохого Германии? За что такая ненависть к нам царит на берегах Рейна? Разве за то, что Россия кормила их своим хлебом, за то, что сотни тысяч немцев имели самый радужный приют”. И далее Куприн напоминает об отнюдь не “стихийной” предыстории: “Немецкий учёный Моммзен в своих статьях вполне определённо указал, что Россия — страна рабов, страна с ясно выраженным женским началом. А Германия — страна властелинов с мужским элементом, и что она по праву должна властвовать над Россией и оплодотворять её своими духовными ценностями. Эта германская злоба, неприязнь, чрезмерные самолюбие и самовлюблённость есть плоды строго обдуманной германской программы”.

Добавим к этому и ещё одно наблюдение из русской литературы, опровергающее “стихийное” участие Германии в мировой трагедии. Вот что писал в своём провидческом “Апокалипсисе нашего времени” Василий Розанов: “Уже тогда было что-то такое в Берлине, что-то носилось в самом воздухе... Да и песенка: “Deutschland, Deutschland — über alles” — “Германия, Германия превыше всего”, — может быть, была не столько реально-глупою, сколько выверенно-пророчественною, сколько жадным аппетитом. Германский волк зол и толст. И нашей бедной России, стоящей перед ним таким пушистым ягнёнком, он не пощадит”.

Ещё поразительнее описание глазами профессионального военного далеко не “стихийных” признаков будущей катастрофы. В своих замечательных мемуарах генерал А. А. Брусилов рассказывает случай из жизни в Германском городе Киссингене, где он отдыхал летом 1914 года за несколько месяцев до войны. “Перед самым отъездом, — вспоминает Брусилов, — мы как-то собрались присутствовать на большом празднике в парке, о котором извещали публику громадные афиши... Праздник этот живо характеризует настроение немецкого общества того времени, а главное — поразительное умение правительства даже в мелочах ставить во главе всякого дела таких организаторов, которые учитывали необходимость подготавливать общественное мнение к дальнейшим событиям, которые вскоре нам пришлось пережить.

Ничего подобного в России не было, и наш народ жил в полном невежестве того, какая грозная туча на него надвигается и кто его ближайший лютей враг...

Музыка гремела со всех сторон. Центральная же площадь, окружённая цветниками, была застроена прекрасными декорациями, изображавшими московский Кремль, церкви, стены и башни его. На первом плане возвышался Василий Блаженный. Нас это очень удивило и заинтересовало. Но когда начался грандиозный фейерверк с пальбой и ракетами под звуки нескольких оркестров, игравших “Боже, царя храни” и “Коль славен”, мы окончательно поразились. Вскоре масса искр и огней с треском, напоминавшим пушечную пальбу, посыпалась со всех сторон на центральную площадь парка, подожгла все постройки и сооружения Кремля. Перед нами было зрелище настоящего громадного пожара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся стен. Колокольни и кресты церквей накренились и валились наземь. Всё горело под торжественные звуки увертюры Чайковского “1812-й год”. Мы были поражены и молчали в недоумении. Но немецкая толпа аплодировала, кричала, вопила от восторга, и неистовству её не было предела, когда музыка сразу при падении последней стены над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот фейерверка, загремела немецкий национальный гимн. “Так вот в чём дело! Вот чего им хочется!” — воскликнула моя жена. Впечатление было сильное”.

Кстати, рассуждение о женском и мужском начале двух стран (на уровне животной физиологии!) вполне серьёзно обсуждалось и некоторыми русскими интеллектуалами (Д. Мережковским, например). На самом деле для русских эта война (как и любая другая) явилась духовным испытанием, религиозным, метафизическим столкновением двух сил, борьбой света и тьмы, добра и зла, чему свидетельством служит и литература участников тех исторических событий. И даже технические средства ведения войны только обостряют это религиозное чувство. Враг становится изощрённей, коварней, опасней, у него защита — железо, химия, траки танков, подводные лодки, а у нас — самый упо-



минаемый в стихах и прозе Георгий Победоносец, и в каждом произведении – философское, глубокое осмысление войны.

Но прав, разумеется, и Евгений Замятин в своём блестящем предисловии (1919) к фантастическому роману Г. Уэллса “Война в воздухе” заметивший, что “пятнадцать лет назад этот роман был фантастическим; теперь он стал бытовым”; он удивлялся, “почему не все видели то, что видно было немногим?": “Перед началом мировой войны и революции мир был котлом без манометра. Кочегары всё подкладывали и подкладывали уголь, топки горели всё жарче, давление пара всё подымалось, и конец мог быть только один: мировой котёл разнесло вдребезги. Целыми десятками лет мир вооружался. Целыми десятками лет миллиарды тратились на постройку броненосцев, цеппелинов, пушек. Накоплялись горы пироксилина, пороха. Всё великолепное здание старого мира было построено на фундаменте не из камня, а из пироксилина. И всё же, как это теперь ни кажется странным, люди спокойно жили, работали, веселились и не заботились, что под ногами – пироксилин. Но вот случайно кем-то обронённая спичка – и загремел беспримерный в истории взрыв...”

Для России Первая мировая – особенно чувствительная, мистическая, поворотная страница истории. Современники называли её и Великой, и Германской, и второй Отечественной войной. Слишком много всего в ней сошлось для России при всех, казалось бы, внешних сопутствующих политических и экономических обстоятельствах. Слишком много всего из неё, как из мерзкого змеиного яйца, вылупилось, проросло в будущем мире с его фашизмом, концентрационными лагерями, неисчислимыми человеческими страданиями.

Но нам она, помимо всего прочего, принесла цивилизационную катастрофу, обрушение многовекового русского уклада, смену тысячелетнего духовного вектора, что по своим последствиям, быть может, даже страшнее Второй мировой войны, раны которой пусть мучительно, трудно, но всё же излечиваются со временем, чего нельзя сказать о невозвратности рухнувшей великой империи.

В той войне, словно в некой насыщенной эссенции, сошлись все прошлые и грядущие русские проблемы, все нераскаянные грехи народа и власти, всё недалёковидное благодушие тогдашней церковной политики, утрата огненной бескомпромиссной веры, бездарность и безответственность чиновников, гнилая и подлая сущность интеллигенции, в безумной Люциферовой гордыне оторвавшейся от судьбы страны и запятнавшей себя предательской заразой поражения, подталкивавшего (и поныне подталкивающего!) к гибели Россию, зеркально повторяя написанный Пушкиным портрет прародителя всех будущих либерал-Смердяковых: “Ты руки потирал от наших неудач...”

Василий Розанов, объясняя причину русского поражения в той войне, напомним одну из любимых своих мыслей: “Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения”. И со всей беспощадностью растолкует: “Нужно было, чтобы... начало слагаться пренебрежение к офицеру, как к дураку, фанфарону, трусу, во всех отношениях к ничтожеству и отчасти к вору. Для чего надо было сперва посмотреть на Скалозуба в театре и прочесть, как умывался генерал Бетрищев, пишущий “Историю генералов отечественной войны”, – у Гоголя, фыркая в нос Чичикову. Тоже и самому Толстому надо было передать, как генералы храбрятся по виду и стараются не нагнуться при выстреле, но нагибаются, вздрагивают и трясутся в душе и даже наяву...” И дальше Розанов подводит к *стратегическому* заключению: “Берлин вообще очень хорошо изучил русскую литературу. Он ничего не сделал иного, как выжал из неё сок. Он отбросил целебное в ней, чарующее, истинное. “На войне – как на войне...” “Эти ароматы нам не нужны...” От ароматов и благоуханий он отделил ту каплю желчи, которая, несомненно, содержалась в ней. И в нужную минуту поднёс её России... Каплю, наиболее роскошно выработанную золотою русской литературой. “Пей. Ты же её любила. Растила. Холила”. Россия выпила и умерла...” (1918).

Про Германию, “хорошо изучившую русскую литературу”. В этой связи становится понятным, зачем она, почувствовав, что победа может ускользнуть из её рук, словно мину замедленного действия, доставила в запломбированном вагоне в гибнущую, на последнем дыхании сопротивляющуюся Россию Ленина, плоть от плоти той интеллигенции, того, кто, подобно брюсовскому

“року”, недогнувшей рукой теперь уже навсегда опустил “завесу времён” над исчезнувшей с карты мира русской цивилизацией.

Не осмыслив всей совокупности тех событий и явлений, мы как бы во второй раз в эсхатологическом плане проиграли эту войну, проиграли как предупреждение о будущем, как понимание самих себя в собственной истории, понимание того, кто в этой истории друг (никто, “кроме Армии и флота”!), кто враг (и не только внешний, но и внутренний враг!) и – как тогда же вопрошал Брюсов:

*Но Рок подымает вопрос:  
Мы кто в этой старой Европе?*

Но, по слову Экклезиаста: “Всему своё время... время раздирать и время шивать; время молчать и время говорить; время войне и время миру...” (Книга Экклезиаста. Гл. 3.) И вот ровно через сто лет, к вековому юбилею, когда мир снова подошёл к опасной роковой черте, к предчувствию новой кровавой бойни, когда в заатлантических и западных пробирках выращены цепные бациллы ненависти и фашизма, выпущенные по всей планете и под боком у России, в её, можно сказать, предсердии, – вдруг, словно потерянная Атлантида, со dna океана забвения возникает Первая мировая война. Возникает как напоминание: есть время раздирать и *время шивать*. Последнее, в современном юбилейном контексте, скорее звучит как: *шивать время*, восстанавливать связь времён, возвращать память, имена, историческую справедливость, подвиги и предательства, победы (а они были, один Брусиловский прорыв чего стоит!) и поражения...

И тут “время молчать и время говорить” о том времени удивляет неожиданным, как и сама Первая мировая война, открытием, явлением всплывающей Атлантиды русской литературы, такой же забытой и незнаменитой!.. Какие возвращаются имена!.. Вдруг мы обнаруживаем, что у писателей есть биографии! И совсем не те, не такие, какие мы знали и помнили. И облик, скажем, Катаева или Паустовского, Зощенко и Пришвина, даже Демьяна Бедного предстаёт в ином, объёмном, малознакомом свете – героическом, трагическом, а для иных, в их дальнейшей судьбе, и трагикомическом... Но как бы там ни было, их творчество, их привычное место в контексте советского периода русской литературы тоже открывается по-новому.

В XX веке мы хорошо знаем поколение писателей – участников Великой Отечественной войны, но было, оказывается, ещё одно фронтовое поколение поэтов и прозаиков – после Первой мировой... Как после войны 1812 года было поколение П. Вяземского, Ф. Глинки, Д. Давыдова... Или поколение Л. Толстого, И. Аксакова, А. К. Толстого... – после Крымской войны.

Назовём лишь несколько имён, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях либо был на фронте в санитарных частях, или являлся военным корреспондентом...

Будучи уже в немолодом возрасте, родившийся в 1870 году Александр Куприн, бывший военный, в начале Первой мировой войны вновь надевает мундир поручика. Когда же здоровье не позволило ему продолжать службу, он на собственные средства в своём гатчинском доме организовал военный госпиталь.

В армии с первых же дней войны (с 5 августа 1914 года) оказался и поэт Николай Гумилёв. 14 августа он был зачислен в 6-й запасной эскадрон, где готовили кавалеристов для гвардейских кавалерийских полков. За отвагу улан Гумилёв награждён двумя Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. Его корреспонденции с фронта в течение 1915 года появлялись в газете “Биржевые ведомости” под названием “Записки кавалериста”.

Поэт-сатирик и прозаик Дон-Аминадо был мобилизован в начале войны, получил ранение. Будучи солдатом, опубликовал свою первую поэтическую книгу “Песни войны” (1914).

На австрийском фронте служил призванный в армию в 1915 году Николай Асеев.

Рядовым призван в армию поэт Саша Чёрный. Он принимал участие в боевых действиях в районе польских городов Ломжа и Замброво.

Военным корреспондентом от “Русских ведомостей” в 1914 году отправился на фронт Валерий Брюсов.

Добровольцем решил записаться Владимир Маяковский, но по причине политической неблагонадёжности получил отказ, что не помешало ему написать несколько сильных произведений о войне.

В санитарном отряде служил писатель, казак Фёдор Крюков, что нашло отражение в его очерках из быта военного госпиталя и военных санитаров.

Военным корреспондентом был на фронте Михаил Пришвин, запечатлевший военные события не только в газетных материалах, но и в подробнейших деталях своего Дневника за 1914–1917 годы.

С сентября 1914-го был в армии писатель Михаил Зощенко. Во время атаки на немецкие траншеи он получил ранение, награждён орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом, орденом Святой Анны IV степени с надписью “За храбрость”, орденом Святого Станислава II степени с мечами, орденом Святой Анны III степени с мечами и бантом. В январе 1917 года он был пожалован чином капитана и представлен к Ордену Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. В 1917 году из-за обострения болезни, ставшей результатом отравления газами, он был отчислен в резерв.

Артиллерийским офицером на австрийском фронте служил Фёдор Степун – русский философ и писатель. Воевал в Галиции. Во время боёв под Ригой (1915) получил ранение. Находясь на лечении в госпиталях, написал и издал под псевдонимом Н. Лугин эпистолярный роман “Из писем прапорщика-артиллериста”.

Прозаик и поэт Валентин Катаев, не окончив гимназию, в 1915 году вступил добровольцем в действующую армию. Начал службу под Сморгонью рядовым на артиллерийской батарее, затем произведён был в прапорщики. Дважды ранен и отравлен газами, награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени с надписью “За храбрость”. С первым офицерским чином он получил не передающееся по наследству личное дворянство.

Писатель граф Алексей Толстой был военным корреспондентом.

В звании поручика участвовал в боях Арсений Несмелов. Он воевал в Галиции и под Сморгонью, был ранен. За мужество и отвагу награждён четырьмя орденами. Первый сборник стихов и прозы “Военные странички” опубликовал в 1915 году.

Поэт Демьян Бедный был мобилизован в 1914 году, участвовал в боях, награждён Георгиевской медалью за храбрость.

Прозаика Константина Паустовского война заставила прервать учёбу. Он работал на санитарном поезде, с полевым санитарным отрядом вместе с русской армией отступал по территории Польши и Белоруссии.

Поэт Сергей Кречетов (Соколов) участвовал в походах в Восточную Пруссию. В марте 1915 года был ранен, попал в плен, находился в лагере для военнопленных офицеров.

Прозаик Софья Федорченко была сестрой милосердия. В 1917 году вышла её небольшая книжка “Народ на войне” с подзаголовком “Фронтовые записи”.

Участниками Первой мировой были поэты и прозаики Сергей Клычков, Лев Славин, Николай Туроверов, Сергей Третьяков, Сергей Сулин, Владимир Пяст...

Необходимо отметить, что в этой войне принимали участие представители разных сословий. Так, уже осенью 1914 года погиб в боях сын Великого князя Константина Романова (поэта К. Р.) князь Олег, что подорвало и без того некрепкое здоровье великого князя.

Поэт и прозаик князь Владимир Палей после окончания Пажеского корпуса служил в Гвардейском гусарском полку и получил боевое крещение вместе с сыном К. Р. С сентября 1915 года он вместе со своим полком был на фронте. В феврале 1916 года девятнадцати лет он был награждён боевым орденом Святой Анны 4-й степени с надписью “За храбрость”. В 1918 году был расстрелян вместе с царской семьёй в Екатеринбурге.

Поэт и прозаик князь Фёдор Касаткин-Ростовский также был на фронте. В 1917 году в Петрограде вышла его книга стихов “С войны (Листки походной тетради)”.

Поэт-монархист, белогвардейский офицер Сергей Бехтеев, несмотря на инвалидность, добровольцем ушёл на войну. В составе Кавалергардского полка участвовал в боях, получил ранения в голову и в грудь. Попал в Царскосельский лазарет, где простыми сёстрами милосердия в тот момент служили императрица Александра Фёдоровна, её старшие дочери Ольга и Татьяна...

Писатели-современники запечатали Первую мировую войну. Это и “Записки кавалериста” Н. Гумилёва, и “Из писем прапорщика-артиллериста” Ф. Степуна, и “Жизнь Клима Самгина” М. Горького, и “Тихий Дон” М. Шолохова, и “Хождение по мукам” А. Толстого, и “Города и годы” К. Федина, и “Перед восходом солнца” М. Зощенко, и “Юношеский роман” В. Катаева, и “Сахарный немец” С. Клычкова, и “Романтики” К. Паустовского, и “Солдаты” И. Шмелёва, и “Русь” П. Романова, и “Лиль” В. Кина, и “Дикая дивизия” Н. Брешко-Брешковского; отражена она и в рассказах А. Куприна, А. Ремизова, Ф. Крюкова, А. Амфитеатрова, А. Аверченко, А. Бухова, Н. Тэффи, Л. Чарской, в пьесе “Интервенция” Л. Славина; в дневниках, воспоминаниях и публицистике К. Р. (К. Романова), А. Брусилова, В. Короленко, М. Пришвина, С. Федорченко, В. Розанова, М. Меншикова, В. Свенцицкого, Д. Мережковского, Д. Аминадо, Л. Андреева, З. Гиппиус, Ив. Бунина...

На трагедию войны откликнулись и современные поэты: В. Брюсов, К. Бальмонт, Н. Гумилёв, А. Блок, Дон-Аминадо, С. Чёрный, С. Бехтеев, И. Северянин, А. Ахматова, В. Катаев, Ф. Сологуб, А. Несмелов, Н. Тuroверов, Г. Иванов, В. Маяковский, В. Хлебников, С. Есенин, М. Цветаева, В. Ходасевич, З. Гиппиус, Л. Столица, Т. Щепкина-Куперник, кн. М. Трубецкая, О. Мандельштам, М. Волошин, Ив. Бунин...

Здесь есть высочайшие образцы русской поэзии, некоторые стали классикой. Однако выпавшие из контекста истории, без понимания общей картины, без понимания всех культурных, политических, психологических, эмоциональных, духовных, объективных и субъективных составляющих той эпохи, большинство этих произведений как бы повисли в воздухе, воспринимаясь оторванно от ситуации, оцениваясь исключительно в эстетической плоскости, что лишало многие из них (если это не была публицистика в чистом виде) значения художественного документа, свидетельства на суде Вечности... Получалось точно по Гумилёву:

*Ни шороха полночных далей,  
Ни песен, что певала мать,  
Мы никогда не понимали  
Того, что стоило понять...*

Взять хотя бы только один пример того, как прятали от нас ту войну, как подавали отношение к ней, к её участникам и героям.

Самым здоровым, самым, пожалуй, ответственным и просто благоразумным голосом в своём поколении тех трагических, переломных для истории России лет стал мужественный и по-настоящему патриотический голос Николая Гумилёва. И вот даже сейчас, в предисловии к уже “перестроенному” (1988) солидному изданию поэта продолжают дуть в маховую (по сути, русофобскую) идеологическую дуду: “По своему выпренному духу, по проникнутости идеями монархической верноподданности, по риторике, окрашенной в церковные тона, военная лирика Гумилёва фактически едва ли чем отличалась от казённой шовинистической литературы, как бы не отрешивался от шовинизма сам поэт” (А. Павловский).

Но именно тогда, в час испытания, Гумилёв произнесёт слова, которых не произнёс, да и не имел права произнести никто из не побывавших “там” — на грани жизни смерти, на тонкой линии между Тьмой и Светом.

Никто из современников не посмел иронизировать (в циничной манере той поры, в ёрнической и предательской манере сегодняшней!) над пафосом Гумилёва, даже когда он с законной гордостью заговорил о своей солдатской судьбе:

*...Память, ты слабее год от году,  
Тот ли это или кто другой  
Променял весёлую свободу  
На священный долгожданный бой.*

*Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, долгожданный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулею не тронутую грудь...*

(“Память”)

Как известно, Первая мировая война стала и войной новых технологий. Появились подводные лодки, первые танки на гусеничном ходу, на них были установлены пулемёты Максима и Льюиса, боевые машины оснащались бронёй, впервые были применены отравляющие вещества. В рассказе А. Куприна “Последние рыцари” с горечью говорилось: “Подлая теперь пошла война, а в будущем станет и ещё подлее. . . Всего через месяц, через два кавалерия начнёт быстро уходить, исчезать, обращаться в пепел и в прекрасное героическое рыцарское воспоминание.

Нет для неё ни размаха, ни места, ни задач. Уже теперь пропал пафос войны, пропала её поэзия и прелесть, и никогда уже не родится поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил её Пушкин в своей “Полтаве”. Мы с вами, Тулубеев, – последние рыцари. . .”

Но Гумилёв, служивший в кавалерии, своими гениальными стихами и “Записками кавалериста” опроверг не только пророчество Куприна, но и немецкого коллегу – поэта Шиллера, который тоже в появлении военных новшеств видел утрату поэзии войны, считая, что “с тех пор, как изобрели порох, ангелы не участвуют в сражениях людей”. Но никакими “технологиями” не измеряется вечная истина: “Не в силе Бог, а в правде”, – а посему и у Гумилёва:

*...И воистину светло и свято  
Дело величавое войны.  
Серафимы, ясны и крылаты,  
За плечами воинов видны...*

*(“Война”)*

Военная лирика Николая Гумилёва, может быть, вообще высшее достижение русской и мировой поэзии в этом жанре. Так о войне мог сказать разве что “певец во стане русских воинов” – Василий Жуковский, чувствовавший религиозную красоту подвига (“религиозное чувство. . . при исполнении воинского долга”, по Жирмунскому). И совершенно справедливо утверждение Б. Эйхенбаума о том, что военные стихи Николая Гумилёва “приняли вид псалмов об “огнезарном бое”, и вообще, “не замечательно ли самое стремление поэта показать войну как мистерию духа?..” И эту “мистирию духа”, это столкновение тёмной, всегда чужой и чуждой силы с вечной Россией – Святой Русью – как некое пророческое предупреждение о будущих битвах необыкновенно чутко уловил Гумилёв. Не оттого ли о его самых мужественных стихах Сергей Маковский скажет: “прикровенный смысл их кажется безнадежно печальным”. Особенно, пожалуй, этот печальный “прикровенный смысл” слышится в величественных, как хорал и Откровение от Иоанна, “Пятистопных ямбах”:

*То лето было грозами полно,  
Жарой и духотою небывалой,  
Такой, что сразу делалось темно  
И сердце биться вдруг переставало,  
В полях колосья сыпали зерно,  
И солнце даже в полдень было ало.*

*И в рёве человеческой толпы,  
В гуденье проезжающих орудий,  
В немолчном зове боевой трубы  
Я вдруг услышал песнь моей судьбы  
И побежал, куда бежали люди,  
Покорно повторяя: буди, буди.*

*Солдаты громко пели, и слова  
Невнятны были, сердце их ловило:  
“Скорей вперёд! Могила — так могила!  
Нам ложем будет свежая трава,  
А пологом — зелёная листва,  
Союзником — архангельская сила”.*

*Так сладко эта песнь лилась, маня,  
Что я пошёл, и приняли меня,  
И дали мне винтовку и коня,  
И поле, полное врагов могучих,  
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,  
И небо в молнийных и рдяных тучах.*

*И счастьем душа обожжена  
С тех самых пор; веселием полна  
И ясностью, и мудростью; о Боге  
Со звёздами беседует она,  
Глас Бога слышит в воинской тревоге  
И Божьими зовёт свои дороги.*

*Честнейшую честнейших херувим,  
Славнейшую славнейших серафим,  
Земных надежд небесное свершенье  
Она величит каждое мгновенье  
И чувствует к простым словам своим  
Вниманье, милость и благоволенье...*

Хотя всё начиналось (приготовлялось к большой беде) совсем в ином общественном настроении, о чём с неожиданным для собственной поэтики пафосом выскажется Игорь Северянин в “Поэзе упадка”:

*К началу войны европейской  
Изысканно тонкий разврат  
От спальни царей до лакейской  
Достиг небывалых громад.*

*Как будто Содом и Гоморра  
Воскресли, приняв новый вид:  
Повальное пьянство. Лень. Ссора.  
Зарезан. Повешен. Убит...*

*Как следствие чуши и вздора —  
Неистово вверглись в войну.  
Воскресли Содом и Гоморра,  
Покаренные в старину.*

При этом в духе им же описанной картины всеобщего разложения не забывая и своего нарциссианского мессианства:

*Друзья! Но если в день убийственный  
Падёт последний исполин,  
Тогда ваш нежный, ваш единственный,  
Я поведу вас на Берлин!*

Но вопреки всем роптаниям и жалобам, в эти же дни прозвучала другая правда, другой голос, голос той, о которой Гумилёв напишет на войне:

*И ведаю, что обо мне, далёком,  
Звонит Ахматовой сиренный стих.*

Но “стих” её будет отнюдь не “сиренным”, но строгим и мужественным:

*Думали: нищие мы, нету у нас ничего,  
А как стали одно за другим терять,  
Так, что сделался каждый день  
Поминальным днём, —  
Начали песни слагать*

*О великой щедрости Божьей  
Да о нашем бывшем богатстве.*

*12 апреля 1915, Троицкий мост*

Это величавое достоинство и любовь к России Ахматова пронесёт через всю свою жизнь, через все испытания, которых наступивший век предоставит ей с лихвой. Что тем более существенно в контексте той атмосферы, когда не только тыловые интеллектуалы рассуждали о возможности поражения России в войне, но и те, кто сами были на полях сражений.

Так, И. Ильин вспоминает о беседе с вышедшим из госпиталя прапорщиком-артиллеристом философом Ф. Степуном, который “развивал военный пессимизм”. Степун признавался, что “с одинаковым отвращением относится как к идее победившей Германии, так и к идее победившей России”. На возражение Ильина, что “непобедившая Россия будет разгромленной, униженной и рабской”, Степун “со свойственной ему кощунственной насмешкой” ответил: “Что же вы хотите, когда русский народ номенально предназначен к рабству?” И подобные настроения (особенно по мере затягивания войны и поражений русской армии) были далеко не единичными в обществе. Об этом предупреждал старый писатель В. Короленко в своих очерках “Война, отечество и человечество”: “Есть европейски известный писатель – Ромен Роллан. По национальности француз. Он убеждённый интернационалист, но не в том смысле, как понимают это слово у нас, например, Ленин и Троцкий или даже Мартов или Чернов... И для него защита родины не являлась преступлением, как для тех из наших соотечественников (к сожалению, не одних большевиков), для которых слово “оборонец” представлялось позорной кличкой”. И как следствие всех этих “интернационалистских” подстрекательств (в духе нынешних “Болотных” и “майданов”) – жуткий результат, о котором пишет Короленко: “Мы, например, живём в Украине, которая ещё недавно жила общей жизнью с Россией, страдала с русским народом от одного гнёта, питала с ним общие освободительные надежды... Теперь между Украиной и Россией – война...”

О том же свидетельствует публицист М. Меншиков: “Чуть плохие вести – маленькая поэтесса Х. с глазами, похожими на маринованные сливы, говорит томно: “А не я ли говорила, что войны не надо? Ах, меня не слушали...” И он же продолжает: “Что же было бы “для всех народов России”, если бы восторжествовала кайзеровская монархия? Кроме абонентов газеты “Речь”, которым всё равно – кочевать ли в России, или в Америке, или среди любого чужого народа, – “для всех народов России” Германия явилась бы одинаковым завоевателем”. (Вместо газеты “Речь” сюда можно подставлять известные названия сегодняшних радиостанций и газет, где с дебильной немудрёностью Смердякова так любят рассуждать, “надо ли было давать фашистам Ленинград”, и “как славно бы мы жили, кабы нас-таки завоевали в Великую Отечественную войну”!).

Но для выводов из Первой мировой на будущее следовало бы помнить предупреждение М. Меншикова о том, что “был заявлен в немецкой печати проект одного почтенного немца: обесплодить славянскую расу, то есть оскотить мужчин, но, кажется, проекту этому не было дано дальнейшего движения. Был заявлен проект о поголовном выселении русских народов “куда-нибудь” – за Урал, что ли, или, ещё лучше, в немецкие колонии Африки, дабы освободить территорию нашу для широкой немецкой колонизации... Всего вероятнее, покорённое немцами население даже не будет изгнано, а (по третьему проекту) будет только обращено в крепостное рабство... Славяне – недурная подстилка для высшей расы, это *Dungervolk*, живое удобрение, вроде домашнего скота”.

В народном сознании это пораженчество трансформировалось, как обычно, самым фантастическим образом. Читаем у Бунина в “Окаянных днях”: “Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: “Ну, вот, немец придёт, наведёт порядок...”

Извозчик возле “Праги” с радостью и смехом:

– Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде всё равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ тёмный. Скажи одному “трогай”, а за ним и все”.

Но словно солидаризируясь со словами В. Розанова: “Не будем даже вспоминать слова Бисмарка, что “побеждённому победитель оставляет только глаза, чтобы было чем плакать”, — Анна Ахматова находит в самых критических обстоятельствах главную формулу человеческого достоинства:

*Когда в тоске самоубийства  
Народ гостей немецких ждал,  
И дух суровый византийства  
От русской церкви отлетал,*

*Когда приневская столица,  
Забыв величие своё,  
Как опьяневшая блудница,  
Не знала, кто берёт её, —*

*Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: “Иди сюда,  
Оставь свой край, глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда.  
Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну чёрный стыд,  
Я новым именем покрою  
Боль поражений и обид”.*

*Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.*

*(Осень 1917, Петербург)*

Главным в русской поэзии этого периода становится иной мотив. Рыдающая нота в долгом многостопном некрасовском стихе прозвучит у таких разных и непохожих поэтов.

У Блока:

*Петроградское небо мутилось дождём,  
На войну уходил эшелон.  
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком  
Наполнял за вагоном вагон...*

У Саши Чёрного:

*Небо кротко и ясно, как мать.  
Стыдно бледные губы кусать!  
Надо выковать новое крепкое сердце из стали  
И забыть те глаза, что последний вагон провозжали.  
Тёплый ворот шинели шуришит у щеки и волос, —  
Отчего так нежна колыбельная песня колёс?*

У Цветаевой:

*И, перевесившись через заборные колья,  
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд...  
Старая баба посыпанный крупною солью  
Чёрный ломоть у калитки жуёт и жуёт.*

*Чем прогневили Тебя эти серые хаты,  
Господи! И для чего стольким простреливать грудь?  
Поезд прошёл и завыл, и завыли солдаты,  
И запылил, запылил отступающий путь...*



*Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,  
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой  
О чернобровых красавицах. Ох, и поют же  
Нынче солдаты! О, Господи Боже Ты мой!*

И среди этого рыдания, плача, стона — так естественно и справедливо меняется интонация, меняется словарь, и возникает главный (увы, и поныне неразрешимый!) неизбежный вопрос о Востоке и Западе, о России и Европе, вопрос, от решения которого зависело и будет зависеть будущая история. И словно внемя пушкинским словам: “История принадлежит поэту”, — жёстко и мужественно поставил вопрос русский европеец Александр Блок:

*Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.  
Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, скифы мы! Да, азиаты мы  
С раскосыми и жадными очами!*

*Для вас — века, для нас — единый час.  
Мы, как послушные холопы,  
Держали щит меж двух враждебных рас  
Монголов и Европы!..*

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!..*

*Мы любим всё: и жар холодных числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно всё: и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений...*

*В последний раз опомнись, старый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз на светлый братский пир  
Сзывает варварская лира!*

Грустно думать, что не будь войны — не было бы этих и многих других гениальных стихотворений. Как видно, война даётся нам в очередной раз для осмысления вечных тем. В русской литературе битва с врагом всегда воспринимается как религиозное чувство. Валентин Свенцицкий, бывший священником на войне, в статье “Война и Церковь” прямо говорит: “Мы исповедуем, что Господь создал Церковь — и врата адовы не одолеют её. Мы знаем, что Крест — непобедимое оружие правды. Мы знаем, что насильники, поднимающие меч против неё, — погибнут.

Но если история мира приведёт нас к неизбежному столкновению с насильниками народа, мы подыдем против них свой меч и впереди его понесём Животворящий Крест Господень!”

Георгий Иванов, которого в особой религиозности не замечали, также открывает в войне те духовные смыслы, которые, быть может, и стали не последней причиной удаления из исторического поля зрения Первой мировой, что, в свою очередь, обернулось (аукнулось, отомстило!) новыми бедами и трагедиями:

*Ядовитые газы, сверканье меди,  
Подгибаются ноги, и сохнут уста...  
Но отважно герои стремятся к победе,  
К лучезарной победе любви и Христа!*

В военных дневниках М. Пришвина за 1915 год есть замечательная за-

пись, очень многое объясняющая в характере любой войны и особенно нашего с вами современного мира. Писатель, подобно многим авторам той поры, снова вспоминает образ Георгия Победоносца. При этом он обращает внимание на изображение змея: “Голова у врага рода человеческого изображается маленькой, но интересной: пышет пламя, горят глаза, эта маленькая голова посажена на огромное тело вьющееся. Духовная сторона зла изображена маленькой, а материальная – необычайно огромной. Счастлив тот, кому суждено вонзить копьё в огнедышащую пасть, и горе тому несчастному, кто обречён пребывать изо дня в день возле его огромного вонючего вьющегося и грязного тела”.

Таким был мир в начале XX века, что привело к большой войне. Ещё больше сегодняшний мир похож на этого разросшегося до немыслимых ранее размеров “врага рода человеческого”, а ставшая ещё меньше его маленькая головка теперь ещё злобней и опасней. Увы, не задумываясь об уроках прошлого, не заботясь о будущем, мы обречены “пребывать изо дня в день возле его огромного вонючего вьющегося и грязного тела”. Сбудется ли ныне молитва Анны Ахматовой, произнесённая из глубины той забытой и проигранной войны?

*Так молюсь за Твоей литургией  
После стольких томительных дней,  
Чтобы туча над тёмной Россией  
Стала облаком в славе лучей.*

## ОН ПАЛ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

*Вадим Витальевич Негатуров. Скромный человек пятидесяти четырех лет. Он родился в Одессе 5 декабря 1959 года. Окончил школу с золотой медалью. В 1977-м поступил в Одесский государственный университет, где изучал прикладную математику. В 1982-м окончил университет, получив диплом с отличием. Прошел двухлетнюю армейскую службу на офицерской должности. Потом работал инженером машиностроительного завода и заведующим научной лабораторией. Он был много кем — строитель, кочегар, преподаватель, бухгалтер. В 1993 году получил второе образование — окончил Одесский институт народного хозяйства по специальности “Экономика и управление производством”.*

*Негатуров объездил весь Советский Союз, но всегда возвращался в Одессу. “В этом Благолюбленном городе отлично учился и честно женился. В Одессе живу и работаю. В Одессе хотел бы и умереть в свыше назначенный час”, — так высокопарно и одновременно иронично писал в автобиографии.*

*Писал стихи давно, печатался, но немного. С начала 2000-х годов Негатуров начал публиковать свои стихи, участвовал в поэтических конкурсах и литературных премиях. В 2012 году получил специальный приз четвёртого международного литературного конкурса “Цветавская Осень”. Состоял в литературном объединении имени Ивана Домрина (Одесса), был действительным членом Академии русской словесности и изящных искусств имени Гавриила Державина (Санкт-Петербург). Вадим в совершенстве владел русским и украинским языками.*

*В его стихах — детская искренность, живая неподдельная эмоция. Не любил всех властителей Украины — Кравчука, Кучму, Ющенко, Тимошенко. Не жаловал и Януковича. Всем им он посвящал злые эпиграммы. Был сторонником сильного союза России, Украины и Белоруссии. Когда на Куликовом Поле в его любимом городе начали собираться многотысячные митинги в защиту статуса русского языка и “за федерализацию” и возник палаточный лагерь, Негатуров стал там одним из самых заметных участников вместе со своим другом, руководителем поэтической студии “Феникс” Виктором Гунном. По рассказу родственников, 2 мая он поехал на Куликово Поле, чтобы спасти православные иконы, хранившиеся в палатке-церкви на территории лагеря. По дороге случайно встретился с дочерью, которой отдал ключи от дома и деньги, оставив себе только паспорт, сказал: “Увидимся”. Вместе с другими его загнали в Дом профсоюзов. Друг поэта Виктор Гунн погиб в огне, Вадима обгорелого живым выбросили из окна.*

*Он скончался на тот же день в реанимации. Похоронен на Троицком кладбище в Одессе. Осиротели три дочери.*

*Чувства к родине... На эту тему трудно писать на заказ. Вадим Негатуров был гражданским поэтом — не великим, без чинов и званий, но зато честным. Он погиб на настоящей войне, которая идет сейчас рядом с нами. Он пал на Куликовом Поле. Через много столетий после нашествия Мамая оно распахнулось вновь, только теперь не в донских степях, а на берегу Чёрного моря в одном из прекраснейших городов мира. Среди сотен других смертей судьба выбрала эту.*

*На самом деле, нет ничего сложнее, чем писать стихи о Родине и вере. Требуется особая чуткость, необходима неподдельность. Вадим был глубоко верующим человеком. Для таких стихов главное — предельная искренность. Искренность — это уже настоящая поэзия. В стихах Негатурова чистота и даже детскость во всем. И есть судьба. Без которой нет поэта. И которую хочется не забывать.*

*В память о Вадиме Негатурове создана литературная премия “Куликово поле”. Это конкурс открытый для всех без исключения. Народный. Предназначенный для всех, кто пишет по-русски, где бы ни жил. Впервые премия будет вручена в сентябре 2014 года. Можно будет присылать стихи, рассказы, статьи. На самую сложную тему. О стране, о своей России, родной, личной. В жюри — серьезные придирчивые литераторы. Но ключевое требование к тексту — искренность и неравнодушие.*

*Председатель жюри  
литературной премии “Куликово поле”  
Сергей Шаргунов*

## ВАДИМ НЕГАТУРОВ



## НАТУРА СЛАВЯНСКАЯ

### ВАЛЬС ДЛЯ МАМЫ

Мёдом искрят  
винограда гроздя,  
грезит наш сад  
в полусне о весне,  
тает закат,  
зажигаются звёзды,  
песни ретро звучат  
на вечерней волне.

### II.

В звёздах надежд  
замерцал Путь Млечный,  
август надел  
нежных нот кружева.  
Слышу я вновь,  
мама, ритм твой сердечный –  
это вальс детских снов,  
самый сказочный вальс.

### ПОМИЛУЙ

Я ради веселья потешного,  
Пил ведрами зелье дурманное...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Бродил я средь блуда кромешного,  
Ища наслажденья желанного...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Жизнь вечную – радость безбрежную  
Уныньем губил постоянно я...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Прельщался я часто на внешнее,  
Земное, плотское, обманное...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Я лгать не хочу, но по-прежнему  
Вся жизнь моя ложь – непрестанная...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Внимал я от духа мятежного  
Его лжеученья туманные...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Сгубил суетливо-небрежно я  
Таланты, Создателем данные...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

Ел грех я – как вишню с черешнею,  
Наелся же – яду поганого...  
Прости меня, Господи, грешного!  
Помилуй меня, окаянного!

## СЛЁЗЫ НЕБА

Льет с неба дождь, плывет под ноги слякоть –  
Прохлада для пылающей души...  
Душа грешна, ей хочется заплакать,  
Но жар греха все слезы осушил...  
И потому дожди как Слезы Неба  
Нам посылает Милостивый Бог,  
Чтоб человек, – какой бы грешник не был, –  
Лишившись слез, поплакать все же мог...

## НЕ НАЖИЛ

Не нажил я достатка особого,  
Груз богатства не жмёт и не давит.  
Из недвижимости – лишь надгробие  
(Если в будущем внуки поставят...)

А движимая моя собственность –  
Кот-гуляка да пёс-непоседа.  
Нет пока лимузина с удобствами.  
Впрочем, нет даже велосипеда...

На счетах – только счёты с товарищем,  
Кто кому сколько выставит пива...  
Весь гешефт мой – с картошки наварисе  
Да прощенья долгов перспектива.

Но зато есть работа любимая  
За любовь разве платят зарплату?..

Но зато есть мечта, не делимая  
На пай, на метраж, на караты...

Есть надежда, простая и чистая,  
На великую милость Господню...  
Есть стремленье к познанию Истины —  
Той, с Которой я стану свободным...

Есть лихая натура славянская,  
Что не знает покоя и меры...  
Да есть вера моя Христианская —  
Православная славная вера!

### КОМАНДИРОВКА НА ЗЕМЛЮ

“Земля — наш дом” — верна формулировка,  
Но Шар Земной мне не навек жильё:  
Я на работе здесь, в командировке...  
На Небесах — Отечество моё.

Не знаю срок командировки этой,  
И цель её постичь я должен сам.  
Внезапно для отчёта и ответа  
К Святым я буду вызван Небесам.

Сняв спецодежду в виде плоти тленной,  
Прервав процесс земных своих работ,  
Я понесу на Суд Творцу Вселенной  
Земной командировочный отчёт...

### КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Вновь миром правит зло, вновь бесам “несть числа”,  
Вновь свиньями святое попирается...  
Но только зазвонят в церквах колокола —  
Вся нечисть на планете содрогается...

У колокольных нот — Божественный клавир  
И русское звучание державное.  
Звонят колокола — и слушает весь Мир  
Святые перезвоны Православные!

Зря временным победам радуется ад —  
Ещё настанет битве час решающий!  
... А колокольный звон — торжественный набат,  
Нас под хоругвь Христову созывающий...

### БОЖИЙ РАБ

Я — Божий раб. И счастлив этой долей.  
Я оценён немислимой ценой.  
Уплачен за меня не наглый доллар,  
Не гордый фунт, не царский золотой.

Не за ведро камней драгоценных,  
Не за сундук, где кожи и меха,  
Не за еду я выкуплен из плена  
Болезней, смерти, страха и греха.

Я искуплен Святой Христовой Кровью,  
Я получил любовь взамен оков.

Зовусь рабом... Но я не из сословья  
Униженных и проклятых рабов.

Во мне Творец признал родного сына,  
Хоть был я грешен и духовно слаб.  
И я свободен навсегда отныне.  
Но всё ж я раб... Я – добровольный раб!

Я – Божий раб, поэтому свободен  
От обстоятельств времени и мест.  
Я с радостью ношу тавро Господне –  
Простой нательный Православный Крест.

## ДРУГ ВРАГ

Снега, дожди, снега...  
Печальный круг!..  
Страшнее нет врага,  
Чем бывший друг...

То плавный ход, то вдруг –  
Рывком зигзаг!  
Кто виноват, мой друг,  
Что ты мой враг?..

## АФОРИЗМЫ

\* \* \*

Между умным и мудрым огромная разница есть:  
Из лихих ситуаций и пакостного затруднения  
Умник выйдет живым, сохранив по возможности честь,  
А мудрец вообще не бывает в плохих положениях.

\* \* \*

Молчать – еще не значит жить во лжи,  
Кричать – не значит истину доказывать...  
Не стоит проживать чужую жизнь,  
Не стоит жизнь свою другим навязывать...

\* \* \*

Мутнеет с возрастом наш зрительный хрусталик:  
И яркость ниже, и цвета пожиже.  
А я все вижу хорошо – во всех деталях,  
Но ничего хорошего не вижу...

\* \* \*

Весьма медитативный путь условен,  
Поскольку не в молчаньи суть, а в слове.  
Однако без смиренного молчания  
Не слышно сокровенного вещания.

\* \* \*

Забудь о славе – станешь выше.  
Делись с друзьями – и ты богат.  
Молчи! Молчи! – И ты услышан.  
Прости других – и тебя простят...

# МАРШ КУЛИКОВА ПОЛЯ

*Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские.*

Адольф Гитлер. (Изречение взято из книги Хью Тревора-Рупера “Застольные разговоры Гитлера 1941-1944 гг.”)

## I.

Зубы сжав от обид, изнывая от ран,  
Русь полки собирала молитвой...  
Кто хозяин Руси — Славянин или Хан? —  
пусть решит Куликовская Битва.

И сразив Челубея, упал Пересвет,  
но взметнулись знамёна Христовы!  
Русь Святая! Прологом имперских побед  
стало поле твоё Куликово!

## II.

Русь Святая! Шагая сквозь пламень веков,  
не искала ты в пламени броды,  
сил своих не щадя, побеждала врагов  
и спасала другие народы.

Светом Правды, что дарит нам Бог в небеси,  
возрождалась славянская сила,  
укреплялись в единстве три части Руси —  
Беларусь, Украина, Россия...

## III.

С небоскрёбов заморских, от схроновых нор  
рядом стелется мрак сатанинский,  
чтобы Русь отравить, чтоб посеять раздор  
меж Славян в их соборном единстве.

Но врага, будь он даже хоть дьявола злей,  
на Руси ждут с терпением суровым  
Сталинград, и Полтава, и доблесть Полей  
Бородинского и Куликова!

Русичи, вперёд! Русичи, вперёд!  
Сокрушим орду поганой нечисти!  
Предки отстояли Русь! А нынче — наш черёд  
доказать любовь свою к Отечеству!  
...Делом доказать любовь к Отечеству!  
...Кровью доказать любовь к Отечеству!  
...Жизнью доказать любовь к Отечеству!

Прослушать песню можно, перейдя по ссылке:  
<https://soundcloud.com/negaturov/novye-rusichi-wav-variant>